

# НОВЫЙ МИР

3



1996

# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 3(851)

Март, 1996 г.

## УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»,  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»

## СОДЕРЖАНИЕ

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ — Медя и ее дети. Семейная хроника	3
АЛЕКСАНДР КУШНЕР — Это я говорю тебе, вопреки... Стихи	47
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР — Мимоза на Севере, рассказ	52
ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ — Полустанок, стихи	70
ПАВЕЛ МЕЙЛАХС — Придурок, рассказ	74
ВЕРА ПАВЛОВА — Духи и буквы, стихи	94

## НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ТОРНТОН УАЙЛДЕР — К небу мой путь, роман. Продолжение. Перевел с английского А. Гобузов	97
---	----

## ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. БОРОВОЙ — Мой Чернобыль. Вступительное слово С. Залыгина	132
---	-----

## ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ВЛАДИМИР БЕРЕЗИН — О Твардовском	181
----------------------------------	-----

## ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ ЖИЗНИ. Переписка Г. В. Рочко с В. В. Розановым и А. Т. Твардовским. Публикация, подготовка материалов, сопроводительный текст и комментарии С. Г. Хлавна (Рочко)	190
---	-----

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. СЕРДЮЧЕНКО — Могикане. Заметки о прозе «отцов» в постсоветской литературной ситуации	217
---	-----

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

### ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ — Классика школьного ряда 225

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 228

Алексей Козырев. Философ в политике.  
А. Доброхотов. Мысль на путях жизни.  
Дмитрий Харитонович. Уроки Эрнста Трельча.  
Игорь Кузнецов. Чистые и нечистые.

### ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ЛИЛЯ ПАНН — На каменном ветру 241

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ 248

КНИЖНАЯ ПОЛКА 251

ПЕРИОДИКА 253

SUMMARY 256

### УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

*В розничную продажу «Новый мир» не поступает, наложенным платежом не высылается.*

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в А/О «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

*Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «New Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.*

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 тысяч экземпляров журнала «Новый мир».

---

---

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ



## МЕДЕЯ И ЕЕ ДЕТИ

*Семейная хроника*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

**М**едея Мендес, урожденная Синопли, если не считать ее младшей сестры Александры, осталась последней чистопородной гречанкой в семье, поселившейся в незапамятные времена на родственных Элладе Таврических берегах. Была она также в семье последней, сохранившей приблизительно греческий язык, отстоявший от новогреческого на то же тысячелетнее расстояние, что и древнегреческий отстоял от этого средневекового пентийского, только в таврических колониях сохранявшегося наречия.

Ей давно уже не с кем было говорить на этом изношенном полнозвучном языке, родившем большинство философских и религиозных терминов и сохранившем изумительную буквальность и первоначальный смысл слов: и поныне на этом языке праечная зовется катаризма, перевозка — метафорисис и стол — трапеза... Таврические греки, ровесники Медеи, либо вымерли, либо были выселены, а она осталась в Крыму, как сама считала, по Божьей милости, но отчасти благодаря своей вдовьей испанской фамилии, которую унаследовала от покойного мужа, веселого еврея-дантиста, человека с мелкими, но заметными недостатками и большими, но глубоко скрытыми достоинствами.

Овдовела она давно и больше не выходила замуж, храня верность образу вдовы в черных одеждах, который очень ей пришелся.

Первые десять лет она носила все исключительно черное, впоследствии смягчилась до легкого белого крапа или мелкого горошка все по тому же черному. Черная шаль не по-русски и не по-деревенски обвивала ей голову и была завязана двумя длинными узлами, один из которых плоско лежал на правом виске. Длинный конец шали мелкими античными складками свешивался на плечи и прикрывал морщинистую шею. Глаза ее были ясно-коричневыми и сухими, и темная кожа лица тоже была в мелких сухих складках.

Когда она в белом хирургическом халате с застежкой сзади сидела в крашеной раме регистрационного окна поселковой больнички, то выглядела словно какой-то неизвестный портрет Гойи. Размашисто и крупно вела она всякую больничную запись, также размашисто и крупно ходила по окрестной земле, и ей было нетрудно встать в воскресенье до света и отмахать двадцать верст до Феодосии, отстоять там обедню и вернуться к вечеру домой.

Для местных жителей Медея Мендес давно уже была частью пейзажа. Если не сидела она в белой раме регистратурного окна, то непременно маячила ее темная фигура либо в Восточных холмах, либо на каменистых склонах гор к западу от Поселка.

Ходила она не праздно, была собирательницей шалфея, чабреца, горной мяты, барбариса, грибов, шиповника, но не упускала также и сердоликов, и слоистых стройных кристаллов горного хрусталя, и старинных темных монет, которыми полна была тусклая почва этой скромной сценической площадки всемирной истории.

Вся округа, ближняя и дальняя, была известна ей, как содержимое собственного буфета. Она помнила не только где и когда можно взять нужное растение, но отмечала про себя, как с десятилетиями медленно меняется зеленая одежда: заросли горной мяты спускаются вдоль весенних промоин восточного склона Киян-горы, вымирает барбарис от едкой болезни, сжигающей нижние ветви, а цикорий, напротив, идет в подземное наступление, и корневища его душат легкие весенние цветы.

Крымская земля всегда была щедра к Медее, дарила ей свои редкости, зато и Медее благодарно помнила каждую из своих находок вместе с самыми незначительными обстоятельствами времени, места и всеми оттенками испытанного некогда чувства — начиная от первого июля девятьсот шестого года, когда маленькой девочкой посреди заброшенной дороги возле Ак-Мечети она обнаружила ведьмино кольцо из девятнадцати некрупных, совершенно одинаковых по размеру грибов с бледновато-зелеными шляпками, местной разновидности белого. Венцом же ее находок, не имеющих пищевой ценности, был плоский золотой перстень с помутившимся аквамаринном, выброшенный к ее ногам утихающим после шторма морем на маленьком пляже возле Коктебеля двадцатого августа шестнадцатого года, в день ее шестнадцатилетия. Кольцо это носила она и по сей день, оно глубоко вросло в палец и лет тридцать уже и не снималось.

Своими подошвами она чувствовала благосклонность здешних мест, ни на какие другие края не променяла бы этой приходящей в упадок земли и выезжала из Крыма за всю свою жизнь дважды, в общей сложности на шесть недель.

Родом она была из Феодосии, вернее, из огромного, некогда стройного дома в греческом поселении, давно слившемся с Феодосийской окраиной. Ко времени ее рождения дом потерял изначальную стройность, разросся пристройками, террасами и верандами, отвечая этим ростом на бурное увеличение семьи, случившееся в первое десятилетие так весело начинавшегося века.

Этот бурный рост семьи сопровождался постепенным разорением деда Харлампия Синопли, богатого негоцианта, владельца четырех торговых кораблей, приписанных к новому в ту пору Феодосийскому порту. Старый Харлампий, к старости утративший ненасытно-огненную алчность, только диву давался, отчего это судьба, пытая его многолетним ожиданием наследника, шестикратным рождением мертвых младенцев и бессчетными выкидышами у обеих его жен, так щедро награждала потомством его единственного сына Георгия, которого он после тридцатилетних трудов выколоти-таки себе. Но, может, в том была заслуга второй его жены, Антониды, которая по обету дошла до Киева, а родив и выкормив сына, до смерти держала благодарственный пост. А может быть, многоплодие его сына шло от тощей рыжей невестки Матильды, привезенной им из Батума, вошедшей в дом скандально непорочной и рожавшей с тех пор раз в два года, в конце лета, с непостижимой точностью по круглоголовому младенцу. Старый Харлампий по мере рождения внуков слабел, добрел и утратил к концу жизни вместе с богатством даже образ властного, жесткого и талантливое купца. Но кровь его оказалась сильной, не растворилась в других потоках, и те из его потомков, которых не перемолотило кровожадное время, унаследовали от него и крепость натуры, и талант, а всем известная его жадность в мужской линии проявлялась большой энергией и страстью к строительству, а у женщин, как у Медее, претворялась в бережливость, повышенное внимание к вещи и в изворотливую практичность.

Семья была столь благословенно велика, что являла бы собой прекрасный объект для генетика, интересующегося распределением наследственных признаков. Генетика не нашлось, зато сама Медея, со свойственным ей стремлением все привести к порядку, к системе, от чайных чашек до облаков на небе, не однажды в своей жизни забавлялась, выстраивая своих братьев и сестер в шеренгу по усилению рыжести, разумеется, в воображении, поскольку она не помнила, чтобы вся семья когда-нибудь собиралась вместе: всегда кто-нибудь из старших братьев отсутствовал... Материнский медный оттенок проявлялся так или иначе у всех, но только двое, она сама и младший из братьев Димитрий, были радикально рыжими. У Александры, по-домашнему Сандрочки, волосы были сложного цвета красного дерева, даже и с пламенем.

Выскакивал иногда укороченный дедов мизинец, который доставался почему-то только мальчикам, да бабушкина приросшая мочка уха и исключительная способность к ночному видению, которой, между прочим, обладала и Медея. Все эти родовые особенности и еще несколько менее ярких играли в потомстве Харлампия.

Даже семейная плодовитость расщепилась на две линии: одни, как Харлампий, не могли произвести на свет хоть самого малого ребеночка, другие, напротив, сыпали в мир красноголовую мелочь, не придавая этому большого значения. Сам Харлампий лежал с десятого года на феодосийском греческом кладбище, на самой его высокой точке, с видом на залив, где аж до второй войны шлепали последние два его парохода, приписанные, как и прежде, к Феодосийскому порту.

Спустя много лет бездетная Медея собирала в своем доме в Крыму многочисленных племянников и внучатых племянников, вела за ними свое тихое ненаучное наблюдение. Считалось, что она всех их очень любит. Какова бывает любовь к детям у бездетных женщин, трудно сказать, но она испытывала к ним живой интерес, который к старости даже усилился.

Сезонными наплывами родни Медея не тяготилась, как не тяготилась и своим осенне-зимним одиночеством. Первые племянники появлялись обычно в конце апреля, когда, после февральских дождей и мартовских ветров, являлась из-под земли крымская весна, в лиловом цветении глициний, розовых тамарисков и китайски желтого дрока. Первый заезд обычно бывал кратким — несколько предпраздничных дней, первомайские, кое-кто дотягивал до девятого. Потом небольшая пауза, и в двадцатых числах мая съезжались девочки — молодые матери с детьми дошкольного возраста.

Поскольку племянников было около тридцати, график составляли еще зимой: больше двадцати человек четырехкомнатный дом не выдерживал.

## 2

Медея не верила в случайности, хотя жизнь ее была полна многозначительными встречами, странными совпадениями и точно подогаанными неожиданностями. Однажды встреченный человек через многие годы возвращался, чтобы повернуть судьбу, нити тянулись, соединялись, делали петли и образовывали узор, который с годами делался все яснее.

В середине апреля, когда, казалось, погода устанавливалась, выдался сумрачный день, похолодало, пошел темный дождь, обещавший обернуться снегом. Задернув занавески, Медея довольно рано зажгла свет и, бросив в свою умную печурку, которая брала мало топлива, но давала много тепла, два полена и немного хвороста, разложила на столе изношенную простыню и прикидывала, то ли порезать ее на кухонные полотенца, то ли, вырезав рваную середину, сшить из нее детскую простыню.

В это время в дверь крепко постучали. Она открыла. За дверью стоял молодой человек в мокром плаще и меховой шапке. Медея, приняв за одного из редких племянников,пустила его в дом.

— Вы Медея Георгиевна Синопли? — спросил молодой человек, и Медея поняла, что он не из родни.

— Да, это я, хотя уже сорок лет ношу другую фамилию, — улыбнулась Медея. Молодой человек был приятной наружности, со светлыми глазами и черными жидкими усиками, отпущенными книзу. — Раздевайтесь.

— Извините, я как снег на голову. Равиль Юсупов, из Караганды...

Все дальнейшее, что произошло в этот вечер и в эту ночь, было изложено Медеей в письме, написанном, вероятно, на следующий же день, но так и не отправленном.

Много лет спустя оно попало в руки племяннику Георгия и объяснило ему загадку совершенно неожиданного завещания Медеи, найденного им в той же пачке бумаг и помеченного одиннадцатым апреля семьдесят шестого года. Письмо было следующее:

«Дорогая Еленочка! Хотя я отправила тебе письмо всего неделю тому назад, произошло одно событие, которое действительно выходит из ряда вон, и об этом я и хочу тебе рассказать. Это из тех историй, начало которым положено давным-давно. Ты помнишь, конечно, возчика Юсима, который привез тебя с Армик Тиграновной в Феодосию в декабре восемнадцатого года? Представь себе, меня разыскал его внук через феодосийских знакомых. Удивительно, что и по сей день можно разыскать человека без всяких адресных книг. История довольно обыкновенная: их выселили из Алушты после войны, когда Юсима уже не было в живых. Мать Равиля с четырьмя детьми отправили в Караганду, это при том, что отец этих ребятшек погиб на фронте. Молодой человек с детства знает об этой истории — я имею в виду вашу эвакуацию — и помнит даже сапфировое кольцо, которое ты дала тогда Юсиму в благодарность. Мать Равиля многие годы носила его на руке, а в самые голодные времена променяла на пуд муки. Но это была только предварительная часть разговора, который, скажу тебе откровенно, меня тронул. Всплыло в памяти то, о чем мы не так уж любим вспоминать — о мытарствах тех лет. Потом Равиль мне открыл, что он участник движения за возвращение татар в Крым, что они давно уже начали и официальные и неофициальные шаги.

Он расспрашивал меня о старом татарском Крыме с жадностью, даже вытаскивал магнитофон и записывал, чтобы мой рассказ могли услышать его казахстанские и узбекские татары. Я рассказала ему, что помнила, о бывших моих соседях по Поселку, о Галие, о дедушке Ахмете-арычнике, который с рассвета до заката чистил здешние арыки, каждую соринку, как из глаза, вытаскивал, о том, как выселяли здешних татар, в два часа, не дав и собраться, и как Шура Городкова, партийная начальница, сама их выселяла, помогала вещи складывать и плакала в три ручья, а на другой день ее разбил удар и она уж перестала быть начальницей, но лет десять еще ковыляла по своей усадьбе с кривым лицом и невнятной речью. В наших местах и при немцах, хотя у нас румыны стояли, ничего такого не было. Хотя, я знаю, евреев брали, но не в наших местах. Рассказала я ему и про то, как в сорок седьмом, в половине августа, пришло повеление вырубить здешние ореховые рощи, татарами посаженные. Как мы ни умоляли, пришли дурни и срубили чудесные деревья, не дав и урожая снять. Так и лежали эти убитые деревья, все ветви в недозрелых плодах, вдоль дороги. А потом пришел приказ их пожечь. Таша с мужем из Керчи тогда у меня гостила, и мы сидели и плакали, глядя на этот варварский костер.

Память у меня, слава Богу, еще хорошая, все держит, и мы разговаривали за полночь, даже выпили. Старые татары, как помнишь, вина не брали. Уговорились, что завтра я поведу его по здешним местам, все покажу. И тут он мне высказал свою тайную просьбу: купить ему дом в Крыму, но на мое имя, потому что татарам, оказывается, домов не продают, есть на этот счет специальный указ, от сталинских еще времен.

Помнишь ли, Еленочка, каков был Восточный Крым при татарах! А Внутренний! Какие в Бахчисарае были сады, а сейчас по дороге в Бахчисарай ни деревца, все свели, все уничтожили... Только я постелила Равилю

постель в Самониной комнате, как слышу, машина к дому подъехала. Через минуту — стучат. Он грустно так посмотрел на меня: это за мной, Медея Георгиевна.

Лицо у него сделалось усталым до крайности, и я поняла, что не такой уж он и молодой — хорошо за тридцать. Он вытянул из магнитофона ленту, бросил в печь: неприятности у вас будут, простите меня. Я скажу им, что просто зашел на ночлег, и все... Ленточка эта, весь мой длинный рассказ, вмиг испарилась.

Пошла я открывать — стоят двое. Один из них — Петька Шевчук, сын здешнего рыбака, Ивана Гавриловича. Он мне, наглец, говорит: паспортная проверка — не пускаю ли я жильцов.

Ну, я ему отпустила по первое число: как ты смеешь ко мне в дом ночью вламываться? Нет, не пускаю я жильцов, но сейчас в доме у меня гость, и пусть они отправляются куда им будет угодно и до утра меня не беспокоят. Свинья такая, посмел в мой дом прийти! Если ты помнишь, я всю войну больничку продержала, здесь вообще, кроме меня, никаких медицинских сил не было. Сколько я ему фурункулов перелечила, а один был в ухе, пришлось вскрывать. Я чуть от страха не умерла, шутка ли: пятилетний ребенок — и все признаки мозгового поражения, а я кто — фельдшер! Ответственность какая...

Они повернулись и ушли, но машина не уехала, стоит возле дома наверху, мотор выключили.

А мальчик мой татарский, Равиль, улыбается спокойно: спасибо, Медея Георгиевна, вы необыкновенно мужественный человек, редко такие встречаются. Жаль, что вы мне не покажете завтра ни долину, ни Восточные холмы. Но я приду сюда, когда времена переменятся, я уверен.

Я достала еще одну бутылку вина, и спать мы уже не ложились, беседовали. Потом пили кофе, а когда рассвело, он умылся, я ему испекла лепешку, консервы дала московские, с лета еще оставшиеся, но он не взял, все равно, сказал, отберут. Проводила его до калитки, до самого верха. Дождь кончился, и было хорошо. Петька возле машины стоит, и второй с ним рядом. Простились мы с Равилем, а у них уже и дверка распахнута. Вот, Еленочка, какая история приключилась. Да, шапку свою меховую он забыл. Ну, я думаю, и хорошо. Может, повернется еще вспять, вернутся татары и отдам я ему шапку-то? Право, это было бы по справедливости. Ну да как Бог рассудит. А пишу я тебе так спешно вот на какой случай: хотя я никогда в жизни ни в какие политические истории не попадала, это Самоня был по этой части специалист, но, представь, вдруг в конце жизни, во времена послаблений, к старухе придерутся? Чтоб знала, где меня искать. Да, в прошлом письме забыла спросить, пришелся ли тебе впору новый слуховой аппарат. Хотя, признаться, мне кажется, что большая часть того, что говорят, не стоит того, чтобы слышать, и ты не много теряешь. Целую тебя. Медея».

### 3

Был конец апреля. Медеин виноградник был вычищен, огород уже напыжился всеми своими грядками, а в холодильнике два дня как лежала разрезанная на куски гигантская камбала, которую принесли ей знакомые рыбаки.

Первым появился племянник Георгий с тринадцатилетним сыном Артемом. Сбросив рюкзак, Георгий стоял посреди дворика, морщился от прямого сильного солнца и вдыхал сладкий густой запах.

— Режь да ешь, — сказал он сыну, но тот не понял, о чем говорит отец.

— Вон Медея белье вешает, — указал Артем.

Дом Медеи стоял в самой верхней части Поселка, но усадьба была ступенчатая, террасами, с колодцем в самом низу. Там, между большим орехом и старым уксусным деревом, была натянута веревка, и Медея, прово-



дящая обыкновенно свой обеденный перерыв в хозяйственных хлопотах, развешивала сильно подсиненное белье. Темно-синие тени гуляли по голубому полотну латаных простыней, простыни медленно, парусообразно выгибались, грозя развернуться и уплыть в грубо-синее небо.

«Бросить бы все к черту и купить здесь дом, — думал Георгий, спускаясь вниз к тетке, которая все еще не заметила их. — А Зойка как хочет. Взял бы Темку, Сашку...»

Последние десять лет именно это приходило ему в голову в первые минуты в крымском доме Медеи... Медея наконец заметила Георгия с сыном, бросила в пустой таз последнюю свернутую жгутом простыню, распрямилась:

— А, приехали... второй день жду... Сейчас, сейчас я подымусь, Георгиу.

Одна только Медея звала его так, на греческий лад. Он поцеловал старуху, она провела ладонью по родным, черным с медью, волосам, погладила и второго:

— Вырос.

— А можно там посмотреть, на двери? — спросил мальчик.

Дверная коробка по бокам была вся иссечена многочисленными зарубками — внуки метили рост.

Медея прицепила последнюю простыню, и она полетела, накрыв собой половину облачка, случайно забредшего в голое небо.

Георгий подхватил пустые тазы, и они пошли вверх: черная Медея, Георгий в мятой белой рубашке и Артем в красной майке.

А из соседней усадьбы, через чахлый и кривой совхозный виноградник, следили за ними Ада Кравчук, ее муж Михаил и их постоялица из Ленинграда, маленькая белая мышка Нора.

— Здесь народу собирается — тьма! Мендесихина родня. Вон Георгий приехал, он всегда первый, — не то с одобрением, не то с раздражением поясняла Ада постоялице.

Георгий был всего несколькими годами моложе Ады, в детские годы они вместе здесь хороводились, и Ада теперь недолюбливала его за то, что сама она постарела, расквашнела, а он все молод и даже седины не нажил.

Нора завороченно смотрела в ту сторону, где сходились балка, горюшка, завивалась какая-то длинная складка земли и там, в паху, стоял дом с черепичной крышей и звенел промытыми окнами навстречу трем стройным фигурам — черной, белой и красной... Она любовалась пейзажем и думала с благородной грустью: написать бы такое... Нет, не справиться мне...

Была она художница, кончила училище не совсем блестяще, однако кое-что у нее получалось: акварельные летучие цветы, флоксы, сирени, легкие полевые букеты. Вот и теперь, приехав только что сюда на отдых, она все приглядывалась к глициниям и предвкушала, как поставит одни кисти, совсем без листьев, в стеклянную банку, на розовую скатерть и, когда дочка днем будет спать, сядет рисовать на заднем дворике у тети Ады... Однако этот изгиб пространства, его сокровенный поворот волновал ее, побуждал к работе, которая самой же и казалась не по плечу. А три фигуры поднялись к дому и скрылись из виду...

На маленькой площадке, как раз посередине между крыльцом дома и летней кухней, Георгий распаковывал две привезенные им коробки, а Медея распорядилась, что куда нести. Момент был ритуальный. Каждый приезжающий привозил подарки, и Медея принимала их как будто не от своего имени, а от имени дома.

Четыре наволочки, два заграничных флакона с жидким мылом для мытья посуды, хозяйственное мыло, которого в прошлом году не было, а в этом появилось, консервы, кофе — все это приятно волновало старуху. Она разложила все по шкафам и комодам, велела не раскрывать без нее второй ящик и поспешила на службу. Обеденный перерыв уже окончился, а опаздывать она обычно себе не позволяла.

Георгий поднялся на самый верх тетких угодий, где, как сторожевая башня, еще покойным Мендесом была водружена деревянная будка убор-

ной, вошел в нее и, сев без малейшей надобности на отскобленное добела деревянное сиденье, оглядеся. Стояло ведро с золой, поломанный ковшик при нем, висела на стене выцветшая картонка с инструкцией по пользованию уборной, написанная еще Мендесом, со свойственным ему простодушным остроумием. Заканчивалась она словами: уходя, оглянись, чиста ли твоя совесть...

Георгий задумчиво глядел вверх короткой, закрывающей лишь нижнюю часть уборной, двери в образовавшееся выше прямоугольное оконце и видел двойную цепь гор, опускающуюся довольно резко вниз, к далекому лоскуту моря и развалинам древней крепости, различимым лишь острым глазом, да и то в ясную погоду. Он любовался этой землей, ее выветренными горами и сглаженными предгорьями, она была скифская, греческая, татарская, и хотя теперь стала совхозной и давно тосковала без человеческой любви и медленно вымирала от бездарности хозяев, история все-таки от нее не уходила, витала в весеннем блаженстве и напоминала о себе каждым камнем, каждым деревом... Среди племянников давно уже было установлено: лучший на свете вид открывается из Медеино сортира.

А под дверью переминался с ноги на ногу Артем, чтобы задать отцу вопрос, который — сам знал — задавать сейчас не стоило, но, дождавшись, когда отец вышел, все-таки спросил:

— Пап, а когда на море пойдём?

Море было довольно далеко, и потому обычные курортники ни в Нижнем поселке, ни тем более в Верхнем не селились. Отсюда либо ездили на автобусе в Судак, на городской пляж, либо ходили в дальнюю бухту, за двенадцать километров, и это была целая экспедиция, иногда на несколько дней, с палатками.

— Что ты как маленький, — разозлился Георгий. — Какое сейчас море? Собирайся, на кладбище сходим...

На кладбище идти Артему не хотелось, но выбора у него теперь не оставалось, и он пошел надевать кеды. А Георгий взял холщовую сумку, положил в нее немецкую саперную лопатку, подумал немного над банкой краски-серебрянки, но медленное это дело решил оставить на следующий раз. С вешалки в сарае он сдернул линялую шляпу из солдатского среднеазиатского комплекта, им же когда-то сюда привезенного, стукнул шляпой о колено, выбив облако мельчайшей пыли, и, заперев дверь дома, сунул ключ под известный камень, мимоглядно порадовавшись этому треугольному камню с одним раздвоенным углом — он помнил его с детства.

Георгий, в прошлом геолог, шел легким и длинным профессиональным шагом, за ним семенил Артем. Георгий не оглядывался, спиной видел, как торопится Артем, сбиваясь с шага на бег.

«Не растёт, в Зойку пойдет», — с привычным огорчением подумал Георгий. Младший сын, трехлетний Саша, был ему гораздо милей своим набыченным бесстрашием и непробиваемым упрямством, обещающими превратиться во что-то бесспорно более мужское, чем этот неуверенный в себе и болтливый, как девочка, первенец. Артем же боготворил отца, гордился его столь явной мужественностью и уже догадывался, что никогда не станет таким сильным, таким спокойным и уверенным, и сыновняя его любовь была горько-сладкой.

Но теперь настроение у Артема стало прекрасным, как если бы он уговорил отца пойти на море. Он и сам не вполне понимал, что важно было не море, а выйти вдвоем с отцом на дорогу, еще не пыльную, а свежую и молодую, и идти с ним куда угодно, пусть и на кладбище.

Кладбище шло от дороги на подъем. Наверху была разрушенная татарская часть с остатками мечети, восточный же склон издавна был христианским, но после выселения татар христианские захоронения стали подниматься по склону вверх, как будто и мертвые продолжали несправедное дело изгнания.

Вообще-то предки Синопли покоились на феодосийском греческом кладбище, но к тому времени оно давно было закрыто, а отчасти и снесе-

но, и Медея с легким сердцем похоронила мужа-еврея здесь, подальше от матери. Рыжая Матильда, добрая во всех отношениях христианка, истовая православная, недолюбливала мусульман, боялась евреев и шарахалась от католиков.

Над могилой Медеиного мужа стоял обелиск со звездой в наверху и надписью, вырубленной на цоколе: «Самуил Мендес, боец ЧОН, член партии с 1912 года. 1890 — 1952». Надпись соответствовала воле покойного, звезду же Медея несколько переосмыслила, выкрасив серебрянкой заодно и острие, на которое она была насажена, отчего та приобрела шестой, перевернутый, луч и напоминала Рождественскую, как ее изображали на старинных открытках, а также наводила и на другие ассоциации.

Слева от обелиска стояла маленькая стелла с овальной фотографией круглолицего, улыбающегося умными узкими глазками Павлика Кима, приходившегося Георгию родным племянником и утонувшего в пятьдесят четвертом году на городском судакском пляже на глазах у матери, отца и деда, старшего Медеиного брата Федора.

Придирчивому глазу Георгия не удалось найти неполадки, и Медея, как всегда, его опередила: ограда была покрашена, цветник вскопан и засажен дикими крокусами, взятыми на Восточных холмах. Георгий для порядка укрепил бровку цветника, потом обтер штык лопаты, сложил ее и забросил в сумку. Молча посидели отец с сыном на низкой лавочке, Георгий выкурил сигарету. Артем не прерывал отцовского молчания, и Георгий благодарно положил ему руку на плечо.

Солнце клонилось к западному хребту, нацеливаясь в ложбинку между двумя округлыми горками, Близнецами, как шар в лузу.

В апреле солнце садилось между Близнецами, сентябрьское солнце уходило за горизонт, распарывая себе брюхо о шлык Киян-горы. Год от года высыхали источники, вымирали виноградники, приходила в упадок земля, и только профили гор держали каркас этого края, и Георгий любил их, как можно любить лицо матери или тело жены, — наизусть, с закрытыми глазами, навсегда.

— Пошли, — бросил он сыну и начал спуск к дороге, шагая напрямик, не замечая обломков каменных плит с арабской вязью.

Артему сверху показалось, что серая дорога внизу движется, как эскалатор в метро, он даже приостановился от удивления:

— Пап! — И тут же засмеялся: это шли овцы, заполняя буроватой массой всю дорогу и выплескивая ее на обочину. — Я думал, дорога движется.

Георгий понимающе улыбнулся...

Они смотрели на течение медленной овечьей реки и были не единственными, кто наблюдал за дорогой: метрах в пятидесяти на пригорке сидели две девочки, подросток и совсем маленькая.

— Давай обойдем стадо, — предложил Артем.

Георгий согласно кивнул. Проходя совсем рядом с девочками, увидели, что разглядывают они совсем не овец, а какую-то находку на земле. Артем вытянул шею: между двумя жесткими сухими плетями каперсового куста торчком стояла змеиная кожа, цвета старческого ногтя, полупрозрачная, местами она была скручена, кое-где треснула, и маленькая девочка, боясь тронуть ее рукой, опасливо прикасалась к ней тонкой палочкой. Вторая же оказалась взрослой женщиной, это была Нора. Обе были светловолосые, обе в легких косынках, в длинных цветастых юбках и одинаковых кофточках с карманами.

Артем тоже присел возле змеиной кожи.

— Пап, ядовитая была?

— Полоз, — пригляделся Георгий, — здесь много их.

— Мы никогда такого не видели, — улыбнулась Нора. Она узнала в нем того — утреннего, в белой рубашке.

— Я в детстве здесь однажды змеиную яму нашел. — Георгий взял шуршащую кожу и расправил ее. — Свежая еще.

— Неприятная все же вещица, — передернула плечом Нора.

— Я ее боюсь, — шепотом сказала девочка, и Георгий заметил, что мать и дочь уморительно похожи — круглыми глазами и острыми подбородочками — на котят.

«Какие милые малышки», — подумал Георгий и положил их страшную находку на землю.

— Вы у кого живете?

— У тети Ады, — ответила детская женщина, не отрывая глаз от змеиной кожи.

— А, — кивнул он, — значит, увидимся. В гости приходите, мы вон там, — и он махнул в сторону Медеиной усадьбы и не оглядываясь сбежал вниз. Вприпрыжку за ним понесся Артем.

Стадо тем временем прошло, и только арьергардная овчарка, в полном безразличии к прохожим, трусила по дороге, заваленной овечьим пометом.

— Ноги большие, как у слона, — с осуждением сказала девочка.

— Совсем не похож на слона, — возразила Нора.

— Я же говорю, не сам, а ноги... — настаивала девочка.

— Если хочешь знать, он похож на римского легионера. — Нора решительно наступила на змеиную кожу.

— На кого?

Нора засмеялась своей глупой привычке разговаривать с пятилетней дочкой, совершенно забывая о ее возрасте, поправилась:

— Глупость сказала! Римляне же брились, а он с бородой!

— А ноги как у слона...

#### 4

Поздним вечером того же дня, когда Нора с Таней уже спали в отведенном им маленьком домике, а Артем свернулся по-кошачьи в комнате покойного Мендеса, Медея сидела с Георгием в летней кухне. Обычно она перебиралась туда в начале мая, но в этом году весна была ранняя, в конце апреля стало совсем тепло, и она открыла и вымыла кухню еще до приезда первых гостей. К вечеру, однако, похолодало, и Медея накинула выношенную меховую безрукавку, покрытую старым бархатом, а Георгий надел татарский халат, который уже много лет служил всей Медеиной родне.

Кухня была сложена из дикого камня, на манер сакли, одна ее стена упиралась в подрытый склон холма, а низенькие, неправильной формы окна были пробиты с боков. Висячая керосиновая лампа мутным светом освещала стол, в круглом пятне света стояли последняя сбереженная Медеей для этого случая бутылка домашнего вина и початая поллитровка яблочной водки, которую она любила. В доме был давно заведен странный распорядок: ужинали обыкновенно между семью и восемью, вместе с детьми, рано укладывали их спать, а к ночи снова собирались за поздней трапезой, столь бесполезной для пищеварения и приятной для души. И теперь, в поздний час, переделав множество домашних дел, Медея и Георгий сидели в свете керосиновой лампы и радовались друг другу. У них было много общего: оба были подвижны, легки на ногу, ценили приятные мелочи жизни и не терпели вмешательства в их внутреннюю жизнь.

Медея поставила на стол тарелку с кусочками жареной камбалы. Широта ее натуры забавным образом сочеталась у нее со скупостью, порции ее всегда были чуть меньше, чем хотелось бы, но она могла спокойно отказать ребенку в добавке, сказавши:

— Вполне достаточно. Не наелся, возьми еще кусок хлеба.

Дети быстро привыкали к строгой уравниловке застолья, а те из племянников, кому уклад ее дома не нравился, сюда и не приезжали.

Подперев рукой голову, она наблюдала, как Георгий подкладывает в открытый очаг, примитивное подобие камина, небольшое поленце.

По верхней дороге проехала машина, остановилась и дала два хриплых сигнала. Ночная почта. Телеграмма. Георгий пошел наверх. Почтальонша была знакомая, шофер новый, молодой. Поздоровались. Она дала ему телеграмму:

— Что, съезжаются ваши?

— Да, пора уже. Как Костя-то?

— А чего ему сделается? То пьет, то болеет. Хорошая жизнь...

При свете фар он прочитал телеграмму: «Приезжаем тридцатого Ника Маша дети».

Он положил телеграмму перед Медеей. Она, прочитав, кивнула.

— Ну что, тетушка, выпьем? — Он открыл початую бутылку, разлил по рюмкам.

«Как жаль, — думал он, — что они так быстро приезжают. Как хорошо бы пожить здесь вдвоем с Медеей».

Каждый из племянников любил пожить вдвоем с Медеей.

— Завтра с утра воздушку натяну, — сказал Георгий.

— Как? — не поняла Медея.

— Электричество на кухню проведу, — пояснил он.

— Да-да, ты давно уж собирался, — вспомнила Медея.

— Мать велела с тобой поговорить, — начал Георгий, но Медея отвела известный ей разговор:

— С приездом, Георгиу, — и взялась за рюмку.

— Только здесь я себя чувствую дома, — как будто пожаловался он.

— И потому каждый год пристаешь с этим глупым разговором, — хмыкнула Медея.

— Мать просила...

— Да я письмо получила. Глупости, конечно. Зима уже кончилась, впереди лето. В Ташкенте не буду я жить, ни в зиму, ни в лето. И Елену к себе не приглашаю. В нашем возрасте не меняют мест.

— Я в феврале там был. Мать постарела. По телефону с ней теперь разговаривать невозможно. Не слышит. Читает много. Газеты даже. Телевизор смотрит.

— Твой прадед Харлампий тоже все газеты читал. Но тогда их не так много было. — И они надолго замолчали.

Георгий подбросил в огонь несколько хворостин, они сухо затрещали, и в кухне стало светлей.

Как хорошо бы он жил здесь, в Крыму, если бы решился плюнуть на потерянные десять лет, на несостоявшееся открытие, недописанную докторскую диссертацию, которая всасывала его в себя, как злая тряпина, как только он к ней приближался, но зато, когда он уезжал из Академгородка, от этой трухлявой кучи бумаги, она почти переставала его занимать и сжималась в маленький темный комочек, про который он забывал. Построил бы дом здесь... Феодосийское начальство все знакомое, дети Медеевых друзей... Можно в Агузах или по дороге к Новому Свету, там маячит полуразрушенная чья-то дача, надо спросить у Медеи чья...

Медея думала о том же. Ей хотелось, чтобы именно он, Георгий, вернулся сюда, чтобы опять Синопли жили в здешних местах...

Они медленно пили водку, старуха подремывала, а Георгий прикидывал, как бы он пробил артезианский колодец; хорошо бы найти промышленный бур...

## 5

Елена Синопли, мать Георгия, принадлежала к знаменитой культурнейшей армянской семье и вовсе не помышляла о том, чтобы стать женой простоватого грека из феодосийского пригорода, старшего брата задушевной гимназической подруги.

Медея Синопли была немеркнувшей звездой женской гимназии; ее образцовые тетради показывали последующим поколениям гимназисток.

Дружба девочек началась с тайного и горячего соперничества. В тот год — а это был год двенадцатый — семья Степанян не уехала, как обычно, на зиму в Петербург из-за легочной болезни младшей сестры Елены, Анаит. Семья осталась зимовать на своей даче в Судак, а Елена с гувернанткой весь тот год прожила в гостинице в Феодосии и ходила в женскую гимназию, составляя острую конкуренцию Медеиной репутации первой отличницы. Толстененькая приветливая Леночка, казалось, не испытывала никакой нервозности и в соревновании как бы и не участвовала. Такое поведение можно было объяснить либо ангельским великодушием, либо гордыней сатанинской. Елена в грош не ставила свои успехи: сестры Степанян получали хорошее домашнее образование. Французскому и немецкому их учили гувернантки, к тому же раннее детство они провели в Швейцарии, где на дипломатической службе состоял их отец.

Обе девочки, и Медея, и Елена, окончили третий класс на круглые пятерки, но пятерки эти были разные: легкие, с большим запасом прочности у Елены и трудовые, мозолистые у Медеи. При всем неравном весе их пятерок на годовом выпуске они получили одинаковые подарки — темно-зеленые с золотым тиснением однотомники Некрасова с каллиграфической надписью на форзаце.

На следующий день после выпуска, около пяти часов, в дом Синопли приехало неожиданно семейство Степанян в полном составе. Все женщины дома во главе с Матильдой, убравшей свои потускневшие медные волосы под белую косынку, возле большого стола в тени двух старых тутовых деревьев готовили тесто для пахлавы. Наиболее простая часть операции, производимая на самом столе с помощью скалок, уже закончилась, и теперь они растягивали на руках огромный лист теста, слегка подкидывая его края на тыльных сторонах ладоней. Медея вместе с остальными сестрами принимала в этом равноправное участие.

Госпожа Степанян всплеснула руками — в Тифлисе во времена ее детства готовили пахлаву точно так же.

— Моя бабушка это делала лучше всех! — воскликнула она и попросила передник.

Господин Степанян, поглаживая одной рукой седоватые усы, с доброжелательной улыбкой наблюдал за праздничной женской работой, любовался, как мелькали в пестрой тени обтертые маслом женские руки, как легко и нежно касались они тестяного листа.

Потом Матильда пригласила их в дом, они выпили кофе с засахаренными фруктами, и снова Армик Тиграновна умилилась детским воспоминаниям об этом сухом варенье. Общие кулинарные пристрастия, в корне своем турецкие, еще более расположили знаменитую даму к трудолюбивому дружному семейству, и казавшийся ей столь сомнительным проект — пригласить малознакомую девочку из семьи портового механика в качестве малолетней компаньонки своей дочери — показався ей теперь очень удачным.

Предложение было для Матильды неожиданным, но лестным, и она обещала сегодня же посоветоваться с мужем, и это свидетельство супружеского уважения в столь простой семье еще более расположило Армик Тиграновну.

Через четыре дня Медея вместе с Еленой была отправлена в Судак, на прекрасную дачу на берегу моря, которая и по сей день стоит на том же месте, переоборудованная в санаторий, не так далеко от Верхнего поселка, в который много лет спустя будут приезжать на лето общие потомки Армик Тиграновны и рыжей Матильды, так ловко раскатывающей тесто для пахлавы...

Девочки нашли друг в друге совершенство: Медея оценила благородное простодушие и сияющую доброту Елены, а Елена восхищалась Медеиной сдержанностью, самостоятельностью, мужским бесстрашием и особой женской одаренностью рук, отчасти унаследованной, отчасти перенятой от матери.

По ночам, лежа на немецких гигиенически-жестких складных кроватях, они вели долгие содержательные разговоры, сохранив с тех пор на всю жизнь глубокое чувство душевной близости, хотя в более поздние годы им так и не удалось вспомнить, о чем же таком заветном говорили они в то лето до рассвета.

Медея отчетливо помнила Еленин рассказ о том, как однажды ночью, во время болезни, ей привиделся ангел на фоне ставшей вдруг прозрачной стены, за которой она разглядела молодой, очень светлый лес. А у Елены в памяти запечатлелись рассказы Медеи о ее многочисленных находках, которыми была так богата ее жизнь. Дарование это, к слову сказать, она полностью явила в то лето, собрав целую коллекцию крымских полудрагоценных камней. Еще один сохранившийся в памяти эпизод был связан с припадком смеха, который обуял их однажды ночью, когда они представили себе, что учитель пения, хромой жеманный молодой человек, женится на начальнице гимназии, огромной строгой даме, которую трепетали даже цветы на подоконнике.

К осени Елену увезли в Петербург, и тогда началась переписка и с некоторыми перерывами длилась уже более шестидесяти лет. Первые годы переписка велась исключительно на французском языке, на котором Елена в те годы писала значительно лучше, чем на русском. Медея прилагала немало усилий, чтобы достичь той же свободы, которую обрела ее подруга, гуляя с гувернанткой по берегу Женевского озера. Девочки, следуя духовной моде тех лет, признаются друг другу в дурных мыслях и дурных намерениях (...и у меня возникло острое желание ударить ее по голове! ...история с чернильницами была мне известна, но я промолчала, и думаю, что это была с моей стороны настоящая ложь. ...и мама до сих пор уверена, что деньги взял Федя, а меня так и подмывало сказать, что виновата была Галя, — и все это исключительно по-французски!). Эти трогательные самораскопки прерываются навсегда Медеиным письмом от десятого октября тысяча девятьсот шестнадцатого года. Это письмо написано по-русски, жестко и коротко. В нем сообщается, что седьмого октября вблизи Севастопольской бухты взорвался корабль «Императрица Мария» и среди погибших числится судовой механик Георгий Синопли. Предполагали, что это была диверсия. По обстоятельствам военного времени, перетекавшего в революцию и хаотическую войну в Крыму, корабль не смогли достать сразу же после его затопления, и только три года спустя, уже в советское время, заключение экспертов показало, что взрыв произошел действительно от взрывного устройства, помещенного в судовой двигатель. Один из сыновей Георгия, Николай, работал на подъеме затонувшего судна в команде водолазов.

В эти октябрьские дни Матильда донашивала своего четырнадцатого ребенка, собиравшегося родиться не в августе, как все ее остальные дети, а в середине октября. Обе они, и Матильда, и розовоголовая девочка, на девятый день после гибели Георгия последовали за ним.

Медея была первой, кто узнал о смерти матери. Она пришла утром к больнице, и вышедшая ей навстречу знакомая санитарка Фатима остановила ее на лестнице и сказала ей на крымско-татарском, который в те годы знали многие жители Крыма:

— Девочка, не ходи туда, иди к доктору, он ждет тебя...

Доктор Лесничевский вышел ей навстречу с мокрым лицом. Он был маленький толстый старичок, Медея была выше его на голову. Он сказал ей, как говорят детям: «Золотко мое!» — и протянул руки вверх, чтобы погладить ее по голове... Они с Матильдой в один год начинали свое дело: она — рожать, а он — заведовать акушерским отделением, и всех ее детей он принимал сам.

Их осталось тринадцать. Тринадцать детей, только что потерявших отца, еще не успевших поверить в реальность его смерти. Те символические похороны погибших моряков, с оркестром и оружейными залпами, младшим детям казались каким-то военным развлечением вроде парада.

В шестнадцатом году смерть не настолько еще осуетилась, как в восемнадцатом, когда умерших от сыпного тифа хоронили во рвах, еле одетыми и без гробов. Хотя война шла уже давно, она была далеко, а здесь, в Крыму, смерть была еще штучным товаром.

Матильду обрядили, черным кружевом покрыли звонкие волосы и некрещеную девочку положили к ней. Старшие сыновья отнесли на руках гроб сперва в греческую церковь, а оттуда на старое кладбище, под бок Харлампию.

Похороны матери запомнил даже самый младший, двухлетний Димитрий. Через четыре года он рассказал Медее о двух поразивших его событиях того дня. Похороны пришлись на воскресенье, и на более ранний час в церкви было назначено венчание. На узкой дороге, ведущей к церкви, свадебный поезд встретился с погребальным шествием. Произошла заминка, и несшим гроб пришлось сойти на обочину, чтобы дать проехать открытому автомобилю, на заднем сиденье которого восседала, как муха в сметане, чернявая испуганная невеста в белейшем облаке свадебного наряда, а рядом с ней ее лысеющий жених. Это был чуть ли не единственный автомобиль в городе, принадлежащий богачам Мурузи, и был он зеленого цвета, — об этом автомобиле и рассказал Медее Димитрий. И когда мальчик напомнил ей, она вспомнила и сама. Действительно, автомобиль был зеленым... Второй эпизод был загадочным. Мальчик спросил у нее, как назывались те белые птицы, которые сидели возле маминой головы.

— Чайки? — удивилась Медее.

— Нет, одна побольше, а другая поменьше. И личики у них другие, не как у чаек, — объяснил Димитрий.

Больше ничего он вспомнить не мог.

В тот год было Медее шестнадцать. Пятеро было старших, семеро младших. Двоих в тот день не хватало, самых старших, Филиппа и Никифора. Оба они воевали и оба впоследствии погибли, один от красных, другой от белых, и всю жизнь писала Медее их имена в одну строку в поминальной записке...

Приехавшая из Батума на похороны младшая сестра Матильды, вдовая Софья, рассудила взять к себе двух мальчиков из тех, что постарше. После мужа у нее осталось большое хозяйство, и со своими тремя дочерьми она с ним едва управлялась. Четырнадцатилетний Афанасий и двенадцатилетний Гавриил обещали стать в недалеком времени мужчинами, которых так не хватало в ее доме. Но не было им суждено поднять теткино хозяйство, потому что двумя годами позже умная и дельная Софья продала остатки имущества и увезла всех детей сначала в Болгарию, потом в Югославию. В Югославии Афанасий, совсем еще неоперившийся юноша, стал послушником в православном монастыре, оттуда перебрался в Грецию, где на долгие годы и затерялись его следы. Последнее, что было известно о нем тетке, — что он живет в горах никому не известной Метеоры. Софья с дочерьми и Гавриилом прижилась в конце концов в Марселе, и венцом ее жизни был греческий ресторанчик, образовавшийся со временем из розничной торговли восточными сладостями, в частности пахлавой, тесто для которой так ловко растягивали ее проворные некрасивые дочери. Гавриил, единственный в семье мужчина, действительно подпирал весь дом. Он выдал замуж сестер, похоронил перед второй войной тетку и лишь после войны, уже далеко не молодым, женился на француженке и родил двух французов с веселой фамилией Синопли.

Десятилетнего Мирона забрал родственник со стороны Синопли, милейший Александр Григорьевич, содержатель кафе «Бубны» в Коктебеле, — он приехал на похороны Матильды и не собирался брать к себе в дом новых детей. Сердце дрогнуло. Через несколько лет мальчик умер от быстрой и непонятной болезни. Спустя месяц Анеля, старшая сестра Медее, самая, как считали, красивая из сестер, забрала шестилетнюю Настю к себе в Тбилиси, где жила с мужем, известным в то время музыкантом. Она была намерена взять и младших мальчиков, но они подняли такой



могучий рев, что их решили пока оставить с Медеей. Осталась с Медеей также и восьмилетняя Александра, всегда очень к ней привязанная, а в последние дни просто от нее не отходившая.

Анеля была в смущении: как оставить троих малолетних на шестнадцатилетнюю Медею? Но вмешалась старая Пелагея, одноглазая нянька, всю жизнь прожившая в их доме и приходившаяся Харлампию дальней родственницей:

— Пока я на ногах, пусть меньшие растут в доме.

Так все и решилось.

Через некоторое время Медея получила сразу три письма из Петербурга — от Елены, Армик Тиграновны и Александра Арамовича. Его письмо было самым коротким: «Вся наша семья глубоко сочувствует Вам в постигшем Вас горе и просит принять то немногое, чем мы можем помочь Вам в трудную минуту». «Тем немногим» оказалась очень значительная по тем временам сумма денег, половину которой Медея потратила на большой крест черного дорогого мрамора с выбитыми на нем именами матери и отца, тело которого растворилось в чистой и крепкой воде Понта Эвксинского, принявшего многих мореходов Синопли...

На этом самом месте, в тени дикой оливы, посаженной над могилой Харлампия, в двадцать шестом году, в октябрьские дни, задремав среди дня на лавочке, Медея увидела троих: Матильду в нимбе рыжих волос, не собранных в пучок, как при жизни, а празднично стоявших над ее головой, с голенькой розовоголовой девочкой на руках, но не новорожденной, а почему-то трехлетней, и отца, седоволосого, с совершенно белой бородой и выглядевшего гораздо старше, чем помнила его Медея. Не говоря о том, что при жизни бороды он никогда не носил.

Они были к ней ласковы, но ничего не сказали, а когда исчезли, Медея поняла, что она вовсе и не дремала, во всяком случае, никакого перехода от сна к бодрствованию она не заметила, а в воздухе ощутила чудесный смолистый запах, древний и смуглый. Вдыхая этот волнующий запах, она догадалась, что своим появлением, легким и торжественным, а в особенности этим ароматом они благодарили ее за то, что она сохранила младших, и как будто освобождали от каких-то полномочий, которые она давно и добровольно взяла на себя.

Прошло некоторое время, прежде чем она смогла описать это необыкновенное событие в письме к Елене.

«Вот уже несколько недель, Еленочка, как я не могу сесть за письмо, чтобы описать тебе одно необычное мистическое происшествие...»

Далее она переходит на французский: все русские слова, которые она могла бы здесь употребить, такие, как «видение», «явление», «чудо», оказались невозможны, и легче было прибегнуть к иностранному наречию, в котором богатство оттенков как бы отсутствует.

И пока она писала это письмо, снова откуда-то приплыл смолистый запах, который она почувствовала тогда на кладбище.

«Qu'en penses-tu?»<sup>1</sup> — закончила она своим каллиграфическим почерком, который во французском варианте делался решительней и острей.

Письма долго тряслись в брезентовых мешках в почтовых вагонах, и переписка отставала от жизни на два-три месяца. Через три месяца Медея получила ответ на посланное письмо. Это было одно из самых длинных посланий, написанных Еленой, и написано оно было тем же гимназическим почерком, так похожим на Медеин. Она благодарила ее за письмо, писала, что пролила много слез, вспоминая те ужасные годы, когда казалось, что все потеряно. Далее Елена признавалась, что и ей пришлось пережить подобную мистическую встречу накануне спешной эвакуации семьи в ночь с шестнадцатого на семнадцатое ноября восемнадцатого года.

«За три дня до этого мама перенесла удар. Вид у нее был ужасный, гораздо хуже того, что ты видела через три недели, когда мы добрались до

<sup>1</sup> Что ты об этом думаешь? (франц.)

Феодосии. Лицо ее было синим, один глаз закатился, мы с минуты на минуту ожидали ее смерти. Город простреливался, в порту шла бешеная погрузка штабов и гражданского населения. Папа был, как ты знаешь, членом Крымского правительства, оставаться ему было никак невозможно. Арсик болел одной из своих нескончаемых ангин, а Анаит, всегда такая жизнерадостная, плакала не переставая. Отец все время проводил в городе, приезжал на считанные минуты, клал руку маме на голову и снова уезжал. Обо всем этом я тебе рассказывала, кроме, может быть, самого главного. В тот вечер я уложила Арсика и Анаит, прилегла рядом с мамой и сразу задремала. Комнаты были все проходными, анфиладой, я не случайно об этом упоминаю, это существенно. Вдруг сквозь сон слышу, что кто-то входит. Отец, подумала я, но не сразу поняла, что вошли в правую дверь, изнутри квартиры, тогда как вход со стороны улицы был слева. Я хотела встать, дать отцу чаю, но меня как будто сковало, и рукой пошевелить не могла. Отец, как ты помнишь, был небольшого роста, а стоящий у двери был крупный человек и, как мне показалось, в халате. Видно было очень смутно — старик; лицо его было очень белым и как будто немного светилось. Было страшно, очень страшно, но, представь себе, интересно. Я поняла, что это кто-то близкий, родственник, и тут же как будто вслух мне сказали: прадед Шинарарян. Мама рассказывала тебе об этой удивительной ветви ее предков, которые строили все армянские храмы. Он как-то плавно приблизился ко мне и сказал внятно, певучим голосом: «Пусть все уезжают, а ты, деточка, останься. В Феодосию поедешь. Ничего не бойся».

И тут я увидела, что он не полный человек, а только верхняя часть, а ниже туман, как будто призрак спешил и не успел целиком сложиться.

Так все и было, Медея. Обливаясь слезами, под утро расстались. Они уехали последним пароходом, я с мамой осталась. Через сутки город взяли красные. В эти ужасные дни, когда по городу шли расстрелы и казни, нас не тронули. Юсим, извозчик покойной княгини, в квартире которой мы жили все это время, сначала увез нас с мамой в пригород, к своей родне, а через неделю посадил нас в фаэтон и повез. До Феодосии мы добирались две недели, и про эту поездку ты все знаешь. Ехала я к тебе как в родной дом, и только сердце мое оборвалось, когда мы увидели, что ворота вашего дома заколочены. Я не сразу догадалась, что вы стали пользоваться боковым входом.

Ни мама, ни папа мне никогда даже во сне не приснились, наверное, оттого, что сплю я слишком крепко, никаким сном до меня не достучаться. Какое же счастье тебе, дорогая Медея, даровано — такой живой привет получить от родителей. Ты не смущайся, не пытай себя вопросами — зачем, для чего... Все равно мы сами не догадаемся. Помнишь, ты читала твой любимый отрывок из Апостола, про тусклое стекло? Все разъяснится со временем, за временем. В детстве, в Тбилиси, с нами Господь в одном доме жил, ангелы по комнатам гуляли, в Крыму руку над нами держал, а здесь, в Азии, все по-другому, он далеко отстоит от меня, и церковь здешняя как пустая... Но грех жаловаться, все хорошо. Наташа болела, теперь почти уже выздоровела, немного кашляет только. Федор уехал в поле на неделю. Есть у меня одна новость: будет еще один ребенок. Уже скоро. Ни о чем так не мечтаю, как о твоём приезде. Может, собрала бы мальчиков да приехала весной?..»

## 6

Медея всегда вставала очень рано, но в это утро прежде всех поднялся Артем. Солнце еще не рассиялось, утро было бледноватое, все в блестящей дымке, прохладное. Артем умывался у медного ручкомойника, гремя подвижным соском. Через несколько минут, разбуженный медным бряцанием, вышел и Георгий. Позже всех на этот раз поднялась Медея.

Медея, человек вообще молчаливый, по утрам была особенно несловохотлива, все это знали и вопросами донимали ее по вечерам. И в этот

раз, кивнув, она прошла к уборной, а оттуда на кухню — разжечь керогаз. Воды в доме не оказалось, и она вынесла пустое ведро и поставила его к ногам Георгия. Это был один из обычаев дома: после захода солнца не ходить к колодцу. Из уважения к Медее и этот, и другие необъяснимые законы всеми жильцами строго соблюдались. Впрочем, чем закон необъяснимей, тем и убедительней.

Георгий спустился к колодцу. Это был глубокий каменный резервуар, сложенный татарами в конце прошлого века, — в этом наливном колодце хранилась привозная драгоценная вода. Сейчас она стояла низко, и Георгий, достав ведро, долго ее рассматривал. Вода была мутной и даже на глаз жесткой. Для него, родившегося в Средней Азии, крымское безводье было не в диковинку.

«Надо, надо будет артезианскую скважину пробить», — подумал он уже во второй раз со вчерашнего дня, поднимаясь к дому по неудобной лестнице-тропке, как будто приноровленной к шагу женщины, несущей на голове кувшин.

Медее поставила чайник и, метя подолом выцветшей черной юбки по глинобитному полу кухни, вышла. Георгий сел на лавку, разглядывая ровные пучки трав, свисающие с потолочной балки. Татарская медная утварь стояла на высоких полках, а по углам громоздились друг на друге огромные казаны. Медный кунган венчал пирамиду. Вся эта утварь была грубей и проще узбекской, родственной, продававшейся на ташкентском базаре, но Георгий, обладающий глазом верным и несколько аскетическим, предпочитал эти, бедные, тем, многоработным, полным болтливого азиатского орнамента.

— Пап, а на море? — просунулся Артем.

— Вряд ли, — со скрытым раздражением бросил он сыну, отлично разбиравшемуся в оттенках отцовской речи.

Мальчик понял, что на море они не пойдут. По склонности характера ему бы поканючить, поныть, но, по тонкости души, уловившей благодать утренней тишины, он смолчал.

Пока вода согревалась на керогазе, Медее застилала свою постель, складывая подушки и одеяла в сундучок у изножья кровати, и бормотала коротенькое утреннее правило из совершенно стершихся молитвенных слов, которые, невзирая на их изношенность, неведомым образом помогали ей в том, о чем она просила, — принять новый день с его трудами, огорчениями, чужими пустыми разговорами и вечерней усталостью, дожить до вечера радостно, ни на кого не гневаясь и не обижаясь. Она с детства знала за собой это неприятное качество — обидчивость — и, так, давно с ней борясь, не заметила, что уже многие годы ни на кого не обижается. Только одна, давняя, многолетняя, обида сидела в ней глухой тенью... «Неужели и в могилу унесу?» — мимолетно подумала она.

Добормотав последнее, она тщательно, выработанным за многие годы движением сплела косу, свила ее в узел, обмотала голову черной шелковой шалью, выпростала длинный хвост из-под пучка на шею и вдруг увидела свое лицо в овальном зеркале, обложенном ракушками. Собственно, каждое утро она повязывала перед зеркалом шаль, но видела только складку материи, щеку, воротник платья. Сегодня же — это было как-то связано с приездом Георгия — она вдруг увидела свое лицо и удивилась ему. С годами оно еще больше удлинилось, вероятно, за счет опавших, съеденных двумя глубокими морщинами щек. Нос был фамильный и с годами не портился: довольно длинный, но нисколько вперед не выдающийся, с тупо подрезанным кончиком и круглыми ноздрями. Ее лицо напоминало красивую лошадиную морду, особенно в те годы, когда вскоре после замужества она неожиданно остригла себе челку и ненадолго завела парикмахерскую прическу взамен вечного узла волос, тяжелого и утомлявшего шею.

Медее с некоторым удивлением разглядывала свое лицо — внимательно и строго, и поняла внезапно, что оно ей нравится. В отрочестве она много страдала от своей внешности: рыжие волосы, чрезмерный рост и

чрезмерный рот; она стеснялась больших рук и мужского размера обуви, который носила...

«Красивая старуха из меня образовалась», — усмехнулась Медея и покачала головой. Слева от зеркала, среди выводка фотографий, из черной прямоугольной рамы смотрела на нее молодая пара — длиннолицая с низкой челкой женщина и пышноволосый, благородно-левантийского облика мужчина с чересчур большими для его худого лица усами.

И снова Медея покачала головой: чего было так убиваться в юности? Хорошее лицо ей досталось, и рост хороший, и сила, и красота тела, — это Самуил, дорогой ее муж Самуил ей внушил... Она перевела взгляд на его большой портрет с траурной ленточкой в углу, с последней его фотографии увеличенный. Там он был все еще пышноволос, но две глубокие залысины подняли вверх его невысокий лоб, усы поскромнели и увяли, глаза смотрели мягко, и неопределенная ласковость была в лице.

«Все хорошо. Все прошло», — подумала Медея и, отогнав от себя тень старой боли, вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Комната ее для всех приезжающих гостей была священна, и без особого приглашения туда не входили.

Георгий уже сварил кофе. Он делал это точно так же, как Медея и как его мать Елена, — наука была общая, турецкая. Маленький медный кофейник стоял в середине стола, на невычищенном подносе. Медея, при всей ее педантической аккуратности, не любила этого занятия — чистить медь. Может быть, оттого, что в патине она ей больше нравилась. Медея налила кофе в грубую керамическую чашку, из которой пила уже лет пятнадцать. Чашка была тяжелой и нескладной. Это был давний подарок племянницы Ники, одна из первых ее керамик, плод недолгого увлечения лепкой. Темно-сине-красная, в потеках запекшейся глазури, шершавая, слишком декоративная для ежедневного пользования, она почему-то полюбилась Медее, и Ника по сей день гордилась, что угодила тетке.

Делая первый глоток, Медея подумала о Нике, о том, что сегодня она придет с детьми и с Машей. Маша была ранней внучкой, а Ника — поздней дочерью сестры Александры, разница в годах невелика.

— Скорее всего, прилетят утренним рейсом, тогда будут здесь к обеду, — сказала Медея вслух, как будто ни к кому не обращаясь.

Георгий промолчал, хотя и сам думал в этот момент, не сходить ли ему на рынок за вином и какой-нибудь весенней радостью вроде зелени или мушмулы.

Нет, для мушмулы рано, прикинул он и через некоторое время спросил тетку, придет ли она к обеду. Та кивнула и в молчании допила кофе.

Когда она ушла, Артем попробовал было атаковать отца, но тот велел ему собираться на базар.

— Ну вот, то на кладбище, то на базар, — проворчал Артем.

— Не хочешь, можешь оставаться, — миролюбиво предложил ему отец, но Артем уже сообразил, что и на базар пойти тоже неплохо.

Через полчаса они уже шли по дороге. Оба были с рюкзаками, Артем в холщовой панаме, Георгий в брезентовой солдатской, которая придавала ему военно-авантюрный вид. Почти на том же месте, что и накануне, они снова увидели мать с дочерью, те опять были одеты в одинаковую одежду, но на этот раз женщина, сидя на маленьком складном стульчике, рисовала на каком-то детском мольберте.

Заметив их с дороги, Георгий крикнул, не купить ли им чего на базаре, но легкий ветерок отнес его слова в сторону, и женщина показала ему рукой, что не слышит.

— Ты сбегай к ним, спроси, не надо ли чего, — попросил он сына, и тот побежал вверх по склону, осыпая мелкие камешки.

Георгий с удовольствием смотрел вверх: трава была еще молодая, свежая, на взлобке холма дымился розово-лиловый тамариск, совсем безлиственный.

Женщина что-то говорила Артему, потом махнула рукой и сбежала вниз, но не там, где поднимался Артем, а чуть выше, где склон обрывался над дорогой круто и трудно было спуститься на дорогу. Можно было разговаривать и оттуда, но ей почему-то хотелось спуститься, она замерла над маленьким обрывом. Георгий протянул ей руку:

— Прыгайте!

Она присела на корточки и, держась за его руку, спрыгнула. Лицо ее было испуганным и серьезным.

Руки ее на ощупь оказались детскими, какими-то птичьими, но удивительно нежными. И ростом она оказалась не такая уж маленькая, доставала ему до плеча, как и жена Зоя.

— Картошки нам купите? Два кило, пожалуйста. Мне Таню оставить не с кем, а она туда не дойдет, устанет. И укропу пучок. Только у меня денег с собой нет. — Она говорила очень быстро, чуть-чуть пришепетывая, и розовела на глазах.

— Хорошо, хорошо, принесу. — Он хотел посадить ее, но она махнула маленькой рукой:

— Да я обойду, я просто сверху этого схода не заметила.

Она поднималась к дочке, стоявшей рядом с мольбертиком, сердце ее мчалось галопом, отдаваясь в горле.

Что случилось? Что случилось? Ничего не случилось. Два кило картошки и пучок укропа...

Она поднялась на холм и увидела, как все изменилось за те несколько минут, что она спускалась к дороге: солнце наконец пробило блестящую дымку и тамариски, которые она пыталась нарисовать, уже не поднимались розовым паром, а плотно, как клюквенный мусс, лежали на гребне холма. Ушла вся нежная неопределенность пейзажа, а место, на котором она стояла, показалось ей вдруг тем неподвижным центром, вокруг которого и происходят движения миров, звезд, облаков и овечьих отар.

Но эта мысль не успокоила ее колотившееся сердце, оно все несло куда-то, обгоняя само себя, а взгляд независимо от нее впитывал округу, чтобы ничего не упустить, не забыть ни одной черты этого мира. О, если бы она могла, как в детстве, когда увлекалась ботаникой, сорвать и засушить, как приглянувшийся цветок, это мгновение вместе со всем принадлежащим ему реквизитом: дочкой возле мольберта, криво установленного в центре мироздания, цветущим тамариском, дорогой, по которой не оглядываясь идут два путника, и то, что открывалось впереди: горы, далекий лоскут моря, складчатая долина с бороздой давно ушедшей реки. И то, что было за ее спиной, и то, что не входило в окоем; позади горбатых, состарившихся на этом месте холмов — столовые горы, аккуратные, с отсеченными вершинами, вытянувшиеся одна за другой, как послушные животные...

## 7

Автобусная дорога от Симферополя до Медеиного дома занимала около пяти часов, к тому же рейс был всего раз в сутки, но, несмотря на дороговизну — двухчасовая поездка стоила едва ли не дороже, чем авиационный билет от Москвы до Симферополя, — Ника и Маша приезжали обычно на такси.

Артем, вернувшись с базара, залез на крышу дома со старым биноклем и не спускал вооруженных многославным инструментом глаз с просвета между холмами, где мелькала каждая едущая в поселок машина. Георгий разбирал на кухне покупки. День оказался небазарный, скучный, продавцов мало. Он купил пересушенный сверток сливовой домашней пастилы, грубо приготовленной на горячем железном листе, — любимое детское лакомство, зелень и большой пакет чебуреков, которые так ловко пекла в чебуречной Валька. Главную радость доставил Георгию хозяйственный магазин, всегда удивлявший курортников неожиданным изобилием. В этот

раз Георгий купил модную вещицу — чайник со свистком, две дюжины граненых стаканов, столько же граненых стопочек и полкило ахналей — подковных гвоздей, по которым страдал его новосибирский приятель Тарасов, председатель колхоза. Еще купил редкий по тем временам чешский клей и довольно уродливую клеенку на стол. Все покупки он выложил на стол и любовался их изобилием. Он любил покупать, ему нравилась вся эта игра в выбор, в торговлю, в добычу. Жена его Зойка сердилась, когда он привозил из каждой своей поездки целую кучу совершенно ненужных вещей, загромождавших и дом и дачу. Сама она была экономистом, работала в горторге и считала, что покупать надо с толком, с пониманием, а не всяческую глупость.

Он откупорил бутылку таврического портвейна и пожалел, что мало взял. Впрочем, добра этого было навалом, можно было купить и попозже, в поселковом магазинчике.

Все разобравши, со стаканом вина и чебуреком он сел на пороге дома и увидел, как с холма спускается художница с дочкой.

«Черт, картошку забыл, — вспомнил он. — Да ее и не было. Увидел, так вспомнил бы».

Но укропу он купил много и потому, как человек обязательный, крикнул Артему, чтобы тот спустился с крыши и отнес бы курортнице укроп, — себя обитатели Медеино дома курортниками никогда не считали, да и местные относились к ним как к своим.

Артем нести укроп наотрез отказался. Слишком важной была минута появления машины, и он боялся ее пропустить. И действительно, они еще не кончили препираться из-за укропа, как мелькнула в специально предназначенном для этого просвете желтая «Волга».

— Едут! — заорал сорвавшимся от счастья голосом Артем, кубарем скатился с крыши и понесся к калитке.

А еще через несколько минут машина подкатила к дому, остановилась, одновременно раскрылись все четыре дверцы — и выпрыгнуло сразу шесть человек, причем двое совсем маленькие. Пока таксист доставал из багажника чемоданы и картонки, началась родственная свалка с поцелуями и объятьями. И машина еще не успела отъехать, как незаметно подошла Медея с брюхатой сумкой, улыбаясь плотно закрытым ртом и сузив глаза.

— Тетя, солнышко мое, как я соскучилась! Какая ты красавица! И пахнешь шалфеем и чабрецом! — целовала ее высокая рыжая Ника, а она отбивалась слегка и ворчала:

— Глупости! Я пропахла масляной краской, у нас в больничке третий месяц ремонт, никак не могут закончить.

Тринадцатилетняя Катя, старшая Никина дочь, стояла рядом с Медеей и ждала своей очереди на целование. Там, где была Ника, она по какому-то неоспоримому праву всегда была первой, и мало кто мог с этим спорить. Ожидала своей очереди и Маша, стриженная под мальчика, подросткового сложения, как будто и не взрослая женщина, а тощий недоросток на вихлявых ножках. Но лицом красива, красотой непроявленной, как переводная картинка.

Георгий подхватил ее, поцеловал в макушку.

— Да ну тебя, я с тобой и разговаривать не хочу, — отбивалась Маша. — Был в Москве, я знаю, и даже не позвонил.

Машин сын, пятилетний Алик, и Никина Лизочка тоже обнимались, разыгрывая бурную встречу, хотя они не расставались со вчерашнего вечера, поскольку все ночевали у Ники, на Зубовской. Дети были почти ровесники, любили друг друга, можно сказать, с рождения и, забавляя всех, постоянно воспроизводили взрослые взаимоотношения: и женское кокетство, и ревность, и смешное петушиное удалство.

— *Cousinage dangereux voisinage*<sup>2</sup>, — в который раз говорила Медея, глядя на этих двоюродных.

<sup>2</sup> Близкое соседство — опасное родство (франц.).

— Я тебя поцелую, как будто мы уже приехали, — тянул к себе Алик Лизочку, а она упиралась и все никак не могла придумать условия, при котором она на это согласится, и потому тянула:

— Нет, ты сначала... сначала ты... собачку мне покажи!

Двое из присутствующих обменялись сухими кивками — Артем и Катя. Когда-то они, как теперь Лиза с Аликом, тоже страстно любили друг друга, но год назад все разладилось. Она сильно выросла, обросла кое-где волосами, которые тут же и начала сбривать, и обзавелась хоть и маленькой, но вполне настоящей грудью, и между ними пролегла пропасть полового созревания.

Артем, в душе глубоко обиженный прошлогодней отставкой, совершенно им не заслуженной, хотя и ждал Катю эти сутки до изнеможения, из самозащиты отвернулся и вдумчиво ковырял носком бледно-коричневую землю.

Отчисленная в прошлом году из балетного училища Большого театра за полную неперспективность, Катя сохранила все повадки профессиональной балерины, над которыми, втайне гордясь чудесной ее осанкой, постоянно посмеивалась Ника: «Подбородок вверх, плечи вниз, грудь вперед, живот назад, а носочки в разные стороны».

В этой самой позиции и застыла Катя, давая всем желающим насладиться красотой балетного искусства, которое она все еще продолжала представлять.

— Медея, ты посмотри на наших молодых! — тронула Ника Медею за плечо.

Алик достал из конуры Медеиной суки Нюкты, длиннющей и коротконогой, такого же длинного щенка, Лиза уже держала его на руках, и Алик, отодвигая щенка, добирался до Лизиной обещанной щеки.

Все засмеялись. Георгий подхватил два чемодана, Артем, отворачиваясь от Кати, взял картонную коробку с продуктами, а Катя, слегка подпрыгивая на бегу, как премьерша на поклон, сбежала к дому и встала на освещенный пятачок между домом и кухней и стояла там, прекрасная и недостижимая, как принцесса, и Артем понимал это с не испытанной прежде сердечной болью. Он был первым, кого уязвила эта ранняя весна.

А Норе опять досталась роль соглядатая. Танечка уже спала после обеда. Ни картошки, ни укропу не принес ей тот красивый человек, похожий — теперь она наконец додумалась — вовсе не на римского легионера, а на Одиссея. Но, моя посуду на хозяйственном дворе тети Ады, она видела, как подъехало такси и высокая рыжая, в грубо-малиновом платье женщина обнимает черную старуху, а множество детей прыгают вокруг, и у нее перехватило дух от неожиданной зависти к людям, которые так радуются друг другу и так празднуют свою встречу.

Еще одна машина пришла в поселок двумя часами позднее, но на этот раз такси остановилось возле дома Ады. Нора, отодвинув уголок вышитой занавески, видела, как на голос, спрашивающий хозяев, выскочила из летней кухни сначала Ада, а следом за ней и ее муж, утирая черной шоферской рукой блестящий рот.

В распахе калитки стоял рослый мужчина с длинными волосами, поженски схваченными резинкой, в белых, в облипочку, джинсах и розовой майке. У Ады аж дух сперло от нахальства его вида. А приезжий улыбнулся, махнул белым конвертом и прямо от калитки спросил:

— Кравчуки? От сына вам письмо и привет свежий. Вчера с ним виделись.

Ада цапнула конверт, и слова не говоря Кравчуки скрылись в кухне читать письмо от единственного сына Витька, который третий уже год, окончив военное училище, жил в Подмосковье и делал, как казалось из Поселка, большую карьеру. Приезжий, вовсе не заботясь о таксисте, который все стоял за воротами, присел на скамейку. Кравчуки тем временем успели прочитать, что сын посылает к ним очень нужного человека,

чтоб денег с него ни за что не брали, всячески ублажали бы и что к нему, этому самому Валерию Бутонову, начальник округа в очередь на массаж стоит...

Не дочитавши письмо, Кравчуки кинулись к приезжему:

— Да вы заходите, заходите, где же вещи ваши?

И приезжий внес чемодан — кожаный, со слоеной толстой ручкой, в заграничных наклейках. Нора устала держать на весу чугунный утюг, которым гладила Танечкину юбку, поставила его на подставку. Хозяева кругами бегали около приезжего — чемодан и на них произвел впечатление.

«Наверное, артист. Или джазист, или что-нибудь такое», — подумала Нора. Утюг остыл, но ей не хотелось выходить из своего домика, чтобы согреть его на кухне. Она отложила недоглаженную юбочку.

## 8

Медея выросла в доме, где обед варили в котлах, мариновали баклажаны в бочках, а на крышах пудами сушили фрукты, отдававшие свои сладкие запахи соленому морскому ветерку. Между делами рождались новые братья и сестры и наполняли дом. К середине сезона ее теперешнее жильё, такое одинокое и молчаливое зимами, обилием детей и общим многолюдством напоминало дом ее детства. В огромных баках, поставленных на железные треноги, постоянно кипятилось белье, на кухне всегда кто-то пил кофе или вино, приезжали гости из Коктебеля и Судака, иногда вольная молодежь, небритые студенты и непричесанные девочки, ставили неподалеку палатку, слушали новую музыку и пели новые песни. И Медея, замкнутая и бездетная, хоть и привыкла к этой летней толчее, все-таки недоумевала, почему ее прожаренный солнцем и продутый морскими ветрами дом притягивает все это разноплеменное множество — из Литвы, из Грузии, даже из Средней Азии.

Сезон начинался. Вчерашний вечер она провела вдвоем с Георгием, сегодня за ранним ужином сидели ввосьмером.

Младших детей, уставших с дороги, уложили пораньше. Ушел и Артем — чтобы избежать обыкновенного унижительного приказа: «Спать отправляйся!» И добровольность его ухода каким-то образом уравнивала его с Катей, которую спать не гнали.

Первый ужин незаметно перешел во второй. Пили вино, закупленное Георгием. Георгий прожил в Москве пять лет, пока учился на геофаке, Москву не полюбил, но новостями столичными всегда интересовался и теперь пытался их выудить из родственниц. Но Никин рассказ все сбивался либо на нее самое, либо на семейные сплетни, а Машин — на политику. Впрочем, и время было такое: с чего бы ни начинался разговор, кончался, с понижением голоса и повышением накала страсти, — политикой. Речь шла, собственно, о Гвидасе-громиле, вильнюсском племяннике Медеи, сыне покойного Медеиного брата Димитрия. Он построил дом и продолжил большое строительство.

— А что же власти, разрешают? — заинтересовался Георгий, встрепенувшись всей душой на этом месте.

— Во-первых, там как-то повольней. К тому же он архитектор. И не забывай: тесть у него большая партийная сволочь.

— А Гвидас, что, играет в эти игры? — удивился Георгий.

— Ну как тебе сказать. В общем-то у них советская власть несколько маскарадная, что ли. Для литовца все же колбаска копченая, угорь, пиво всегда поважнее партсобраний, это уж точно. Особого людоедства нет, — объясняла Ника.

Маша вспыхнула:

— Чушь говоришь, Ника. После войны пол-Литвы посадили, чуть не полмиллиона молодых мужиков. Да они в войну меньше потеряли. Хорош маскарад!



Медее встала. Ей давно хотелось спать. Она понимала, что пропустила свое обычное время, когда засыпает легко и плавно, и теперь будет до утра ворочаться на своем матрасе, набитом морской травой — камкой.

— Спокойной ночи, — вышла.

— Ну вот, видите... — огорченно сказала Маша. — Уж на что наша Медее великий человек, кремень, а все равно запуганная. Слова не сказала и ушла.

Георгий рассердился:

— Ну и дура ты, Маша. У вас все мировое зло — советская власть. А у нее одного брата убили красные, другого белые, в войну одного — фашисты, другого — коммунисты. Для нее все власти равны. Дед мой, Степанян, аристократ и монархист, денег послал осиротевшей девчонке, послал все, что тогда в доме было. А мой отец женился на матери, пламенный, извините, революционер, женился по одному Медеиному слову: Леночку надо спасать... Что для нее власть, она человек верующий действительно, другая над ней власть; и не говори никогда, что она чего-то боится...

— Ах, Господи! — закричала Маша. — Да я же совсем не об этом. Я только про то, что она ушла, как только разговор о политике зашел.

— Да чего ей с тобой, душой, разговаривать, — хмыкнул Георгий.

— Перестань, — ленивым голосом перебила их Ника. — Заначка есть?

— А как же! — обрадовался Георгий. Пошарил у себя за спиной и вытащил дневную початую бутылку.

Маша уже дрожала губами, чтоб рвануться в бой, но Ника, ненавидевшая распри, подвинула к Маше стакан и запела:

— Течет речка да по песочку, бережок мо-о-ет, а молодой парень, удамой жульман, начальника мо-о-лит...

Голос ее был поначалу тихим и влажным. Георгий и Маша размякли, родственно прислонились друг к другу, все прения осели сами собой. Голос, как свет, выливался в щель приоткрытой двери, в маленькие неправильные окна, и немудреная полублатная песня освещала всю Медеину усадьбу...

Валерий Бутонов справил свою нужду не доходя до дощатого домика, в обескураженную неожиданной теплой поливкой помидорную рассаду, загляделся в южное глубоко-звездное небо, все в блудливых лучах прожекторов, щупающих прибрежную полосу в поисках кинематографических шпионов в черных водолазных костюмах. Но в это прохладное время года отсутствовали даже сверкающие под луной ягодицы пляжных любовников.

Земля же была сплошь темная, единственное окно светило в распадке холмов чистым желтым светом, и даже как будто оттуда шло женское пение. Валерий прислушался. Редко побрехивали собаки.

## 9

Ночь действительно была бессонной. Но Медее с молодости привыкла мало спать, а теперь, в старости, одна бессонная ночь не выбивала ее из колеи. Она лежала на своей узкой девичьей кровати, в ночной рубашке со стершейся вышивкой на груди, а вдоль ее тела отдыхала слабо заплетенная ночная коса, обнищавшая с годами, но кончающаяся у бедра.

Вскоре дом наполнился маленькими узнаваемыми звуками: прошлепала босыми ногами Ника, Маша звякнула крышкой ночного горшка, шелестела спящему ребенку «пис-пис», явственно и музыкально пролилась детская струя. Щелкнул выключатель, раздался приглушенный смех.

Ни слух, ни зрение еще не изменяли Медее. Благодаря также и природной наблюдательности она многое замечала в жизни своих молодых родственников такого, о чем они и не подозревали.

Молодые женщины с малолетними детьми приезжали обычно в начале сезона, их работающие мужья проводили здесь недолгое время, недели две, редко месяц. Приезжали их друзья, снимали койки в Нижнем поселке, а по ночам приходили тайно в дом, стонали и вскрикивали за Медеи-

ной стенкой. Потом женщины расходились с одними мужьями, выходили за других. Новые мужья воспитывали старых детей, рождали новых, сводные дети ходили друг к другу в гости, а потом бывшие мужья приезжали с новыми женами и новыми детьми, чтобы вместе со старыми провести отпуск. Ника, выйдя замуж за Катиного отца, молодого многообещающего режиссера, который так и не произвел ничего, достойного собственной репутации, постоянно возила за собой топорного и нескладного мальчика Мишу, режиссерского сына от первого брака. Катя его всячески притесняла, а Ника ласкала и заботилась, а когда бросила режиссера, променяв на физика, все продолжала таскать мальчика за собой. На глазах Медеи произошёл взаимообмен двух супружеских пар, горячий роман между своячениками с возрастной разницей в тридцать лет и несколько горячих юношеских связей, вполне оправдавших все ту же французскую пословицу.

Жизнь послевоенного поколения, особенно тех, кому теперь было по двадцать, казалась ей несколько игрушечной. Ни в браках, ни в материнстве не чувствовалось той ответственности, которая с раннего возраста определила ее жизнь. Она никогда не выносила суждений, но чрезвычайно ценила тех, кто, как ее мать, бабка, подруга Елена, совершали и незначительные, и самые важные поступки тем единственным способом, который был приемлем для Медеи, — серьезно и окончательно.

Медея прожила жизнь женой одного мужа, и продолжала жить его вдовой. Вдовство ее было прекрасно, ничем не хуже самого замужества. За долгие годы — почти тридцать лет, — прошедшие со смерти мужа, само прошлое видоизменилось, и единственная горькая обида, выпавшая ей от мужа, — как ни удивительно, уже после его смерти — растворилась, а облик его в конце концов приобрел необыкновенную значительность и монументальность, которых при жизни и в помине не было.

Вдовство длилось уже значительно дольше брака, а отношения с покойным мужем были по-прежнему прекрасными и даже с годами улучшались.

Страдая бессонницей, Медея тем не менее находилась в тонкой дреме, не прерывающей ее привычных размышлений — полумолитв, полубесед, полувоспоминаний, иногда словно невзначай выходящих за пределы того, что она лично знала и видела.

Помня почти дословно все рассказы мужа о его детстве, она вспоминала его теперь мальчиком, хотя познакомилась с ним, когда ему было уже под сорок.

Был Самуил сыном вдовы, которая свои обиды и несчастья берегла превыше всякого имущества. С неизъяснимой гордостью она указывала своим сестрам на тщедушного сына: вы посмотрите, он такой худой, он совершенно как цыпленок, на всей нашей улице нет такого худого ребенка! А какие болячки! Он же весь сплошь в золотухе! А цыпки на руках! Какие цыпки!

Самоня рос себе и рос, вместе с цыпками, прыщами и нарывами, был действительно и худ и бледен, но мало чем отличался от своих сверстников. На тринадцатом году он стал испытывать некоторое специальное беспокойство, связанное с тем, что штаны его топорщились, приподнимаемые изнутри быстро отрастающим побегом, доставляя ему болезненное неудобство. Новое состояние мальчик рассматривал как одну из многочисленных болезней, о которых с такой гордостью говорила постоянно его мать, и он приспособил шнурок от материнской нижней юбки, которым и прищемлял строптивый орган, чтоб не мешался. Тем временем еще две заметнейшие части тела — уши и нос — двинулись в неукротимый рост. Из миловидного ребенка вылуплялось нечто несуразное, с круглыми, слегка нависающими бровями и длинным подвижным носом. Его худоба приобрела к этому времени новое качество: куда бы он ни садился, ему казалось, что он сел на два жестких камня. Серые полосатые брюки покойного отца висели на нем, как на огородном пугале. Тогда-то он и получил обидную кличку «Самоня пустые штаны».

На четырнадцатом году, вскоре после празднования Бар-мицва, которое для Самони было отмечено лишь тем, что в чтении положенных текстов он сделал ошибок в пять раз больше, чем остальные пять мальчиков из бедных семей, также проходивших синагогальную науку на общественные деньги, после томительно-уклончивой переписки матери со старшим братом покойного отца он был отправлен наконец в Одессу, где и начал трудовую деятельность в качестве конторского мальчика с кругом нескончаемых и неопределенных обязанностей.

Должность конторского мальчика почти не оставляла ему свободного времени, но он все же успел прикоснуться к устаревшему уже тогда еврейскому просвещению, предложенному ему самым старшим из отцовских братьев, дядей Эфраимом. Он был еврейским самодеятельным интеллигентом и, вопреки очевидности, надеялся, что хорошо поставленное образование может разрешить все больные вопросы мира, включая и такое недоразумение, как антисемитизм. Самоня недолго простоял под благородными, но сильно выцветшими к тому времени знаменами еврейского просвещения и переметнулся, к большому горю дяди, в смежный лагерь сионизма, который поставил крест на еврее, подтянувшем свое образование на уровень других цивилизованных народов.

Двоюродный брат Самони уже успел уехать в Палестину, жил в никому не ведомом Эйн-Геди, работал сельскохозяйственным рабочим и манил Самуила редкими восторженными письмами.

К недовольству конторского дядюшки Шмуэля, Самоня решил поступить на еврейские сельскохозяйственные курсы для переселенцев. Эти занятия отнимали массу рабочего времени, дядя был недоволен, уменьшил Самоне вдвое ни разу не выданную зарплату, но жена дяди, тетя Геничка, добрая душа, поскандалила с ним, чтобы он дал мальчику учиться.

К этому времени возмужание преобразило Самонину внешность: лицо его уравновесилось, отвердело и приобрело привлекательность. Тетя Геничка была настоящая еврейская женщина и положила отдать за него свою немолодую племянницу с небольшим врожденным вывихом бедра.

Два месяца Самоня усердно посещал курсы, вникал в прививку и окулировку, но переменчивая его душа не выдержала, пока насиженные яйца намерений проклюнутся совершенными деяниями, и по мере вовлечения прочих слушателей в мир садоводства и виноградарства он пересел на другую парту: это был марксистский кружок, организованный для рабочих механических мастерских и портовых служб.

Волнующие идеи маленького еврейского социализма в провинциальной Палестине не могли конкурировать с великой всемирностью пролетариата.

Конторский дядя Шмуэль, интересующийся исключительно ценами на пшеницу, довольно равнодушно реагировал на все предшествующие увлечения племянника, но марксизма не стерпел и велел ему снять койку в другом месте. Справедливости ради надо сказать, что он как будто понял, со слов Самони, что такое прибавочная стоимость, но проявил неожиданную враждебность к экономическому гению и раскричался:

— Ты думаешь, он лучше меня знает, что делать с прибавочной стоимостью? Пусть он сперва ее получит!

У Самони возникло подозрение, что дядя путает прибавочную стоимость с чистой прибылью, но Самоня не успел ему этого объяснить. Дядя пообещал ему, что в самое ближайшее время его посадят в тюрьму. Дядя оказался пророком, хотя прошло почти два года, прежде чем исполнились его слова. За это время Самуил выучился на слесаря, приобрел множество познаний с помощью разного рода книг и уже сам вел кружок для прояснения затемненного сознания народа.

В конце двенадцатого года его подвергли административной ссылке в Вологодскую губернию, где он провел два года, после чего ездил из города в город, развозя в докторском саквояже сырую самодельную литературу, встречаясь на явочных квартирах с неизвестными, но очень значительными

ми лицами, занимаясь агитацией, агитацией. Всю жизнь называл себя профессиональным революционером, и революцию он встретил в Москве, начальничал там на среднем уровне, поскольку был силен в работе с пролетарской массой, а потом был обряжен в чоновскую кожу и откомандирован в Тамбовскую губернию. На этом месте славная биография таинственным образом обрывается, зияет пробел, и далее он становится совершенно обыкновенным человеком, лишенным всякого высшего интереса к жизни, зубным протезистом, оживляющимся лишь при виде полнотелых дам.

Встреча подсыхающей Медеи, незаметно потратившей золотое девичье время на повседневные заботы о младших братьях Константине и Димитрии и на сестру Александру, которую с первенцем Сергеем она отправила не так давно в Москву к мужу, с вечно веселым дантистом, обнажающим в улыбке короткие крупные зубы вместе с полоской нежно-малиновой десны, произошла в грязелечебнице. Целебная крымская грязь, как предполагалось, побуждала к деторождению, чему и способствовала медсестра Медея Георгиевна, прикладывая грязевые компрессы.

Прежде дантиста не было в санатории, но главный врач выбил эту ставку через Наркомздрав, и дантист появился и развел в этом тихом и слегка таинственном месте несусветный базар. Он шумел, шутил, махал никелированными инструментами, ухаживал за всеми пациентками сразу, предлагал нештатные услуги по части деторождения, а Медея Георгиевна, лучшая медсестра в санатории, была прикреплена к нему в помощь в этих стоматологических гастролях. Она размещивала шпателем на предметном стекле состав для пломбирования, подавала ему инструменты и тихо удивлялась невиданному нахальству дантиста, а еще более — умонепостигаемому распутству большинства страдающих бесплодием женщин, назначавших доктору свидания не сходя с зубоврачебного кресла.

С возрастающим день ото дня интересом наблюдала она этого худого еврея в мешковатых штанах, сборчато прихваченных на тонкой талии кавказским ремешком, в старой синей рубашке. Надевая белый халат, он несколько облагораживался.

— Все-таки доктор, — объясняла Медея его явный успех у женщин. — И остроумный по-своему.

Пока Медея заполняла карточку, еще до того, как очередная пациентка доверчиво раскрывала рот, он успевал острым взглядом произвести доброжелательный и профессионально-мужской осмотр от макушки до лодыжки. Ничто не ускользало от взгляда знатока, и первый комплимент, как вывела Медея, касался исключительно верхнего этажа — волос, бровей, цвета лица, глаз. При благоприятной реакции — в этом смысле доктор проявлял большую чуткость — он отдавался целенаправленному красноречию.

Медея исподтишка наблюдала за доктором и дивилась, как оживлялся он при виде каждой входящей женщины и как скучнел лицом, оставаясь наедине с самим собой, то есть со строгой Медеей. Критическому разбору он подверг ее еще в первый день знакомства — похвалил ее чудесные медные волосы, но, не получив никакого поощрения, больше не возвращался к ее достоинствам.

Через некоторое время Медея с удивлением поняла, что у доктора действительно острый взгляд, что в единое мгновение он замечает самые неуловимые достоинства женщин и, пожалуй, искренне радуется открытиям этих достоинств тем более, чем менее они очевидны.

Одной невероятно толстой особе, несомненно страдающей ожирением, он сказал с восхищением, пока она втискивала мягкий зад в сиденье зубоврачебного кресла:

— Если бы мы жили в Стамбуле, вы бы считались самой красивой женщиной города.

Водянистая толстуха покраснела, глаза ее наполнились слезами, и она пропищала обиженно:

— Что вы хотите этим сказать?

— Боже мой! — заволновался Самуил. — Конечно, только самое лучшее. Каждому хочется, чтобы хорошего было побольше!

Медее даже показалось, что он устает к концу приема не столько от самой работы, сколько от непосильного старания сказать каждой женщине что-нибудь приятное исходя из ее реальных, иногда и сомнительных, достоинств.

С редкими представителями мужского пола, случайно к нему попадавшими, — основным профилем санатория было лечение бесплодия, хотя было еще и отделение опорно-двигательное, — он был скован и даже, пожалуй, робок.

Медее улыбнулась своему наблюдению: ей пришло в голову, что веселый и вечно смеющийся доктор боится мужчин. Впоследствии Медее узнала, как дорого стоит это мимолетное наблюдение.

Медее шло тогда к тридцати. Димитрий собирался поступать в военное училище в Таганроге, Константину шел шестнадцатый, он целил в геологи, как брат Федор. Сестра Анеля, забравшая в Тбилиси младшую, Анастасию, давно звала Медее в гости. Среди родни ее мужа был один нестарый милейший вдовец, и Анеля строила планы их знакомства. Медее, о планах этих не подозревая, тоже собиралась навестить сестер, но осенью, сделав хозяйственные запасы. И если бы Анелины планы осуществились, не сохранилось бы в Крыму этого греческого, может, последнего, дома и следующее поколение Синопли выродилось бы в сухопутных греков — ташкентских, тифлисских, виленских. Но все произошло иначе.

В середине марта двадцать девятого года всех сотрудников срочно вызвали на собрание. Решительно всех, включая слабоумного садовника Раиса с асимметричной улыбкой на пол-лица. А когда приказывали прийти Раису, это значило, что собрание государственной важности.

Городской партийный начальник, огромный Вялов, буйствовал за столом, покрытым красной лощеной материей. Он уже зачитал постановление и теперь говорил от себя о прекрасном завтра и величии идеи коллективизации. Женский по преимуществу коллектив санатория внимал податливо. Это были в основном жительницы пригорода, имеющие полдомика, несколько соток огорода, пару деревьев, пяток кур и государственную службу. Были они негорласты. Феркович, главный врач, коренной крымчак, из ученой караимской семьи, из битых и мятых. Он был мобилизован в восемнадцатом в Красную Армию, работал в госпиталях, но остался беспартийным и все тревожился за своих домашних. Он всегда был готов смолчать и предоставить место и время для выступления другому желающему.

— Кто хочет сказать? — спросил Вялов, и тут же выскочил бодрый Филозов, секретарь партячейки.

Самуил Яковлевич сидел в последнем ряду и подергивался, даже слегка подпрыгивал на стуле, оглядываясь по сторонам. Медее сидела рядом и наблюдала сбоку за его необъяснимым волнением. Поймав ее взгляд, он схватил ее горячо за руку и зашептал в ухо:

— Мне надо выступить... мне обязательно надо выступить...

— Да что вы так волнуетесь, Самуил Яковлевич? Хотите — и выступите. — Она потихоньку высвободила свою руку из его цепких пальцев.

— Я, понимаете, член партии с двенадцатого года... Я обязан. — Бледность его была не благородно-белого, а желто-серого, трусливого оттенка.

Новый врач, кудрявая женщина с плоским локоном слева от пробора и с немецкой фамилией, длинно говорила о коллективизации, все приговаривая «с точки зрения текущего момента»...

Вцепившись в Медееву руку, он затих. Так и досидел до конца собрания, подергиваясь лицом, шевеля что-то губами. Когда собрание отгрохотало, народ стал расходиться, а он все еще держал ее за руку.

— Ужасный день, поверьте мне, это ужасный день. Не оставляйте меня одного, — попросил он, и глаза его были светло-карие, просительные и совершенно женские.

— Хорошо, — неожиданно легко согласилась Медея, и они вышли вдвоем из беленых ворот санатория, миновали автовокзал и свернули в тихую улицу, заселенную железнодорожниками с тех самых пор, как к городу подвели железную дорогу.

Самуил Яковлевич нанимал комнату с отдельным входом и палисадником, в котором росли две старых лозы да стоял стол, такой корявый и замшелый, как будто он вырос здесь вместе с деревьями. Лоза уже успела оплести натянутую над столом проволоку, с одной стороны этот крохотный дворик отгораживал редкий забор, с другой — глинобитная стена соседнего дома.

Сидя за столом, Медея наблюдала, как Самуил Яковлевич бегаёт возле керосинки в прихожей, достает из-за притолоки завернутый в грубое полотенце козий сыр, подливает на сковороду постное масло и делает все хоть и суетливо, но быстро и с толком. Медея посмотрела на часы: братья не вернутся сегодня, оба они сейчас на Планерной станции в Коктебеле, ночевать будут у Медеиной давней приятельницы, хозяйки известной в этих местах дачи.

«Я никуда не спешу, — с удивлением отметила Медея. — Я в гостях».

Самуил Яковлевич трещал непрерывно и вел себя так бойко и свободно, как будто это не он, а совсем другой человек только что цеплялся за Медеины пальцы.

«Какой странный и переменчивый человек», — подумала Медея и предложила помочь ему по хозяйству.

Но он просил ее сидеть и любоваться чудесным небом в мелких виноградных листочках.

— Скажу вам по секрету, Медея Георгиевна, что я много чего успел, я даже окончил курсы по сельскому хозяйству для еврейских колонистов. И вот теперь я смотрю на виноградник, — он величественным жестом указал на два корявых куста, — и думаю, какая же это прекрасная работа. Гораздо лучше, чем чинить зубы. А? Как вы думаете?

Потом он принес на стол ужин, и они ели пахнущую керосином картошку и козий сыр, а она все собиралась встать и уйти, но почему-то медлила.

Потом он провожал Медею через весь город, рассказывал о себе, о своих мелких и крупных неудачах, о невезениях и провалах. Потом он почтительно попрощался с ней и оставил ее в глубоком раздумье — что же в нем такое трогательное... Похоже, он не относится к себе очень серьезно...

На следующее утро они встретились, как обычно, в стоматологическом кабинете. Дантиста как будто подменили: он был молчалив, строг с пациентками и вовсе не шутил. К обеденному перерыву у Медеи сложилось впечатление, что он хочет ей что-то сообщить. И действительно, когда последняя предобеденная посетительница ушла, он, разложив свои тяжеловесные бутерброды рядом с Медеиными тонкими лепешками, переложенными первой зеленью, покачал головой, пощелкал языком и спросил:

— А что, Медея Георгиевна, если бы я пригласил вас в ресторан «Кавказ»?

Медея улыбнулась: он не однажды приглашал в ресторан «Кавказ» избранных посетительниц. К тому же ей показалась забавной эта грамматическая форма: а что, если бы...

— Я бы подумала, — сухо ответила Медея.

— А что вам особенно думать? — взгорячился он. — Кончим работу и пойдем себе...

Медея поняла, что ему очень хочется пойти с ней в этот самый «Кавказ».

— Ну, в любом случае мне сначала надо пойти домой переодеться, — слабо отговорила Медея.

— Ерунда какая! Вы думаете, там дамы в шиншиллях? — напирал дантист.

Медея была в тот день в сером саржевом платье с круглым белым воротничком и нарукавничками, как у горничной или пансионерки, в одном из тех ста, наверное, платьев одного и того же фасона, которые носила всю жизнь с гимназических лет и могла бы сшить с закрытыми глазами... Одно из тех вдовьих платьев, которые она носила и по сию пору...

А вечер в ресторане «Кавказ» был прекрасен. Самуил Яковлевич немного хорохорился. Официант был знакомый, и доктору это знакомство льстило. Согнувшись в пояснице и подняв улыбкой тонкие кавказские усики, официант метнул на стол закуски в прозрачных тарелочках непри-  
нужденным, но симметричным крестом. Медея Георгиевна в плюшево-пальмовой обстановке ресторана казалась доктору более привлекательной, чем вчера, когда она сидела в его садике со своим древнегреческим профилем на фоне беленой стены.

Отломив кусок лаваша, она макала его в чахохбили и ела так аккуратно, что никакой оранжевой обводки вокруг рта у нее не образовывалось; наблюдая, как она ест, с небрежным и рассеянно-доброжелательным видом, почти не глядя в тарелку, Самоня догадался, что у нее прекрасные манеры. Ему пришло в голову, что его никогда не учили поведению за столом, и он лишился на несколько минут аппетита. Чахохбили показалось кислым.

Он отодвинул металлический судок вместе с тарелкой. Долил себе в рюмку «Хванчкары», глотнул, поставил рюмку и решительно сказал:

— Вы кушайте, Медея Георгиевна, и не обращайтесь внимания, что я скажу.

Она посмотрела на него выжидательно. В уголке, где они сидели, было уютно, но темновато.

— Я должен разъяснить вам свое вчерашнее поведение. Я имею в виду собрание. Имейте в виду: я профессиональный революционер, меня знала вся Одесса и у меня было три года политической ссылки. Я организовывал побег из тюрьмы такому человеку, что имя его теперь просто неприлично называть. И я не трус, поверьте мне.

Он разволновался, придвинул к себе тарелку с чахохбили, подцепил большой кусок мяса и, прищлепывая по-гурмански губами, прожевал. Аппетит к нему как будто вернулся.

— Понимаете, у меня просто нервное заболевание. — Он снова отодвинул тарелку. — Мне тридцать девять лет. Я уже не молод. Но еще и не стар. С родней я не сообщаюсь. Можно считать, что я сирота, — пошутил он. Он наклонил голову, часть густых зачесанных назад волос сползла на лоб. Волосы у него были красивые.

«Сейчас сделает предложение», — догадалась Медея.

— Я никогда не был женат. И, между нами говоря, не собирался. Но, понимаете, у меня вчера случился небольшой приступ, это когда мы сидели на собрании. Так вот, он прошел от вашего присутствия, совершенно без последствий. Потом вы пришли ко мне, и мы сидели весь вечер, и я совершенно ничего не испытывал...

«До чего же глуп, даже забавно», — улыбнулась Медея.

— Видите ли, — пустился дантист в дальнейшие объяснения, — вы ведь совершенно не в моем вкусе...

Такая откровенность даже Медею, начисто лишенной кокетства, показала чрезмерной, но теперь она сбилась с толку и не понимала, куда он клонит. И тут доктор сделал резкий поворот, как будто «козьею ножкой» ковырнул:

— Вообще я люблю женщин небольших, плотных, на таких, знаете, основательных ножках и в русском духе. Нет, вы не думайте, что я так уж прост. Я понимаю, что вы в некотором роде королева. Но у меня с юности нет привычки смотреть в сторону королев. Прачки, работницы, извините, санитарки...

«Даже забавно... Но дома гора неглаженого белья...»

Самуил Яковлевич зацепил вилкой кусок остывшего чахохбили, поспешно сжевал его, сглотнул, и Медея увидела, что он очень нервничает.

— Когда вы взяли меня за руку, Медея Георгиевна, нет, простите, это я вас взял за руку, я почувствовал, что рядом с вами нет страха. И весь вечер я ничего к вам не испытывал, только чувствовал, что рядом с вами нет страха. Я проводил вас, вернулся домой, лег и сразу решил, что я должен на вас жениться.

Медея пребывала в полнейшем равнодушии. Ей было двадцать девять стародевичьих лет, многие годы она с презрением отвергала разного рода мужские предложения.

— И тут мне приснилась мать! — патетически воскликнул он. — Если бы вы знали, какой у нее был ужасный характер, но это к делу не относится. Она вообще мне ни разу не снилась. А тут приснилась, подошла очень близко, и даже запахло ее волосами, знаете, седыми старыми волосами, и строго мне говорит: «Да, Самоня, да». И все. Я сам должен думать, что — «да».

Медея сидела прямо, она всегда была очень прямой. С левой стороны воротничок немного загнулся, но она этого не заметила. Она думала о том, как бы отказать этому чудаку мягко, чтобы его не обидеть. Кажется, он и не предполагал отказа.

— Да, Медея Георгиевна, есть еще одна вещь, о которой я вам должен рассказать как будущий муж. Дело в том, что я состою на психиатрическом учете. То есть я совершенно здоров. Это старая история, но я все же должен вам ее рассказать.

В двадцатом году я был определен в подразделение ЧОН и выехал для изъятия хлеба. Дело это было совершенно кошмарное, но для революции первостепенной важности, это я всегда понимал. И хлеб этот в деревне Василищево, в Тамбовской губернии, конечно же, нашли. Я уверен, что прятали его во всех дворах, но мы нашли в двух, по виду не самых богатых. Приказ был заранее дан: укрывальщиков расстрелять для острастки. Красноармейцы взяли трех мужиков, повели за околицу. Их ведут, а за ними народ тянется. Их двое братьев с неделимым хозяйством и еще один мужик пожилой. Бабы ихние бегут, дети. Старуха парализованная, мать пожилого мужика, следом ползет. Хлеба у них четыре пуда изъяли, а у братьев и всего-то полтора. А я, Медея, — начальник продотряда. Поставили троих, красноармейцы напротив с ружьями. И тут бабы с детишками такой подняли крик, что мне в голову что-то ударило, и я упал. Получился у меня припадок вроде эпилептического. Я, конечно, уже ничего не помнил. Положили меня в телегу, прямо на зерно, и повезли в город. Был я, как говорили, весь черный и руки-ноги как деревянные, не гнулись. Три месяца я пролежал в больнице, потом отправили меня в санаторий, а потом комиссия признала, что я нервно слабый. После комиссии хотели меня отправить на партийно-хозяйственный участок. А я подумал и попросился в дантисты. Они приняли во внимание мою нервную слабость и отпустили. Вы, может быть, заметили, что я дантист хороший. И лечебную работу знаю, и протезирование. И своих партийных взглядов я не переменял. Только организм у меня все равно слабый. Как надо партийную позицию проявить, я бы всей душой, а организм мой впадает в слабость и в страх — как бы мне не сорваться в припадок, в нервную горячку... как вчера на собрании. Но это я рассказываю вам как свою большую тайну, хотя про это даже в медицинской карте зафиксировано. Была у меня возможность подчистить. Нет, думаю, не буду, а ну как они меня опять привлекут по партийной линии к оперативной работе, а я этого не могу. Хоть убей, не могу. Но других недостатков у меня нет, Медея Георгиевна.

«Боже, Боже, как же простодушен... Брат Филипп был расстрелян красными, брат Никифор повешен белыми, но прежде того оба они стали убийцами. А этот не смог — и печалится, что слаб... Поистине, дух дышит, где хочет...»



Самуил проводил ее до дома. Дорога слабо светилась под ногами. Та часть пригорода была тогда глухим местом, незастроенным и сорным, до Медеинога дома идти было километра четыре. Самуил, говоривший безостановочно, на полдороге вдруг замолчал. Собственно, он рассказал о себе все. В годы их брака он только добавлял второстепенные детали к сказанному в этот вечер. Молчала и Медея. Тонкой и сильной рукой он держал ее под руку, но при этом у нее было такое чувство, что это она его ведет.

Когда они подошли к старой усадьбе Харлампия, на небо выкатилась луна, засеребрились деревья сада; ворота были давно уже наглухо заложены, жители дома пользовались двумя калитками, боковой и задней. Возле боковой они остановились. Он поковырял носком ботинка щебенку и спросил деловито:

— Так когда мы пойдем записываться?

— Нет, — покачала она головой, — не пойдем. Мне надо подумать.

— А что думать? — удивился он. — Сегодня у нас коллективизация, завтра еще что-нибудь будет. Жизнь, конечно, делается все лучше, но я думаю, что вдвоем нам эту хорошую жизнь будет легче переносить. Вы меня понимаете?

Дома было тихо. Она сняла серое платье, надела другое, такое же, домашнее, и села писать письмо Елене. Это было длинное и грустное письмо. Она ни слова не писала о смешном дантисте с его нелепым сватовством, рассказывала Елене только о мальчиках, которые выросли и от нее уходят. О том, что сейчас ночь, что она дома одна, что молодость прошла и она чувствует себя усталой.

Под утро поднялся ветер, и у Медеи сильно разболелась голова. Она обвязала голову старым платком и легла в холодную постель. На следующий день у нее поднялась температура, ломота в суставах. Болезнь, которая тогда называлась инфлюэнцей, была тяжелой и долгой. Самуил Яковлевич ухаживал за ней с большим усердием. К концу болезни он был влюблен в нее без памяти, а она чувствовала себя безмерно и незаслуженно счастливой: она не помнила, чтобы кто-нибудь приносил ей в постель чай, варил для нее бульон и подтыкал с боков одеяло. После болезни они поженились, и брак их оказался счастливым от первого до последнего дня.

Медея знала о главной его слабости: после нескольких рюмок он начинал бешено хвастать своим революционным прошлым и победоносно поглядывать на женщин. Тогда она тихонько вставала из-за стола, говорила: «Самоня, домой», — и он виновато торопился ей вслед. Но эту мелочь она ему прощала...

...За стеной заплакал ребенок — Алик или Лизочка, Медея не могла разобрать. Начинался новый день, и Медея так и не поняла, спала она в эту ночь или нет. Такие неопределенные ночи в последнее время выпадали все чаще.

Ребенок — теперь уже было ясно, что это Лизочка, — требовал немедленно идти на море.

Ника сердилась:

— Не понимаю, почему такой крик. Вставай, умывайся, завтракай, а потом решим, куда мы пойдем...

## 10

К морю вели две дороги. Одна была шоссейной, проложенной перед войной. Она вилась большим полукольцом, проходила мимо распадка, откуда вниз к берегу бросалась трудная тропа. Потом дорога поднималась в гору и скрывалась там за шлагбаумом, где жили своей подземной жизнью военные объекты. Ответвление этой дороги вело к Феодосии, и здесь можно было прихватить попутку.

Вторая дорога, старая, была много короче, но круче и трудней. Дороги дважды сходились: на распадке и на круглой поляне между Верхним и

Нижним поселком — отсюда открывался удивительный вид. Не так уж высока была эта горка, на которой устроилась когда-то татарская деревушка, но, как будто подчиняясь какой-то китайской головоломке, ландшафт отказывался в этом заветном месте от обязательного следования оптическим законам и раскидывался выпукло, обширно, держась на последней грани перехода плоского в объем и соединяя чудесным образом прямую и обратную перспективу. Плавным и круговым движением сюда было вписано все: террасированные горки, засаженные когда-то сплошь виноградниками, а теперь сохранившие их лишь на макушках, столовые горы за ними, блеклые, в мелком лишайнике пасущихся отар, а выше и дальше — древнейший горный массив, с кудрявыми лесами у подножья, с проплешинами старых обвалов и голыми причудливыми скальными фигурами и прихотливыми природными сооружениями, жилищами умерших камней на самых вершинах, и невозможно было понять, то ли каменная корка гор плавает в синей чаше моря, охватывающего полгоризонта, то ли огромное кольцо гор, не вместимое глазом, хранит в себе продолговатую каплю Черного моря.

Медея и Самуил попали сюда осенью тридцать первого года. Сидя здесь, на поросшей каперсами и серой полынью поляне, оба они ощутили, что находятся в центре земли, что плавное движение гор, ритмические вздохи моря, протекание облаков, быстрых полупрозрачных и более плотных, замедленных, и обширное внятное течение теплого воздуха от гор, направленное вкруговую, — все рождает совершенный покой.

— Пуп земли, — только и сказал тогда пораженный Самуил.

Но Медея знала в здешних краях несколько таких «пупов».

В тот день они решили перебраться сюда, обменяв Медеино феодосийское жилье — оставленные за ней две комнаты Харлампиевого дома — на старую татарскую усадьбу на самом краю Поселка, на отшибе...

С этого самого места обычно стартовали семейные морские экспедиции, к которым часто присоединялись живущие в Поселке приятельницы с детьми и местные ребяташки. В эти походы к бухтам собирались заранее, с едой, посудой, палками для тентов — словом, со всем туристическим снаряжением. Проводили на берегу редко день, чаще — два, три, снимались перед закатом, чтобы засветло пройти по трудной карнизной тропе. Домой приходили поздно, младших детей, уже сонных, несли на плечах. Иногда на распадке удавалось взять попутку, но это была удача.

Медея, как большинство местных людей, редко ходила к морю. Но в отличие от теперешних пришлых жителей, переселенцев с Украины, Северного Кавказа, даже из Сибири, которые и плавать-то не умели, Медея родилась на морском берегу и знала здешнее море, как деревенский житель знает свой лес: все повадки воды, ее переменчивость и постоянство, цвет, меняющийся с утра до вечера, с осени до весны, все ветры и течения вместе с их календарными сроками. Но если Медея и собиралась на свидание к морю, она предпочитала ходить одна. На этот раз Георгий уговорил ее пойти вместе со всеми.

Стояли праздничные дни, больничка была закрыта, и отговориться ей было невозможно. Она повязала досветла вылинявшим когда-то черным платком голову и перекинула через плечо старую татарскую сумку, в которой лежал ее дорожный припас и купальник.

Дом заперли. Ключ положили в условленное много лет тому назад место — неожиданных гостей ожидали всегда. Нора с Танечкой ждали их на Пупке, обе в белом с ног до головы, а у Норы из-под очков торчал лист тополя, узкий, маленький, как раз по размеру ее носа.

Георгий проверил у всех обувь.

— Ну, с Богом!

Караван тронулся. Артем шел впереди, за ним сияющий Алик с Лизой, дальше пестрой кучей девочки, а замыкали шествие Георгий с Медеей.

Дорога на этом участке шла плавно под горку и после первого крутого спуска выводила к Лисьим каньонам. Когда-то здесь бежала речка, но речка давно ушла, как и большинство здешних рек, даже название ее забылось, и только несколько дней в году во время таянья снегов она оживала тонким ручейком мутных талых вод. Шли в полумраке, по каменистому дну неглубокого каньона. В его стенах, внизу глинистых, поверху каменистых, было множество лисьих нор, целый древний город. Норы эти то пустовали, то снова заселялись мелкими, довольно невзрачными лисичками-корсаками, с бледной шкурой и унылыми мордочками. Георгий все поглядывал по верхам — еще не было случая, чтобы он своим охотничьим взглядом не заметил здесь какой-нибудь живности. По Лисьему каньону вышли к бывшему водопаду и свернули на тропу, которая в конце концов, пересекая шоссе, выводила их к распадку. Здесь кончалась более длинная и более легкая часть пути, и перед опасным спуском по карнизной тропе прибрежных скал делали привал на небольшой плоской лужайке, поросшей мелким можжевельником. В этом замкнутом пространстве, ограниченном со всех сторон скалами, а с одной стороны — склоном довольно крутой горки, всегда стоял крепкий и особенный запах — смесь можжевельного духа с запахом водорослей, морской соли и рыбы. Привал всегда делали коротким, чтобы не размориться, не разлентиться, а только собрать силы перед последним броском. Георгий, вовсе не ставя перед собой никаких педагогических задач, из года в год давал всем детям своей родни ни с чем не сравнимые уроки жизни на земле. Через него перенимали мальчики и девочки его язычески точное и тонкое обращение с водой, с огнем, с деревом. Вот и сейчас Артем, не лучший из его учеников, сидел не снимая рюкзака, а Катя поила младших взятой из дому кипяченой водой. Каждому по маленькому стаканчику.

Медея сидела вытянув сухие ноги. Она поковыряла землю между корнями можжевельного куста и позвала Нику. На ладони у нее лежало потемневшее кольцо с небольшим розовым кораллом.

— Находка? — восхитилась Ника. Все знали о необыкновенном Медеином даровании. Медея покачала головой:

— Как сказать... Скорее потеря. Твоя мать потеряла это кольцо. Думала, что море смыло. Оказалось, здесь...

Она вложила в руку Ники простенькое серебряное колечко и подумала: неужели болит? Кажется, все еще болит...

— Когда? — коротко спросила Ника. Она догадалась, что касается края запретной темы — давней ссоры сестер.

— Летом сорок шестого, — быстро ответила Медея.

Ника держала на ладони кольцо, коралл еще светился розовым цветом, не умер. Все окружили ее, заглядывая в ладонь, как будто там лежало действительно живое существо. Георгий заглянул поверх женских голов:

— Татарское. У матери почти такое же есть.

Катя уже нацелилась алчным взглядом:

— Мам, дай примерить.

И Маша протягивала руку, чтобы рассмотреть его поближе. Чудо было невелико, но все же чудо!

И вдруг маленькая Таня закричала:

— Смотрите! Смотрите кто!..

По крутому склону горки к ним несся человек. Он летел со скоростью лыжника, то перепрыгивая через редкие кусты, то катясь на ногах по осыпям, приседая, разворачиваясь, тормозя то одной ногой, то другой. Впереди него летел поток мелких камешков, а сзади стоял хвост пыли. Лица не было видно под козырьком бейсбольной кепки, но Нора узнала его сразу по белым джинсам — это был ее сосед.

Георгий смотрел неодобрительно. Парень был ловкий, но пижон. Бутонов, опередив легкий камнепад, вылетел на середину лужайки, подпрыгнул и замер как изваяние. Потом отряхнулся и сказал, обращаясь к Норе:

— Я увидел вас из Поселка, когда вы подходили к дороге, и вот догнал.

Все, включая Медею, смотрели на него с интересом. Но ему это было не в новинку. Он снял кепку, вытер ладонями лицо и стряхнул руки, как будто на них была вода.

— На Караташ слева зашел? — деловито спросил Георгий.

— Куда? — переспросил Бутонов.

— На эту горку, — кивком указал Георгий.

— Слева, — подтвердил Бутонов.

Георгий понимающе кивнул. Он знал эту малозаметную тропу, но не водил по ней детей, считая подъем слишком утомительным.

— Кто это? Кто это? — теребила Маша Нику.

Ника пожала плечами:

— Курортник. У тети Ады живет. Он же заходил вчера с Норой.

— А-а, я же слышала, кто-то пришел. Укладывала детей и заснула.

— Видишь, какого красавца проспала. Хорошо зверюга, — шепнула Ника Маше в самое ухо.

— Ну все, встали, встали! — скомандовал Георгий.

Лизочка заньла, обнимая ноги матери:

— Мам, понеси меня, я устала...

— Иди, иди сама, большая девочка, — рассеянно отодвинула она дочь.

— Маш, понеси меня немножко, а Маш, — уцепилась она за Машу.

— А кто он? — спросила Маша.

— Не то спортсмен, не то массажист, — хмыкнула Ника. — Не напрягайся, не твой герой. Он полный придурок. — И тут же окликнула стоявшего поодаль Бутонова: — Вы что же, Валера, в последнюю минуту передумали, решили нас догнать?

— Да, я увидел сверху, какая компания симпатичная... Думаю, что же я, как полный придурок, один во всем Поселке остался...

Ника с Машей захохотали: мысли читает!

— А что же хозяйева, ушли? — поинтересовалась Ника.

— Они пьют вторые сутки, гости к ним приехали. А это не самое любимое мое развлечение, — неожиданно сухо ответил Бутонов, почувствовав, вероятно, в женском смехе что-то для себя оскорбительное.

Георгий обратился к Бутонову:

— Я пойду первым, а ты замыкай.

Валерий кивнул. Георгий спрыгнул вниз, вслед за тропинкой. Бутонов пропустил всех перед собой. Маша с Лизочкой на плечах шла перед ним. Он нагнал ее, коснулся предплечья:

— Давайте я понесу вашу девочку.

Маша покачала головой:

— Нет, она не захочет. Возьмите Алика, если хотите.

Но Алик не захотел.

Маша потрогала то место, которого только что коснулся этот спортсмен или кто он там... Кожа горела. Она машинально тронула себя за другое предплечье — нет, горел только след его прикосновения. Она остановилась, сняла с плеч Лизу и сказала ей тихо:

— Лизик, иди сама, мне как-то нехорошо стало...

Лиза посмотрела на нее умными глазами:

— Хочешь, я сумку твою возьму?

— Ах ты лапка моя хорошая, — обрадовалась Маша такой неожиданной доброте в избалованной девочке. — Я, когда устану, тебя попрошу, хорошо?

Началась карнизная тропа. Когда-то, лет сто тому назад, это была дорога, по которой здешние контрабандисты переправляли через эти бухты свои драгоценные товары, но тогда здесь могла проехать и арба. Тропа эта крошилась год от году, контрабандисты, которые когда-то ухаживали за дорогой — ставили подпоры, укрепляли откосы, — давно уже вымерли,

кто от старости, кто лихой смертью, а потомки их либо были выселены, либо сделались чиновниками, сначала в управе, а потом и в райсовете, то есть стали заниматься другими видами бандитизма. И помнила о романтически-преступном прошлом этих мест одна Медея да, может, несколько стариков-крымчан, давно уже перебравшихся в лучшем случае во Внутренний Крым.

— Лет через сто совсем осыпется, — заметил Георгий.

Медея кивнула головой довольно равнодушно. Катя и Артем как будто и не услышали этого замечания — для старых и малых, по разным причинам, сто лет слишком большой срок, чтобы говорить о нем всерьез.

Нора, избегая глядеть вниз, влажными от страха руками вела Танечку, отказавшуюся ехать верхом на плечах Георгия. Нора ругала себя, зачем потащила ребенка в такой трудный поход. Глупость, глупость, — но не возвращаться же одной с полдороги. Танечка, на удивление, не жаловалась, но, следуя какой-то собственной фантазии, время от времени спрашивала:

— Мамочка, а замок будет?

И все не желала поверить, что замка не будет. Море будет, а замка — нет.

Но с последнего участка карнизной тропы замок все-таки открылся. Это был известняковый выветрившийся массив, вздымавший вверх разновысотные готические шпили. Материковый гранит отрога Карадага, вулканические туфы и третичные отложения образовывали здесь, как говорил Георгий, совершенно уникальное соединение геологических пластов, какого не было нигде больше на земле. Многометровые сосульки, казалось, росли вверх, местами вертикально, местами, где открывалось господство какого-то постоянно дующего ветра, они дружно отклонялись в одну сторону, как высунувшиеся на поверхность щупальца подземного гигантского животного.

— Мама, смотри, вот же замок! — закричала Танечка, и все засмеялись.

Вид этот был столь странен для человеческого взгляда, что долго выдерживать его было невозможно, тянуло прочь.

Медея, каждый раз оказываясь в этом месте, вспоминала покойного художника Богаевского, одного из многочисленных феодосийских художников, знакомых ей с гимназических времен. Его странные картины отталкивались от этих скальных причуд, черно-зеленых обрывов и розовых разломов Карадага. Картины ей не нравились фальшью и неправдоподобием, но всякий раз, попадая сюда, она говорила себе: и это все невозможно, неправдоподобно, но существует, живет, меняя форму, роняет крупные светлые песчинки, и там, внизу, из них уже насыпан маленький песчаный пляж, каких нет в округе...

Еще метров через тридцать тропа опасливо отрывалась от скалы и разбегалась на несколько извилистых, бегущих к морю. Здесь маленьких спускали с плеч, отпускали руки тех, кто постарше, и через расщелины, трещины, мимо неровных каменных глыб спускались вниз и получали свою награду — море в этом труднодостижимом месте было чистейшим, драгоценным, как будто каждый раз заново завоеванным.

Бухточки были сдвоенные, с тонкой каменной перемычкой. Они довольно глубоко врезались в берег, и несколько крупных скал торчали в море прямо против них. И бухточки, и морские камни пережили множество имен, но в последние десятилетия их все чаще называли Медеинами. Сначала их так окрестила Медеина молодая родня, от них переняли это новое имя послевоенные переселенцы, а следом и другие незнакомые люди, о существовании Медеи и не подозревавшие.

Сход к воде был неудобным, в неровных каменных глыбах, засыпанных крупной галькой. Глыбы были брошены беспорядочно, как будто здесь была когда-то детская площадка детенышей-тролеей. Красивых камешков — халцедонов, сердоликов, разноцветной крымской яшмы, — как в Коктебельской бухте, здесь не родилось, зато было множество светлых, с

темным утончившимся пояском голышей, камней-восьмерок, да в изобилии всякая морская труха, след прошедших штормов. А по самой кромке, у воды, сверкал белый, без тени желтизны, песок.

Все спустились к морю, бросили вещи и разом замолчали. Это была всегдашняя минута почтительного молчания перед лицом относительной вечности и вечной красоты, которая мягко плескалась у самых ног.

Катя первой сняла тапочки и пошла к воде своей жеманной балетной походкой. Теперь, когда она повернулась и шла к Артему спиной, он мог наконец смотреть на нее, не боясь перехватить насмешливый и неприязненный взгляд. Но даже со спины было видно, что она ни в ком не нуждалась и ничьей дружбы ей не надо. Артем страдал и наслаждался, глядя на ее жесткую спину, маленькую головку с прилизанным пучочком на макушке, как у Мэри Поппинс, но только не смешно. Она изгибалась, шагая по камешкам, выворачивала ступни носком наружу, и ее плотные икры, выпуклые с внутренней стороны, немного подрагивали при каждом шаге. Она шла вдоль воды и тоже страдала и наслаждалась. Она чувствовала, что хорошо идет, но смотрел на нее только Артем, промокашка, а дядя Георгий если и смотрел, то неодобрительно, а этот новый сосед и вовсе ее не замечал... Она шла, представляя собой балет, но самое ужасное уже произошло: ее отчислили из училища, потому что не было у нее прыжка. Выворотность была, и растяжка была, а проклятого прыжка не было. То есть походка была летучая, невесомая, но по сцене она не летела, и учителя знали, что не полетит никогда... Она вошла в прибрежную воду, чуть колышущую издалека принесенные розовые водоросли, провела по ним своей балетной стопой, и прикосновение это было холодным, но бархатно-приятным...

— Очень холодная? — крикнула Ника дочери.

— Одиннадцать градусов, — без улыбки ответила Катя.

— Ужас! — воскликнула Ника.

— В тринадцать уже можно плавать, — заметила Маша и пошла к воде. За ней потянулись малыши, все трое. Алик вел за руку Лизу, а второй пытался придерживать Таню.

— Дамский угодник растет, — хмыкнула Ника.

— Ну что ты! Он просто очень доброжелательный, — возразил Георгий.

Ника уже хотела что-то ответить, но неожиданно раздался голос Медеи:

— Мне нравится это последнее поколение детей. И эти двое, и Ревазик Томочкин, и маленькая Бригита.

— Да разве они чем-нибудь отличаются от Артюши с Катей или от нас, когда мы были маленькими? — изумилась Ника.

— Когда-то поколения считали по тридцатилетиям, теперь, я думаю, каждые десять лет они меняются. Вот эти, Катя, Артем, Шушины близнецы и Софики, очень целеустремленные. Деловые люди будут. А эта мелочь очень нежная, любвеобильная. У них все отношения, эмоции... — И не успела Медея договорить, как с кромки воды донесся отчаянный Лизочкин вопль:

— А ты отпусти, отпусти ему руку! Пусть отпустит его!

Лизочка вырывала Алика из рук Тани, а Таня, опустив голову, тянула его руку на себя.

Все засмеялись.

— Ну, бабы...

Нора понеслась к Танечке, схватила ее на руки, стала что-то шептать... Всего несколько дней прошло с тех пор, как она познакомилась со всеми этими людьми, все они ей нравились, были непонятны и притягательны, и к детям они относились как-то иначе, чем она к своей дочке.

Они слишком суровы с детьми, — думала она утром.

Они дают им слишком много свободы, — делала она вывод днем.

Они ужасно им потакают и их балуют, — казалось ей вечером.

Одновременно восхищаясь, завидуя и порицая, она еще не догадалась, что все дело в том, что детям отводилась определенная часть жизни, но не вся жизнь.

— Дров собери, Артем, — тихо приказал Георгий сыну.

Мальчик покраснел: отец заметил, как он пялится на Катю. Он нагнулся, поднял кусок расщепленной доски, занесенной штормом.

— Бери повыше, там много сушняка, — посоветовал Георгий, и Артем с облегчением полез вверх.

Сам Георгий взял два бидона для воды.

— Я с вами за водой, — предложил Бутонов.

Георгий предпочел бы идти один к этому древнему месту, указанному в детстве Медеей, но из вежливости не отказал.

День подымался теплый, даже жаркий. В этом потаенном месте — Медея давно это знала — природа жила какой-то усиленной жизнью: зимой здесь было холодней, в теплое время жарче, ветры в этом, казалось бы, укрытом месте крутились с бешеной силой, а море выкидывало на берег небывалые редкости: рыб, которых уже сто лет как не встречали на побережье, моллюсков — сердцевидок и венерок, обитающих в глубоководье, и маленьких, с детскую ладонь, морских звезд.

Медея надела купальник. Это была смелая новинка парижской моды двадцать четвертого года, привезенная Медее одной литературной знаменитостью тех лет. Сооружение было совсем уже потерявшегося цвета, с короткими рукавчиками и вроде как с юбочкой, умело отреставрированное Никой с помощью лоскутов темно-синего и темно-красного трикотажа, но на Медее не казалось смешным. Хотя во время августовского праздника, который всегда устраивали в доме в знак Медеиною дня рождения и конца детского сезона, у Медеи отбоя не было от просителей, этот костюм на всех, кроме Медеи, выглядел смешным и клоунским.

— Будешь купаться? — удивилась Ника.

— Посмотрим, — неопределенно ответила Медея.

Нора с горечью вспомнила о своей матери, рано постаревшей, с отекавшими белыми ногами в голубых венах, истерически и суетливо сражающейся со злым возрастом, о ее постоянных плаксивых требованиях, ультиматумах, настоятельных советах и рекомендациях.

«Господи, какие же у них нормальные человеческие отношения, никто ничего друг от друга не требует, даже дети», — вздохнула Нора.

В этот самый момент рыдающая Лизочка кинулась через неуклюжие камни к матери, требуя, чтобы Таня немедленно отдала ей только что найденную рыбу-иглу, потому что она увидела ее первой, а Таня схватила...

Ника сидела по-турецки. Она и бровью не повела, только пошарила рукой позади себя, не глядя вытащила из-за спины плоский камень, тут же цепко выхватила из россыпи какой-то маленький красноватый и стала чиркать красным по серому.

Она не успокаивала дочку, совершенно не пыталась решить тяжбу по справедливости, и потому Нора, уже собравшаяся уговорить Танечку проявить великодушие и отдать рыбку, тоже осталась сидеть.

— Сейчас я такое нарисую, в жизни не догадаешься, — сказала Ника в пространство, и Лиза, все еще продолжающая лить слезы, уже следила за мельканием Никиной руки. Но та загородила рисунок рукой. Лиза обошла ее сбоку, чтобы заглянуть. Ника отвернулась.

— Мам, покажи, — попросила Лиза.

А Нора восхищалась Никиным педагогическим талантом.

В этот день, немного позднее, она еще раз восхитилась ее талантом, на этот раз кулинарным. На костре, в кривом от старости котелке Ника сварила суп из холостяцких пакетиков, в который чего только не бросила: крошки и корочки хлеба, сметенные после завтрака со стола и завернутые в полотняную тряпочку, рубленые вычистки вчерашнего щавеля и даже твердые листики богородичной травы, сорванные по дороге к бухте. Это

была Медеина, а вернее, Матильдина школа жизни, в частности, школа кулинарии, рассчитанной на большую семью и небольшой достаток. Медея по сей день ничего не выбрасывала, даже из тончайших картофельных очисток делала хрустящее печенье с солью и травами — лучшая, как уверял Георгий, закуска к пиву.

Ничего этого Нора не знала. Она черпала деревянной ложкой из общего котла, положив под ложку, как это делала Медея, кусок хлеба, ела густой пахучий суп с давно забытым детским чувством голода и поглядывала в сторону, где за отдельным каменным столом сидели младшие, — это была еще одна семейная традиция — кормить детей за отдельным столом.

— Нора, налейте мне, пожалуйста, — протянул Георгий пустую миску Норе. Она растерянно склонилась над котелком.

— Кружкой, кружкой зачерпните, нет здесь черпака, — сказал он.

«А они пара, — подумала Ника. — Очень даже пара. Хорошо бы он с ней роман завел, он такой погасший последние годы».

Ника, как охотник, чуяла любовную дичь, даже и чужую. Себе она со вчерашнего вечера определила Бутонова. Собственно, выбора не было никакого, а он был собой хорош, замечательно сложен и свободен в поведении. Правда, в нем не было внутренней яркости, которую Ника так ценила, но, с другой стороны, никаких пригласительных сигналов от него не исходило.

«Ладно, там видно будет», — решила Ника.

Бутонов молча хлебал суп, ни на кого не глядя. С ним рядом сидела Маша, грустная и какая-то сгорбленная. Рука у нее все еще горела, как после пощечины, и хотелось испытать это прикосновение еще раз. Она умышленно села с ним рядом и, передавая ложку и хлеб, коснулась его дважды, но ожога больше не получилось, только какое-то нытье внутри. Он сидел рядом, с буддийски-неподвижным корпусом, и от него исходила каменная сила. Маша ерзала, все не могла устроиться удобно и наконец с отвращением к себе поняла, что вся эта возня — неосознанное приближение к нему. Тогда она отодвинула тарелку, встала и пошла к морю, сбросив по дороге белую мужскую рубашку, которой укрывалась от солнца. С размаху она бросилась в воду и сразу же поплыла, не дыша и взбивая руками и ногами тучу брызг.

«Беснуется девочка», — подумала Медея.

Бутонов смотрел в ее сторону:

— А вода довольно холодная.

— Катька говорит, одиннадцать градусов. А она у нас как термометр, — обернулась к нему Ника.

«А, просишься», — отметил Бутонов, глядя на нее прямым и трезвым взглядом, и не торопясь пошел к воде. Маша уже выходила, трясая головой и отдуваясь.

— Как в проруби, — простучала Маша зубами.

— Нет, разница в температуре побольше, это ощущение гораздо сильнее.

Маша легла на горячие камни, укрылась белой рубашкой. Холод и жар одновременно заполняли ее тело.

Бутонов сел рядом с Медеей:

— А вы, Медея Георгиевна, говорят, всю зиму купаетесь?

— Нет, голубчик, уж лет двадцать, как не купаюсь...

Суп доели, и Ника велела Кате почистить котелок.

— Почему всегда я? — возмутилась Катя.

— Потому, — улыбнулась Ника, и Нора в который раз восхитилась: никаких увещаний, объяснений, доводов.

Катя с недовольным лицом взяла котелок и пошла к воде.

— Кать! Забыла! — вслед ей крикнула мать.

— Чего? — обернулась девочка.



— Улыбнуться, — ответила ей Ника, скроив на лице уморительную клоунскую улыбку.

Катя присела в глубоком сценическом поклоне, прижимая к груди котелок.

— Отлично! — оценила Ника.

Как она бесстрашно мнет свое красивое лицо, растягивает его пальцами и корчит, изображая детям то обезьянку, которой дали слабительное, то ежика, который хочет поцеловать маму, но колючки мешают, — и совсем не боится показаться некрасивой! И было это Норе удивительно и непонятно.

Медея ничего этого не видела. Она повернулась спиной к морю и, чуть подняв голову, смотрела на горы, ближние и дальние, и две мысли одновременно присутствовали в ней: что в юности она больше всего на свете любила море, а теперь смотреть на горы ей гораздо важнее. И еще: за ее спиной, среди этой родственной молодежи, происходит любовное томление и весь воздух полон их взаимной тягой, тонким движеньем душ и тел...

## 11

Кольцо, найденное Медеей в бухтах, действительно принадлежало когда-то Александре. В памяти Медеи лето сорок шестого года осталось временем их самой полной сестринской близости. Они встретились тогда впервые после войны. Медея во всю войну никуда не двинулась не только из Крыма, но и из Поселка; Сандра, тоже безвыездно, провела всю войну в Москве, отказавшись наотрез от эвакуации в Куйбышев, куда отправляли семьи военных. Тогда, в сорок шестом, они как будто сравнялись в возрасте, и от Медеи ушло наконец всегдашнее беспокойство за младшую сестру: что еще она выкинет? Она была военной вдовой с тремя детьми, утомленная тяжелыми годами и уже миновавшая лучшую пору, — ничего не предвещало, что именно теперь она и выкинет очередное коленце...

Потеря кольца была незначительной во всех смыслах. Сандра вечно все теряла, вещи к ней не приставали, и она к ним не привязывалась. Но у Медеи находка этого потерянного тридцать лет тому назад кольца не выходила из головы. Может быть, потому, что она отлично знала: кроме обыкновенных причинно-следственных связей между событиями существуют иные, которые связывают их иногда явно, иногда тайно, иногда и вообще непостижимо.

«Ладно, надо будет мне знать, так объяснят», — с полной доверчивостью к тому, кому ведомо все, подумала Медея и успокоилась.

Колец у Сандры была целая коллекция, чуть не с детства она навешивала на себя всякую дребедень, а юность ее пришлась как раз на те времена, когда эта милая женская слабость жестоко порицалась общественным мнением.

В двадцатые годы, когда надежным Медеиным щитом оказалось ее многодетное сиротство, неулыбчивая строгость и ни на минуту не отпускающая забота о младших, Сандрочка, от природы легкомысленная, но вовсе не дурочка, раздувала эту простительную слабость, как воздушный шар, и казалось, вот-вот улетит куда угодно и невесть за чем.

Со временем этот невинный недостаток так развился, что посягательства всяких идеологических миссионеров от РЛКСМ, ВЛКСМ и прочих на ее душу закончились сами собой: ее гражданская неполноценность была установлена и ее неискоренимое легкомыслие стало диагнозом, освобождающим ее от участия в великом деле построения... чего именно, Сандрочка не удосуживалась вникать.

Медея, единственная в семье закончившая гимназию, настоящего образования по обстоятельствам военно-революционного времени не получила и мечтала вывести в люди своих младшеньких. Но с Сандрой

явно ничего не получалось. Училась Сандра скверно, хотя была не без способностей. В городской школе, куда она ходила, оставались еще гимназические преподаватели, и школа была неплохая. Медея приходила иногда за сестрой, и старый географ, великий знаток Крыма и его древностей, Николай Леопольдович Вельде, усаживал Медею в учительской, бегло ругал теперешних учеников за невнимание к ученью и с тоскливой страстью предавался воспоминаниям о тех временах, когда он водил гимназисток на экскурсии в самые дикие и потаенные уголки и щели Карадага. В этих общих воспоминаниях звучала скрытая надежда, что все еще может повернуться к нормальной жизни, то есть к довоенной, дореволюционной.

Но хотя нормальной жизнь не становилась, все постепенно обминалось, делалось выносимее. Мальчики вышли из младенчества. Их тянуло море, как и всех мужчин Синопли. Рыбная ловля, всегдашняя мальчишеская забава, с детства была для них трудом для пропитания, и старый же новез<sup>3</sup> дядя Гриша Порчелли, смолоду работавший у Харлампия, брал их с собой на ночной лов кефали, а это была забава не из легких.

В двадцать четвертом году Сандра окончила семилетку. Медея ломала голову, куда бы устроить сестру: хотя голод и отступил, но безработица была свирепая.

Двое суток даже во сне не покидала Медею мысль об устройстве Сандры, а на третий, когда она рано утром шла на работу — работала она тогда в акушерском отделении феодосийской городской больницы, — ей встретился Николай Леопольдович Вельде, совершавший утреннюю прогулку в сторону Карантина. Едва она открыла рот, чтобы поделиться своей заботой, он, как будто все уже сам обдумавший и решивший за нее, велел зайти к нему после работы.

Когда Медея пришла к нему, дело оказалось почти решенным. Он уже заготовил ей письмо на имя заведующего Карадагской научной станции, старого своего друга.

— Не знаю, есть ли у него штаты, но Станция теперь в ведении Главнауки, может, там что-то и прибавилось. Тем более теперь, к лету, они принимают приезжающих ученых, и работы прибавляется. — И он протянул ей конверт.

Медея, взяв в руки серый, гадкой бумаги конверт, почувствовала сразу, что дело сладится. Всякий раз, когда возникали старые нити, старые, из прошлого, люди, все устраивалось.

Она прекрасно знала и эту Станцию, и ее теперешнего заведующего и даже помнила Терентия Ивановича Вяземского, основателя Станции. В то первое лето, когда она гостила на судакской даче Степанянов, он приезжал к ним именно по делам Станции — запущенный старик в порыжелом сюртуке, с женским шарфом, завязанным на манер старомодного галстука, а с ним был второй, не менее примечательный персонаж, но совсем в другом роде: круглый лицом, животом, черно-седыми густыми бровями, с одинаково сильным еврейским акцентом как в русском, так и во французском, член Государственной думы, местная достопримечательность Соломон Самуилович Крым.

Степанян, большой благотворитель и меценат, по каким-то причинам отказал тогда просителям в поддержке, а вечером, после ужина, рассказывал, сколь оригинальный и необычный человек этот доктор Вяземский, физиолог, исследователь магнетических, не то электрических явлений, борец с алкоголизмом и носитель самых странных идей. С самой необычной из своих идей он долго носился: он полагал, что, заключая в тюрьмы интеллигентные силы, государство непроизводительно теряет ту замечательную умственную энергию, которую могло бы использовать в интересах

<sup>3</sup> Женевез — потомок переселившихся в средневековье в Крым генуэзцев.

самого государства, и создание научно-тюремных лабораторий могло бы сохранить ее для блага общества. Терентий Иванович убедительно развил эту мысль перед тогдашним министром народного просвещения графом Деляновым. Графу мысль показалась странной и даже опасной, хотя и удачно привилась в государстве несколькими десятилетиями спустя.

— *C'est un grand original*, — пробормотала Армик Тиграновна и отправила детей наверх, в спальни.

Но в те времена все благополучно забыли о сумасбродной идее великодушного безумца. Несколькими годами позже он все свое состояние положил на более удачную идею — создание в Карадаге, в своем имени, Научной станции, доступной всякому серьезному работнику науки, даже пусть и не имеющему образовательного ценза, пусть — и даже лучше! — не обладающему хорошим здоровьем, ибо здоровье можно поправить тут же, по ходу продуктивной научной работы, пусть материально стесненному, поскольку здесь же доктор Вяземский откроет санаторию и за счет доходов от этой санатории обеспечит проведение исследовательских работ...

На следующий же день Медея с сестрой поехала на Станцию. Заведующий Станцией расцеловался с Медеей, старшая дочь его, Ксения Лудская, была соученица Медеи по гимназии, вместе с ней работала в госпитале и в девятнадцатом году умерла от тифа. Он пошел распорядиться, чтобы дворový рабочий, по-старому дворник, освободил для Сандрочки маленькую угловую комнату в жилом корпусе Станции. Потом они долго пили чай, вспоминали общих знакомых, которых было немало, и расстались с самым теплым чувством.

Через три дня Сандрочка окончательно перебралась на Станцию и стала учиться всему, что было нужно, для проведения практики студентов, которые должны были в том году приехать из Москвы, Ленинграда, Казани и Нижнего Новгорода.

Первый же ее сезон оказался веселым и удачным. Сначала у нее завелся роман с научным сотрудником второго разряда из Харькова, а когда он уехал, собрав необходимое количество червей, появился симпатичнейший геолог, составлявший одностороннюю геологическую карту Карадага, и ее направили в помощь, поскольку эта съемочная работа требовала партнера. Они и оказались прекрасными партнерами, оба высокие, с ржавчиной в волосах, кареглазые, оба легкие и веселые, и геолог, имя которого было Александр, что их обоих тоже забавляло, ставил тонкий крестик на новой карте в тех местах, где удобно было расположиться, и с июля до самого конца октября Сандра, себя не жалея, служила науке, начиная с Берегового хребта, по всем его пяти массивам, от Лобового до Кок-Кая. Далее погода испортилась, геолог уехал, отложив завершение своих трудов на будущие годы.

Зима прошла нескучно, Сандра много трудилась в библиотеке и в музее Станции, оказалась и толковой, и грамотной в тех пределах, которые были необходимы. В конце марта стали приезжать всякие ученые, жизнь оживилась, к тому же и Планерная станция, переживавшая в прошлые годы упадок, возрождалась, и в тихом Коктебеле, на Клементьевской горе, завелись широкоплечие спортсмены и романтические изобретатели. Поэтому к приезду прошлогоднего геолога Александра Сандрочка была влюблена в планериста, которого через месяц сменил его брат-близнец, столь на него похожий, что Сандрочка почти и не заметила момента, когда Сергей заменился Женей.

Медея, не вникавшая в личную жизнь сестренки, радовалась, что она в хорошем месте, где ее не обижают, а, напротив, балуют, и была сильно озабочена младшими. Димитрий проявлял прекрасные способности к математике, мечтал об артиллерийском училище, Медея старалась деликатно сдвинуть его подальше от военной профессии, но он, глубоко чувствуя ее маневр, замыкался, отдалялся и всем видом показывал — хотя

слов не произносил, — что Медея старомодная мещанка и старорежимный балласт. Константин, хотя и был всего двумя годами старше, в ту сторону не смотрел, а по-прежнему ходил за рыбой с дядей Гришей Порчелли и, как казалось, ни о чем, кроме как о ставных сетях, волокушах и мерешах, не мечтал.

Легкое отчуждение, возникшее между Медеей и младшими братьями, глубоко ее огорчало, тем более что и Сандру она видела теперь довольно редко. Та приезжала в Феодосию раза два в месяц, бегала по друзьям и мельком, за ужином, рассказывала Медее о своей жизни на Станции, главным образом об экскурсиях и находках, оставляя в закрытых наглухо скобках свою бурную личную жизнь. Но Медея догадывалась, что ее младшая сестра не пренебрегает никакими радостями, ловит свои жемчужинки в любой воде и собирает мед со всех цветов. Это наводило Медею на печальную мысль, что собственная ее жизнь не устроена и, пожалуй, никогда и не устроится.

Успехом она не пользовалась — ее иконописное лицо, маленькая голова, уже тогда повязанная шалью, плоская, на вкус феодосийских мужчин, худоба не привлекала к ней поклонников.

«Видно, мой жених на войне погиб, — решила Медея и быстро смирилась с этим. — Но Сандру надо бы поскорей замуж выдать...»

Шел третий год работы Сандры на Станции, правильнее было бы сказать, третий сезон, и Сандрочкин будущий муж уже собирал в Москве, на улице Полянке, свои вещи, чтобы ехать в научную командировку на Карадаг.

## 12

Алексей Кириллович Миллер принадлежал к довольно известной петербургской семье, имевшей некогда полуопасный ореол «прогрессивности» и давние гуманитарные традиции. Предок их был из петровских немцев, оба деда профессорствовали — один в Казани, другой в Петербурге. Отец многое обещал в естественных науках, получил образование в Англии, но погиб молодым, не достигнув и тридцатилетия, в северной экспедиции. Алексей Кириллович, воспитанный теткой, образованной дамой, много участвовавшей в издательских делах своего мужа, как и отец, успел поучиться в Англии, но, не защитив диссертации, из-за начавшейся первой войны вернулся в Россию.

Врожденная близорукость, впрочем весьма умеренная, освободила его от военной службы, и, защитив диссертацию в Московском университете, он остался в нем в должности ассистента, а впоследствии и доцента. Он был энтомологом и изучал насекомых, обладающих сложным социальным поведением. По сути дела, он был одним из первых специалистов в зоосоциологии. Его любимыми объектами были пчелы и муравьи, и эти бессловесные твари умели рассказывать наблюдательному исследователю об интересных и в высшей степени загадочных событиях, происходящих в их многотысячных городах-государствах со сложной административной, хозяйственной и военной структурой. Много лет спустя, находясь в Южной Германии в неопределенном статусе перемещенного лица и в должности младшего сотрудника в закрытом учреждении, собравшем научный потенциал завоеванной Европы и устроенном по тому самому принципу, который некогда провозгласил покойный Терентий Иванович Вяземский, он даже написал небольшую, исполненную глубокого изящества работу, в которой пытался вычленить общие структуры поведения в условиях лагерей для военнопленных, где прожил почти год в качестве переводчика, до перевода в лабораторию, и в колониях общественных насекомых. Работа эта, в которой было дано печальное обоснование расизма как биологического явления, погибла в начале сорок пятого года при бомбежке. К несчастью, вместе с автором.

Но в то лето двадцать пятого года, в Крыму, ему впервые удалось пронаблюдать от начала до конца драму завоевания одной расы муравьев другой, начиная от первого вторжения пришельцев, сравнительно более мелких, но с более массивными челюстями. Часами просиживая над муравьиной кучей и вглядываясь в обманчиво осмысленную жизнь существ, не способных существовать поодиночке, он ощущал себя почти Господом Богом, прекрасно понимая, но не умея высказать на привычном ему научном языке, что в невинном копошении муравьев есть и тайна, и рок, и добрым молодцам урок.

Не только биология, не одна лишь биология — здесь много чего другого; у него было предчувствие открытия, прекрасное настроение и прилив сил.

Алексею Кирилловичу не было сорока. Он принадлежал к породе от рождения солидных людей, с раз навсегда установленным возрастом. Возможно, что в последние годы он чувствовал себя так хорошо именно потому, что этот его личный, от рождения данный ему возраст совпал с календарным. Он рано облысел, но еще до того, как волосы естественным путем покинули его круглую, в блестящих симметричных шишках голову, он стал наголо бриться и отпустил небольшую бородку и усы. К этому в комплекте полагались очки в золотой оправе и старорежимная полотняная или чесучовая одежда размера еще более обширного, чем требовала его ранняя, но вполне тугая полнота. Двигался он легко, был превосходным пловцом и, что трудно было в нем заподозрить, отличным игроком во все игры, так или иначе связанные с мячом, от тенниса до футбола. Сказывалась английская школа.

В тот год на Карадагской станции был в моде волейбол. В предзакатный час разношерстно-демократическая группа из научных сотрудников, местных и приезжих, и практикантов-студентов, выбравшись по скользким камням на берег после вечернего купанья, играла в домашний круговой волейбол. Корректный и благовоспитанный Алексей Кириллович принимал на чуткие фаланги легкий кожаный мяч, точно пасовал и брал самые трудные мячи, подкатываясь под мяч, как волна морская.

Сандрочка скакала, мелькала локтями и длинными голеньями, теряла подачи, вскрикивала и хохотала, открывая рот так широко, что видна была розовая глотка.

«Какая очаровательная девушка», — созерцательно и отвлеченно отметил про себя Алексей Кириллович. Он был давно женат, жена его была доцентом, гидробиологом, имела не менее солидную научную репутацию. Когда-то, много лет тому назад, она оставила своего первого мужа ради Алексея Кирилловича, тогда еще студента, и брак их был гражданский. Было время, когда она, рожденная и воспитанная в лютеранстве, даже собиралась принять православие, чтобы оформить официально брак, но в послереволюционные годы идея эта была забыта и даже стала смехотворной: глубокие разногласия между конфессиями без остатка развеялись в воздухе нового мира, который ни о каких шмалькальденских пунктах и знать не желал. Супруги проживали в гражданском браке и мирном согласии, за ужином обменивались профессиональными сообщениями и совершенно не склонны были к адюльтеру.

Тончайший пламень, занявшийся в груди под густой меховой порослью, возможно, так и остался бы не замеченным самим Алексеем Кирилловичем, если бы Сандрочка не почувствовала притяжения к профессору, забавному и старомодному, и не раздула этого неопределенного, чуть тлеющего интереса. Сначала она дала ему срок — три дня. Но он не подошел к ней, хотя становился в волейбольный круг всегда против нее и точно пасовал ей мяч — все время ей, только ей. Потом она дала ему еще два дня сроку, потом три. Каждый вечер они в шумной компании вместе купались, потом играли в мяч, а он все к ней не подходил, только поглядывал, разжигая в ней интерес. В рабочее время они не виде-

лись, он уходил на свои участки к муравьям, она помогала в гербарной работе ботаникам.

Для людей убежденно-нравственных и физиологически порядочных, каким, несомненно, был Алексей Кириллович, жизнь расставляет ловушки самые простые, зато и самые надежные. Камешек этот подвернулся тогда, когда он уже почти что вышел победителем из неначавшейся игры. Подвернулась, собственно, Сандричкина нога — в волейбольном порыве. Ступить на ногу было невозможно. От берега до дома научные сотрудники Станции, мужского пола, несли Сандру на руках, по очереди. Сначала два аспиранта на сцепленных креслом руках, потом ихтиолог Ботажинский на закорках и, наконец, последнюю треть пути — Алексей Кириллович. В тот же вечер он и получил ее вместе с локотками, коленками, вывихнутой лодыжкой и всем прочим. Он прекрасно помнил, как отнес ее в угловую комнату, а потом зашел на дачу Юнге, где взял в аптечке бинт, немецкий, дореволюционный, не иначе как из запасов покойного Вяземского, и вернулся к Сандре перевязать распухшую и покрасневшую стопу. Полчаса, прошедшие между перевязкой и тем моментом, когда он, не закрывши дверей, вломился в мускулистое доно начинающей волейболистки, начисто выпали из его памяти.

Сандра понесла едва ли не в тот самый вечер, и через два месяца, отбыв до конца срок своей командировки, Алексей Кириллович уехал, оставив ее определенно беременной и вполне уверенный в том, что вернется за ней в самое ближайшее время.

Однако переустройство прежней жизни, которое повлекла за собой эта романтическая история, потребовало больше времени, чем он предполагал.

Жена лютерански спокойно и, пожалуй, даже несколько холодно приняла сообщение Алексея Кирилловича о новых обстоятельствах. Единственное условие, которое она поставила ему, оказалось непредвиденным и трудноразрешимым: она просила его, чтобы он ушел из университета, где они вместе работали. До сентября он не мог предпринимать никаких шагов, связанных с поиском новой работы. В сентябре открылась вакансия в Тимирязевке. Возникли сложности с жильем. Квартира на Полянке отходила жене. Тимирязевская академия имела служебные помещения, но требовалось время для написания нужных бумаг, получения нужных подписей и решений. Время шло. Сандра малозаметно носила свою беременность, пуговиц до седьмого месяца не расставляла, получала еженедельные письма от Алексея Кирилловича и благодаря своему счастливому легкомыслию вовсе не задумывалась о том, что же ей предстоит, если Алексей Кириллович исчезнет так же неожиданно, как появился. А может быть, безмятежность ее основывалась на уверенности, что Медея возьмет на себя и этого ребенка, как взяла когда-то их.

А пока обе сестры молчали. Впрочем, Медея открыла большой сундук, перебрала старое белье и отложила кое-что на пеленки. Только увидев в Медеиных руках старомодный чепчик, по краю которого она тонкой иглой вела синий «козлик», Сандра рассказала об Алексее Кирилловиче, трясая волосами и крепко нажимая на букву «ч» в слове «очень»: он оч-чень мне нравится... он оч-чень интересный человек... он тебе оч-чень хорошо известен...

Медея действительно помнила его с детских лет, когда Алексей Кириллович, будучи студентом Санкт-Петербургского университета, еще до отъезда в Англию нанимал комнату в их доме — Крым привлекал тогда многих естествоиспытателей. Теперь уже приезда Алексея Кирилловича ждали обе сестры Синопли.

Тем временем Алексей Кириллович получил жилье — зимнюю дачу рядом с Тимирязевским парком, возле Соломенной сторожки. Дача была такой запущенной, что пришлось делать ремонт, к тому же Алексей Кириллович спешно готовил новый большой курс общей энтомологии и специальный курс — «Вредители сада».

Сандрочкин сын так и не дотерпел до Москвы — родился под при-  
смотром тети Медеи в той самой городской феодосийской больнице, где  
рожала своих детей Матильда. Только доктора Лесничевского уже не было  
в живых.

Через две недели, без всякого письменного предуведомления, приехал  
Алексей Кириллович, прямо в дом Медеи, — из писем Сандры он знал,  
что она перебралась к сестре незадолго до родов. Он нашел сидящую у  
окна на венском стуле молодую женщину с короткими, под скобку остри-  
женными рыжеватыми волосами, наполовину завешивающими лицо, и  
круглоголового младенца, присосавшегося к голубовато-белой груди. Это  
была его семья — дух его перехватило.

Через два дня Алексей Кириллович с новой семьей отбыл в Москву.  
Медея могла бы и не ехать, но она за эти дни так прикипела сердцем к  
племяннику, которого уже и крестила, сделавшись его крестной матерью,  
что взяла отпуск и поехала с ними, чтобы помочь Сандре устроиться на  
новом месте. В этот месяц, первый месяц жизни Сережи, она со всей пол-  
нотой пережила свое несостоявшееся материнство. Иногда ей казалось,  
что грудь ее наливается молоком. В Феодосию она вернулась с чувством  
глубокой внутренней пустоты и потери. Молодость прошла, — догадалась  
Медея.

*(Окончание следует.)*



---

---

АЛЕКСАНДР КУШНЕР

\*

## ЭТО Я ГОВОРЮ ТЕБЕ, ВОПРОЕКИ...

\* \*  
\*

Ох, я открыл окно, открыл окно, открыл  
На даче, белое, и палочки подставил,  
Чтоб не захлопнулось, и воздух заходил,  
Как Петр, наверное, по комнате и Павел  
В своем на радости настоящем краю  
И сладкой вечности, вздымая занавеску,  
Как бы запахнуты в нее, как бы свою  
Припомнив молодость и получив повестку.

Ох, я открыл окно, открыл окно, открыл  
И, что вы думаете, лег лицом в подушку!  
Такое смутное томленье, — нету сил  
Перенести его, и сну попал в ловушку,  
Дождем расставленную, и дневным теплом,  
И слабым шелестом, и пасмурным дыханьем,  
И спал, и счастлив был, как бы в саду ином,  
С невнятным, вкрадчивым и неземным названьем.

\* \*  
\*

«С свинцом в груди и жаждой мести»  
Иль «с страстной женскою душой»...  
Не верь, что звук дороже чести,  
Важнее горечи земной,  
Нет, есть такая боль, что звуки  
Как бы немеют перед ней, —  
Так трут виски, сжимают руки,  
Огня пылают горячей.

Есть неуступчивая косность,  
Неустрашимая тоска...  
Что перед нею виртуозность?  
Кому нужна она? Строка  
В бугры сбивается и складки,  
Вся, как в запекшейся крови,  
И не стыдятся, как в припадке,  
Ни слабой рифмы, ни любви.



\* \*  
\*

Я-то верю в судьбу и в угрюмый рок,  
Карты тоже в цыганских руках не лгут,  
Это я говорю тебе, поперек  
Всех разумных суждений, что тут как тут  
Возникают, нашептывают: не верь...  
Слово дикое употреблю: чутье.  
А не веришь, значит, еще потерь  
Ты не знал и бед, поживи с мое.

Это я говорю тебе, вопреки  
Собственной установке на трезвый взгляд,  
Здравый смысл, это чувствуют старики,  
Свою жизнь раскручивая назад,  
Я готов под сомненье поставить честь  
Свою, впрочем, об этом и Еврипид  
Рассказал, и все древние: что-то есть,  
Что-то есть. Значит, Кто-то за всем следит.

### Падение

Где та скала,  
скала,  
скала,  
с которой сбрасывали вниз,  
вниз,  
вниз  
дрожащие тела,  
за кустик, словно за карниз,  
цепляющиеся, ведь есть,  
ведь никуда ж не делась, ждет.  
О, посмотреть бы, о, залезть, —  
и хищных птиц над ней полет.

Надеюсь я, что море там  
под ней блестит,  
блестит,  
блестит,  
а не лежит обычный хлам,  
туристский сор, житейский стыд,  
или я путаю ее  
с другой, которую избрав  
хлебнула Сафо забыть  
не так, как все мы, а стремглав.

И я читал,  
читал,  
читал  
о том, как нынешний француз-  
философ взял одну из скал  
на выбор, выбрал на свой вкус,  
приехав в Грецию, но лай  
собачий путника отвлек —  
и он присел на самый край,  
потом отполз и навзничь лег.

И разве в пропасть не летим  
мы, оступаясь, каждый миг,  
все вместе, каждый со своим  
отдельным страхом, сколько б книг  
мы ни читали, заслонить  
не в силах чтеньем смертный вой,  
стремясь продлить его,  
продлить,  
продлить,  
ведь, жалкий, он — живой!

\* \*  
\*

«Плевать на жизнь!» — шотландская принцесса  
Сказала, умирая в девятнадцать  
Лет, — что ей смерти плотная завеса,  
Готовая упасть и не подняться,  
И что ей море в пасмурных барашках,  
И что ей лес еловый и охота?  
Ее душа — не наша замарашка,  
А точный слепок с птичьего полета.

А может быть, в ее средневековье  
Другая жизнь за гробом проступала,  
Как тот ларец за шторкой в изголовье,  
В котором драгоценности держала?  
Или в ней было что-то от повесы  
И мудреца, философа-гуляки,  
Каких Шекспир вставлял частенько в пьесы  
И убивал в пылу кинжальной драки?

\* \*  
\*

Можно представить, как счастливы были боги  
И благодарны юному Юлиану  
За возвращенные им алтари, чертоги,  
Ниши и пьедесталы, промыл им рану  
И залечил, залил трещины им раствором  
Цепким, замял обиды, убрал подтеки.  
Как они провожали влюбленным взором  
Цезаря, вдумчивым, грозным своим, глубоким!

Хоть ненадолго, на несколько лет, — вернулись!  
Радовались возвращению в мир, как дети.  
Дни синеокие снова им улыбнулись,  
Овцы, козлята, актеры, софисты, — в свете  
Веяний новых, рискованных — разрешалось  
Все, и неверие тоже, и бюст Гомера  
В садике скромном приветствовал эту шалость  
Детскую; впрочем, большого, как мир, размера.

\* \*  
\*

По крутым ступеням вскарабкался на помост  
Деревянный под грохот солдатских щитов и клики,  
Прям, и в меру приветлив, и тверд, в то же время — прост,  
И вошел в этот миг во все, все словари и книги,  
Посвященные римской истории, на виду  
У богов, в том числе в однотомный словарь-могильник,  
Изданный в тысяча девятьсот семьдесят восьмом году.  
Хорошо им прихлопнуть жучка или мальчику дать подзатыльник.

Всё. И как бы ты с ним ни тягался, леча людей,  
Сочиня стихи иль зародыши римских пиний  
На откосе сажая крутом, — все равно прочней  
Шуточки или брань на армейской его латыни,  
Так что умному, кроткому, вдумчивому тебе  
Остается признать, что расчетливей всех стараний  
И надежней упорства — участие звезд в судьбе,  
Блеск их утренний, поздний или предвечерний, ранний...

\* \*  
\*

Лети, лети! Плыви, плыви! Беги,  
Беги! Ты жив — подходят все глаголы,  
И наплевать — какие пустяки! —  
На вкус любой литературной школы.

Что у стручка тяжелого внутри?  
Рядком сидят в нем ядрышки, как дети  
Или гребцы галерные, — смотри,  
Смотри, — нет большей радости на свете.

Кто эту жизнь придумал, виноват  
В ее страстях и бедах перед нами.  
Но говорят на даче, говорят —  
И разговор нам слышен за кустами.

Хотя б о курсе доллара к рублю, —  
Как тень, сторонний счастлив наблюдатель,  
Как гость, как призрак, и: «Люблю, люблю, —  
Он шепчет, — дай мне слово, Председатель,

На скорбном пире, — знаю, что скажу:  
Что перед смертью тоже перспектива  
Нужна душе: глядят вослед стрижу —  
И он, поняв, ныряет прихотливо».

### Сахарница

Как вещь живет без вас, скучает ли? Нисколько!  
Среди иных людей, во времени ином,  
Я видел, что она, как пушкинская Ольга,  
Умершим не верна, родной забыла дом.

Иначе было б жаль ее невыносимо.  
На ножках четырех подогнутых, с брюшком  
Серебряным, — но нет, она и здесь ценима,  
Не хочет ничего, не помнит ни о ком.

И украшает стол, и если разговоры  
 Не те, что были там, — попроще, победней, —  
 Все так же вензеля сверкают и узоры,  
 И как бы ангелок припаян сбоку к ней.

Я все-таки ее взял в руки на мгновенье,  
 Тяжелую, как сон. Вернул — и взгляд отвел.  
 А что бы я хотел? Чтоб выдала волненье?  
 Заплакала? Песок просыпала на стол?

\* \*  
 \*

Какой бы ни был самый сладкий голос,  
 Когда б весь день, всю ночь он, женский, пел  
 Нам о любви, прилипчивый, как волос,  
 Ты б этот сон продлить не захотел.

Ни в сочетанье с дуба шелестеньем,  
 Когда бы пенье шум перебивал...  
 Иль дорожить высоким женским пеньем  
 Пристало лишь убитым наповал?

И кто ж стихи читает так буквально?  
 Иль слишком часто, чтобы так прочесть?  
 Ах, боже мой, бессмертие печально,  
 И в нем всегда подвох какой-то есть.

И от счастливых снов устать нетрудно,  
 И несчастливый к сердцу горячей  
 Льнет: безнадежно любят, безрассудно  
 Ждут, в смерть заходят, как в лесной ручей.

\* \*  
 \*

Если и впрямь мир погибнет через четыре года,  
 Как предсказывает потомок Нострадамуса, не шутя,  
 И внимает ему президент Клинтон, не потому, что такая мода,  
 А потому, что жаль президенту американское дитя,  
 И если согласно осведомленным источникам из Белого дома  
 Предпринимаются по спасению мира некоторые шаги,  
 В том числе в Югославии: выгребается солома  
 Из Сараева; прячут спички; изолируются озорники;  
 И если самая большая угроза  
 Исходит из России с ее ракетно-ядерным шантажом  
 И разрухой в умах, и если субальпийская скабиоза  
 Не цветет, как положено ей, а сворачивается ужом, —  
 В ресторан, в ресторан! — ты смеешься, захлопав в ладоши,  
 В ресторан — и пропьем наши деньги, пропьем, проедем,  
 Хорошо посидим, посочувствуем тем, кто моложе,  
 И на Невский проспект из большого окна поглядим.  
 Я согласен! И даже какое-то вдруг облегченье  
 Ощущаю; сказать ли: я знал, что не стоит стихам,  
 Ни слезам, ни мечтам непомерно большое значенье  
 Придавать — только белым, бегущим от нас облакам!

---

---

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

\*

## МИМОЗА НА СЕВЕРЕ

*Рассказ*

**С** Раулем Аслановичем Камба мы познакомились на охоте. У села Тамыш, на огромной приморской поляне, кое-где поросшей зарослями ежевики, держидерева, сасапарилия, шла охота на перепелок. Кругом раздавались приглушенные расстоянием хлопки выстрелов, взвизги и взлай охотничьих собак, виднелись и сами собаки, петляющие в траве, и фигурки охотников, подбегающих к ним после удачных выстрелов.

И вдруг среди этого буйства охотничьих страстей я увидел могучего увальня, лениво бредущего по тропе с ружьем, горизонтально лежащим на плечах, и двумя ручищами, как два отдыхающих хобота, с двух сторон свисающими над ружьем.

Это был человек, явно не поддающийся охотничьему азарту. Видимо, он тоже заметил, какой я охотник: я шел навстречу, и когда мы сблизились, он остановился и неожиданно спросил:

— Выпить не хотите?

— А почему бы нет, — ответил я.

Походка его стала несколько более деловита, он подвел меня к дикой яблоне, как к хорошо знакомой закуской. Он подобрал несколько паданцев, и мы присели у тенистого подножья яблони. Он снял с пояса фляжку, отвинтил колпачок, и мы стали пить из него превосходный коньяк, закусывая кислящими, в жару очень приятными паданцами.

— Люблю вот так выехать за город, — сказал он, — но охоту, честно говоря, не люблю. То ли в перепелку попадешь, то ли в собаку. И перепелку жалко, и собаку тем более. Охота для меня — это хороший способ освежить место выпивки, а вы чем занимаетесь, когда не выезжаете на охоту?

Мне показалось, что он намекает на одинаковую плодотворность обоих моих занятий. Почему-то всегда стыдно называть свою профессию. Мир так безумен, что писатель в нем кажется неуместен, как звездочет в сумасшедшем доме. Кажется, назвав свою профессию, услышишь недоуменное: если вы писатель, почему мир так безумен? Если мир так безумен, зачем писатель?

Что тут ответить? Писательство — безумная попытка исправить безумный мир. Тут кто кого перебезумит. У меня лично более скромная задача — перевести мир из палаты буйных в палату тихих. А там посмотрим.

Тем не менее я взял себя в руки и назвал свою профессию. Он кивнул головой в том смысле, что его ничем не удивишь.

— Вот Лев Толстой всю жизнь проповедовал христианство, а охотником был азартным, — сказал он, видимо решив начать с главного звездочета. — Неужели он сам не видел этого противоречия?

— Не знаю, — ответил я, — он вообще был очень страстным человеком.

— А как насчет выпивки? — спросил он. — Понятно, что он выступал против алкоголя? Но сам он выпивал?

— В молодости мог крепко поддать, — сказал я, — но в зрелости остерегался.

— Понятно, — сказал он, — свою норму взял, а потом стал противником алкоголя.

Большое, но пропорциональное росту лицо моего нового знакомого производило приятное впечатление: правильные, крепко вылепленные черты и общее выражение добродушного мужества. Однако в его зеленоватых глазах чувствовалась какая-то тихая, затаенная печаль. Казалось, печаль эта даже как-то выцветает от долгого употребления. Выражение его глаз не совпадало с его постоянной, как я потом заметил, склонностью к шутке. Но кто знает, может, эта его склонность была неосознанной борьбой с печалью.

Пока мы пили, закусывая паданцами, он стал очень живо выклеивать юмористические сценки из произведений Толстого и радостно, а иногда и с хохотом мне пересказывать. Оказалось, что таких сценок в произведениях Льва Толстого было гораздо больше, чем я предполагал. Эти сценки выглядели особенно смешными в его смачном исполнении. Он их помнил почти дословно. Конечно, я их тоже помнил, но они для меня были затенены гениальными поэтическими картинами Толстого.

Всем этим сатирическим сценкам придавало дополнительный юмор то, что они и сейчас звучали не только современно, но даже особенно современно. Главным образом это касалось государственной жизни, жизни чиновничества. Захлебываясь от смеха, он пересказал то место в «Анне Карениной», где высшее чиновничество обсуждает вопрос об инородцах. Но что именно они хотят сказать об инородцах, Толстой упорно не раскрывает, тем самым подталкивая читателя к мысли, что они ничего не знают об инородцах и им нечего о них сказать.

— Вот так, — смеясь, говорил он, — иногда на бюро обкома, дожидаясь, когда подымут вопрос о строительстве, я слушаю, о чем они говорят, вспоминаю эту сцену Толстого и умираю от внутреннего смеха, хотя надо было бы плакать.

Вообще Рауль оказался неплохим знатоком литературы, тем более учитывая, что по профессии он был инженером-строителем. Вот еще одно, по-моему, интересное его наблюдение над творчеством Льва Толстого. Сами факты, о которых он рассказывал, множество раз обсуждались в критике, но психологическую природу их он объяснил достаточно оригинально.

— Когда читаешь Толстого, — вдруг сказал он без всякого юмора, — странное чувство иногда возникает. У него Наполеон повсюду глуп и смешон. И хотя умом понимаешь, что Наполеон не мог быть столь глупым и смешным, но подчиняешься невероятной уверенности его, что все было именно так, как он пишет, и не могло быть иначе. Если бы он о Наполеоне писал статью, я бы ни на минуту не поверил ему.

Видимо, здесь тайна художественного колдовства. Он создает некий свой мир, свою планету. Ты вступаешь в этот мир, и тебе там так хорошо от всей его слаженности, что ты поневоле проглатываешь и вещи, которые не соответствуют обычной логике. Тебе же было так хорошо в созданном им мире, ты так поверил в его правдивость и поэтичность, что поневоле глотаешь вещи, которые не соответствуют здравому смыслу. Ты говоришь себе: здесь в этом мире — это правда. Иначе ты должен был бы подвергнуть сомнению и те описания жизни в этом мире, где ты был счастлив. Кто же добровольно откажется от собственного счастья и скажет, что счастье было ложно?

То же самое и Кутузов. Толстому веришь, хотя частью ума, которой не завладел его мир, понимаешь, что не мог великий полководец считать, что надо отдаваться стихии и она сама вынесет. Ничего себе — вынесет!

Вот я, например, строитель. Скажем, мы взяли за объект. Стройматериалы подвозятся, прорабы и рабочие все на местах. И я, начальник строительства, говорю себе: больше я этим объектом заниматься не буду,

стихия строительства сама вынесет. Ничего себе! Я же знаю: только отведи глаза — и через неделю половину стройки раскрадут, а вторую половину исхалтурят. Вот тебе и стихия!

Он расхохотался и взглянул на меня насмешливыми глазами, как бы требуя ответа. Вместе с тем он налил в колпачок коньяку и осторожно поднес мне. Почему-то, прежде чем выпить, оправдывая угощение, надо было что-то сказать.

— Главная мысль всех великих умов, — важно заметил я, — бессилие мысли. Отсюда и культ стихии.

Вскоре к нам подошел его товарищ, увешанный перепелками. Он явно знал, где его искать. Рыжая охотничья собака его с разинутой огнедышащей пастью стала нервно тыкаться нам чуть ли не в лица, словно призывая: мой хозяин уже наохотился. А я еще не наохотилась. Иду с вами. Вставайте!

— Что, если плеснуть ей в пасть коньяку, — сказал Рауль, — может, она успокоится?

Он рассмеялся, но хозяин даже обиделся.

— Плещи себе в пасть, — прошипел он, — все равно на охоте ты больше ничего не умеешь делать. Охотничья собака — это почти член семьи. Как можно так говорить!

Он наклонился, поймал собаку и стал, взъерошивая ей шерсть, тщательно исследовать состояние ее кожи, особенно на груди. Время от времени он выбирал и выщелкивал оттуда растительную труху.

— Колючки проклятые уродуют мою собаку, — сказал он, вздохнув.

— Ты бы достал ей бронежилет, — рассмеялся Рауль, — и перед охотой надрючивал бы его на нее.

— Не смейся, — отвечал хозяин, — я в самом деле хочу что-нибудь такое придумать.

Мы пошли к машине товарища Рауля. Человек, который привез меня на охоту, давно обо мне забыл, и правильно сделал. Да если бы и не забыл, в отличие от товарища Рауля, не знал бы, где меня искать. Мы поехали в город.

Так мы познакомились с Раулем. Я уже жил в Москве и в Абхазию обычно приезжал раз в год отдыхать. Здесь я чаще, чем в Москве, бывал в ресторанах. Обычно я ходил в верхний ярус ресторана «Амра» попить кофе или чего-нибудь покрепче. Там я несколько раз встречал Рауля. Когда изредка заходишь в один и тот же ресторан и встречаешь там одного и того же человека, кажется, что он, в отличие от тебя, всегда здесь пропадает.

— Не слишком ли часто ты здесь бываешь, — сказал я однажды, встретившись с ним в «Амре» и подсаживаясь к нему.

— Нет, — отвечал он, придвигая мне фужер, — но куда деваться? Мои друзья почти забыли этику домашнего застолья. Когда они бывают у меня в гостях и затевается какой-нибудь спор, они начинают подхамливать и переходить на личности. Я не могу соответствовать, потому что с молоком матери всосал: хозяин должен быть снисходителен к гостю и прощать ему неловкости. Бывая у них в гостях, я опять слышу хамские выпады и переход на личности. Но опять же, следуя этике застолья, не могу в ответ хамить и нарушать законы гостеприимства уже как гость. Таким образом, и в гостях, и дома я оказываюсь в дерьме. Лучше ресторан — это нейтральная почва, и тут можно дать по рукам человеку, если он переходит границу.

В ресторане он часто перебрасывался шутками со своими знакомыми и приятелями за другими столиками, а иногда и бутылками (разумеется, через официантов), вознаграждающими острое словцо. Одним словом, он производил впечатление большого, добродушного увальня, непрерывно ищущего повод посмеяться.

Однажды от нечего делать мы с одним приятелем забрели к нему в контору в рабочее время. По-моему, приятель, который затащил меня к нему, надеялся, что впоследствии выпивка по поводу нашего прихода. Мы пошли.

В передней перед его кабинетом нас встретила молодая секретарша и очень удивленно оглядела нас.

— У вас дело? — спросила она.

— Нет, — признался приятель, — мы просто друзья.

Лицо секретарши теперь выразило крайнее удивление. Она замешкалась, но потом сказала, вздохнув:

— Хорошо, я доложу...

Это прозвучало так: вы, конечно, сумасшедшие, но как будто не буйные. Она прошла в кабинет и через минуту вышла.

— Пройдите, — сказала она, выйдя из кабинета, как бы пораженная нашим успехом, но все-таки не переставая надеяться, что этот успех частичный.

Мы вошли в его обширный кабинет. На столе у него стояло несколько телефонов. По одному из них он говорил. Не прерывая разговора и окинув нас не очень узнающими глазами, он широким жестом указал нам на кресла, а потом, двинув ручищей вниз, как бы навсегда нас в них утопил.

И тут я увидел совершенно другого человека. Это был суровый капитан на капитанском мостике. Телефоны звонили почти непрерывно. Одним он давал какие-то советы, похожие на приказы, а другим отдавал приказы, похожие на дружескую просьбу.

Несколько раз входили люди с какими-то бумагами, и, если он говорил по телефону, они замирали у дверей с выражением военизированного смирения. Потом следовал короткий рапорт, который он еще ухитрялся на ходу укоротить. И они бесшумно исчезали из кабинета.

Мне уже стало неловко за наше расхлябанное посещение этой четко работающей, могучей машины. Я, переглянувшись с приятелем глазами, показал ему, что нам лучше всего удалиться восвояси. Казалось, утопив нас в креслах, он вообще забыл о нашем существовании даже в качестве утопленников. Мы встали, вынырнув. В это время он говорил по телефону. Секунды три он глядел на нас, как бы пытаясь осознать, откуда мы взялись, а потом прикрыл трубку и сказал:

— Если у вас нет конкретного дела, встретимся в восемь часов в «Амре».

Возможно, по инерции, но его слова прозвучали как приказ. Мы вышли из кабинета, и секретарша опять удивленно оглядела нас, теперь, вероятно, пытаясь понять, во время какой паузы мы с ним общались, когда такой паузы вообще не было. Разве что общались знаками, когда он говорил по телефону. Вообще-то один такой знак он нам сделал, после чего мы утонули в креслах.

— Потрясающий человек, — сказал приятель, — даже кофе не угостил.

Блаженное солнце, блаженное море, ленивые стайки туристов и еще более ленивые старожилы, попивающие кофе в открытой кофейне и, вероятно, сравнивающие, как на вкус кофе влияло правление Сталина, правление Хрущева и теперь правление Брежнева. Судя по их лицам, разница была небольшая.

Было удивительно осознавать, что в этом городе, приятно балдеющем от жары, есть точка, где идет четкая, ясная, яростная работа. Вероятно, на таких точках все еще держится наша жизнь. Если узнать, сколько таких точек по стране, можно было бы определить, сколько мы еще продержимся.

Вечером мы с Раулем снова встретились в «Амре». В его облике никакой усталости не чувствовалось. Это был все тот же добродушный увалень, обменивающийся шутками с соседними столиками, а иногда и бутылками в ответ на особенно удачные остроты.

Через год в следующий свой приезд в Абхазию я узнал, что Рауль, никому ничего не сказав, внезапно покинул город и уехал работать на Север. Он уехал именно тогда, когда здесь в правительственных кругах обсуждался вопрос о назначении его министром. Местным, конечно.



— Бросил квартиру, жену, друзей и, никому ничего не сказав, уехал на Север, — жаловались наши общие знакомые. И всегда неизменно в перечислении того, что он бросил, квартира стояла на первом месте. Жена и друзья иногда менялись местами, но квартира всегда шла первой. То, что он уехал на Север, его бесчисленные знакомые узнали от его бывшей теперь жены. Судя по их словам, она сама больше ничего не знала. Казалось, мухусчан более всего угнетала скудость информации.

— Тут обком голову ломает, хочет рискнуть и назначить его министром, — сокрушался один местный либерал, — а он фактически нелегально уезжает на Север. Плюнул на либеральное крыло обкома. Из-за него сейчас сталинисты окончательно верх взяли.

— Я думал, — рассказывал при мне тот человек, с которым он был на охоте, — может быть, он деревенским родственникам что-нибудь рассказал. Специально поехал в Лыхны, но и они ничего не знают, он и на них плюнул. Вообще я вам про него скажу, как близкий друг. Хотя он и был первоклассный инженер, с головой у него было не все в порядке. Я это в прошлом году заметил. Вдруг стал придирается к моей охотничьей собаке. Придирается и придирается! Что она тебе плохого сделала? Ты жрешь у меня в доме перепелок, которых она выносила из ужасных колючек. Нет! Придирается. В прошлом году на охоте (он, видно, забыл, что я там был) давай, говорит, вольем ей в глотку коньяк. Сам пьяница, хочет, чтобы все пьяницами стали. И уже разинул моей бедной, послушной собаке пасть и хотел туда влить коньяк. Я, клянусь матерью, психанул! Вырвал у него фляжку и изо всех сил забросил ее подальше.

— А он что?

— А что он мог сказать? На моей машине приехал. Куда денется. Как миленький молча пошел и поднял фляжку. И что характерно? Там же на месте допил из нее.

— Ну, не совсем так было, — сказал я.

Он возмущенно посмотрел на меня и вдруг вспомнил как бы мое предательское присутствие там. Однако он тут же взял себя в руки и даже, повысив голос, добавил:

— При тебе, может, не совсем так было, а без тебя было именно так! Я же не говорю, что он один раз придрался к моей собаке. Если б один раз, я бы даже не вспомнил. Нет, он каждый раз к ней придирался. А перепелок наяврил, дай Бог! Спрашивается, где же принципиальность? Лишь бы попохмить, лишь бы попохотать!

Так Рауль исчез под ворчанье друзей из их жизни. Из моей жизни он тоже исчез. Прошло лет десять. И вдруг в самой середине идиллического, как теперь кажется, болота брежневской эпохи его имя внезапно появилось в нескольких центральных газетах.

Оказывается, он там на Севере уже руководил какой-то огромной стройкой и ввел у себя новый метод оплаты труда рабочих, поощряющий частную заинтересованность каждого из них в конечном результате общих усилий. Там описывались какие-то подробности, которых я сейчас не помню. Но суть в этом.

Ради справедливости надо сказать, что некоторые журналисты и тогда поддержали его метод, но некоторые злобно высмеивали его, подтверждая уже свою частную заинтересованность в нашей идеологии, на которую он якобы покусился. При этом каждый из них ехидно отмечал, что Рауль специальным рейсом послал самолет в Абхазию, чтобы привезти оттуда на далекий Север мимозы. Что хорошего можно ожидать от человека, спрашивали они, позволяющего себе такие сентиментальные шалости?

И вдруг однажды летом раздается звонок от одного моего приятеля-режиссера. Он жил за городом, в деревне. Он сказал, что со мной хочет поговорить мой земляк, и кому-то передал трубку. Я сразу узнал голос Рауля.

— Хотелось бы увидеться, — сказал он, — можешь приехать?

— Конечно, — ответил я.

Мне и в самом деле хотелось увидеться с ним и, может быть, наконец узнать тайну его исчезновения из Абхазии. К тому же мне вообще нравилась семья этого режиссера, их небогатый, но всегда веселый и гостеприимный дом. Я сел в электричку и поехал, по дороге гадая, как там мог оказаться Рауль, и если они знакомы и близки, почему они о нем ни разу не вспомнили при мне.

Я вышел на станции и побрел к дому режиссера. Был теплый летний день, повсюду буйствовала зелень. Недалеко от дома режиссера я увидел очаровательную картину. На длинной скамейке сидели юноша и девушка. Девушка сидела как-то боком, стройно подобрала ноги и чуть наклонив вперед свое гибкое тело и лохматую голову: наездница в женском седле. В детстве в Абхазии я еще застал наездниц в женских седлах, и меня всегда тревожило, как они удерживаются в седле с ногами на одну сторону. Юноша сидел на скамейке верхом, как в мужском седле. Крепкое тело его и голова, тоже лохматая, были наклонены в сторону девушки. Казалось, всадник и всадница мчатся навстречу друг другу и никак не могут догнаться. Они сидели примерно на расстоянии метра друг от друга. О скорости скачки говорили только тела, наклоненные вперед, да лохматые головы. Они молчали, пока я проходил, и было похоже, что молчали гораздо дольше. Ясно было, что они влюблены. Торжественное молчание, и они мчатся навстречу друг другу.

Эта картина как-то меня взбодрила. Я даже подумал, что это хорошая примета. И вот наконец мы увиделись с Раулем. Время, время! Я его, конечно, сразу узнал. Но теперь из добродушного увальня он превратился в мрачновато-добродушную глыбу: сильно потолстел.

Рядом с ним была известная, талантливая, интересная актриса. Она работала в театре, где был режиссером хозяин дома. И стало ясно, почему он сюда попал. Как потом выяснилось, у Рауля с ней был многолетний роман, но здесь они вдвоем появились впервые. Была еще одна пара. Родственник режиссера из Ленинграда со своей женой. Они приехали сюда на несколько дней погостить. Я его здесь несколько раз встречал. Это был крупный физик, а если бы, к своему несчастью, не писал пьес, которые никто не хотел ставить, в том числе и его собственный родственник, он, вероятно, стал бы еще более крупным физиком.

— В Абхазию не тянет? — спросил я у Рауля.

— Нет, — ответил он, — отдыхать езжу, но жить уже там не могу: компот. Я привык к Северу, есть где развернуться.

Слышать про компот было неприятно. Патриотизм имеет множество оттенков, но в нем до сих пор не было оттенка смирения. Так проявим же смирение: компот так компот. Возможна и такая точка зрения.

— Это правда, что ты самолет послал в Абхазию за мимозой? — спросил я, напоминая о давней дискуссии.

— Правда, — признался он мрачно. — Далась им эта мимоза. Я ее и в глаза не видел. Но наши женщины работают там в таких зверских условиях, что мне захотелось им сделать подарок. Сколько раз писали, что я одним рейсом отправил в Абхазию самолет за мимозами. Но ни разу не писали, что в том же году, уже не по моей инициативе, самолеты сделали пятьсот рейсов на Большую землю за спиртом.

— Ты бы мне хоть раз веточку мимозы подарил, — шутливо пожаловалась актриса, — наши женщины...

— Я им сказал, — рассмеялся он, — чтобы они, пролетая над Москвой, сбросили тебе веточку мимозы. Разве они этого не сделали?

— Может, ты спутал адрес, — сказала актриса, — и они не туда ее сбросили.

— У меня нет других адресов, — отвечал он, — вот поедем в Абхазию. Я тебе целое дерево мимозы подарю.

— А как мы его вывезем? — заинтересовалась она.

— На вертолете, — сказал он с мрачной серьезностью.

— Нет уж, лучше не надо, — смирилась она, — представляю, что о тебе тогда напишут.

— Уже все написали, — отвечал он.

Хозяйка дома — она тоже была актрисой — с быстротой молнии накрыла на солнечной веранде прекрасный стол из всяческих разносолов домашнего изготовления, дымящейся молодой картошки и прочей закуски. В раблезианском обилии выпивки угадывался почерк Рауля. Но с какой сказочной быстротой появился на благоухающей веранде этот цветущий оазис стола! Да, есть еще интеллигентные женщины в русских селеньях, которые могут играть на сцене, в антрактах рожать детей, а в свободное время быть хлебосольными хозяйками.

Кстати, четверо ее детей, три мальчика и одна девочка, прямо перед верандой, азартно крича, играли в бадминтон.

За верандой, всего в десяти шагах от нас, начинался настоящий подмосковный лес: сосны, березы, ели. Рядом с телесно-загорелыми соснами девственно белели стволы берез. Чем-то это напоминало черноморские пляжи, где рядом с забронзовевшими телами отдыхающих женщин бледнеют тела новоприбывших туристок. Глядя на загорелые стволы сосен и белые, не принимающие загара стволы берез, хотелось (после первых рюмок) выдвинуть гипотезу, по которой березы вышли к солнцу на несколько миллионов лет позже сосен. Мрачноватые ели как бы пытались доказать, что они детища еще более древнего и более угрюмого, чем солнце, светила и не собираются ему изменять.

Мы расселись на веранде и уже выпили по две рюмки водки, закусывая ее горячей картошкой и соленьями, как вдруг раздался зычный голос женщины:

— Хозяйка!

— Это молочница, — сказал хозяин, заметно помрачнев, как если б на нас в пылу пиршества нагрянула ревизия.

Хозяйка пулей устремилась в дом.

— Ну и что? — спросил Рауль, почувствовав некоторое несоответствие между мирным приходом молочницы и странным помрачением хозяина.

— Тут сложные отношения, — сказал хозяин, — жена сама расскажет.

— Если нас заставят пить парное молоко вместо водки, будем сопротивляться до последней рюмки, — сказал Рауль, с шутливой поспешностью разливая всем водку.

Вскоре вернулась хозяйка. Лицо ее выражало некоторую победную растерянность.

Вот что она нам рассказала:

— Уже месяц, как нам носит молоко местная молочница. Каждый раз, когда я пыталась ей дать деньги, она отмахивалась: «Потом, потом».

А нас за последние годы дважды грабили, когда мы бывали на гастролях. Весь поселок говорит, что это дело рук сына молочницы. Да мы и сами знаем, что он настоящий вор. Но доказательств нет никаких. Сегодня я с ней хотела окончательно расплатиться, но она мне говорит: «Я с вас денег не возьму. Вы нам столько хорошего сделали». — «Да уж», — не удержалась я, и на этом расстались. И отказаться от нее не хватает духу: детям нужно молоко.

Все расхохотались, находя в этом случае глубинный смысл всей российской ситуации.

— Нет правового сознания, но теплится совесть: мы ее маленько ограбили, теперь маленько поможем молоком.

— Ничего себе — маленько ограбили! — подняла голос хозяйка.

— Нет, это чисто русское любопытство к крайней ситуации. Она ведь сама почти призналась в том, что это они этот дом грабили.

— Призналась по глупости!

— На Западе грабитель к ограбленному никогда добровольно не придет!

— Собственность священна — этого наш человек никогда не поймет, потому что государство всегда его грабило.

- Воровство в России уравнивает недостатки плохого правления.
- Воровство — тайна многотерпения русского народа.
- Когда воровать становится нечего, то есть когда воровство становится нерентабельным, русский народ быстро забывает о своем многотерпении и устраивает революцию. И тут же выгребают подчистую.
- Знать бы, когда воровство станет нерентабельным, чтобы удрать отсюда.
- Успокойтесь, Россия еще очень богата.
- Дело не в русских, а в азиатчине. На Кавказе у нас воруют больше, чем в России. Когда жизнь теряет творческий смысл, люди привязываются к воровству. Воровство — тоска по творчеству, имитация творчества.
- Я имел много дел с западными издателями. Среди них попадаются такие жулики, каких у нас поискать. Но разумеется, со своими писателями они не могут себе позволить то, что позволяют себе с нашими. Это говорит об универсальной природе человека. Ясно, что из России невозможно судиться с западным издателем. И он это знает, и это создает для него соблазн. Значит, дело в неминуемом правовом возмездии. Но в бесправном государстве правового возмездия не боятся, потому что люди и так лишены прав. Тюрьма не создает этического неудобства. Нам надо, чтобы люди почувствовали сладость полноценного правового существования, и вот тогда они будут по-настоящему бояться правового возмездия.
- На это уйдет сто лет, — сказал Рауль. — Лучше я вам расскажу забавный анекдот, который я недавно слышал. Стоят два антисемита — глупый и умный. Проходит похоронная процессия. Глупый антисемит спрашивает: «Кого хороните?» — «Еврея», — отвечают ему из процессии. Глупый антисемит оборачивается к умному: «А разве евреи умирают?» — «Иногда умирают, — отвечает умный, — но чаще притворяются».
- Посмеялись и снова разлили водку.
- Что ни говори, Маркс — это грандиозная личность. Создать стройную теорию возмездия всем имеющим деньги во всемирном масштабе — это надо быть гением. Процесс Маркса с человечеством длится уже сто пятьдесят лет...
- Но время показало, что Маркс проиграл этот процесс.
- Еще не вечер. Возможна новая революционная волна, и скорее всего на Западе. Компьютер, создавший техническую революцию, может стать источником и социальной революции.
- Как так?
- Главный недостаток планового хозяйства — это абсолютная невозможность учета из одного центра всего, что делается в стране. Компьютер создает возможность такого учета.
- Главное противоречие России — орлиные просторы и куриное зрение правителей.
- Самоуправление всех частей России — вот спасение.
- Самоуправление у нас кончится самоуправством.
- Ну, это филология.
- А что ты думаешь, филология играет огромную роль в политике. Временное правительство было обречено на гибель уже потому, что назвало себя временным.
- Кстати, я никак не могу понять, почему бы не взять классическое стихотворение русской поэзии и сделать его гимном страны. Например, стихи Блока «О, весна без конца и без края».
- Это, конечно, очень подходит России: вечная весна!
- А вы заметили, что северные, тундровые, народы имеют какое-то сходство с очень южными, например африканцами, или там всякими островитянами. Где слишком холодно и слишком жарко — там замедляется духовная жизнь.
- Точнее сказать, там, где слишком много энергии уходит на борьбу за существование, и там, где слишком мало энергии идет на борьбу за существование, замедляется духовная жизнь. Нужна середина.

— Ну что ж, у нас есть одно утешение. Сказано же: нищие духом первыми войдут в царство Божье.

— Ничего себе — нищие духом! Русская литература за семьдесят лет с начала зрелости Пушкина до зрелости Чехова с блистательной быстротой прошла путь, на который европейским народам понадобилось пятьсот лет.

— Ну, это особенные условия, сложившиеся в девятнадцатом веке. Гений Пушкина еще и потому так развернулся, что у него был такой читатель, как Чаадаев. Дворянство в России не занималось практическими делами, оно читало.

— А может, Россия зачиталась и прозевала свой поезд?

— Коренную ошибку Маркса ничем нельзя исправить. Если бы социальное зло было единственным или главным, он оказался бы прав. Но зло, как уже доказывал Достоевский, лежит в человеке глубже, чем его социальная жизнь.

— Человечеству нужен религиозный колпак.

— Но колпак как раз прикрывает небо.

— Не придирайся к словам.

— Кстати, знаменитый афоризм: бытие определяет сознание. Кажется, Энгельс его придумал. Сколько нам его вдалбливали. Но разве это так?

— Это с какой стороны посмотреть. Чем примитивней человек, тем бесспорней бытие определяет его сознание. Чем глубже, чем разумней человек, тем чаще его сознание определяет его бытие.

— Всякое бытие беременно новым сознанием!

— Совершенно верно, но далеко не всякий это понимает! Для человека развитого всегда сознание определяет бытие. Если бы бытие физика Эйнштейна определяло его сознание, не было бы теории относительности.

— А может, лучше бы ее не было?

— Подожди, это другой вопрос. Совершенно ясно, что мы за разумного человека, у которого сознание определяет бытие. Но что движет народы? Вот что главное. Народами движет соблазн бытия, определяющего сознание. И потому Маркс всегда впереди. Марксизм — всегда религия примитивного сознания. А все народы были, есть и будут примитивны. Этика не передается генетически. Человек каждый раз рождается дикарем. И если первый штурм Маркса в России, скорее всего, не удался, это ничего не значит. Рано или поздно последуют новые штурмы в новых местах.

— Ты хочешь сказать, что культура не воздействует на жизнь народов?

— История доказала, что нет. Всякий народ, видимо, способен растворить в своих недрах культуру процентов на пять. Не больше. После чего образуется насыщенный раствор. Такова химическая сущность всех народов. В более или менее полной мере культуру поглощают те, кто создает культуру. Таким образом, культура пожирает сама себя.

— Ты слишком мрачную картину нарисовал. Где же выход?

— По-видимому, в религии. Самый примитивный человек, если он религиозен, сам того не понимая, музыкально превращается в разумного человека. То есть в человека, для которого религиозное сознание определяет бытие. Религиозный человек за Марксом не пойдет.

— А по-моему, вся мировая история — это борьба ума с мудростью, цивилизации с культурой. Цивилизация — оголенный ум. Культура, мудрость — нравственно осмотрительный ум. Пока что на протяжении всей истории культура уступает под напором цивилизации. Цивилизация выигрывает все бои, но она сама себя неизменно истощает. Культура все время отступает, но сохраняет и накапливает свои силы. Цивилизация — это Наполеон, безостановочно наступающий на Россию и в конце концов проигрывающий решительное сражение.

Ум не может понять чужую территорию, а для мудрости нет чужой территории, потому что для нее принципиально нет чужих.

— Кто-то тут говорил, что духовная жизнь замирает в слишком холодных и слишком жарких странах. А ведь все великие религии созданы в жарких странах: буддизм, христианство, магометанство.

— Оттого-то человечество такое счастливое!

-- В жарких странах люди от жары раньше проснулись. В этом дело!

— В жарких странах сознание легко миражирует. Тоска по оазису создает миражи.

— Так что ж, по-твоему, христианство — это мираж?

— Конечно, красивый мираж!

— Даже если это так, нужен такт!

— Да ты, брат, пьян!

— Я не пьян. Я, как народ, — насыщенный раствор.

— В конце концов, какая разница: религия — мираж или действительность, если она действительно помогает человеку. Я в юности толкал ядро. И вот я заметил такую закономерность: если, когда толкаешь ядро, мысленно намечаешь точку, где оно упадет, примерно на метр дальше, чем ты толкаешь, то ядро действительно летит дальше, хотя и не на метр. Но если намечаешь точку, куда упадет ядро, примерно на два метра дальше, чем там, где у тебя обычно падает ядро, то оно летит даже хуже, чем когда ничего не намечаешь.

— Что из этого следует?

— Вера — это когда намечаешь на метр дальше, чем можешь. Это придает силы и, может быть, более правильную траекторию летящему ядру. Фанатизм — это когда намечаешь точку на два метра дальше своих возможностей. Фанатизм — бешенство мечты. Он все разрушает. Бог ненавидит своих бешеных приверженцев.

— Кстати, что вы скажете о философии женственности, если для нас это еще не поздно.

— Нет, нет, милая, для вас это еще не поздно!

— Спасибо за этот финишный комплимент!

— «Что мужчине нужна подруга, женщине не понять, а тех, кто знает об этом, не принято в жены брать».

— Есть два типа женственности. Женственность публичного дома и женственность семейного дома. Женственность публичного дома рассчитана на одноразовый удар. Тут надо оглушить мужчину оголенностью и развязностью.

Истинная женственность состоит в бесконечном многообразии запахи-вающих движений. Как духовных, так и физических. И сколько бы мужчина ни делал вид, что ему нравится распахнутая женщина...

— Это он, подлец, так делает потому, что жениться не хочет...

— Совершенно верно... На самом деле ему всегда нравилась и будет нравиться вечная женственность прикрывающегося движения. Стыд — самая соблазнительная одежда женщины. Современная цивилизация словно хочет из всех женщин сделать проституток. Кино, книги, телевидение, моды — всячески поощряют оголенность. Разумеется, в этом нет какого-то дьявольского умысла. Есть желание быстрее продать свое изделие. Но вред это приносит изрядный. Женщина думает, что так мужчине легче понравиться, а мужчина уже не может порядочную женщину отличить от шлюхи.

Все три женщины в нашем застолье были в легких летних платьях, с оголенными руками и шеями.

— Прямо не знаю, как быть теперь, — сказала подруга Рауля, — не придется ли нам?

— Вы уже вне игры, — шутливо сказал Рауль, — вас это не касается.

— Ты в этом уверен? — иронически заметила его подруга и с выражением очаровательного испуга скрестила руки на груди, якобы прикрывая оголенные плечи. И в самом деле сразу сделалась соблазнительней. Сыграла.

Мы прекрасно сидели. Подруга Рауля была хороша и лихо выпивала водку почти наравне с мужчинами. Вдруг она выразительно посмотрела на меня и рассказала:

— Еще в начале царствования Брежнева я, тогда молоденькая актриса, играла в одной пьесе секретаршу большого начальника. На сцене у меня

было много пауз, и я должна была делать вид, что увлечена чтением какой-то посторонней книги и поэтому явно уклоняюсь от своих обязанностей. Это был такой сатирический ход в пьесе. А я на самом деле в это время читала один самиздатовский роман. И вдруг во время чтения я так прыснула от смеха, что страницы рукописи, напечатанной на папиросной бумаге, разлетелись по сцене, а некоторые даже залетели в партер. Секунду я ни жива ни мертва: если начальство узнает, что именно я читала, — выгонят из театра.

И вдруг слышу аплодисменты зрителей. Они решили, что я окончательно распоясалась, что это входило в замысел постановки. Я взяла себя в руки, собрала разлетевшиеся листки, а из партера мне подали те, что залетели туда. Я села на свое место и уже как ни в чем не бывало делаю вид, что продолжаю читать. Никто ничего не узнал. Режиссер решил, что я симпровизировала эту сценку достаточно удачно, и просил меня повторить ее, когда мы в следующий раз будем играть эту пьесу. Но я, конечно, больше ее не повторяла.

Мы посмеялись ее рассказу. Скромность мешает мне назвать автора тогда подпольного романа. И вдруг в разгар пиршества, когда хотелось воскликнуть: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» — подруга Рауля сильно побледнела и сказала:

— Мне что-то плохо. Я пойду лягу.

Рауль вскочил, но хозяйка дома, опережая его, подбежала к ней и попыталась помочь ей встать. Но она отстранилась от помощи и встала сама, бледная, с капельками пота на лбу. Продолжая отстраняться от помощи хозяйки, она очень прямо и очень твердо вошла в дом. Рауль и хозяйка последовали за ней. Через некоторое время хозяйка вышла на веранду.

— Дала ей валидол, — сказала она, — кажется, лучше.

— Она выкладывается на репетициях, как на премьере, — с грустной гордостью заметил хозяин, — талант прет из нее. Но порой не выдерживает нагрузки.

Мы еще посидели за столом. Подул предзакатный ветерок, и березы, как сухопутные ивы, затрепетали струящейся зеленью веток: множество прощальных косынок. Я как бы про запас полной грудью вдохнул благоухающий воздух и как бы про запас посмотрел на небо: под высокими перистыми облаками реяла последняя ласточка.

Я решил узнать, как дела у заболевшей, а потом ехать домой, то ли с Раулем, то ли одному. Я вошел в комнату, где лежала его подруга. Дверь в нее была распахнута. Она спала на кровати, укрытая одеялом. Рауль молча сидел у ее изголовья, погрузневший и как бы еще более погрузневший. Его грузность сейчас подчеркивала необъятность его терпения.

И вдруг что-то неуместно-комическое я увидел во всей этой сцене. Здесь, в далеком Подмосковье, он словно вернулся к традициям абхазской народной жизни. Это у нас называется дежурить у постели больного, а если точнее переводить, караулить, вероятно, чтобы вовремя остановить его душу, не дать ей отлететь. Вошла хозяйка и пощупала пульс больной.

— Все в порядке, — шепнула она, — завтра на репетиции будет как огурчик. Езжайте.

Мы попрощались со всеми, выпили на посошок и пошли к электричке. Я обратил внимание на то, что влюбленная парочка, сидевшая на скамье, все еще сидит там в тех же позах, как бы наезжая друг на друга на конях, но кони все еще никак не доскачут. Расстояние между ними осталось прежним, но наклоненные головы сильно приблизились. Вот оно, настоящее чудо тяги друг к другу, чудо влюбленности и стыда. Все-таки жизнь продолжается на Земле!

Что мужчине нужна подруга, женщине не понять,  
А тех, кто знает об этом, не принято в жены брать, —

это бормотал Рауль.

— Здорово сказано! Чьи стихи? — спросил Рауль.

— Киплинга, — сказал я.

Помолчали. Мне вдруг показалось, что процитированные стихи имеют какое-то отношение к его внезапному исчезновению из Абхазии и он сейчас сам все расскажет. Но он заговорил о другом.

— Слушай, — вдруг сказал Рауль, морщась от неловкости и всовывая свою лапищу во внутренний карман пиджака, — я знаю, тебя сейчас не печатают... Я хочу тебе не дать... считай, одолжить деньги до лучших дней...

Я, конечно, денег у него не взял. Но жест его был так искренен и сам он так смутился, что я был тронут.

— Ну ладно, как хочешь, — сказал он и добавил: — Тебя, конечно, интересует, почему я внезапно уехал из Абхазии? Я тебе сейчас все расскажу.

И он мне рассказал свою историю с подробностями, на которые я и не рассчитывал.

В Москве, во время учебы в Строительном институте, он познакомился с девушкой из Абхазии. Она была на несколько лет младше его и училась в Плехановском институте экономики. Они влюбились друг в друга, и у них начался бурный роман, который длился почти до окончания им института.

Первая любовь всегда оказывается несчастливой, даже когда она счастливая. Когда первая любовь счастливая, человек не понимает этого, потому что она первая. Ему ее не с чем сравнивать. Первая его любовь была и первой женщиной, которую он узнал. Так прошло несколько безоблачных лет.

Приезжая на лето в Абхазию, они расставались, потому что он жил в Гудаутах, а она в Мухусе. Ему было ужасно неловко знакомиться с ее родителями, потому что он уже жил с их дочкой, но не был на ней женат и даже не считался женихом. Все-таки она один раз затащила его в свой дом, и он навсегда запомнил ее мать, интересную женщину с большими выразительными глазами. Скорей всего запомнил от стыда.

И так как его первая любовь и была его первой женщиной, и так как роман с ней у него был безоблачный, в конце концов перед ним встал вопрос: и это все, что можно ожидать от женщины? Не может быть!

Именно эта мысль охладила его отношение к своей девушке. Он решил, что ему жениться рано. Он решил, что у него была обыкновенная любовь, а ему надо испытать необыкновенную. Разумеется, при расставании были слезы, объяснения, ночные звонки. Однако она была гордой девушкой, и недолго длились объяснения. К тому же все эти годы — он знал об этом, да она и не скрывала — в достаточно обозримой близости от нее маячил влюбленный студент.

Итак, они расстались. После окончания института он приехал в родной город и стал там работать в строительном управлении. Там он пробыл несколько лет, быстро поднимаясь по службе. За это время у него было несколько романов с женщинами, приезжавшими отдыхать на Черноморье. И он с удивлением осознал, что ни одна из них ничего нового ему не открыла.

Более того, он с не меньшим удивлением убеждался, что на самом деле не был в них влюблен, что это ему только казалось до первой близости. И с еще большим удивлением он догадался, что и эти женщины не были в него влюблены, но, в отличие от него, у них не было даже этой иллюзии.

Это его потрясло. Ему казалось, что женщина по самой своей природе романтичнее мужчины. Он все больше и больше тосковал по своей первой любви, хотел что-нибудь узнать о ее судьбе, но узнать было не у кого. Обращаться к ее родителям он не рискнул. Если они что-то узнали о его истинных отношениях с их дочкой, он бы испепелился от стыда.

В конце концов он, как и многие мужчины, влюбился и женился на девушке, которая внешне чем-то была похожа на его первую любовь. Од-



нако первая любовь не повторилась, и особенной душевной близости он с этой женщиной не испытывал. Тогда он вообще махнул рукой на любовь. Детей у них не было: жена не могла рожать, и он весь сосредоточился на работе, которая его и так захватывала. В передышках между трудовыми за-  
 поями он предавался застольным радостям или чтению книг, в которых он искал юмор как земную замену счастья.

Вскоре из Гудаут его перевели в Мухус, и он здесь стал начальником одного из самых крупных строительных управлений. В обкоме его ценили как хорошего спеца и прощали ему некоторые странные выходки, которые не простили бы другому.

Так, перед заселением им же построенного дома какой-то чиновник горсовета вычеркнул из списка очередников рабочего из его строительного управления. Вместо него он втиснул в этот список своего родственника. Дело еще осложнялось тем, что рабочий этот задолго до заселения дома пришел к нему и сказал, что квартиру отдадут совсем другому человеку. Рауль позвонил чиновнику из горсовета, но тот его успокоил и сказал, что список остается неизменным. Рауль был удивлен такой подозрительностью рабочего и уверил его, что он обязательно получит квартиру.

— Как вы посмотрите мне в глаза, Рауль Асланович, если я окажусь прав? — сказал рабочий.

— Я вам даю право плюнуть мне в глаза, — сказал Рауль, — если вы останетесь без квартиры.

И вот в последнее мгновение этого рабочего действительно убрали из списка и квартиру дали именно тому инженеру, на которого указывал рабочий.

Бледный, с трясущимися руками, рабочий ворвался к нему в кабинет в день вселения в новый дом.

— Вы не останетесь без квартиры, — сказал ему Рауль, как бы опережая плевки, на который все же навряд ли был способен этот рабочий, — сегодня же переезжайте в мою квартиру. Меня или посадят, или дадут новую квартиру. В обоих случаях, как видите, я не останусь без квартиры.

И захохотал. И этим навсегда покорила этого рабочего. Тот и в самом деле с женой, тещей и двумя детьми в тот же день переехал к нему в квартиру. Причем стройуправление Рауля выделило ему машину для переезда.

Весть о том, что начальник самого крупного строительного управления в знак протеста против незаконного распределения квартир поселил у себя в доме рабочего со своим семейством, потрясла чиновничий аппарат Мухуса. Такого никогда не бывало и не должно было быть! Конечно, арестовать Рауля за это не могли, но все были уверены, что его под тем или иным предлогом снимут с работы. Но кого назначат на его место, гадали в аппарате самого обкома.

Рауля спасло то, что Абхазией тогда правил знаменитый Абесоломон Нартович, человек сам лихой и тщательно коллекционировавший лихие поступки подданных его царства.

— Он поступил как настоящий большевик, — сказал на бюро обкома Абесоломон Нартович, — и мы его за это должны поддержать.

Но Абесоломон Нартович не был бы самим собой, если бы тут же, на глазах у Рауля и не предупредив его, не присочинил кое-что о своем участии в его небольшом подвиге.

— Не думайте, что все это так стихийно случилось, — добавил Абесоломон Нартович, — он мне по телефону рассказал всю историю с этим рабочим и посоветовался, как ему быть. Я ему на это ответил: «Ты рабочему обещал квартиру — значит, выполняй обещание. Мы не можем обманывать рабочий класс».

— Да, но заигрыванье с массами, — зароптали обкомовцы, напоминая знакомую формулу.

Но Абесоломон Нартович и тут нашелся.

— Шарахаясь от заигрывания с массами, — сказал он, — мы слишком заигрались в обратную сторону. Если обком не выделит квартиру этому талантливому инженеру, я его, в свою очередь, беру к себе домой. Тогда вам придется выделить новую квартиру секретарю обкома, а это вам дороже обойдется.

Через три дня Раулю выделили новую квартиру из обкомовских запасов, а рабочий со своим семейством так и остался на его старой квартире.

Вся эта история имеет типичные особенности и довольно забавно кончилась. Во-первых, никому в голову не пришло, что надо выдворить из квартиры инженера, незаконно ее занявшего. Это было не под силу даже самому Абесоломону Нартовичу. Я несколько раз в жизни сталкивался со случаями просто разбойного захвата квартир, когда захватывавшие эти квартиры даже не заручались мошеннической помощью чиновников. Они занимали самовольно квартиры, потом баррикадировали дверь, некоторое время через окно на веревке спускались за продуктами, и в конце концов их оставляли в покое. Власть, написавшая на своем знамени гимн насилию, почему-то в таких случаях остерегалась применить насилие. Что их удерживало? Загадка. То ли боязнь публичного скандала — огласки, то ли смущение перед неожиданным насилием снизу? Надо при этом учесть, что на такие отчаянные шаги обычно шли люди, многие годы бесплодно состоявшие в очередниках горсовета.

Но и для Рауля, несмотря на высочайшую защиту Абесоломона Нартовича, история эта просто так не кончилась. Когда страсти улеглись, его собственная парторганизация, конечно с подсказки обкома, вlepила ему выговор с забавной формулировкой: «За административную бестактность». Абесоломон Нартович мог об этом и не знать. В обкоме всегда, согласно с диалектикой (единство противоположностей), действовали две силы.

Зато доподлинно известно, что сам Абесоломон Нартович не без пользы для себя неоднократно рассказывал отдыхающим в Абхазии большим московским начальникам про этот случай. При этом он искренне забывал, что Рауль к нему за советом не обращался и он ему никаких советов не давал. Большие московские начальники одобрительно кивали головами, удивляясь экзотическим крайностям на окраинах.

— Иногда с бюрократами приходится бороться парадоксальными методами, — заключал свой рассказ Абесоломон Нартович. И большие московские начальники одобрительно кивали головами, не только не подозревая, что сами они тоже бюрократы, но радуясь, что со своими бюрократами им не приходится бороться столь парадоксальными методами.

Тем не менее Рауль вел с обкомовцами сложные интриги, сущность которых сводилась к тому, чтобы уступать им во второстепенных просьбах и рекомендациях, но стоять стеной там, где эти рекомендации грозили провалом в работе. Так, он не взял на работу ни одного инженера из тех, кого ему навязывал обком. Навязывали всегда плохих.

Идти на полную независимость от обкома он не мог. По его словам, на стройке всегда найдут, к чему придраться, снимут с работы и назначат такого остолопа, который все обрушит. Так, по его словам, оплата земляных работ в те времена производилась по расценкам тридцатых годов, а за такую оплату ни один рабочий не пойдет на стройку. Приходилось выкручиваться, приписывая рабочим объем этих работ, чтобы они получали приличные деньги.

И вот однажды воскресным днем, сидя в «Амре» и попивая кофе, он увидел, как через столик от него присели две женщины с чашечками кофе. Одна из них была матерью его первой любви. Он почувствовал волнение. Он встретился с ней глазами и поздоровался с осторожной почтительностью. Но она смотрела сквозь него, словно он был прозрачным. Потом отвела глаза. Он подумал, что она по рассеянности его не заметила, и снова, поймав ее взгляд, когда она посмотрела в его сторону, с подчеркнутой

почтительностью поздоровался с ней. Она опять ему не ответила! Черт его знает, что ему показалось! Ему подумалось, что с ее дочкой случилось какое-то несчастье, что мать узнала об их истинных отношениях, что, если бы он не бросил ее дочку, с ней этого несчастья не случилось бы.

Потемнев от боли, обиды, унижения и страшных предчувствий, он покинул «Амру». Теперь девушка его первой любви и ее мать, презрительно смотревшая сквозь него, не выходили у него из головы. И так как он об этом думал день и ночь в ближайшие два месяца, он, несколько раз встречая ее на улице, издали узнавал. В первый раз он опять почтительно кивнул ей, она шла навстречу и никак не могла не заметить его, но она, не мигая своими большими синими глазами, смотрела сквозь него, оледенев презрением. И он перестал с ней здороваться, хотя еще несколько раз встречал ее на улице. Увидев ее, он чувствовал как бы разряд тока огромного напряжения и, почти теряя сознание от ужаса, проходил мимо. Но что случилось с ее дочкой, не у кого было узнать. А вдруг она, никому ничего не сказав, покончила жизнь самоубийством? Он знал силу ее характера и теперь понимал, что от нее всего можно было ожидать.

К нему пришла бессонница, которой он никогда не ведал. Лежа рядом с беззаботно посапывающей женой и представляя океан бессонной ночи, который предстоит переплыть, он приходил в такое отчаянье, что с трудом отворачивался от сулящего покой распахнутого окна. То, что жена ничего не подозревала о его мыслях, с одной стороны, его устраивало. Но с другой стороны, приводило в неимоверную ярость. Рядом с ней мучается много недель ее муж, близкий к самоубийству, так неужели можно ничего не заметить? Конечно, он ей ничего не говорил, но неужели, курдючная душа, думал он, можно ничего не замечать? Хотя бы заподозрить, что у него на работе какие-то неприятности? Нет, ничего не замечала. И может быть, именно потому воспоминания о первой любви разрастались, как раковая опухоль.

Теперь он никак не мог понять, почему он ее бросил? Как можно было, любя, бросить любящую девушку? Сам я — курдючная душа, злобно думал он о себе. Он вспоминал, как вершину счастья, один случай из их жизни. В то лето они несколько дней гостили за городом на даче его друга. Дача была расположена над Москвой-рекой. В тот день они на попутной лодке переплыли на другой берег, долго гуляли в лесу, поклевывая сладкую малину, заблудились, плутали, вышли в маленький городок, голодные, зашли в ресторан и так засиделись в нем, закусывая и выпивая, что когда покинули ресторан, оказалось, что последняя электричка ушла и им не попасть на тот берег.

— Давай переплывем реку? — сказала она, посмотрев на него безумными влюбленными глазами.

— Давай, — сказал он, и они спустились к берегу. Безлунная, почти белая ночь, и никого вокруг. Он знал, что она хорошо плавает. Но кто его знает, что может случиться? Не глядя на нее, а только стараясь охватить взглядом ширь реки, он прибавил: — Но учти, что нам тонуть никак нельзя.

— Почему? — спросила она.

— Представляешь, какой ужас, — сказал он, продолжая оглядывать реку, — нас обнаружат голыми.

— Разве это так ужасно? — сказала она насмешливо. Он повернул голову — она стояла перед ним голая, стройная, юная. Когда она успела, подумал он, удивляясь фантастической быстроте, с которой она успела раздеться. В их бездомных скитаниях, рискованных уединениях бывали случаи, что их могли застукать случайные люди, и тогда она вот с такой же фантастической скоростью успевала привести себя в порядок.

Он тоже разделся догола, тщательно свернул и связал одежду обоих, взял этот узел в одну руку, и они погрузились в холодную, ночную воду. Он плыл, гребя одной рукой, а другую с одеждой высунув над водой.

— Я знаю, что ты сделаешь, если я утону, — сказала она, тихо смеясь над водой.

— Что? — спросил он, осторожно загребая одной рукой.

— Ты сначала выплывешь на берег, наденешь трусы, а потом поплывешь доставать меня со дна.

— Точно, — ответил он, стараясь не окунуть в воду узелок с одеждой.

— Вероятно, если здесь не слишком глубоко, достанешь меня со дна и осторожно, как эту одежду, отбуксируешь к берегу, — фантазировала она.

— А потом? — спросил он, чувствуя, что рука с одеждой затекает от неподвижности.

— А потом, — продолжала она, — ты сделаешь мне искусственное дыхание, но я не оживу. А потом ты попробуешь другой способ, и я оживу.

Он так захохотал, что чуть не окунул в воду узел с одеждой.

— Он еще хохочет! — кричала она, смеясь. — Прочь от меня, труположец! Я выйду замуж за чистого мальчика, который любит меня издали! Он — рыцарь!

Безумцы! Они еще шутили! Что бы было, если б на них наткнулся какой-нибудь патрульный катер! Но никто на них не наткнулся, он только поглядывал на ее побледневшее от холода и необыкновенно похорошевшее лицо, и они благополучно добрались до берега.

И как было изумительно, когда они уже на берегу бросились друг другу в объятия и она, дрожа и клацая зубами, искала губами его губы, и как было чудесно прижиматься к ее холодному мокрому телу, всем телом добираясь до горячо струящейся ее крови. Как долго — оказалось, на всю жизнь — длилось блаженство от холода и страха, что их все-таки кто-нибудь увидит! Но никто их не увидел! И никто их никогда не накрывал в их бездомье ни в студенческих общежитиях, ни в загородных лесах, ни когда они внезапно уединялись на молодежных сборищах в чьей-нибудь случайной квартире!

Как он мог бросить такую девушку, как он мог выдержать ее слезы, когда она в последний раз звонила и звала его на встречу, а ему казалось, что все уже ясно, что все уже и так сказано, а главное, ему было жалко покидать застолье в доме его друга, где он с ней несколько раз был счастлив и куда она ему догадалась позвонить, понимая, как унизителен ее звонок в дом его друга, где она бывала в качестве его полноправной возлюбленной!

Ужас вины перед ней сотрясал его душу. Он не знал, что думать: заболела неизлечимой болезнью, стала калекой, умерла?! А тут еще ее мать ходит по городу с широко распахнутыми глазами и смотрит сквозь него! Невыносимо! Еще две-три встречи — и он позорно грохнется на землю и потеряет сознание!

И тогда он понял, что надо навсегда покинуть Абхазию и ехать на Север. Почему на Север? Просто потому, что там работал его товарищ по студенческим временам и в своих письмах усиленно зазывал его туда. Ночью перед отъездом, преодолевая чувство вины перед женой, он ей сказал, что навсегда уезжает на Север. К этому времени она уже понимала: что-то должно случиться. В ответ она ему сказала самое глупое и самое успокоительное из всего, что можно было сказать:

— А как имущество делить будем?

И он окончательно уверился в правильности своего решения.

— Делить нечего, — сказал он, — я беру только чемодан со своими вещами.

Так он оказался на Севере, где руководил огромной стройкой, столь огромной, что ему и самолет с мимозами вынуждены были простить.

Когда он стал рассказывать о женщине, которая от презрения к нему смотрела сквозь него, я чуть не закричал, но вовремя прикрыл рот. Дело в том, что я достаточно хорошо знал эту женщину и ее семью. Они жили на нашей улице, и в ее дочь был влюблен мой школьный товарищ и даже

посвящал ей стихи. Впрочем, вероятно, для рифмы, он был влюблен в еще одну девушку.

Как мило она высывалась из окна веранды, стена которой низвергла фиолетовый водопад глициний! Цвет ее глаз! Ее глаза подражают глициниям или глицинии подражают ее глазам? — философствовали тогда два школьника.

Обычно она высывалась из окна веранды, когда мы возвращались из школы. Я думаю, что звук школьного звонка дотягивал до ее дома. И хотя она не отвечала моему другу взаимностью, ей лестно было, что этот интересный мальчик, да еще лучший школьный поэт, влюблен в нее.

Мы несколько раз бывали на вечеринках в ее доме. И хотя мы были однолетки, я понимал, что эта обаятельная девушка только оттачивает о нас зубки своей женственности. Почему-то чувствовалось, что она ждет кого-то постарше нас. Ее мать была ужасно близорука, но, видимо, из пожизненного кокетства никогда не надевала очки. Эта интересная сорокалетняя женщина тогда нам казалась безнадежной старухой. А она напропалую кокетничала с нами, над чем мы потом, оставшись наедине с другом, охотно и много смеялись. Для дочери мы как будто были слишком юны, а для матери — нет. Однажды, когда мы уже уходили, она, как бы шутливо подпрыгнув, поцеловала меня прямо в губы. Я чуть в обморок не упал: за что?! И не могла же она по близорукости спутать меня со своим мужем, который только что вошел в дом и, стоя у дверей, обалдело оглядывал нас. Боже, если б я знал тогда! Куда запрыгнет ее дочь!

Разумеется, эта женщина просто не узнавала Рауля, и для презрения к нему у нее не было никакого повода. Дочь ее вполне удачно вышла замуж, живет в Киеве, у нее двое детей. Все это было мне совершенно точно известно. Уже предположительно могу сказать, что она вышла замуж именно за того влюбленного студента, который все годы ее учебы терпеливо маячил в обозримой близости. Если это так, можно полагать, что тот звонок в дом друга Рауля был последней попыткой вернуть его. Думаю, сразу после этого она сказала студенту «да».

Выслушав Рауля, что я мог ему сказать? Сказать, что близорукая женщина только из-за своей близорукости чуть не довела его до самоубийства и перевернула всю его жизнь? Этого я не мог произнести. Открыть человеку, что все его страдания — результат шутовства самой жизни? Нет, этого я не мог. Если подумать, ценность человека прямо пропорциональна возможностям его нравственного напряжения. А чем вызвано это напряжение, никакого значения не имеет. Даже если это последствие дурного сна.

В конце концов, он заслужил эти страдания и с честью вышел из них. Но про его девушку я ему сказал, чтобы навсегда вырвать из его сердца эту занозу.

— Она благополучно живет в Киеве, — сказал я ему, — у нее муж и двое детей.

— А ты откуда знаешь? — спросил он и странно посмотрел на меня, кажется жалея, что он все это рассказал.

— Она жила на нашей улице, — пояснил я, — я ее еще школьницей знал.

— Что же ее мать так презирала меня? — с ненавистью спросил он.

— Не знаю, — сказал я, — уверен, что дочь ничего не говорила ей.

— Да, — согласился он, — это не похоже на нее. Видно, какие-то сплетни дошли. А сколько лет ее старшему... сыну или дочке?

Он с большим любопытством взглянул на меня. Даже с волнением.

— Этого я не знаю, — сказал я, — я потерял ее из виду гораздо раньше, чем ты.

— Впрочем, все это теперь не имеет никакого значения, — вздохнул он уже в метро, где мы собирались расстаться. Он это сказал, странно озираясь с высоты своего роста. Казалось, метро вообще создано для таких

крупных людей, и он сейчас тоскливо озирается, не видя соплеменников по росту.

Сейчас он мне показался особенно огромным и особенно одиноким. Всякий крупный человек всегда кажется одиноким. Но когда он и в самом деле одинок, мы утешаем себя мыслью, что он просто кажется одиноким оттого, что крупный.

— Ты женат? — спросил я и кивнул как бы на Север.

— Кажется, нет, — сказал он и сам же расхохотался, не очень уверенно нащупывая юмористическую тропу.

Мы обнялись и пошли в разные стороны. С тех пор я его никогда не видел.

Недавно я узнал, что он там, на Севере, внезапно умер от инсульта. Думаю, что туда все еще много завозят спирта, но мимозы, это уж точно, теперь туда никто не завезет. Да и какие мимозы сейчас в несчастной Абхазии!



---

---

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ

\*

## ПОЛУСТАНОК

\* \*  
\*

Озолотились всерьез  
в свалках откосы,  
копны ракит и берез  
пряди и лозы.  
Некогда, впрямь молодым,  
нам обходились в копейки  
к приискам тем золотым  
ведшие узкоколейки.

Красным царькам вопреки  
были тогда еще живы  
сверстники и смельчаки  
те, что потом, торопливо  
опережая, легли  
в узкие, тесные гнезда  
из-за нехватки земли  
на отдаленных погостах...

Дождь непрерывный до слез  
то барабанит, то бает.  
Только ленивый берез  
осенью не обирает  
— около лавки свечной  
с бойкой торговлей воскресной  
или излуки речной,  
враз ключевой и болезной.

...Но на родные места  
с тусклым осенним узорцем  
глядя и глядя  
с креста  
под остывающим солнцем,  
как поступающим в скит  
трудницам простоволосым,  
Сын унывать не велит  
копнам прибрежных ракит,  
стаям рябин и березам.

\* \*

\*

Вчера мы встретились с тобой,  
и ты жестоко попрекала  
и воздух темно-голубой  
разгоряченным ртом глотала.  
Потом, схватясь за парашют,  
вдруг попросила сигарету.  
Да я и сам без сигарет  
и вовсе не готов к ответу.

Там ветер на глазах у нас  
растрачивал в верхах кленовых  
немалый золотой запас  
в Нескучном и на Воробьевых...

Да если б кто и предсказал,  
мы не поверили бы сами,  
сколь непреодолимо мал  
зазор меж нашими губами.  
Сбегали вниз под пленкой льда  
тропинки с поржавевшей стружкой...  
И настоящая вражда  
в зрачке мелькнула рысью дужкой.

### Полустанок

На старом фронтонце убогом  
вокзала заметно едва  
название места: Берлога,  
хоть значится Коноша-2.  
Как будто тут, в скрюченных клеммах  
цигарок раздув огоньки,  
прошли с пентаграммой на шлемах  
на мокрое дело ваньки.  
И с веток снесенное  
хрипло  
шумит вразнобой воронье:  
погибла Россия, погибла,  
а все остальное — вранье.

Плеяда любезных державе  
багровых и синих огней  
блестит в темноте — над ужами  
сужающихся путей.

...Но если минуту, не дольше,  
стоит тут состав испокон,  
с три Франции, если не больше,  
до Коноши-3 перегон,  
считайте, что сослепу, спьяну  
прибившись к чужому огню,  
отстану, останусь, отстану,  
отстану — и не догоню.  
Чтоб жизнь мельтешить перестала,  
последние сроки дробя,  
довольно тянуть одеяло  
пространства опять на себя.



## Масоны

### *Предыстория*

Один, без охраны сойдя со двора,  
однажды отправился Адонирам  
осматривать храм Соломонов,  
взглянуть на лепнину и свежий краплак,  
ну, может, поправить резцом, что не так,  
в скрижалях еврейских законов.

Смеркалось, но вечер еще не настал.  
Паслись в отдаленье коровы;  
лоснящийся дог стадо оберегал.  
А зодчему грудь холодила, как металл,  
таинственный знак Иеговы.

...Как вдруг отделился от южной стены  
и бросился к мастеру некто —  
вонзивший ему в загорелый висок  
отточенный загодя циркуль.

Учитель метнулся в соседний придел,  
к стропилу из свежего теса,  
должно быть, щекою прижаться хотел.  
Но тут его новый предатель огрел  
свинцовой гирькой отвеса.

И, чуя бегущий в морщинах ланит  
кровей своих запах угарный,  
он с шеи срывает, пока не убит,  
— и знак Иеговы со свистом летит  
в бездонный колодец алтарный.

И лишь у последних восточных дверей  
вполне увенчалась засада,  
когда наконец проломили киркой  
вмещавший вселенную череп.

Теперь поспешай, если духом не пуст,  
к развалинам храма от мира.  
Послушай, что шепчет сиреневый куст!  
— он черпает истину прямо из уст  
зарытого здесь Адонира.

### *Суть дела*

Прошли столетия.  
Петровский черенок  
в России начал прививаться.  
Немало мутного принес с собой поток...  
Так в Петербурге начали брататься.

Но просвещение, Вольтера, атеизм  
и осчастливленное стадо  
с игрою магии и разноцветных призм,  
пожалуй, путать нам не надо.

Одно — когда тесак нас косит, что траву,  
над кучею голов — диктатор.  
Другое — волшебство. Фрегат вошел в Неву.  
Иллюминат глядит в иллюминатор.

Но в русских головах, покуда на плечах,  
все поразительно смешалось:  
магический кристалл сточился и зачах,  
а братство криво разрасталось.

Так вольный каменщик пришел на плац-парад,  
а оказался сотрясатель трона.  
И победивший демократ  
построил свой хрустальный ад  
на голубых костях масона.

\* \*  
\*

## 1

Черемуха нашу выбрала  
землю — из глубока,  
не поперхнувшись, выпила  
птичьего молока,  
горького и душистого,  
влитого в толщу истово  
вечного ледника.

...Много ее кольшется,  
жалуется окрест,  
радуется, что слышится  
доблестный благовест  
— около дремных излук Оки  
поздними веснами  
иль на утесах Ладоги  
с сестрами-соснами,  
  
с зыбями грозными,  
мольбами слезными,  
верой без патоки.

## 2

Вервие над кувшинками  
ивовых серых лоз.  
Дождь окропил дробинками  
и — тополиный сброс.

Щебет на щебет, лиственный  
утренний мрак на мрак.  
Может, и наш с харизмою  
край, а не абы как.

Если мелкопоместная  
грозно дичает весь,  
стало быть, и небесная  
родина наша — здесь.

1995.



---

---

ПАВЕЛ МЕЙЛАХС

\*

## ПРИДУРОК

*Рассказ*

**(О)**н не сразу понял, что зазвонил будильник, уже проснувшись, он несколько минут лежал, ничего не соображая, а уши как будто отдельно от него слушали агрессивный будильный звон, который никак не прекращался. Он менее всего ожидал сейчас услышать будильник, и то, что он зазвенел, казалось каким-то нелепым недоразумением, которое именно из-за своей вопиющей нелепости должно скоро разрешиться. Собственно, все во сне было вполне буднично, но находиться среди людей и не чувствовать обычного напряжения — это был уже праздник, потому-то и трудно было поверить, что на свете есть какие-то будильники. И до него не сразу дошло, что надо положить конец этому пронзительному тарахтенью, и он не сразу начал хлопать по будильнику, чтобы нащупать пипочку, которую нужно нажать, чтобы унять будильник. Он нажал ее с тем ощущением, как будто слегка придавил жирную помойную муху — слегка, как раз настолько, чтобы вывести ее из строя и вместе с тем не оставить на пальцах ее кишок. Враз стало тихо. Он не мог встать сразу, как только просыпался, ему надо было немного полежать, и теперь он только тщательнее подоткнул одеяло под плечи, которые уже успели озябнуть за то время, пока он возился с будильником.

Он лежал без движения, с широко раскрытыми глазами (из-за этого в них сильно рябило) и слушал писк в ушах, что-то похожее бывает, когда включаешь телевизор — такой же монотонный и лишенный всякой эмоциональной окраски писк, ничего общего не имеющий с жалобным писком комара, — еще в ушах стоял шум, напоминающий шум леса, и было много других шумов, гудений и писков, которые сливались в единый хор. Этот хор будет звучать в его ушах целый день, но он обычно переставал его замечать, как только вставал и шлепал в туалет, — так, включая магнитофон, слышишь шипение, но потом, когда начинает играть музыка, уже не обращаешь на него внимания.

Все в комнате было точно таким же, каким он оставил вчера, ложась спать. Но настроение за ночь переменялось разительно, впрочем, это было обычным делом. Книга, которую он читал вчера, так и лежала на диване, сейчас она ему о чем-то смутно напомнила: а-а, вчера он читал ее допоздна (а начал часов в одиннадцать) и, кажется, не мог оторваться, погрузился в нее настолько, что у него даже притупился вкус собственного «я», который он постоянно ощущал, как печеночный больной ощущает изжогу. От долгого чтения, да еще в лежачем положении, у него заболели глаза, отложив книгу, он подошел к зеркалу на них полюбоваться — они действительно слегка покраснели. Весь вечер он находился в каком-то тяжелом, тревожном возбуждении, мир воспринимался с бредовой силой, и он

---

Павел Александрович Мейлахс родился в 1967 году. Окончил математический факультет Ленинградского университета. Живет в Санкт-Петербурге.

Первая публикация молодого автора.

не знал, куда деваться от навалившейся на него беспредметной взвинченности, и непонятно было, как же сделать так, чтобы она исчезла. Такое часто бывало с ним по вечерам, за книгу же схватился, чтобы отвлечься, спрятаться, и читал лихорадочно, как-то даже остервенело, как будто топтал горящую траву, а не книгу читал. Лег спать он без всякой охоты, просто потому, что голова уже ничего не соображала и не всю же ночь было сидеть. Но заснул, как и следовало ожидать, не сразу. Сна не было ни в одном глазу, лежал, с усилием держа глаза закрытыми, и чувствовал, как дрожат веки, — от этого в голове то и дело вспыхивало, он был простужен, и у него был заложен нос, он слышал свое тяжелое дыхание в подушку — как будто шепотом произносил «а-а», время от времени в груди всхрипывало, а один раз забурчало в животе каким-то электрическим звуком; все оно жило своей, неподконтрольной ему, жизнью. Было душно, одеяло и простыня липли к ногам, долго в одном положении ему не лежалось, он постоянно ворочался, переворачивался с боку на бок, и с каждым таким переворачиванием пропадали даже те мизерные симптомы сна, которые успели появиться. Неизвестно, сколько времени он так прозасыпал. Но наконец все-таки заснул.

Теперь от вчерашнего вечернего возбуждения не осталось и следа, как будто не он вчера сидел в этой комнате, а кто-то другой. Сейчас он лежал в состоянии тяжелой, каменной тоски, какая бывает с похмелья, правда, сам он об этом не знал, так как ни разу не испытывал похмелья. Вдруг в нем как будто что-то прорвало, и он почувствовал сильнейший выплеск слезливой жалости к себе и даже предвестье слез на глазах и в носоглотке. Несколько секунд он пролежал в полном отчаянии. И не было, казалось, в тот момент человека несчастнее его. И все из-за того, что надо было вставать и идти в школу. Что ж, с добрым утром. Опять это он, он, и никто другой. Все в порядке вещей: уже очень давно (а скорее всего, с первого класса), вставая в школу, он чувствовал себя глубоко несчастным. Но уже через час он забудет, что чувствовал сразу после того, как проснулся, забудет про свою утреннюю несчастьность. А завтра утром опять будет чувствовать себя глубоко несчастным. И т. д. И если он скажет кому-нибудь, что, мол, тяжело было сегодня утром вставать, то его, наверное, почти всякий поймет: всем тяжело по утрам вставать; конечно, если только он это скажет в достаточно молодецкой манере: «Эх, паршиво было сегодня утром вставать!» — и, конечно, между делом, а если со слезами на глазах и с дрожью в голосе, да еще и такими словами: «Чувствовал себя глубоко несчастным», — то собеседник останется в недоумении. Может быть, половина населения чувствует себя по утрам глубоко несчастной, но говорить об этом не принято. Потому что как же иначе! Вставать-то надо. И он все лежал и все не мог собраться с силами и встать.

Наконец все-таки встал, хотя минуту назад это казалось немислимым, такая история повторялась каждое утро: проснувшись, он чувствовал себя не в силах встать, и все-таки вставал, для самого себя непонятно как. Встав, он сделал несколько шальных шагов по комнате, его слегка водило. Ноги привели его к зеркалу, и, только увидев свое лицо, он понял, что ему было от зеркала надо — исследовать состояние прыщика, который он заметил вчерашним утром. Прыщик вскочил почти на носу, вернее, совсем близко от той его части, которая называется крылом носа. Вчера этот прыщик весь день не давал ему покоя, он каждые десять минут ловил себя на том, что трогает его рукой, и сразу же отдергивал руку, кляня себя за то, что опять его трогает, хотя столько раз зарекался. Дело в том, что прыщик на таком месте небезопасен: если он превратится в достаточно большой нарыв, то его может прорвать, и тогда будет что-то вроде заражения мозга, которое часто смертельно. Он вычитал это в одной медицинской книге. Там было написано, что «эти, казалось бы, безобидные прыщики таят в себе серьезную опасность». И еще он там вычитал, что «именно так погиб выдающийся русский композитор А. Н. Скрябин». Новость про Скрябина его поразила. Если даже имя Скрябина, его всемирная извест-

ность, множество поклонников во всем мире не смогли защитить его от такой идиотской, нелепой смерти, то что же говорить о простых людях, в том числе и о нем самом? Тогда это навело его на тягостные раздумья, которые все же долго не продолжались, прыщички как таковые его тогда не интересовали, а книжка попалась ему довольно давно, и все это в скором времени было забыто. Вплоть до вчерашнего утра, когда он случайно взглянул на себя в зеркало, увидел прыщик и сразу вспомнил ту книжку, все, что там прочитал про прыщички, и Скрябина заодно. Так что весь вчерашний день был подпорчен мыслями о прыщичке — не то чтобы он всерьез боялся, что умрет, но где кончается «не всерьез» и начинается «всерьез»? Конечно, вероятность этого ничтожно мала, но не ноль же. Он готов соблюдать какие угодно меры предосторожности, какие угодно медицинские инструкции, терпеть какие угодно неудобства, но должен *точно* знать, что теперь вероятность для него умереть от прыщичка равняется нулю. Все по справедливости: я жертвую тем-то, зато уверен в том-то. Но вот беда — он знал, что нигде в мире такой справедливости нет. Вот, пожалуйста, у матери на работе был такой случай: у их сотрудницы умер сын, молодой парень, несколько лет назад перенес гепатит, после этого вел совершенно здоровый образ жизни, как-то раз на одном официальном банкете выпил стопку водки — и откинул ноги; потом даже устраивали судебно-медицинскую экспертизу, но оказалось все нормально, никто его не травил. Правда, с другой стороны, у него был дядя, пьющий по-черному, которому вот уже под пятьдесят, а он все не знает, где находится печень. Последний пример, может быть, кого-то бы и утешил, но не его. Нетушки! Мне чужого не надо, но пусть у меня будет хоть что-то *свое*. Он почти бесился, когда думал об этом, что так уж устроено в этом мире, а не нравится — иди живи в каком-нибудь другом; и раньше, конечно, это понимал, но только теперь, когда мысли о прыщичке прицепились к нему, как репы, такое положение вещей стало ему казаться надругательством над его священными правами.

К вечеру же этот прыщик стал особенно его доносить, и уже не в виде абстрактных унылых размышлений; то возбуждение, в котором он вечером находился, было отличной питательной средой для мыслей о прыщичке, ему постоянно приходилось подавлять в себе непоседливое беспокойство, которое они нагоняли, ему казалось, что так этого оставить нельзя, надо что-то делать, но что можно было сделать? И он представлял себе картины на тему заражения мозга, одна жутче другой, почему-то ему казалось, что этим самым он что-то *делает*, а не сидит сложа руки, а вернее, он как будто боялся *проворонить* болезнь, как будто под его пристальным взглядом она не посмеет распоясаться. И этим самым пристальным взглядом, этими жуткими картинками доводил себя чуть ли не до холодного пота, так что приходилось вскакивать и делать несколько кругов по комнате, чтобы подуспокоить нервы; и он опять оказывался у зеркала, чтобы минутами разглядывать прыщик, казалось все больше наливавшийся дурными соками. Потом он взялся за книгу и больше про прыщик не вспоминал, только полюбовался на него напоследок перед сном и лег спать, о нем не думая.

Сейчас же он остался удовлетворен осмотром прыщичка, за ночь прыщик, похоже, опал, и в нем появился намек на подсыхание. Впрочем, он отметил это почти равнодушно, как будто и не ему вчера прыщик испортил столько крови.

Процедура чистки зубов его измотала. Когда он чистил зубы, то напрягался всем телом и у него довольно быстро начинало ныть плечо, но он с детства усвоил привычку чистить зубы очень старательно, чтобы они были как можно белее, поэтому все тер и тер зубы щеткой, изнывая от нетерпения, когда же это наконец кончится, и поскольку сам ритм движения как будто завораживал его, тем труднее было бросить это занятие. Зубы, кстати, с годами становились все желтее, и недавно он узнал, что это от не очень хорошей печени, так что чистить их можно было в три раза меньше.

Включил газ, чтобы поставить чайник, спичка почему-то погасла, он выключил газ, зажег другую спичку, поднес ее к конфорке — и под пальцами пыхнуло, резко и внезапно, он вздрогнул так, как будто на него гавкнула собака, которую не заметил, а она была совсем рядом. Оказалось, что ручку на плите он повернул не до конца, и тут же вспомнил, что не так давно ему докучали опасения, как бы газ не взорвался. Тогда он подолгу торчал на кухне и все принюхивался, не пахнет ли газом. Оказывается, определить, пахнет или не пахнет газом, лишь на первый взгляд легко, — на кухне всегда чем-то пахнет, и если долго, пристрастно внюхиваться, то все меньше и меньше начинаешь понимать, насколько этот запах отличается от запаха газа, тем более что в запахе сгоревшего газа есть что-то от запаха свежего; и когда он бывал на кухне (а поводов сходить туда стало находиться почему-то больше), словно какой-то бес толкал его еще раз втянуть в нос воздух, хотя голова уже побаливала от постоянного принюхивания и нос уже ничего толком не чувствовал. Он вспомнил все это совершенно равнодушно, какая-то шестеренка повернулась в голове — и это перестало его волновать, хотя газ как раньше мог взорваться, так и теперь.

Первым уроком был урок химии. В класс вошла химичка, держа в руках аккуратную стопку тетрадных листов, положила ее на стол и удалилась. Полкласса сразу ринулось к столу, чтобы посмотреть, что за листочки она принесла, потому что в классе сильно подозревали, что это та самая контрольная, которую писали уже две недели назад, а химичка все ее не проверяла, в классе уже ворчали по этому поводу; вокруг учительского стола мгновенно образовалась давка, как будто это был стол с рулеткой, на котором якобы запрещено что-либо трогать, а на самом деле химичка нарочно оставила свой стол на разграбление, чтобы самой потом не ходить по классу из конца в конец, не раздавать эту контрольную. Аккуратная стопка была в мгновение ока разметана по листику; чтобы его не оттеснили от стола, он, как и все остальные, грубо расшвыривал листочки, стремясь найти свой, вот наконец мелькнул самый знакомый почерк, два раза безрезультатно хапнув листок рукой (много было помех), выдрал его из общей кучи. Отходя в сторону, в спокойное место, он с грубым нетерпением вертел листок в руках, стараясь отыскать оценку; сразу бросилось в глаза, что листок как-то слишком испещрен красным. «Неужели тройка?!» — испуганно подумал он и как будто пытаюсь кого-то обмануть, что боится он именно тройки, а на самом деле предчувствия у него были гораздо хуже — многовато что-то было красного. Не успел подумать, как предчувствия тут же оправдались. И сбоку еще приписано: «Совершенно не знаешь фенолов!» Красными чернилами, с восклицательным знаком — для него всегда такие учительские заметки звучали гневно, негодуяюще. Ну все, теперь бояться нечего. На душе сразу же стало гадко, мгновенно пав духом, он некоторое время вяло изучал свой листок, то там, то сям было подчеркнуто то одной чертой, то двумя чертами, то размашистой волнистой линией, а в одном месте уныло повис длинный вопросительный знак со слабо выраженным, ленивым изгибом, еще бы немного — и восклицательный, и еле заметная точка означена прикосновением шариковой ручки сантиметра на полтора пониже. Весь как будто в каком-то внутреннем онемении, он вчитывался в свою контрольную, стараясь понять, в чем же были ошибки, он как будто еще выслуживался перед кем-то, проявляя ученическое усердие, хотя теперь это было абсолютно все равно.

Получить двойку — это, конечно, неприятно, потому что переписывать контрольную еще неприятнее, чем ее писать, тем более что на переписываниях, которые проводились на нулевом или на седьмом уроке, царил атмосфера какого-то чрезвычайного заседания, что нервировало еще сильнее.

Еще совсем недавно все было на своих местах. Он чувствовал легкое беспокойство, которое всегда чувствовал перед раздачей контрольной, легкое беспокойство — и не более, и все в классе это же чувствовали, кто-то

даже перешутился с ним по этому поводу, и он ответил в том же духе, все ясно — контрольная по химии, она и есть контрольная по химии, и больше ничего. Самое житейское дело. Но сейчас ему вдруг стало жарко, чуть ли не пот его всего прошиб, он почувствовал, как закололо под мышками и немного слез выдавилось из глаз. Житейское было дело, но сейчас как-то трудно стало назвать его житейским.

Несколько одноклассниц, тут же у стола, дурачась, подпрыгивали, били в ладоши, ликующе визжали, хотя с самого начала было ясно, что получают они свои пятерки, потому что до сих пор они редко получали что-то другое, одноклассник полуныл-полумычал: «Ну, падла Людмила, ну, падла», — и ходил по классу, распростав перед всеми свой листок, доказывал, что запросто можно было поставить трояк; многие, бегло ознакомившись со своим листком, тут же нашли другие дела и вышли из класса, сразу опустевшего на три четверти, он остался один, ничего не видя. Потом вышел из класса, чтобы не привлекать к себе внимания своим видом (кто знает, какой у него сейчас вид, какая-то машинка внутри заставляла его соблюдать приличия), побрел по школьному коридору, стараясь держаться поближе к стенке, ему было все равно, падла Людмила или не падла, можно было поставить трояк или нет, все равно — *чего уж теперь*. Мысли плавали в голове сами по себе, но осторожно плавали, потому что ему было страшновато задуматься над чем-либо определенным, и мысль, наткнувшись на что-либо определенное, как-то съеживалась и медленно отплывала. Что ж, и задумываться было не надо: ему, всему его организму и так было все ясно.

Как он учился до сих пор, всегда? Взять хотя бы эту контрольную, как к ней готовился. У него в тетрадях мало что было, многого не доставало, он не привык слушать на уроках, записывал машинально только то, что было на доске, так вот, для надежности и взял сразу три чужие тетради, но тетради эти, похоже, принадлежали таким же, как и он сам, и в любой из них, взятой по отдельности, тоже многого не хватало, и он все терзался сомнениями, по какой же тетради учить: в этой про жиры хорошо написано, зато фенолов нет, в этой есть про фенолы, зато нет про сложные эфиры, и он долго прилаживал эти тетради друг к другу и так и сяк, чтобы получилось то, что нужно. В конце концов он выработал четкий план действий: про жиры читаю по этой тетради, часть про фенолы — по другой, часть — по третьей, затем возвращаюсь к первой тетради, читаю там часть про сложные эфиры, потом по собственной тетради читаю про... и т. д. и т. п. Пока он выработывал этот четкий план, весь измучился, измотался, напугавшись в этих комбинациях. Зато когда выработал, испытал подлинное облегчение, удовлетворение. На составление плана ушло, наверное, семьдесят пять процентов всего его времени подготовки к контрольной работе, а собственно, учить после этого ему стало казаться чуть ли не излишним, но учить было все-таки надо, и он, подавляя вздох, брался то за одну тетрадь, то за другую, все по составленному плану, но настолько отвратительно было читать про все эти фенолы, что то и дело приходилось делать передышку, как старухе, поднимающейся по лестнице, некоторое время ничего не делать, то есть слоняться или валяться, а потом опять приниматься за подготовку. Так он и готовился. И когда почувствовал, что произнывал над тетрадями уже достаточно, то и бросил. Когда шел на контрольную, мерой его подготовленности служило то время, которое произнывал над тетрадями, большая практика (почти десять лет) выработала в нем аппаратик, который определял, достаточно ли он подготовился или нет. Достаточно — это так же, как все время до сих пор, а до сих пор он учился вполне прилично, значит, в целом — все нормально. При счастливом стечении обстоятельств можно было получить и пятерку, а при несчастливом — двойку. Но обычно он получал четверки, значит, в целом все идет как надо. Были, правда, иногда и двойки, но с кем не бывает? Зато когда сидел в напряженной тишине класса и вчитывался в розданные учителем карточки или разбирал написанное на доске и смысл написан-

ного с трудом доходил до него, отчасти от волнения, отчасти от страха найти там что-то невообразимое, чего он точно не знает, не напишет, в голове сразу всплывало все, что недочитал, недоучил, и он отчаянно трусил, был как пойманный за шиворот маленький пакостник: «Дяденька, ну отпустите, ну, честное слово, больше не буду, ну, честное слово, в последний раз», проклинал себя и клялся, что в следующий раз подготовится как следует, лихорадочно перерывая весь хлам в голове, который остался там после всего изнывания над тетрадями, и искал там те формулы, которые сейчас были нужны; формулы, до сих пор не выделявшиеся из общего серого хлама, теперь вдруг преобразились, стали единственным путем к спасению, обрели и вкус и запах. А учительница сидела за своим столом, что-то писала или читала, и вскидывалась при каждом подозрительном шорохе, зорко обводя глазами класс, а иногда вставала и начинала ходить между рядами, и кто-то, должно быть, обмирал, но не он, потому что отроду не списывал: заранее знал, что выдаст себя и выражением лица, и просто даже неестественной, деревянной позой, не то что некоторые виртуозы — сидят себе, небрежно что-то такое пописывают. И он напряженно вспоминал, сморщившись, зажав ручку в потной ладони, а вчерашнее изнывание над тетрадями теперь представлялось далекой, утраченной идиллией. Гнусно это было, но что поделаешь, не писать-то контрольную нельзя. И все вокруг чувствовали, наверное, что-то похожее, до начала контрольной даже их классная отличница обморочным тоном объявляла, что ничего не знает, и просила всех ругать ее на счастье, и некоторые из мужской половины класса охотно приходили ей на помощь, ко всеобщему веселью, и даже их классный хулиган, которому предстояло поступать в военное училище, суеверный, как многие хулиганы, крестился и вертел в руках амулет, который он брал на все контрольные, зачеты, экзамены и т. д. и утверждал, что не было случая, чтобы амулет не помог, хотя сам все равно оставался двоечником. Так что все было нормально, все боялись — и он боялся. И не поймешь, кто боится больше, а кто меньше, потому что все сидят, в обморок никто не падает. И после контрольной все клятвы, которые давал себе во время нее, прочно забывались сами собой, поэтому ни разу он ни одной такой клятвы не выполнил, хотя возможностей, кажется, было предостаточно. И ему это казалось совершенно нормальным, точнее, не приходило в голову, что может быть иначе, так уж повелось с самого, наверное, первого класса. Ну а так как контрольные, как правило, сходили ему с рук вполне успешно, то вполне можно было сказать, что он «учится на „хорошо” и „отлично»» или «успешно заканчивает школу».

Но сейчас — двойка. И ее оказалось достаточно, чтобы представление о себе как об «учащемся, успешно заканчивающем школу», которое и так еле теплилось в нем, сразу куда-то провалилось, будто его и не было. Зато все предыдущее учение сразу предстало перед ним как цепь мелких жульничеств, которые лишь случайно сходили ему с рук, а так, по справедливости, он все время должен был получать двойки, а сейчас все произошло как раз по справедливости. И может быть, именно сегодня судьба наконец разобралась, и с этого момента он перестанет учиться на «хорошо» и «отлично», а начнет «перебиваться с двойки на тройку» и займет место, которое уже давно должен занять, двоечника-троечника, лоботряса, ничтожества. Так он думал, и чем более ему казалось, что наконец понял, кто он есть, тем более проникался ужасом, тем сильнее становилось жжение во лбу и все сильнее и сильнее колело под мышками. Давно он это подозревал, и вот оно так и оказалось... Двоечник, лоботряс, *кровосос*. Ему вдруг представилось дикое видение: мать с безобразно перекошенным лицом кричит: «Ну что мне, что, что с тобой делать!!!» — и, стукнув лбом об стол, разражается ужасающими рыданиями, словно подражая каким-то низкопробно-киношным образцам. Он весь как-то даже скособочился от этого видения и участил шаги, как будто получил пинка. А сколько надо получить двоек, чтобы стать *кровососом*? Сколько надо получить двоек, чтобы мать в отчаянии рыдала?



Вот если бы он совсем двоек не получал, тогда и вопроса бы такого не возникало, а раз уж и двойки получает (хоть и иногда, но что значит — иногда, не иногда), и цену своим четверкам знает, то теперь все зависит от милости судьи, который по поводу двойки может сказать: «Ну, ничего, с кем не бывает», а может: «Да, кровосос». И не ему теперь об этом судить.

Первый шок стал понемногу проходить. Теперь в нем поднялся страшный умственный зуд; он чувствовал, что *не может* это так оставить: «Как, получить двойку, и все? Нет, надо что-то делать, надо что-то делать». Он еле высидел до конца урока, весь обуянный каким-то истерическим рвением. А химичка говорила, что контрольную написали гораздо хуже, чем она ожидала (обычные слова всех учителей после всех контрольных), потом приступила к разбору вариантов, кого-то вызывали к доске, но он ничего этого не слушал, только тряс ногой под столом и поминутно глядел на часы. Наконец-то звонок. Ни секунды не мешкая, он напрямик подошел к одной из лучших учениц их класса, почти отличнице, и попросил у нее тетрадь по химии, та, не торопясь укладывая в сумку свои немалочисленные школьные принадлежности, разговаривала со своей соседкой по парте и протянула ему тетрадь, не поворачивая головы. Ей-то контрольную переписывать не надо. У него немного отлегло от сердца: он обеспокоен тем, что получил двойку, хочет ее исправить, поэтому берет тетрадь у одной из лучших учениц класса, чтобы переписать в свою тетрадь то, чего там нет, значит, не такой уж и лоботряс. К контрольной он, правда, готовился по тетрадям, в которых, в совокупности, все было, но писал в свою тетрадь только самое «ключевое», и писал очень неряшливо, формулы наползали друг на друга, вообще все в тетради было написано безобразным почерком, почерк был у него от природы некрасивый, но тут он был совершенно обезображен скукой, с которой писал в тетради, бывало, и буквы там отличались по величине в три раза, а строчки прямо все извихлялись — как одуревающий от скуки ребенок, которого мать держит за руку, а сама остановилась поговорить с подругой на полчаса. Изредка, когда ему попадались прошлогодние тетради, он сам не мог не подивиться безобразности своего почерка. И вообще, три тетради — в этом уже было что-то неряшливое, рыхлое, нет уж, теперь он все перепишет твердым, ясным почерком, и все будет понятно: вот тема, вот подтема, вот параграф. И на этот раз в его тетради будет действительно *все*, и там уж не останется никаких лазеек для двоек и троек. Конечно, он перепишет не всю тетрадь, с первого сентября, а только тот материал, который будет на контрольной, и специально начнет новую тетрадь для этого, и это будет чистая тетрадь, не то что та, которая теперь так резко опротивела ему, которая так его предала.

Все эти мечтания о новой тетради — как бы символу новой жизни — даже приободрили его. Но приободрили ненадолго: мечтания — это только мечтания, а на данный момент получена вполне реальная двойка, и энтузиазм его довольно быстро угас. Впрочем, умственного зуда теперь тоже не было, теперь он бродил по школьным коридорам, спускался и поднимался с этажа на этаж в каком-то безнадежном и вместе с тем заторможенном унынии, и непонятно уже было, откуда взялось это уныние — от двойки или просто так, во всяком случае, про двойку больше и не думал. И постепенно уныние становилось все безнадежнее, и все острее он чувствовал эту безнадежность, и заторможенность таяла, а на смену ей явилось все большее и большее беспокойство, и когда прозвенел звонок, никакого уныния в нем не было, а была отчетливая тревога, все нарастающая, как будто знал, что что-то произойдет, и знал наверняка, и уже не пытался увиливать, а произойдет что-то такое, что вышибет его из обычной школьной колеи, и по сравнению с этим все двойки и тетради покажутся какой-то дурацкой мелочью, если он даже про них и вспомнит. Но что же должно произойти? Впрямую об этом не думал, даже старался не думать, но какая-то машинка внутри его работала, рыскала по всем уголкам его души, чтобы извлечь что-то такое, что сразу бы объяснило всю

предыдущую тревогу. Сидя на уроке, он старался отвлечься, принимался неизвестно для чего перелистывать учебник, слушать учительницу (сегодня опроса не было, потому что начали новую тему, в другое время этому, конечно, обрадовался бы, но сейчас даже не заметил) и на некоторое время действительно отвлекался, но не надолго, все окружающее как-то вдруг ускользало от него, и опять и опять он оставался один на один с собой, и прислушивался и вглядывался в то, что происходило в нем, и сразу же чувствовал, как под его взглядом тревога, все еще беспредметная, начинала нарастать, она поднималась, как молоко на газу, и вот-вот перельется через край, и, пока этого не произошло, он, в полном смысле слова как утопающий, который хватается за соломинку, изо всех сил старался, чтобы происходящее в классе его хоть как-то заинтересовало, но с каждым разом это становилось все труднее, все они были отделены от него десятью заборами, а он был абсолютно один, и ничто не имело к нему отношения, и он ни к чему. Вдруг он как будто провалился куда-то и на мгновение перестал понимать, что вообще означает происходящее вокруг, и тут-то выскочила мысль про прыщик, и за ней мгновенное облегчение — наконец-то он понял, что должно произойти, и сразу же мысль про воспаление мозга, и паника, которая до сих пор сдерживалась всеми силами, наконец прорвалась и заполнила его всего до краев, и в этот момент не было никакого «его», а была паника. Он быстро и аккуратно собрал свои тетрадь, ручку и книгу, сунул их в сумку — на это его еще хватало, глубоко, значит, сидело, — резко встал, но постарался партой не грохнуть, и не грохнул, и, ни на кого не глядя, быстро и твердо вышел из класса. Неизвестно, что подумали оставшиеся в классе, их лиц не видел, но это его не интересовало — он направлялся в поликлинику, на все остальное ему было наплевать. В голове даже как-то слегка прояснилось.

До поликлиники было недалеко, но все-таки она была не в двух шагах, он шел и молил Бога только об одном: успеть; сама ходьба немного отвлекла его, и временами он успокаивался, и тогда, незаметно для него, само его спокойствие начинало казаться ему гарантией того, что ничего не случится (на это время он как будто превращался в нормального человека), но почти сразу же вспоминал, что все ведь как было, так и осталось, чего же он успокоился-то, когда гной может прорвать с минуты на минуту, — и в голове что-то взрывалось, и он едва удерживался, чтобы не перейти на бег трусцой. А поликлиники все не было видно — она как будто поклялась его погубить! Временами им овладевало бешенство — из-за того, что какая-то поликлиника расположена на сто метров дальше, может быть, придется погибнуть во цвете лет. Он едва не прихныкивал от этого бессильного бешенства и сжимал кулаки так, что ногти впивались в ладонь. Но вот наконец и поликлиника, такая же, какой он ее видел много раз, долго стоял перед сложно устроенным входом, ожидая, пока выйдет медсестра, ведущая старуху — старуха еле переставляла ноги, и он чуть было не начал приплясывать, пока дождался; внутри — все то же, старое, знакомое: налево — гардероб, направо — квартирная помощь, впереди — регистратура. Обычно, когда он входил в поликлинику, он весь как-то внутренне съеживался, чувствовал себя маленьким, беззащитным, в детскую поликлинику ходил вместе с матерью и так и не смог до конца привыкнуть ходить во взрослую один; это же чувство он испытал и теперь — не так сильно, как обычно, но достаточно отчетливо, — оказалось, паника была не настолько сильна, чтобы он не смог больше ни о чем думать; стало немного полегче, по крайней мере поликлиника хоть немного вернула его к реальной жизни. Он вспомнил, что, когда идешь к врачу, надо, кажется, брать карточку (и хотя бывал здесь не раз, никогда точно не знал, что и как), слава богу, у регистратуры оказалось мало народу, он занял очередь и пошел к большому стенду определить свой участок и своего врача. В очереди постоянно, чтобы не забыть, повторял про себя фамилию, которую он высмотрел на стенде, на его взгляд несколько нелепую (вообще, к большинству

незнакомых фамилий он относился с каким-то подозрением, как бы безразлично приглядывался или даже принюхивался к ним, как к не очень тщательно вымытым ложкам в школьной столовой). Еще одна проволочка: до сих пор стоящие впереди быстро улаживали свои дела у окошечка и отходили, а стоящий перед ним мужчина долго препирался с теткой, которая сидела за окошечком, потому что та никак не могла найти его карточку, она уходила, довольно долго ее не было, а когда возвращалась — опять препирательства, и так раза три, кончилось тем, что она начала выписывать новую карточку, когда спросила, кем работает, мужчина ответил: «Заготовитель!» — отчетливо и категорично. Несмотря на смятение, царившее в голове, он почувствовал раздражение. Хм, заготовитель. Что это за профессия такая — заготовитель! Наконец-то его очередь подошла, он на всякий случай спросил у тетки фамилию своего врача и номер кабинета (по предыдущему опыту знал, что стенды часто врут), но тут они совпали с теми, которые он высмотрел на стенде. И он пошел искать свой кабинет — семьдесят шестой, на первом этаже его не было, на втором не было, кабинет оказался на третьем. Небольшая кучка народа у дверей. Здравствуйтесь. Кто последний? Вон тот мужчина крайний. Это был заготовитель, который сидел поодаль и читал журнал. Оказалось, что врача нет, но должен появиться с минуты на минуту. И действительно, вскоре врач появилась, в пальто, наброшенном на халат, нервно завозила ключом в замочной скважине, вид у нее был усталый и злой. Он сразу вспомнил все те многие разы, когда сидел с матерью в поликлинике, и те не очень многие, но тоже хорошо запомнившиеся разы, когда сидел в поликлинике один, и на душе стало тоскливо, как обычно в поликлинике, и страх перед заражением мозга сразу утих. Этот страх и так-то утратил безраздельное господство над ним, как только вдохнул поликлиничного воздуха, а сейчас он вообще как-то выдохся, потерял остроту, стал теоретическим, а не животным страхом.

Вот и заготовитель сунул журнал в дипломат, приготовился. Значит, скоро идти и ему. Когда его очередь подходила, он обычно чувствовал сильный соблазн встать у двери, караулить, чтобы сразу же войти, как только кабинет освободится, потому что, мало ли, вдруг кто-нибудь захочет пройти без очереди. А что он ему сделает? Скажет: «Ты куда прешь, сволочь?» Или, наоборот, очень достойно: «Извините, но я занимал раньше вас!» Он, конечно, так не скажет, да если бы и сказал, все равно неизвестно, чем бы это кончилось. Можно войти с тем нахалом в кабинет, начать там что-то объяснять: «Он, главное, позже меня пришел, а теперь, главное...», а врач скажет, наверное, что-нибудь вроде: «Граждане, соблюдайте порядок», охота ей разбираться, кто пришел раньше, не устраивать же расследование, вызывать свидетелей из коридора. И он не вставал у двери, все-таки ему было неловко походить на полоумную бабу, каких в поликлинике нагладелся, но — весь напрягался, подавался к двери, и глаз было от нее не оторвать. В воздухе что-то мелькнуло. Он заоглядывался: заготовитель встал и пошел к кабинету. А, это лампочка. Теперь, когда заготовитель выйдет, ему нужно будет войти. Он сразу представил, что у него в бумагах окажется что-то не так; или окажется, что тут принимают только по номеркам, а номерка у него нет, а когда придется излагать свои жалобы, то он не будет знать толком, что сказать, не говорить же, что у меня на носу вскочил прыщик, и сразу представил, как это будет не то что смешно, а просто дико звучать. И сам на себя все это навлек. Он еще немного посидел на своей кушетке, потом встал и пошел ни о чем не думая. Когда он проходил мимо гардеробщика, тот оторвался от газеты и посмотрел на него, и, кажется, даже немного проводил его глазами, ему это очень не понравилось. «Чего смотришь-то? Цветы на мне растут, что ли? Читаешь себе свою газету — и читай», — часто он думал в каком-то утрированно-развязном тоне, хотя в жизни от него никто ничего подобного не слышал. На улице некоторое время шел без всяких мыслей, просто шел, но потом вдруг обернулся. До поликлиники было уже довольно далеко.

С некоторым сомнением двинулся дальше, но просто так идти, и все, он уже не мог, он уже чувствовал какой-то дискомфорт внутри, не выдержал и опять обернулся. Поликлиника стала еще дальше. Ей было все равно, что с ним будет, а может быть, это его последний шанс. Он опять вспомнил про заражение мозга, которое в поликлинике представало перед ним таким же малореальным, каким оно представало до самых последних дней, и в нем все разом оборвалось. Как он мог сделать такую непростительную глупость — уйти из поликлиники, когда речь идет о жизни и смерти, как он мог обращать внимание на какую-то ерунду, на какие-то номерки, когда... Ему захотелось дубасить кулаками по своей идиотской, дурной, тупой, лопухой башке! Он быстро-быстро пошел к поликлинике, наклонившись вперед как только возможно, чтобы быть как можно ближе к ней, и ругал себя изо всех сил, точь-в-точь так же, как еще совсем недавно ругал поликлинику за то, что она была слишком далеко, и точь-в-точь так же прихныкивал и сжимал кулаки. Вот и опять поликлиника. Он решительно отворил дверь — и тут же вспомнил, что ему придется проходить мимо гардеробщика, который, наверное, будет считать его каким-то придурком — ходит взад-вперед, сам не знает, чего хочет. Он едва не попятился, но тут же сказал себе: «А, плевать!» — и решительно вошел в поликлинику, но как только заметил краем глаза фиолетовый служебный халат гардеробщика, сразу весь кураж в нем пропал. Он поспешно напустил на себя озабоченный вид, и, проходя мимо гардеробщика, еще более озабоченно нахмурился, и походку сделал еще более озабоченной — все это для того, чтобы гардеробщик понял, что он что-то забыл здесь, а не просто так шляется. Ну забыл что-то человек! С кем не бывает, в конце концов! Даже когда он поднимался по лестнице, где гардеробщик его уже не видел, озабоченное выражение не сразу сползло с его лица. Подниматься он начал бойко, через ступеньку, но, когда дошел до второго этажа, начал чувствовать, что здесь что-то не так, здесь не может быть все так просто. И понял, что здесь не так: ведь когда он сидел в очереди, за ним еще занимали, а он ушел, никому ничего не объяснив, надо ему было на всякий случай сказать: «Я тут отойду ненадолго», — и не сказал, думая, что уходит насовсем, и теперь его, конечно, могут не принять обратно в очередь. Черт, и того хуже, он ушел, как раз когда подходила его очередь, так что его уже точно никто не пропустит. Он стоял на площадке между вторым и третьим этажами и мучился, мялся, обдумывал, идти или не идти, если идти, то что сказать, или, может быть, занять очередь заново, в конце концов решил посмотреть из-за угла на очередь в семьдесят шестой кабинет, и тогда, возможно, обстановка прояснится. Он так и сделал — встал за углом и высунул из-за него голову — и тут же встретился глазами с заготовителем, который шел по коридору по направлению к выходу с третьего этажа, то есть туда, где стоял он; заготовитель был где-то на расстоянии двух метров и шел близко к стене, казалось, еще бы немного, и он бы уперся лбом заготовителю в подбородок. Он отпрянул, буквально как ошпаренный, и, сделав несколько нетвердых, блуждающих шагов, стал спускаться по лестнице уже твердыми, можно даже сказать — чеканными, шагами, хотя у него было желание припустить отсюда во весь дух, но не городить же одну нелепость на другую. Он чеканил шаг и чувствовал, как горят его уши, слышал сзади шаги заготовителя, который, похоже, шел медленнее. Дойдя до второго этажа, он не раздумывая юркнул в коридор, слишком уж невыносимо было чувствовать взгляд заготовителя на своей спине. Он был полностью раздавлен, уничтожен. Это ж надо — устроить чуть ли не целое представление перед гардеробщиком, придумывать, что говорить в очереди, — и разыграть такого идиота: только что стоял в очереди, а теперь подглядывает, как будто в женскую баню. Он брел по коридору, не замечая, что шевелит губами и пожимает плечами, со стороны можно было подумать, что он бормочет что-то вроде: «Ну уж я и не знаю, чего вам тогда надо...» Он вспомнил про прыщик, который совсем недавно довел его до безумия, и только мысленно махнул рукой, и на душе ста-

ло еще обиднее. Он вдруг очутился перед уборщицей, которая мыла пол, елозила шваброй туда-сюда, она недовольно оглянулась на него из своего согнутого положения. Он не решился следовать дальше, помявшись на месте, медленно пошел назад, еще не зная, что ему надо делать, дошел до выхода на лестницу, но как-то так сразу взять и уйти не решился, некоторое время топтался перед выходом. На него, кажется, уже начали поднимать глаза сидящие в очереди. Он решительно подошел к первому попавшемуся стенду и принялся его читать. Большими буквами, написанными фломастером: «Кабинет физиотерапевтических процедур». И ниже довольно объемистый текст, написанный шариковой ручкой: «Наша поликлиника располагает...» и т. д. и т. п., он прочитал все это от первой строчки до последней, потом с каким-то заторможенным интересом разглядывал фотографии. Изучение стенда его успокоило. Он вышел на лестницу и спустился в вестибюль, мимо гардеробщика прошел совершенно спокойно, потому что знал, что не дает поводов гардеробщику считать его придурком — вернулся за чем-то, что забыл, а теперь возвращается обратно, так что все нормально, да и тем более гардеробщика он больше не увидит.

Выйдя из поликлиники, он еле дотащился до ближайшей скамейки и плюхнулся на нее, раскидав ноги. Он внезапно почувствовал себя страшно измочаленным — еще бы, после такого напряжения, — и в голове не было ничего, кроме какого-то гада, а про все еще такие недавние переживания, связанные с поликлиникой, он просто забыл. Свою роковую роль поликлиника уже сегодня сыграла — и сразу же утонула в серой массе других зданий, до которых ему не было никакого дела. Прыщик все так же грозил заражением мозга, и опасность заражения ничуть не уменьшилась с тех пор, как он посреди урока вышел из класса, но — это уже было не его дело. Как будто знал, что выполнил то, что было предписано ему на сегодня, и какой-то верховный судья уже не спросит с него больше. Сегодня. И он уперся взглядом в кончик своего ботинка и постепенно погрузился в оцепенение — самое приятное из всех ощущений, которые испытал сегодня за день.

Не в первый раз такое происходило с ним. Только болезни он всякий раз выбирал разные. И во время очередного припадка ужаса он с отчаянием сознавал, что наконец случилось то, чего так долго боялся, про что он так долго заставлял себя не думать. Оказалось, что предыдущая жизнь — это всего лишь пустые надежды на не такую ужасную судьбу, а на самом деле суждено ему было грохнуть на пол в каком-нибудь кабинете истории какого-нибудь 18 декабря и издохнуть. Вот, оказывается, для чего он жил, вот главное событие его жизни, а все, что было до сих пор, казалось ему всего лишь затянувшимся муторным вступлением, придуманным для него кем-то точно в насмешку, а он-то, дурак, пытался убедить себя, что его жизнь не насмешка, а вполне всерьез. И тогда он понимал, что зря пытался, если слово «понимал» подходит для того состояния, в котором он находился, он не понимал, а скорее прозревал, и не мозгом, а всем своим существом, и длилось это прозрение несколько секунд, а дальше, точно так же, как и сегодня, был уже весь во власти ужаса и ничего не соображал. А потом припадок постепенно стихал. Стихал все-таки. Может быть, во внешнем мире подворачивалось что-то такое, что вытягивало его, а может быть, по своей природе припадок не мог продолжаться очень долго — требовал каких-то ресурсов от организма и прекращался, когда растрачивал их. Но вот еще что: во время припадков он все-таки не до конца терял контроль над собой, хоть и ничего не соображая, а все же старался, или что-то помимо него старалось, чтобы другие ничего не заметили, потому что инстинктивно сознавал: пока никто ничего не замечает, все еще вполне поправимо, важно только сейчас справиться с припадком, а потом можно будет себя самого убедить в том, что ничего подобного с ним не происходило, а убедить себя в данном случае означало одно — забыть. Так он и делал. И это было очень важно — забыть самому, а не просто не дать ничего заметить другим, потому что где-то в самой глубине он понимал, что если будет помнить, постоянно носить в себе все это, то рано или поздно

в нем проступит что-то такое, что другие почувствуют. И то, что проступит, будет иметь какую-то связь со словом «сумасшедший». А с этим словом лучше не шутить. И он ходил в школу, где учился получше среднего, после школы приходил домой, не меньше других возился с уроками, к нему приходили друзья, вместе занимались неизвестно чем, иногда он что-то читал, иногда ходил в кино — словом, все было в порядке. И дни шли, похожие один на другой, не то чтобы очень хорошие, но и не то чтобы очень плохие. Пока он будет делать то же, что другие, и чувствовать будет себя, как другие, он растворится в этих *других*, будет как можно меньше отличать себя от них, а если у *других* все нормально, значит, и у него все нормально. Все это копошилось в самых глубинах его души, а образ другого был крайне неясным, ускользающим, он, если бы и захотел, не смог бы сделать его яснее, *другой* — это, наверное, человек, живущий *нормальной* жизнью. А *нормальная* жизнь — это жизнь человека в чужом трехминутном пересказе. Равнодушном пересказе. Ну, конечно, благополучная в социальном понимании жизнь, в данном случае: «родился в благополучной семье», «успешно оканчивает школу». Все хорошо, все нормально, чего еще надо? И действительно, смотря на тех, кто его окружал, он искренне был уверен, что их жизнь и состоит из того пересказа (впрочем, с ними, может быть, так и обстояло), и его пугало — иногда сильно, иногда не очень, но этот страх постоянно жил в нем, — что его-то собственная жизнь как-то уж мало похожа на этот пересказ, хотя с виду — вполне в него укладывается. Тем страннее, тем непонятнее.

В детстве в смысле *нормальной* жизни все у него шло как надо. Что было в яслях, он не помнил, а в садике были такие, которые писались, и все их дразнили, в том числе воспитательницы, не очень приличным словом, — в том возрасте он уже не писался, были толстые, «жиртресты», их тоже дразнили, — он толстым не был. Но уже тогда, кажется, смутно чувствовал какое-то свое глубокое родство с ними, хотя и ему случалось иногда обозвать кого-нибудь «жиртрестом». Потом в школе и в пионерских лагерях, где был раза два, он вполне походил на *других* — и уже менее смутно чувствовал, что находится где-то на грани: еще бы немного — и *другие* бы поняли, что он не такой, как они, а с каким-то дефектом. Но всегда рядом находились настоящие «с дефектом», в пионерском лагере, например, «самые слабые в палате, в отряде» и т. д., ими помыкали и над ними куражились, были такие, которые по совершенно непонятным ему причинам стали объектами всеобщего обидного внимания, по всякому поводу над ними потешались. Он же был не слабее и не сильнее среднего и внимания к себе привлекал не больше других. Он был *пацан как пацан*. Но в глубине души он не верил в это. И он особенно страшился участи попасть в те, презираемые, потому что разделял общее отношение к ним. Единственное, что могло как-то явно выделить его тогда, — это то, что он много болел, и если в любой небольшой компании речь случайно заходила о том, кто как болел, то по числу лежаний в больницах он всегда оказывался на первом месте. Но в самих больницах ему иногда попадались толстые, синие, отечные, к ним часто являлись небольшие толпы врачей во главе с редко появляющимся профессором, источавшим довольство собой, — местным светилом, которого даже нянечки почитали и побаивались; врачи что-то обсуждали, спорили, а отечные выглядели абсолютно непроницаемо, казалось, не к ним все это относилось, наверное, привыкли. Он смотрел на них, и ему казалось, что они как будто уже готовятся на тот свет, и он сразу понимал: болезни этих отечных — это не его болезни, а что-то совсем из другой области, а он, собственно говоря, не болеет, а просто лежит в больнице, полежит-полежит, и его выпишут — все.

...А еще классе в шестом у них был физрук, здоровый, пузатый мужик лет сорока, он олицетворял собой здоровую, грубоватую простоту, и было видно, что он вполне сознательно ее олицетворяет, любил с надрывом говорить: «Да за такое морду бьют в приличной компании!», раздавал затрешины направо и налево, заставлял приседать по триста раз за какую-ни-

будь провинность, но многие его любили, точнее, вокруг него образовалась своя аристократия, то есть те, которые бегали, прыгали и играли во всякие спортивные игры лучше других (они и по морде умели дать лучше других), эту аристократию физрук очень даже устраивал — они тоже были такие же хорошие, простые, честные ребята, внешне, может быть, грубоватые, но с чистой, здоровой душой, а остальным в классе, наверное, было гораздо удобнее делать вид, что им тоже очень нравится суровая прямота физрука. Так вот, его физрук не любил. И не просто не любил, временами ему казалось в глубине души, что нашелся наконец человек — физрук, который таки разглядел его подлинное нутро, ту гнильцу, которую сам то сильнее, то слабее, но постоянно чувствовал в себе, и все время боялся, что физрук вытащит это на свет Божий. Нелюбовь физрука ни в чем особом не проявлялась, но ему казалось, что тот относится к нему с какой-то брезгливой настороженностью, как будто подозревает, что именно он каждое утро гадит в физруковой камерке, но прямых улики пока нет, но, как ему казалось, физрук был уверен, что рано или поздно они будут, и ждал своего часа. И тогда физрук выволочет его из своей камерки застигнутым на месте преступления, держа этого шкодливого кота, омерзительно визжащего: «Дяденька, прости за...ца!!», со спущенными штанами, пытающегося дрыгать ногами, физрук пронесет его мимо аристократии, которая будет с гадливостью отворачиваться, через весь спортзал, а потом вышвырнет в коридор, с силой плюнет: «Ну надо же, какая погань!» — и пойдет, а он примется улепетывать, пытаясь одновременно натянуть штаны, не сразу встав на ноги, сначала на четвереньках. Когда он представлял себе такую картину, то очень пугался: а вдруг он и вправду шкодливый кот? Было очень горестно сознавать, что физрук, похоже, верно раскусил его. Но он, конечно, гнал от себя такие картины и такие мысли. А физрук, кстати, и орал на него редко, он даже не помнит, чтобы тот дал ему затрещину, брезговал, наверное. Слава богу, физрук проработал года полтора и ушел, как говорили, рассорился с директором.

...И еще, где-то годом позже, ему рассказывал один одноклассник (из тех, физкультурных аристократов), как они в пионерском лагере набили морду одному нахалу, который, насколько он понял, как-то неправильно обошелся с дамой на дискотеке. Одноклассник рассказывал доверительно, приглашал повозмущаться поведением нахала, а он так толком и не понял, что уж такого возмутительного было в этом поведении, хотя вежливо, с пониманием кивал. Но одно понял хорошо (что, собственно, знал всегда, но тут очень удачно напомнили, почти даже ткнули носом, хотя его собеседник совершенно того не желал), а именно: что никогда он, даже в порыве негодования, не будет бить никакого нахала, а вот оказаться на месте нахала запросто бы мог. И ему как будто хлестнули крапивой по душе. Он никогда не был ни на одной дискотеке, и ему не только совершенно не хотелось туда, но было даже страшновато. Вдруг он там сделает что-нибудь *неправильно*? А это окажется какой-нибудь невиданной, неслыханной низостью, мерзостью, и по дискотеке пронесется ропот изумления: как, уж не обманывают ли нас глаза? Но это — секунда, тут же последует быстрая расправа, как над тем нахалом, и вышвырнут его с дискотеки, и все будут возмущены до глубины души, все, от хулиганистых типов, которые в самом разгаре дискотечного веселья чутко прислушиваются, не нарушена ли где справедливость, до какой-нибудь старой доброй воспитательницы, которая после очередной драки объясняет всем, что кулаками ничего не докажешь, но в этом случае... ну уж с такими-то! И она разведет руками — такого не видала. Все от него отвернутся, и останется он как перст один, с побитой рожой, и, главное, все так и будут убеждены, что правильно ему набили рожу — а как еще с такими! — и никому он не объяснит, что не со зла это сделал, а просто не знал, ну не знал! Но никто, разумеется, не поверит, что таких вещей можно не знать.

Он сидел в оцепенении, иногда переводя взгляд с одного носка ботинка на другой. Потом встал и пошел. Он направлялся к дому, то есть наме-

ревался пойти к остановке, сесть на автобус и поехать домой, и вдруг с удивлением понял, что весь его поход в поликлинику занял не так уж много времени и он вполне успевает к четвертому уроку, а ему почему-то казалось, что со школой на сегодня покончено. Он остановился, раздумывая о том, что сейчас пойдет в школу, к своим одноклассникам, им всем, конечно, будет очень любопытно узнать, что это такое с ним приключилось, потом классная придет выяснить причину его отсутствия. Первый раз он не смог скрыть, что происходит с ним, и сорвался, *обнаружился*. И нехорошо стало на душе. Он чувствовал, что если *обнаружился* один раз, то второй раз *обнаружиться* будет уже легче, третий раз — еще легче и так далее, а в результате... Все узнают, что он ПРИДУРОК. Он затряс головой — ничего, ничего, один раз ничего не значит. Он часто болеет, и никто толком не знает, что у него за болезни, скажет им, что давление подскочило, голова закружилась, у него такое бывает, а так ничего, мол, ерунда. Один раз можно. Он вспомнил про прыщик и тут же почувствовал такую злость к себе, что даже фыркнул: надо же было такое устроить — из-за какой-то дряни! Он уже искренне не понимал, как с ним могло такое произойти. Однако уже как-то незаметно для себя твердо настроился идти домой, и сейчас ему совершенно не хотелось видеть своих одноклассников. Он решил, что остальные три урока погоды не делают, можно придумать, что сказать завтра классной, она ему поверит, потому что никогда уроков не прогуливал, тем более она знает про его болезненность, так что все будет нормально. Все же он решил идти не к ближайшей остановке, которую видно из окон школы, а к следующей.

Он открыл дверь, вошел, брякнул ключ на обычное место в прихожей, с усилием стащил с себя ботинки, толком их не расшнуровав, заглянул в свою комнату и, не снимая куртки, пошел в родительскую комнату, по пути обернулся на кухню — все это для того, чтобы выяснить, есть кто-нибудь дома или нет; никого не было, потом на всякий случай заглянул в туалет и в ванную. Никого не было. Ну и слава богу. Это старая его привычка. Без родителей как-то вольготнее. Он вернулся в прихожую, повесил куртку, втащил в свою комнату школьную сумку и повалился на диван. Когда он переступал порог родного дома после школы, силы совершенно оставляли его. Он лежал, было противно сделать движение, а лежать в школьной форме было тоже противно, потому что мать много раз ему говорила, чтобы не валялся на диване в школьной форме, от этого она мнетя, поэтому когда он валялся, то всегда испытывал дискомфорт, хотя и не думал ни о какой школьной форме. Сквозь тоскливое оупение, в которое он был погружен, иногда проглядывала мысль о горе невымытой посуды в раковине, которую придется мыть, и эта гора представлялась прямо-таки непреодолимым препятствием для всей дальнейшей жизни, вставать тем более не хотелось, и он все лежал, лежал. А еще домашнее задание надо делать — дальше лучше не заглядывать... Обычно, когда получалось так, что он приходил из школы пораньше, то испытывал подъем настроения, даже какое-то чувство праздничности, но теперь оно было нейтрализовано не совсем обычным способом, каким он очутился дома пораньше. Но все равно — когда он приходил домой, сразу же забывал первую половину дня, что бы там ни происходило, правда, происходило там, как правило, одно и то же, с редкими и незначительными вариациями, и сегодняшнее приключение оказалось не таким уж значительным, чтобы помнить о нем весь день; и когда он впервые после раннего утра видел обои родного дома, на свое место заступало обычное состояние, в котором находился вторую половину дня — а ее он проводил дома, за редчайшим исключением, — состояние тоскливой, неприкаянной скуки, иногда сменяющееся нейтрально окрашенным оцепенением. И неизвестно, что должно произойти, чтобы это «домашнее» состояние хоть как-то видоизменилось. Кстати, в школе есть хотя бы какая-то суета, какое-то занятие, и, сидя на уроке, знаешь, чего ждать — чтобы урок кончился. Сейчас ему ждать было нечего.



Но он все-таки встал и медленно переоделся и повесил школьную форму на вешалку, а вешалку в шкаф. Потом пошел на кухню, кое-как прибрал свинство на столе, поставил греться обед. И вымыть посуду оказалось не так уж страшно, сначала он, правда, довольно брезгливо к ней прикасался, а потом как-то забылся, машинально что-то тер, отчищал, ставил на место, и это было все-таки развлечение. А потом было даже приятно смотреть на чистый стол, на чистую раковину.

Где-то через полчаса он подумал, что надо бы взяться за уроки. Он опять лежал на диване, погрузившись в протрацию, на этот раз уже в одежде, в которой полагается ходить дома, поэтому дискомфорта не чувствовал. И как-то так получилось, что, подумав об уроках, он сразу же встал и пошел к столу, где валялась школьная сумка. Если бы после мысли об уроках он хоть немного замешкался, то еще долго провалялся бы, собираясь с силами. Но на этот раз он встал сразу. Несколько раз перебрал все учебники в сумке, искал там учебник физики, почему-то он решил делать физику; не нашел, полез за ним в письменный стол, внезапно вспомнил про химию, опять начал рыться в сумке, долго не мог найти свою тетрадь по химии, потому что тетрадей было много и все они были одинаковые, тусклые, унылые, наконец нашел, а тетрадь почти отличницы нашел сразу, она выглядела очень чистенькой, свеженькой среди его унылых. Вдруг подумал, а зачем ему тетрадь по химии, он же новую собирался завести, зря, черт возьми, искал, опять полез в стол, долго пришлось там прорыться, прежде чем вытащил оттуда чистую тетрадь. Сдул с нее пыль и положил рядом с тетрадью почти отличницы. Хотел было начать переписывать, да вдруг оказалось, что ручку забыл вытащить из сумки, так что опять придется в ней рыться, а она там на самом дне, среди нескольких других, исписанных или сломанных, поэтому порыться придется основательно. На это его уже не хватило. Надо еще посидеть, набраться новых сил. А на что его хватило, так это на то, чтобы бессознательно перелистывать тетрадь почти отличницы. Он листал ее, и мысли сами собой проплывали в голове. С почти отличницей он сидел в первом классе за одной партой, он как сейчас помнил ее старательно наклоненный чистый выпуклый лобик, тогда она была совсем отличницей, и ее всем ставили в пример по чистописанию, она от души ябедничала и во время контрольных полузакрывала свою тетрадь, чтобы он не списывал, выставив локоть в его сторону и иногда бросая на него опасливые взгляды, прикрывая при этом тетрадь посильнее. Но он уже тогда не списывал. Он бы и в садике не списывал, только там нечего было списывать. Теперь у почти отличницы вечные скандалы с учителями насчет покрашенных губ, часто вызывали родителей в школу за «хамское поведение», с какими-то курсантами ее видели, в общем, она очень «современная» девица и, судя по всему, понятия не имеет, что она была когда-то отличницей с чистым выпуклым лобиком. Он это помнит, а она нет. И непонятно ему, как это, зная про себя, что была усердной отличницей, быть в то же время «современной» девицей. Он бы уж никогда не посмел, так как с самого начала нес на себе печать собственного тусклого и безрадостного «я» и не верил, что может быть кем-то другим, а не тем, кем он был сейчас и был всегда; точнее, все, что до соприкосновения с ним, может быть, и было чем-то ярким, значительным, после этого соприкосновения превращалось в дрянь, в сор вроде крошек в давно уже пустой коробке из-под печенья. Ничего не могло выстоять. Эта уверенность сидела где-то на самом его дне. А сейчас даже рассеянные воспоминания о почти отличнице уже не посещали его, глаза блуждали сами по себе по поверхности стола, а его самого как будто бы и совсем не было. Неизвестно, сколько это тянулось. Однако какие-то мысли все-таки продолжали вариться в нем, внезапно он понял, словно наткнувшись на что-то, что завтра будет опрос по литературе. Вот что действительно надо учить! Он испуганно встрепенулся, как бывает, когда засыпаешь и вдруг кто-то трогает за плечо. Слава богу, учебник литературы на столе, не надо никуда больше лазить. Биографию надо было выучить.

После некоторого перелистывания нашел ее в учебнике и начал читать. И, не отвлекаясь, прочел подряд всю биографию, целых три страницы. И потом опять погрузился в прострацию. Он был оравлен скукой.

Он все еще сидел за столом, когда вдруг появилась мысль об одном классном ЧП. Появилась и опять исчезла. Но ненадолго. Своим появлением она как будто намекала ему на что-то. И он уже не мог ее отпустить, хотя еще и не знал, на что она намекает. Он, еще довольно равнодушно, начал припоминать то, что знал о ЧП. Двое из его класса объелись таблеток, он сразу вспомнил название — димедрол, и пришли на дискотеку, там вели себя настолько экстравагантно, что обратили на себя внимание учителей, которые там как бы дежурили. Тут же началось расследование. Сначала учителя думали, что те пьяные, по сто раз заставляли их дыхнуть, но никакого запаха учуять не смогли. Потом какой-то догадливый учитель вспомнил о таблетках, что-то он где-то слышал или читал. Те отпирались, но они буквально еле ворочали языком, даже трудно было просто открыть рот, а когда открывали, то несли какой-то бред, и зрачки у них были «во весь глаз». Их потом прорабатывали на классном часе, вызывали родителей и т. д. Сначала он слышал эту историю в учительском изложении, а потом и от них самих — в классе ЧП подробно и оживленно обсуждалось. Что больше всего его заинтересовало, так это «глюки» — галлюцинации, он никогда не мог понять: как же этого может не быть, если я это вижу? Те еще сказали, что свалились из-за собственной глупости: вполне можно держать себя прилично, если постараться, и надо было просто не светиться по сто раз перед учителями. И еще они сказали, что димедрол — это вполне бытовое лекарство, часто используется как снотворное и его запросто можно найти в домашней аптечке, что они и сделали.

И тут он понял, на что ему намекала мысль о ЧП. Сейчас он может встать, пойти в ту комнату, вытащить коробку, где мать хранила таблетки, и попытаться найти димедрол. Его как ожгло. И он уже знал, что сделает это. Он вдруг вспомнил, как классе во втором оставался дома с температурой 37,2 — это, наверное, были лучшие из отрывков его жизни, — ждал, томясь, когда отец уйдет на работу, а когда тот уходил, шел в ту комнату и из специального места, куда мать прятала сигареты для гостей — никто из родителей не курил, — извлекал пачку сигарет, брал из нее одну сигарету, пачку клал ровно на то же место, а сигарету выкуривал в туалете, сгорбившись, сидя на унитазае. И это было и жутко, и упоительно. Воспоминание только прибавило ему решительности. Черт побери, были когда-то и мы рысаками! Сейчас он чувствовал себя молодым, свежим, полным сил — хозяином своей судьбы. Если ты идешь на запрет — значит, ты хозяин. Его слегка трясло, и сердце отдавалось во всем теле, но вместе с тем какая-то торжественность воцарилась на душе, как будто он шел на славный подвиг; он двинулся в родительскую комнату. Коробка с таблетками оказалась в точности там, где он и ожидал ее найти, и на мгновение почувствовал благодарность к матери за то, что все у нее в доме находится в таком порядке, у него самого небось пришлось бы два часа рыться. Дойти до дивана, чтобы присесть, не хватало терпенья, он поставил коробку на стол и принялся разбирать, как старые документы, шелестящие упаковки. Делал это слегка замедленно, сдерживая себя, изучая упаковки дольше чем надо, для того чтобы убедиться, что это не димедрол, он как будто желал растянуть развлечение и даже сам не знал, чего ему хочется больше — найти или не найти. Названия по большей части незнакомые, видно только, что это название таблеток. Димедрол все не видно. Вдруг понял, что скорее всего не найдет здесь димедрол — в самом деле, с какой стати? — так что зря это все было: и дрожь, и сердцебиение, и торжественность на душе; и сразу же разочарование, но вместе с тем и облегчение, и непонятно, что из них почувствовал раньше. Все-таки надо досмотреть коробку до конца, уже вполне шустро он выкладывал упаковки из коробки, вот на самом дне остались какие-то, из какой-то обойной бумаги, напоминавшей о какой-то нездешней, где-то давно подсмотренной убогой жизни. Он про-

читал название, и что-то вспыхнуло в голове, не сразу поверилось, но нет, все правильно: на коробке, которую он держал в руках, было написано: «димедрол». Таким образом, он узнал, как пишется это слово, оно, оказывается, не содержало в себе имени Демид. Всего упаковок было три. А теперь будет две. Скорее всего никто ничего не заметит, упаковки, судя по их виду, лежат нетронутые уже лет тридцать. Да, а этот таблеточный хлам надо аккуратненько сложить назад, что он и сделал очень методично, а после этого пошел с димедролом на кухню. Когда-то у него здорово получалось глотать таблетки без воды, слава богу, практика была, и сейчас решил воспользоваться своим искусством, но вдруг подумал: а зачем, ведь вода же есть. Наполнил чашку водой из-под крана, поставил на стол, димедрол положил рядом. Вода в чашке мутно-белая, надо подождать, пока отстоится, а то пить противно. Он был сосредоточен и слегка заторможен в движениях, желая избежать хотя бы внешних признаков волнения, и это помогало: он и внутренне был достаточно спокоен. Ну все, вода посветлела, теперь можно. Он присел на краешек стула, боком к столу, со слегка утрированной небрежностью, как будто желая дать понять кому-то, что ничего особенного не происходит, и принялся выколупывать таблетки. С первой провозился довольно долго. На вкус она оказалась очень горькой, едкой, с оттенком какой-то тошнотворной солености, впрочем, как следует он не стал пробовать, а сразу запил ее водой. Выковыривать таблетки из упаковки в больницах не учили, приносили уже выковырянные. Со второй таблеткой обошелся слишком грубо, и она раскрошилась в его пальцах, она и так была ветхая, как какая-нибудь археологическая находка. Однако зря это сделал, он это понял, когда закинул крошево в рот, рот сразу наполнился жгучей горько-соленой гадостью, он залпом выпил чашку воды, но мерзостный привкус во рту все равно остался, особенно на гортани. Третью таблетку выковырял неожиданно ловко, на ней он понял, как это делается — очень просто, и без всякого труда выковырял все остальные, а всего в упаковке было десять таблеток. Он собрал их в жменю и зашвырнул в рот, и в два судорожных глотка они все были там, вода хорошо помогала. Ну все. Он встал. Сердце стучало сильно, хотя и не часто. Что ему сейчас делать, он не знал, сразу галлюцинаций ждать бессмысленно, сначала должно *подействовать*. Собственно, что делать, когда появятся галлюцинации, тоже не ясно, — просто сидеть и смотреть на них? — но пока это была довольно смутная перспектива. И он подумал: а вдруг помрешь? — и почувствовал мгновенный испуг, который, похоже, давно уже был наготове, но, вмиг собравшись, сразу же убрал эту мысль, как-то сознавая, что сделано что-то слишком серьезное, чтобы позволить себе тешить собственную дурь. Он неясно подозревал, что его прыщичные переживания были, как это ни парадоксально, отчасти его собственным капризом, а не объективной, так сказать, реальностью. Сейчас же не до этого. Тем более, как рассказывали те двое, попавшиеся на димедроле, один их общий знакомый съел две пачки — и ничего, живехонек. И он отправился бродить по комнате сложными траекториями. Забрел в комнату родителей, зачем-то брал книги с отцовского стола, вертел их в руках и клал на место, механически разглядывал тысячу раз виденные фотографии под стеклом на столе, как-то раз у него в руках очутился отцовский блокнот с телефонами, и он довольно долго читал его подряд, одну незнакомую фамилию за другой. Слонялся по своей комнате, подошел к столу, где все еще лежала тетрадь почти отличницы, и не сразу понял, что она здесь делает и вообще зачем она нужна. То и дело доходил до окна, смотрел, как по двору передвигаются люди. Несколько раз собирался было пить чай, но вспоминал, что недавно пил. Потом наконец унялся, сел в углу дивана с учебником литературы и стал с середины его читать, надо же как-то скоротать время перед *глюками*. И отвлечься: он был достаточно напряжен, взведен. Было довольно холодно — особенно ногам.

Так он просидел, наверное, с полчаса. Время от времени обводя глазами комнату, ища, нет ли где глюков. Глюков не было. Он даже начал сомневаться, подействует ли на него вообще димедрол, — может, димедрол

только для слабаков... Все сильнее и сильнее становились сомнения, и в очередной раз, не найдя нигде глюков, осмелев, снисходительно хмыкнул. И сразу вздрогнул всем телом, и сердце жутко заколотилось, отдаваясь в ушах. Это был *не его голос*. Тембр был не его, и раньше, если бы он даже захотел, он не смог бы ничего подобного воспроизвести. И шел этот голос не из него, а откуда-то извне, из всех направлений сразу и каким-то дьявольским эхом отдавался в голове. «Ничего, все нормально», — хотел было сказать, успокоить себя, но с ужасом почувствовал, что не в состоянии открыть рот, он только что-то сипло промычал этим ни на что не похожим голосом, тихо-тихо. Как будто молния сверкнула в голове, он рванулся с дивана, как будто это была трясина, засасывающая его. Он закружил по комнате, приказывая себе успокоиться, но это было не так-то просто, пытался поймать хоть какую-нибудь мысль о чем-то постороннем, сосредоточиться на ней, но ни за что нельзя было ухватиться, все мысли сразу же куда-то выскальзывали, и паника захлестывала его, он только боялся издать хоть один звук, чтобы не слышать этого ужасного эха в голове. *Действует*, ничего не скажешь, мелькала мысль. Вдруг ему пришло в голову (странно, как раньше не приходило), что могут прийти родители, а он в таком состоянии, и даже не обязательно — может зазвонить телефон, и непонятно, как он будет говорить. И тут же его озарило, что родители сегодня идут в театр и придут поздно, так что ему ничего не грозит — к тому времени, знал, все должно пройти, да он и спать ляжет. И такая радость нахлынула на него, что он, как говорится, не смог сдержать счастливого смеха, снова чужой, неузнаваемый голос, идущий откуда-то извне и отдающийся в голове эхом, — но на этот раз это его несколько не испугало, а, наоборот, показалось страшно забавным, он вспомнил, как только что испугался своего голоса, и опять засмеялся. Приятный сюрприз повернул его настроение на сто восемьдесят градусов. С этого момента он почти совсем перестал ощущать время — не представлял, много его прошло или мало. В превосходнейшем расположении духа отправился бродить по квартире, стараясь ступать как можно развязнее. Какая-то невиданная доселе бодрость переполняла его, правда, во всем этом ощущалась некая истеричность. Бесцельное хождение по комнатам, которое еще так недавно казалось томительным, изнуряющим, превратилось вдруг в весьма увлекательное занятие. Как-то очутился у окна, некоторое время смотрел, как там внизу люди ходят. Эх, р-родные вы мои, он покрутил головой с алкоголической умиленностью. Другой раз увидел на своем столе раскрытую тетрадь почти отличницы, театрально расхохотался, давая понять, как теперь все это ценит, и ткнул в нее пальцем так, что страница выгнулась горбом. Он чувствовал, как все больше и больше уходит в какую-то пучину и одновременно освобождается, оставляет позади и химию, и литературу, и всякие прыщики, и всю свою скудную, бездарную жизнь; он с наслаждением ощущал, как немеет, дубеет, отказывается соображать его мозг. Мыслей не было, вернее, они так быстро скакали, что сливались в один неразличимый, прыгающий фон. «Я идиот, идиот, идиот!» — в восторге твердил он про себя. В общем, все шло замечательно, одно только нехорошо, что во рту очень сухо и поганый димедрольный привкус начал, кажется, только усиливаться, а когда он пытался набрать слюны, чтобы смочить пересохший рот, становилось еще противнее — кончик языка уже и сам, казалось, выделял эту ядовитую, невыносимую димедрольную слюну. Все тело было ватное, и даже побаливало, постреливало в разных местах, он чувствовал легкую тошноту, которая заметно усиливалась, когда глотал слюну, — в целом было похоже на начало гриппа. Вдобавок он заметил, что ему хочется спать, и уже довольно давно. Обрывки мыслей мелькали в голове цветными лоскутками — действительно, он теперь как будто даже *видел* их каким-то внутренним взором, — мелькали и при этом шипели, шуршали, попискивали. В целом эйфория получалась какой-то тяжеловатой. «Интересно, а что меня тащит?» — подумал он с развязностью, совершенно не свойственной ему в жизни. Когда он это подумал, находясь в комнате родителей, то достал с полки справочник фармаколо-

гии, который стоял рядом со старым добрым справочником фельдшера, заглянул в алфавитный указатель в конце, быстро нашел нужную страницу. Настолько часто ему приходилось заниматься всем этим раньше, что, казалось, руки и глаза проделали нужные манипуляции без участия его самого. Т-так, димедрол... Относится к группе противогистаминовых препаратов. Это он еще успел прочитать, а дальше вдруг увидел, что страница с буквами поехала от него, все дальше, дальше, он смотрел на нее как будто в бинокль и все еще подкручивал колесико, буквы становилось разглядеть все труднее, и очень скоро они превратились во что-то вроде одинаковых мелких мошек. Он оторвал глаза от страницы, посмотрел по сторонам, давая глазам отдохнуть, — и действительно, первые секунды три читать было можно, но потом опять то же самое. Он и щурился, и вертел головой так и сяк, чтобы смотреть под разными углами, и прижимал лицо вплотную к странице — пока не понял, что все это впустую. Ну, нет так нет. И это тоже забавно.

А время шло. Димедрольная волна все накатывала и накатывала. Спать хотелось все сильнее, дыханье обжигало рот. Еще он почувствовал, что страшно озяб, прижал пальцы к щеке — они были холодные как лед. По комнате он уже еле передвигался — хотелось лечь и замереть. Но он не делал этого, зная, что тут же заснет и не увидит глюков. Кстати, где же они? Он опять начал беспокоиться — конечно, все, что было до сих пор, замечательно, но это все-таки не то. И превосходное настроение как-то незаметно улетучилось, еще совсем недавно оно было, а теперь его нет. Вскоре слоняться по комнате смертельно надоело — как-то очень резко, — он еле добрал до дивана в своей комнате, опустился на него и замер в тяжелом оцепенении.

Сидеть не двигаясь было легче: тошнота почти проходила и изматывающая разбитость в теле меньше чувствовалась. Он не спал, глаза у него были открыты, но вместе с тем как бы и спал. Тяжелые, неясные образы теснились в голове бесформенными пятнами, непонятными и вместе с тем как будто напоминающими о чем-то. Иногда он прикрывал глаза и видел темное, воспаленное, интенсивно вибрирующее пространство, испещренное кляксами разных цветов — как помехи на цветном телевизоре, только цвета были тяжелее, мрачнее, с фиолетово-красным отливом, а изображение объемнее, иногда кляксы вспыхивали, так что он жмурился, даже с закрытыми глазами, и разлетались разноцветными осколками наподобие салюта, более или менее одна и та же картина удерживалась некоторое время, потом все смешивалось, уносилось, и возникала новая картина, тоже из пятен, но как-то по-другому расположенных. Иногда он приоткрывал глаза, медленным, ничего не узнающим взглядом обводил комнату; под шкафом, под столом, под кроватью по полу нескончаемо барабанил беззвучный дождь из синевато-белых искр, иногда вдруг вспыхивающих ослепительно, как искры от сварки, только они были неизмеримо меньше, вспыхивали и разлетались по полу фонтанчиком, как от бенгальского огня; на некоторое время сосредоточивался на этом дожде, и тогда мелькание синевато-белых искр становилось единственным, что он видел, в искрах ему начинали мерещиться крохотные однотипные фигурки — то слоники, то даже крохотные паруснички; потом дождь ему начинал казаться не дождем, а скорее маленьким снежным бураном из разноцветных снежинок, потом взгляд уставал, все это комкалось, уносилось, и он переводил взгляд на что-нибудь еще. Он уперся взглядом в обои, и они вдруг беззвучно отделились от стены, тронулись с места и поползли, поползли вверх, он как зачарованный провожал их глазами, пока они наконец не остановились где-то у самого потолка. Однако приоткрывать глаза становилось все труднее, и он все больше проваливался в сон.

Вдруг, посреди, казалось бы, полного беспомыслия, он неожиданно очень внятно подумал о том, что надо бы сделать английский, сегодня про него ни разу не вспомнил, а ведь на завтра надо перевести текст из «Москоу ньюс». Он нисколько не растерялся — надо сделать, значит, сделаем, сейчас надо просто найти газету и начать переводить, а, так вот же она... Газета лежала перед ним на полу. Он приподнялся с дивана и, преодолел-

вая оцепенение, начал медленно тянуть руку за газетой. Пальцы ткнулись в паркет, газета растаяла облачком дыма. Вот наконец и галлюцинации. Вот, значит, они какие, подумал он, совершенно равнодушно, как будто и не ждал так долго галлюцинаций, и сам даже слегка удивился своему равнодушию. Но, однако, какое-то беспокойство завозилось в нем, сон куда-то отступил. Он начал подниматься с дивана, рокот пружин под ним показался ему оглушительным. Через несколько секунд стоял посреди комнаты, тупо озираясь вокруг. Что-то не отпускало его, что-то ему было надо, он все силился вспомнить, что. Но вскоре понял, что это абсолютно невозможно. Как отрезало. И вдруг он испугался, что сейчас разучится еще и ходить, и, действительно, подумав об этом, вдруг почувствовал, что не может сдвинуться с места. Это было как в кошмарном сне — надо бежать, но ноги никак не оторвать от земли. С каким-то скрежещущим стоном он рванулся и все-таки пошел, некоторое время со страхом смотрел, как передвигаются его ноги — а вдруг откажут? — но они шли, а он наблюдал за ними, как будто с большой высоты. Он очутился у зеркала, глянул туда — и не сразу понял, что означает то, что увидел там, — глаза были вытаращены так, что казалось — сейчас лопнут и потекут, он и представить себе не мог, что их можно так вытаращить, хоть с димедролом, хоть без. Выражения в них было не больше, чем в лягушиных икринках. Зрачки, как и было обещано, были во весь глаз, на миг ему показалось, что от них подымается пар, как от канализационного люка зимой. Лоб был наморщен так, что казалось, вся его кожа собрана к переносице. В общем, передразнивать его было незачем. Пятясь, он начал осторожно отступать от зеркала, уже предчувствуя, что так просто все это не кончится. Вдруг словно какой-то толчок заставил его резко взглянуть вверх. С потолка на него стремительно спускался огромный паук, таких он видел когда-то в Зоологическом музее, он в ужасе отпрянул, едва успев от него увернуться, потерял равновесие и грохнулся головой о шкаф, ноги пробуксовали по паркету, и он еле устоял на ногах. Потом стоял, сипло дыша, неуклюже навалившись боком на шкаф, и, задрвав голову, во все глаза смотрел на белый, безжизненный потолок, где не было и не могло быть никаких пауков.

И он долго еще бродил по квартире, уже не отдавая себе отчета в том, что делает. Линолеум дымился под ногами, как искусственный лед, часы тикали вопросительными человеческими голосами, столы, стулья, пол, диван, горшки с цветами, хлам на столе, посуда на кухне перешептывались, сдавленно перехохатывались, гримасничали, елозили за его спиной, дверной глазок угрюмо наблюдал за ним, в соседней комнате толпились какие-то люди, которые то зловеще шушукались, то залихватски горлопанили, орда каких-то невиданных жуков ползла по обоям; все ожило и теперь жило своей, недостижимой для его понимания, жизнью, и это он знал твердо: ничего ему не понять в этом хаосе, сколько ни вглядывайся, ни напрягайся, хаос будет только издеваться над ним. Он давно подозревал, что за внешним, зримым миром кроется какая-то тайная суть; и вот наконец эта суть обнаружилась. Все нормально, все нормально, все нормально, повторял он про себя как можно монотоннее, убаюкивающе, хотя иногда это «все нормально» звенящим эхом разносилось по всей голове, бескрайней, как чисто поле, и ему хотелось зажать уши руками. Но в целом все шло неплохо, он был достаточно спокоен, хотя и весь взведен внутри, как бывает, когда ожидаешь всего, чего угодно; задача была теперь предельно ясна — пережить все это, и он был тверд. В конце концов, вечно так продолжаться не может. Страшно хотелось спать, но при этом заснуть было невозможно: какие-то рожи начинали соваться со всех сторон, как только он закрывал глаза, он в испуге открывал их, чтобы рожи исчезли. Но ничего, надо дожить, дотянуть до сна. И в конце концов он понял, что спасение близко.

---

---

ВЕРА ПАВЛОВА

\*

## ДУХИ И БУКВЫ

\* \*

\*

Уставясь на твою бабочку, на твой цветок,  
как проситель — на орден, на пуговицу, на сапог,  
боясь посмотреть начальнику прямо в зрачки...  
Просителю — чинов, денег, дачу у реки,  
мне же, Господи, грех просить — у меня  
цветок, бабочка, самая середина дня...

\* \*

\*

Твое присутствие во мне меняет  
все вовне и все во мне меняет,  
и мнится: манит соловей меня,  
и тополя меня осеменяют,  
и облака — не облака, — дымы  
от тех костров, где прошлое сгорело  
и, выгорев дотла, осталось цело,  
и эти двое на скамейке — мы.

\* \*

\*

Положа ландыш на нотную бумагу,  
расшифрую каденцию соловья.  
Соловей — растение: он впитывает влагу  
и цветет,  
соловей да ландыш — одна семья.  
А я? А я, в тисках алфавита —  
а — я, а мне сам брат — не брат,  
речью, как пуповиной, обвита  
и задушена.  
Дарвин, Дарвин, хочу назад!

---

Вера Анатольевна Павлова родилась в 1963 году. По образованию музыковед — окончила Институт им. Гнесиных. Несколько лет пела в церковном хоре. Живет в Москве. Печаталась в журналах «Знамя» и «Волга», в газете «Сегодня». В «Новом мире» публикуется впервые.

\* \*  
\*

В хор, на хоры, в хоровод хорала,  
гладить гласом нимбов чешую,  
забывать, что для спасенья мало,  
что «Тебе поем» Тебе пою.  
Путь нетруден — не проси награды,  
путь недолог, как от *до* до *ля*,  
от вина — обратно к винограду,  
от креста — до лунного поля.

\* \*  
\*

Благословляю вас, леса  
вокруг облезлой колокольни.  
Лесами больше небеса,  
чем колокольнею, довольны,  
тем более довольны птицы.  
Эх, вот бы, пересилив страх,  
и славословить, и молиться  
не на коленях — на лесах!..

\* \*  
\*

А может быть, биенье наших тел  
рождает звук, который нам не слышен,  
но слышен там, на облаках и выше,  
но слышен тем, кому уже не слышен  
обычный звук... А может, Он хотел  
проверить нас на слух: целы? без трещин?  
А может быть, Он бьет мужчин о женщин  
для этого?

\* \*  
\*

Ты сам себе лестница — ноги прочнее упри,  
ползи лабиринтом желудка, по ребрам взбегай,  
гортанью подброшен, смотри не сорвись с языка,  
с ресниц не скатись, только потом на лбу проступай  
и волосы рви. Ибо лестница коротка.

\* \*  
\*

О самый музыкальный на этом свете народ,  
чьи буквы так мало отличаются от нот,  
что — справа налево — я их могла бы спеть  
той четвертью крови, которой порою треть,  
порой — половина, порою — из берегов —  
носом ли, горлом... И расступается море веков  
и водной траншеей идет ко мне Моисей  
с Рахилью Григорьевной Лившиц, бабушкой Розой,  
прамамой моей.



\* \*  
\*

Духи и буквы. Последние — инициалы.  
 Всякое слово немного — аббревиатура.  
 Скажем, Х с В, где бы ни были, кажутся алыми,  
 в лампочках, с плохо спрятанной арматурой.  
 Я я читаю курсивом в любой гарнитуре,  
 в Ж угадаю Башмачкина любящий почерк.  
 Возле ГУЛАГа Голгофа — аббревиатура,  
 после ГУЛАГа любое тире — прочерк.

\* \*  
\*

Если бы я знала морскую азбуку, я поняла бы,  
 о чем клен машет листьями

Если бы я знала азбуку глухонемых, я поняла бы,  
 о чем клен машет ветками

Если бы я знала азбуку Морзе, я поняла бы,  
 о чем долдонит соловей на ветке клена,  
 среди листьев

Если бы я все это поняла, я бы знала, зачем  
 нужна азбука Кирилла и Мефодия



ТОРНТОН УАЙЛДЕР



## К НЕБУ МОЙ ПУТЬ

*Роман*

### ГЛАВА 4

Продолжение отдыха в Кэмп-Морган. Важный разговор с девушкой по имени Джесса Мэйхью. Кошмары Дика Робертса прекращаются. Джордж Браш отказывается от денег

**В** кухне состоялся своеобразный конкурс. Работавшие там студенты за-  
теяли петь студенческие песни, которые поют в их колледжах. Начали девушки, исполнившие песню техасских методистов. Затем парень с девушкой, которые мыли чашки и блюда, спели «Висконсин, твои залы прекрасны всегда». Потом сероглазая девушка, работавшая рядом с Брашем, отважилась на песню Мак-Кеновского колледжа в Огайо. Она сделала предварительное вступление и объяснила, что у нее нет ни слуха, ни голоса, но она будет стараться изо всех сил, чтобы не отставать от других. Она даже не спела, а как-то монотонно прочитала песню, но ее манеры и спортивный вид были настолько пленительны, что она заслужила самые громкие аплодисменты. Потом выступили парень из технологического института в Джорджии и девушка из Мизулы. Затем выступил повар-швед, который никогда не учился в колледже, но когда-то жил в Упсале и работал в университетской столовой; он исполнил одну из песенок тамошних студентов. Затем все стали требовать, чтобы завстоловой тоже спела что-нибудь. Все недолюбливали эту мадам, но с того вечера, когда она, пунцовая от смущения, с огромным трудом припомнила и спела через слово какую-то галиматью, выдаваемую за песню Гаучеровского колледжа, она здорово выросла в общем мнении. Потом потребовали песню и от Браша. Он исполнил гимн своей alma mater столь блестяще, что все просто замерли. А он как ни в чем не бывало продолжал вытирать свои стаканы. Студенты с шумом столпились вокруг него, спрашивая, надолго ли он приехал в лагерь. Но завстоловой тут же призвала к тишине, стуча в медный таз.

— Уже девять часов! — объявила она. — С такими темпами мы никогда не закончим. А ну-ка пошевеливайтесь!

Последние десять минут работали в бешеном темпе.

Браш выбрал момент и шепнул сероглазой девушке:

— Можно вас спросить?

— Что вы сказали?

— Можно поговорить с вами после того, как мы закончим?

— Со мной? — начала она нерешительно. — Да. А о чем?

— Я бы хотел очень многое сказать вам.

Дальше они работали молча. Когда последовал сигнал об окончании работы, у дверей возникла давка: все торопились к пристани, чтобы поскорее занять лодки, оставленные для работников кухни. Завстоловой через все помещение направилась прямо к Брашу.

Продолжение. Начало см. «Новый мир», № 2 с. г

— У меня есть вакансия, если вам захочется остаться и поработать здесь, — сказала она Брашу.

— Благодарю вас. К сожалению, завтра вечером я уезжаю, — ответил он, даже не взглянув на нее, потому что следил за сероглазой девушкой, мелькнувшей в дверях.

Браш догнал ее на улице.

— Может, посидим на лавочке у пристани? — предложил он.

Она не ответила. Браш понял, что у нее изменилось настроение, и стал подбирать слова, чтобы расположить ее к себе. И наконец произнес отрывисто и с неожиданной силой:

— Я понимаю, вы, должно быть, смертельно устаете после такой работы по субботам, но я прошу вас сделать для меня исключение. Наверное, мне лучше найти вас завтра, но только я хотел сказать, что завтра я уезжаю, и поэтому нам лучше всего встретиться утром. А теперь, как очень большое одолжение, не могли бы вы позволить мне кое-что сказать вам прямо сейчас?

— Мы можем посидеть в клубе, — коротко ответила она и направилась к дому, стоящему особняком, — общежитию для официантов.

Когда они вошли внутрь, там творился суший бедлам. Из комнат доносились громкие женские голоса:

— Луиза, дай мне твои сандалии!

— Не надевай свитер, ты в нем изжаришься!

Какие-то парни кого-то ждали на лестнице. В окно на втором этаже высунулась девица и завопила:

— Где Джесси? Джесси!

— Я здесь, — ответила снизу спутница Браша.

— Джесси, выручи, дай на вечер твой платок!

— Возьми, Хильда, только не разбрасывай там ничего у меня.

Компании парней и девушек то и дело выходили на улицу, окутанные облаками волнующих разговоров. Дом понемногу пустел и погружался в тишину. Джесси привела Браша в клубную комнату на первом этаже. В комнате стояла старая мебель, выброшенная из холлов и гостиных. Там был карточный стол с ногой, забинтованной изолентой, и с обшарпанной кожей; стояли вразброс несколько кухонных стульев. Вокруг царил беспорядок. Джесси механически начала расставлять стулья по местам, поправлять диванные подушки, складывать разбросанные журналы. Она повесила на свои места брошенные прямо на диване и на стульях гитары, убрала забытые теннисные ракетки. Затем села на кушетку и стала развязывать ленту, заплетенную в волосы.

— Как вас зовут? — спросила она.

— Джордж Марвин Браш. Я родом из Мичигана. Я продаю школьные учебники. Я приехал сюда по делу — встретиться с одним человеком. Я попросился к вам поработать на кухне, потому что мне нравится среди студентов и там, где люди работают. За свою жизнь мне приходилось заниматься самой разной работой.

Джесси устроилась поуютнее и встряхнула головой, расправляя освобожденные волосы. Она слушала Браша с самоуглубленным вниманием, словно что-то решая в уме.

— У вас чудесный голос, — сказала она. — Все подумали, что было бы неплохо, если бы вы решили остаться и поработать у нас.

— Я бы с удовольствием.

— Что же вы не садитесь?

— Спасибо, — поблагодарил Браш и сел наконец на один из стульев.

Джесси закинула руки за голову и с наслаждением вытянулась на кушетке, устремив томный взгляд в потолок. Наступившее молчание и ее выразительная поза тревожили Браша; он подвинул стул ближе и заговорил тихим серьезным голосом:

— Моя жизнь проходит в поездках, и я встречаю множество людей, но чуть ли не каждый из тех, кого я встречаю, внушает мне настоящий ужас и

отвращение. Даже сегодня вечером, здесь, в лагере. Я сегодня узнал человека настолько подавленного жизнью, что мысль о нем гнетет меня теперь постоянно. И вдруг я увидел вас и сразу понял, что вы очень хорошая, и я не могу найти слов, чтобы выразить, что со мной сейчас происходит. Этот разговор очень важен для меня; но у нас мало времени, и к тому же вы устали после работы... Я прошу вас извинить меня, если я показался вам обыкновенным любителем случайных связей. Я хочу, чтобы вы лучше узнали меня, мой характер, поэтому я буду писать вам письма.

Медленно и с некоторой опаской Джесси переменяла свою вальяжно-вызывающую позу и села прямо. Теперь она смотрела на него полными изумления глазами.

— Во всем свете нет человека, которому мне хотелось бы написать, — продолжал Браш. — Но когда я встретил вас, вы показались мне такой красивой, что я не захотел упускать возможности познакомиться с вами. Мы могли бы стать... хорошими друзьями. Я хочу рассказать вам о себе, о своих увлечениях. Можно? Вы мне разрешаете?

Джесси чуть покраснела.

— Ради Бога! — сказала она.

— Итак, я уже сказал, что меня зовут Джордж Марвин Браш. Мне двадцать три года. Два года назад я окончил Баптистский колледж Шилоха в Уоллинге, штат Южная Дакота. Я баптист и очень религиозен. Я вырос на ферме в Мичигане... А вы ничего мне не расскажете о себе?

По ее вытянувшемуся лицу Браш понял, что ему готовится не очень ласковый ответ. Но она только сказала отрывисто:

— Меня зовут Джесси Мэйхью. Мне двадцать два. Я учусь на старшем курсе в Мак-Кеновском колледже в Огайо. После выпуска я буду учителем. Я — методистка.

Ее серые глаза с холодком смотрели в его голубые.

— Можно вас спросить?.. У вас есть отец и мать?

— Нет, — отрезала Джесси. После тягостной паузы она добавила, напуская на себя небрежный вид: — Я росла в приюте. Меня оттуда взяли одни люди, которые потом умерли. Со второго курса я сама содержу себя.

— Я думаю, у многих такая же судьба, как у вас, — сказал Браш.

Вдруг ни с того ни с сего зазвонил будильник на каминной полке. Джесси было лень вставать, а Браш не решался протянуть руку и стукнуть по кнопке, и будильник звенел и звенел, наполняя комнату нудным пронзительным дребезгом.

— Что касается меня, — продолжал Браш, когда звон наконец прекратился, — то я вырос на ферме. У меня были и отец, и мать, и два брата, оба старше меня. Один из братьев стал моряком, другой остался с родителями. Я приезжал к ним на Рождество, навестить, но... вы знаете, дома я тоже себя чувствовал почти сиротой. Конечно, я люблю их, но между ними и мной словно какая-то стена. Видите ли, они не хотели, чтобы я поступал в колледж.

Он взглянул ей в лицо, надеясь увидеть сочувствие.

— Я работаю всю жизнь. Я вовсе не хвастаюсь, когда говорю, что я учился лучше всех. Я был капитаном наших баскетбольной и футбольной команд, но у меня не хватало времени, и я бросил и футбол, и баскетбол. Я уверен, вы тоже хорошо учились.

— Да, — снова краснея, ответила Джесси, — на одни пятерки.

Браш улыбнулся. Он очень редко улыбался.

— Перед тем как просить вашего позволения писать вам, — продолжал он, — мне кажется, вы обязательно должны знать обо мне кое-какие вещи, которые трудно назвать симпатичными. Я имею в виду то, что люди всегда называют меня сумасшедшим и... и даже негодяем. Но прежде чем я скажу вам о своих недостатках, я хочу, чтобы вы знали, что с момента моего прозрения я ничего не совершил из дурных намерений. Я ни разу не солгал, за исключением, правда, одного случая, когда я сказал неправду одному человеку, что я бывал в Нью-Йорке. На следующий день я по-

шел к нему и признался, что соврал. А если я совершаю что-нибудь из того, что люди обыкновенно совершают в раздражении, непременно раскаиваюсь потом и приношу извинения.

— А почему вас считают негодяем? — спросила Джесси.

— Это потому, что мои принципы не совпадают с их принципами. Например, однажды меня посадили в тюрьму за то, что мой взгляд на деньги оказался не такой, как у них.

И он рассказал ей историю с арестом, которая произошла с ним в Армине, дополнив ее своими теориями Добровольной Бедности, пацифизма, наказания преступников прощением, а также присовокупив историю своего тюремного заключения.

— Но даже если меня и не сажают в тюрьму, то все равно называют чокнутым, — заключил он. — Вы понимаете, что я имею в виду?

— Да.

— Наверное, после всего того, что я вам рассказал, вы посчитаете меня... не совсем подходящим для знакомства?

— Нет, это не так.

— Я не обижаюсь на моих друзей, которые при случае называют меня чокнутым, — я знаю, они шутят. Но, может быть, вы, как и другие люди, думаете... может быть, вы всерьез считаете меня сумасшедшим?

— Нет, — сказала Джесси. — Меня не волнует мнение других людей. Мне нравится, что люди такие разные.

— Тогда я расскажу вам о трех самых больших разочарованиях за всю мою жизнь. Память о них с каждым годом угнетает меня все меньше, и когда я рассказываю об этом кому-нибудь вроде вас, я убеждаюсь, что они почти совсем не имеют значения. Итак, первое из них состоит в том, что... что в колледже меня так и не приняли ни в одно из трех студенческих обществ, которые там у нас были. Я был самым лучшим студентом во всем колледже, я был капитаном нескольких спортивных команд. И все-таки меня так и не приняли ни в математический кружок, ни в литературный, ни в Колвилловское общество. Меня это так огорчало! Я не понимал, почему они меня не принимают. Второе мое жизненное разочарование, Джесси, было связано с тем, что говорили мне наши учителя. Один из них был профессором религии и преподавал у нас в 6 «А», и никем из преподавателей я так не восхищался. Иногда я даже приходил к нему домой, чтобы разобраться в каком-нибудь религиозном вопросе; я думал, что ему это нравится. Он частенько награждал меня званием сумасшедшего, но это было в шутку, вы знаете, как обычно говорят. Но однажды он обозвал меня сумасшедшим всерьез. Он сказал: «У тебя ограниченный ум, Браш, упрямый ограниченный ум. И не стоит тратить на тебя время». Да, он так и сказал. «Я умываю руки, — сказал он, — потому что из тебя ничего не получится». Представьте, что вам кто-нибудь скажет такое! «Убирайся, — сказал он мне. — Убирайся отсюда! И больше не беспокой меня». Вы понимаете, как это было ужасно. Иногда я вспоминаю об этом, особенно тон, каким он мне все это высказал. У меня даже пот на лбу выступил. Мне жить не хотелось с таким клеймом. Я нигде не пригожусь — там, где надо думать, я имею в виду. Больше я не верил ни единому его слову, что он говорил на лекциях. Я сам стал искать добрые мысли, и делал это постоянно. Я изучал предметы так, как мне это нравилось и как считал нужным я сам. Вот так. А третье... Я не хочу говорить о нем сейчас, но я обязательно о нем расскажу вам, Джесси. Я не хочу, чтобы у вас создалось впечатление, что я — ничтожество или что-нибудь в этом роде, потому что на самом деле в глубине души я считаю себя счастливейшим человеком из всех, кого я когда-либо встречал. Иногда мне кажется, что всеобщие несчастья обходят меня. Вот хотя бы сегодня в этом лагере я встретил такого несчастного человека, что это на меня, кажется, начало переходить. Но потом я увидел вас, и на сердце у меня стало легче...

Браш замолчал, а немного спустя добавил запинаясь:

— Вот поэтому... Мне кажется... у нас с вами все так и получилось.

Джесси произнесла уже без прежней жесткости и даже слегка улыбнулась:

— Вы столько наговорили.

— Да, я понимаю, — горячо согласился Браш, — но по некоторым причинам я должен был все это высказать сразу.

Он с воодушевлением посмотрел на нее, потом встал и выговорил:

— Разрешите мне подарить вам что-нибудь на память обо мне. Эти часы, они последней модели и лучшие из всех, что у меня были когда-нибудь... — Он снял с руки часы и протянул ей.

Джесси быстро встала с кушетки, шагнула в сторону.

— Нет-нет! — сказала она. — Я никогда не беру подарков. Я не люблю этого! Вовсе не потому, что я не люблю людей... но... я не люблю брать подарки. Спасибо вам за добрые слова, но... Мистер Браш, мы с вами еще не настолько друзья, и мне, извините, пока не нравятся ваши притязания. Хотя мне было очень интересно вас послушать, — добавила она, увидев, что Браш упал духом. — Я говорю это вовсе не для того, чтобы вежливо выставить вас вон. Мне в самом деле очень понравилось все, что вы говорили.

— Тогда, может быть, и вы тоже расскажете мне что-нибудь о себе? — спросил погрузневший Браш, застегивая часы на руке.

Джесси стала расхаживать туда и сюда по комнате, словно хотела придать естественность тому, что собиралась сказать.

— Хорошо. Я сирота. Меня подобрали в поле. Сначала я жила в приюте. Это недалеко от Кливленда, штат Огайо. Некоторые считают, что я похожа на славянку. Я не знаю. Я не думаю, что это имеет значение. Когда мне было десять лет, меня взяли к себе старый сапожник-немец и его жена. Они умерли, когда я училась на втором курсе, и с того времени я сама зарабатываю себе на жизнь — подрабатываю в отеле. Моя будущая специальность — биология, и в один прекрасный день я стану либо учителем, либо врачом.

— И вы не верите, что... — начал испуганно Браш. — Вы считаете, что все вокруг нас — результат эволюции, а не?..

— Безусловно. Я считаю, что дело обстоит именно так.

Тогда Браш выдавил почти шепотом:

— Значит, вы полагаете, что все, о чем написано в Библии, ложь? А вы никогда не задумывались, что разница между обладающим душой человеком и обезьяной, прыгающей по деревьям, велика, как сам мир?

Наступило молчание, ужаснувшее Браша не меньше, чем ее слова. И тогда он в отчаянии решился на другой роковой вопрос:

— И вы, наверное, считаете, что женщина должна курить?

Джесси остановилась и посмотрела на него:

— А вы считаете, что это очень важно?

— Да, я считаю, что это чрезвычайно важно.

— А я — нет. — Она пожала плечами. — Сама я не курю. Но мне нравится видеть, что женщины могут делать то же, что и мужчины, с не меньшей серьезностью.

Она посмотрела Брашу в глаза. Она видела, как он поражен.

— Я просто удивлена тем, что вы считаете это очень важным. А я уже было начала вас считать единственным умным человеком из всех, кого я встречала.

Глядя в пол, Браш произнес:

— В ноябре у меня будет отпуск. Можно, я приеду к вам в Мак-Кеновский колледж?

Джесси снова начала расхаживать по комнате.

— Вы, конечно, можете делать все, что вам угодно, — сказала она. — Но ничего хорошего не получится. Нам не о чем будет говорить, если у вас такие идеи. И потом... Я живу одна. В последние годы, во всяком случае, я могу обеспечить только себя... Кроме того, у меня просто не найдет-

ся свободного времени на новую дружбу. Я работаю старшей официанткой в обеденном зале, а остальное время отдаю учебе.

— Но приехать-то я могу?

— Да, конечно, как и всякий другой человек.

— Я полагаю... у вас найдется тогда минутка-другая погулять со мной?

Или пообедать, или что-нибудь еще?

— Пожалуй.

— Ну что же, до свиданья, — сказал Браш, протягивая руку.

— До свиданья. Вы все делаете так серьезно, что мне даже неловко.

Мы знакомы всего час или полтора, а у вас вид, словно теряете лучшего друга.

— Мне надо хорошенько подумать обо всем этом. До свиданья.

— До свиданья.

Исполненный раздумий, Браш вышел в коридор. Но вдруг повернул назад и с неожиданной силой сказал в открытую дверь:

— Но вы хотя бы можете пообещать мне, что подумаете о моих словах? Я не понимаю, как такая красивая девушка может верить, что Библия лжет, и что мы произошли от обезьян, и что девушкам положено курить табак. Что станет с миром, если он будет следовать этим идеям? Почему вы считаете себя нормальным человеком, если вы придерживаетесь таких взглядов?

— Я подумаю об этом, — устало и с легкой досадой сказала Джесси, снова принимаясь приводить комнату в порядок.

Покончив с уборкой, Джесси пошла в свою комнату и села в кресло. Она твердо положила руки на подлокотники и стала пристально рассматривать стену перед собой. Время от времени она бормотала: «Он сумасшедший». Потом убедилась, что ей сегодня не уснуть, сменила обувь и отправилась погулять к озеру.

Браш вернулся в палатку с биркой «Феликс» и лег в постель. Он с трудом заснул, но вскоре, однако, был разбужен сильным шумом. Дик Робертс бился на своей кровати. Сдавленным голосом, все громче и громче, он кричал: «Я не могу... Я не могу...» В неясном свете луны, проникавшем в палатку снаружи, Браш увидел и других ее обитателей, которые, подняв головы, перепуганные, взирали на Дика Робертса.

— Что за чертовщина? — спросил кто-то из них.

— Кто этот припадочный?

— Папа, папочка!.. — причитал маленький сын Дика Робертса.

Браш вскочил с кровати, схватил Робертса за руку, легонько подергал.

— Эй, Робертс! Дик Робертс! — сказал он спящему и пояснил окружающим: — Ничего страшного, ребята. Обыкновенный кошмар. Все в порядке. Эй, Робертс! Вы как? Ничего?

Робертс сел на кровати, потряс головой. Затем утрюмо и молча наклонился и принялся обуваться. Браш тоже поспешно натянул брюки и сунул ноги в туфли.

— Господи, это какой-то бедлам! — недовольно проворчал кто-то.

— Я извиняюсь, — сказал Робертс и, прихватив свой купальный халат, пошел из палатки.

— Папа, ты куда? — испуганно спросил его сын.

— Ш-ш! Давай-ка спи, Джордж.

— Папа! Я тоже хочу с тобой.

— Нет-нет. Ложись в постель и спи.

Браш взял свое одеяло и вышел следом за Робертсом. Он догнал его на пыльной дороге, пересекающей лагерь, освещенный лунным светом. Робертс остановился. Опустив глаза в землю, он стоял совершенно спокойно; казалось, он задумался о чем-то далеком и очень важном. Браш ждал.

— Идите спать, — произнес Дик Робертс негромко, не поднимая глаз. — А я поищу где-нибудь здесь местечко на берегу.

— Может быть, вам следует хорошенько продышаться? Давайте прогуляемся.

— Нет, обратно в палатку я не вернусь ни за какие деньги.

— Не обижайтесь на то, что они говорят.

— Мне хочется побыть одному, — сурово произнес Дик Робертс и направился вниз, к берегу. Подойдя к воде, он взял со стеллажа весло и столкнул одно из каноэ в воду. Браш проделал то же самое.

— Прочь! Убирайся! Я хочу остаться один, говорю тебе, — взбешенно прошипел Робертс.

— Я должен быть рядом, — сказал Браш.

Робертс направил каноэ к середине озера. Он сделал гребок с одной стороны, потом с другой. Но каноэ не слушалось его и кружилось на месте. Робертс обезумел от ярости и неистово, как лопатой, начал копать озеро однолопастным спортивным веслом. Каноэ, в котором сидел Браш, легко скользило по водной глади, словно большая рыба. Сам Браш тактично смотрел в другую сторону, словно в раздумье глядя на дорожку лунного света. Робертс обессиленно опустил весло. Браш подплыл ближе.

— Давайте я вас научу, — сказал он.

— Не надо! Убирайся! — со сдавленной яростью закричал Робертс. — Какого черта ты здесь околачиваешься? Я пока не сумасшедший и в надзоре не нуждаюсь.

— Мистер Робертс, я вовсе не хотел вам надоедать. Я просто хотел убедиться, что с вами все в порядке.

Робертс быстро взглянул на него, затем вновь принялся вспахивать озеро. Неожиданно каноэ перевернулось, и Робертс бултыхнулся в воду. Через мгновение он уже шумно плыл к берегу.

— Это уже сложнее, — пробормотал Браш, не выпуская из виду перевернувшееся каноэ с веслом и пловца.

Когда Браш достиг берега, Робертс выжимал из пижамы воду. Браш разложил по местам оба каноэ и весла.

— Подождите минуту, — сказал он. — Я принесу полотенце.

Склад у душевых кабин оказался заперт, и Брашу пришлось перелезть через высокое дощатое ограждение. Он отыскал в каком-то углу несколько прокисших, почерневших полотенец и протолкнул их наружу в дыру между досками. Вернувшись к Робертсу, он увидел ночного сторожа, нервного старика с карманным фонариком.

— Ничего не имею против, ребята, — сказал сторож, — забавляйтесь на здоровье, только не надо так шуметь.

— Возьмите у него фонарик, — сказал Робертсу Браш, — сходите в палатку и переоденьтесь.

Робертс взял фонарик, но перед тем, как удалиться, с яростью прошептал Брашу:

— Убирайся. Уходи. Я хочу побыть один, говорю тебе.

— Я не могу. Я обещал присмотреть за вами.

Ночной сторож шаркал за ними следом.

— Развлекайтесь как хотите, — бормотал он, — только не шумите.

Когда Робертс вышел из палатки, он был уже одет. В руке он держал ключи от своей машины. Он побежал, спотыкаясь, к располагавшейся в отдалении автостоянке, где выстроились в шеренгу десятки автомашин. Браш побежал рядом.

— Если вы не возьмете меня с собой, — проговорил он на бегу, — я позову кого-нибудь на помощь.

Робертс так дрожал, что не мог попасть ключом в замок. Браш вскочил на подножку, вцепился руками в полуопущенное стекло. Двигатель завелся, Робертс с силой завертел ручку, поднимая боковое стекло, и больно прищемил Брашу пальцы. Браш отпрыгнул и побежал в пункт первой помощи. Он ворвался внутрь.



— Док! — закричал он с порога. — Дайте мне вашу машину, быстро! Там человек хочет покончить жизнь самоубийством, я уверен!

— Что? Одну минуту. Я вызову кого-нибудь посидеть вместо меня.

— Ждать нельзя! Мы потеряем его. Дайте ключи от машины.

Они выбежали вместе.

— Что с ним стряслось? — спросил врач.

— Он... в общем, он очень несчастлив, — объяснил Браш.

Робертс задержался, выводя машину с автостоянки, поэтому Браш с врачом сразу увидели красные огоньки его авто, удаляющиеся по шоссе в сторону леса. Моргановский лес, пересеченный дорогами, напоминал гигантскую шахматную доску. Грубые деревянные скамейки и столы под развесистыми кронами деревьев и бетонные площадки для костра то и дело попадались на пути. Порой среди леса над вершинами деревьев вставали деревянные вышки, сплошь изрезанные чьими-то инициалами и именами, — с них туристы любовались окрестностями, а пожарные инспекторы надзирали за участком. Иногда обочь дороги возникали в лунном свете сколоченные из досок просторные веранды для отдыха, похожие на гигантские упаковочные ящики для рояля. Как только Браш с доктором догнали Робертса и поравнялись с ним, он бросил на них бешеный взгляд и нажал на педаль акселератора. Какое-то время они мчались рядом, крича друг на друга; машины мотались из стороны в сторону и чуть не бились боками. Неожиданно они влетели на главную улицу Морганвилля. Робертсу нужно было заправиться; он резко повернул к освещенной автозаправочной станции. Браш, не ожидавший такого внезапного маневра, попытался последовать за ним, но врезался в столб с указателем прямо перед отелем «Депот». Раздался скрежет ломающегося железа и звон разбитого стекла, а в наступившей за этим тишине одинокое колесо медленно, виляя, словно пьяное, покатило через улицу, отыскивая себе местечко, и наконец улеглось.

Несколько фигур в белом появились на веранде второго этажа отеля. Послышался голос судьи Кори:

— Кто тут разбился, а?

— Судья, это я, Джордж Браш. Можно вас на минутку?

— С тобой все в порядке, дружок?

— Да.

— Боковая дверь открыта, Джим. Давай поднимайся сюда и выпей с нами.

— Я не пью.

— Ладно, все равно поднимайся к нам, Джим. Мы живем в свободной стране.

Браш взбежал по ступеням и влетел в комнату.

— Судья, — выговорил он задыхаясь, — дайте мне вашу машину, я прошу вас!

— Джим, мальчик мой, у тебя уже была одна.

— Да, но мы должны спасти одного самоубийцу.

— Где он? — спросил судья, настороженно озираясь. — Знаешь что, дружок, мы не можем позволить такого около Кэмп-Морган. Что с ним стряслось?

— Я не знаю, судья. Но только он... несчастлив.

— Несчастлив? Он сумасшедший?

— Нет... он... Это все из-за депрессии.

— Джим, — рассердился вдруг судья, — не упоминай при мне этого слова. Где твой чудик?

— Он заправляет свою машину на автозаправке рядом.

— Отлично.

Судья обернулся и хлопнул в ладоши:

— Ребятки, мы тут слетаем ненадолго в лес. Кстати, знакомьтесь, это — Буш, Бош, Биш, — слушай, Джим, а как твоя фамилия?

— Браш, Джордж Браш.

— Я хочу представить тебе этих принцесс. Это Хельма Солярио, лучшая актриса из всех, с кем ты мог бы надеяться завести знакомство. Джинн Сокит, Билл Уоткинс, Майк Кусак, — потряните каждый мужественную руку Браша. Это друзья моей дочери. Между прочим, Джим, ты произвел тут на всех сильное впечатление.

— Нам надо поторопиться, судья. Серьезно.

— Эту автозаправку содержит мой муж, — сказала Хельма Солярио, миниатюрная пышная черноглазая дама в затасканном халате и довольно-таки пьяная. — Майк, сгоняй вниз и скажи ему, чтобы он не давал бензина этому придурку.

Она выскочила на веранду и докричала оттуда свои распоряжения до конца:

— Пойдешь назад, прихвати пару бутылочек чего-нибудь покрепче! Мы возвратим к жизни этого чудика. Спроси, как он насчет покера.

— А ну-ка, девочки, давайте-ка все вместе сходим за этим типом! — вскричал судья.

Браш побежал по лестнице вниз через четыре ступени и успел заметить лишь огни отъехавшей машины Робертса. Партия в покер растаяла в воздухе вместе с бензиновым перегаром. Они всей компанией, крича и суется, втиснулись в машину судьи. Хельма Солярио устроилась у Браша на коленях.

— Во всяком случае, этот тип пока еще живой, — воскликнула Хельма, щекоча Брашу ухо. — А ты сам откуда, моя прелесть?

— Я из Мичигана, — сурово ответил Браш, всматриваясь в лес то слева, то справа от дороги.

— Мичиган? Отлично. Когда мы поймаем этого придурка, скажи ему, что жизнь — это большое приключение. Скажи ему, чтобы держался за нас. Мир катится к новой мировой войне. Эта мысль должна ему понравиться. Передай ему, что Депрессия — это только начало. Через год нынешняя жизнь покажется ему раем небесным.

— Я оштрафую тебя за такие речи, — бросил судья через плечо.

— У него есть семья, дети?

— Да, — сказал Браш.

— Определенно, ему следовало бы подождать, пока дети вырастут и скажут ему, что он — старый олух. Впрочем, он ничего не поймет. Старость тоже по-своему чудесна, скажи ему это.

— Ладно, хватит, Хельма! — прикрикнул судья.

— Вот как! Тогда расскажи ему, дружок, о семейной жизни нашего почтенного судьи Леонидаса Кори и о его благопристойной старости. Никто ведь не скажет, что ты несчастлив, Леон, не так ли?

Браш заметил в зарослях кустарника машину Робертса.

— Стойте, судья! Я вижу его! Подождите, дальше я пойду один. Спасибо, что привезли меня сюда. Дальше помогать не надо. Я сам.

— А я бы хотел поговорить с этим типом! — заявил судья.

— Нет, это уже будет слишком! — категорически возразила Хельма. — Пускай он сам. Боже, помоги этому парню из Мичигана! Прощай, мальш. Скажи ему, что жизнь — это большое приключение.

Взревел двигатель, и компания умчалась назад в город. Браш со своим одеялом остался в лесу спасать своего друга. Машина оказалась пуста. Глубокая тьма накрывала все вокруг. Браш прислушался, ничего не услышал, но, поглядев наверх, сразу же увидел Робертса: тот стоял на верхней площадке одной из обзорных вышек. Браш подошел к ее подножию.

— Черт возьми! — крикнул сверху Робертс. — Это опять ты! Убирайся. Иди домой!

Браш не отвечал. Он ждал примерно с полчаса. Наконец Робертс неуклюже, с трудом спустился по лестнице вниз.

— Похолодало, — сказал Браш. — Может быть, завернетесь в одеяло?

Робертс смотрел на него несколько секунд, потом направился к своей машине.

— Я не пушу вас за руль, — сказал Браш. — Учтите, физически я сильнее вас.

Тогда Робертс повернул в кусты; Браш в шести шагах следовал за ним. Это хождение длилось больше часа. Иногда они попадали на берег озера. Один раз неожиданно вышли к Морганвиллю, где Робертс посидел минут десять на ступенях какого-то дома, пока Браш стоял в стороне посредине улицы, тактично соблюдая дистанцию. Затем, вернувшись обратно в лес, побрели по просекам. Когда они наткнулись на площадку, специально предназначенную для пикников, Браш сказал:

— Может быть, вам стоит здесь прилечь и поспать?

— Я же сказал тебе: у меня бессонница. Как же я засну, если я не могу спать?

— Уже два часа ночи. Я думаю, вы заснете. Я разожгу костер.

Робертс повернулся и снова побрел меж деревьев. Браш кинулся за ним и крепко схватил его за плечо.

— Дальше вы не пойдете, — громко сказал он. — Выбросьте из головы все эти ваши мысли. Я знаю, о чем вы все время думаете. Перестаньте об этом думать. Мир не так плох, как вам кажется, даже если он и выглядит не очень хорошо. Ложитесь сюда, на эту лавку, или на этот стол — где вам больше нравится. А я разожгу костер и посижу до утра. Если вы в самом деле не сможете спать, то все равно постарайтесь ни о чем не думать, разглядывайте деревья, например. Я не могу позволить вам бродить одному по лесу с такими мыслями.

Он расстелил одеяло на одной из скамеек. Робертс растянулся на приготовленном ложе и отвернул в сторону свое искаженное страданием лицо. Насобирав довольно большую кучу сухих веток, Браш разжег костер в соответствии с правилами, которые когда-то, еще в Ладдингтоне, помогли ему заработать значок отличника. Он сел у костра, устремив глаза на разгорающийся огонь.

— Можно, я спою? Я не помешаю, если буду петь?

Ответа не последовало. Тогда Браш негромко запел. Он исполнил «Вдали над водами Каюги» и «Голубиные крылья». Он спел «Усни, малыш Кроппи, усни» и «Ковбой, вернись к родным холмам». После этого он стал петь подряд все, что знал. В конце концов он начал клевать носом и задремал, а когда очнулся, увидел, что уже наступило утро. Птицы начинали свою шумную возню в кронах деревьев. Он с удивлением обнаружил, что небо, еще недавно безоблачное, теперь покрылось нежными розовыми облаками. Робертс мирно похрапывал на своей скамейке, и Браш задремал снова. Когда он окончательно проснулся, Робертс сидел на скамейке и пристально его разглядывал. Заметив, что Браш не спит, Робертс не говоря ни слова забрал со скамьи одеяло и пошел прочь. Он был бледен и смущен. Они в молчании вернулись в лагерь и улеглись спать в своей палатке с биркой «Феликс».

Браш немного опоздал к завтраку. Подойдя к столику «М», он увидел завтракающего в одиночестве судью Кори.

— Привет, Джим, — сказал судья. — Ну и чем все это кончилось?

— Сегодня он в полном порядке, — ответил Браш.

— Ты молодчина, Джим. Никак нельзя допускать подобных вещей в нашем лагере. Доктор мне все рассказал. О машине не беспокойся.

Джесси Мэйхью остановилась возле Браша.

— Как вы находите глазунью? — спросила она.

— Джесси, — сказал судья, — дай этому парню самое вкусное, что только у тебя имеется! Он этого достоин. Моя жена и дочь утверждают, что у него чудесный голос. Джим, мальчик мой, дай-ка мне свое ухо поближе: я хотел спросить тебя, когда ты собираешься уехать отсюда.

— Вообще-то сегодня утром.

Судья помолчал, потом заговорил очень сердечным тоном:

— Джим, мальчик мой, ты просто поразил мою дочь, просто поразил. Я очень хорошо знаю свою малышку; далеко не каждый парень привлека-

ет ее внимание, нет-нет, сэр! Слушай меня, я хочу кое о чем тебе намекнуть. Но только между нами! Слушай... как мужчина мужчине. У моей малышки непременно будет собственный прекрасный дом. Понял, что я имею в виду? Ты, конечно, можешь сказать, почему бы ей не быть счастливой и в родительском доме. Джим, тридцать пять тысяч долларов пойдут следом за нею, понимаешь? Да-да, если она придет к кому-то и будет счастлива, то тридцать пять тысяч долларов тут же пойдут следом. Опять же, в стране — Депрессия. Смекаешь? Подумай об этом. Да, и самое главное: при моем положении я без труда могу пристроить какого-нибудь молодого человека на теплое местечко в самом Капитолии, ко всему прочему. Но только между нами... Как ты находишь мое предложение, а?

Браш покраснел до ушей. Джесси Мэйхью поставила перед ним хлебцы и кофе. Он взглянул ей в лицо.

— Я... я надеюсь, она будет счастлива, судья, — запинаясь, пробормотал он.

— В общем, подумай об этом, дружок, и тогда между делом я пристрою ваши учебники самым наилучшим образом! Можешь мне поверить.

## ГЛАВА 5

**Канзас-Сити. Пансион Куини. Первое слово об отце Пажиевски. Джордж Браш пьет и буянит**

Браш не считал ту ферму в Мичигане своим родным домом; у него не было дома, и по этой причине, когда дорожная судьба приводила его в городок или местечко, где жили его друзья, разыскивал он их не только из простого желания повидаться. Такое место было у Браша и в Канзас-Сити.

Пансион Куини — мисс Крэйвен — располагался в высоком, узком, почерневшем здании, стоявшем среди точно таких же старых, почерневших корпусов там, где Восьмая стрит пересекает Пенсильвания-авеню и Джефферсон-авеню. В этих кварталах, совсем рядом с центром города, целая колония меблированных комнат влачила свое скудное существование. Разбитые окна были заклеены газетами; дворы, заросшие сорняками и заваленные старым хламом, стали последним пристанищем негров-картежников и бездомных котов, ночным прибежищем бродяг. Задние окна пансиона смотрели на крутой склон холма, усыпанный битыми бутылками и рваными автопокрышками и спускавшийся к пустырю, за которым блестели рельсы железнодорожной линии и грязная речушка лениво несла свои воды, покрытые сажой и разводами мазута.

Браш поднялся по ступеням и нажал кнопку звонка. Дверь открыла сама Куини со шваброй в руках.

— Привет, Куини.

— А, мистер Браш! Рада вас видеть.

— Кто-нибудь из парней дома, Куини?

— Кажется, они все куда-то умотали. Вы хотите остаться переночевать?

— Да, Куини. Я поживу у тебя денька три.

— Тогда я пойду приготовлю вам место. Сейчас у меня стало хуже, чем прежде, мистер Браш. Но вы сами понимаете, почему. Эти обормоты грозят прикончить меня, если я буду убирать у них в комнате. Я прошу вас, поговорите с ними, пусть они позволят мне приходить и убирать у них, а то уже грязью заросли.

— Я попробую. Какие еще новости?

— Дайте припомнить... Мистер Морис всю зарплату отдал за лечение, да... И у мистера Каллэгена тоже с деньгами неважно.

Браш поднялся на несколько ступенек.

— А что, Куини, Херб по-прежнему пьет?

— Ох, вы же знаете, я никогда толком не понимала, что с ним происходит, но, я думаю, он и в самом деле немножко попивает. Я не знаю, как это получилось, мистер Браш, но однажды кто-то мне переломал все перила на лестнице. А миссис Кубински, которая живет в соседнем подъезде, сказала, что видела, как ночью кто-то висел на карнизе крыши, вцепившись в водосточный желоб, но в последний момент его сняли. Это удивительно, что они еще живы, мистер Браш, и если вы спросите, почему удивительно, я отвечу вам: потому, что они вот уже пять лет каждую неделю оказываются на пороге гибели — я не преувеличиваю.

— Я знаю, — сказал Браш с участием.

Они посмотрели друг на друга. Браш добавил:

— Мы должны хоть как-то помочь им, Куини. Не надо думать о смерти. Как поживает отец Пажиевски?

— У него все в порядке. Он снова нашел работу и уезжает на семичасовом поезде.

— Почки у него уже не болят?

— Врачи говорят, что у него желчные камни. Мистер Крамер дал ему немного иорданской воды, и он принимает ее с чаем каждый день; это ему помогает. Я ходила в Общество Святой Вероники<sup>1</sup>, и миссис Делехан-ти сказала, что у него, что бы ни говорили врачи, должно быть что-то другое. Она сказала, что ему долго не прожить.

Браш поднялся по лестнице на верхний этаж, который навсегда арендовали у Куини четверо его друзей. Почти все двери давно уже были сломаны и валялись где-нибудь рядом, у стен, их понемногу разбирали и растаскивали по досочкам для разных целей. В некоторых перегородах, разделяющих комнаты, зияли дыры, проломленные еще в некие доисторические времена и теперь свидетельствующие об этих временах своими рваными и ломаными краями с обвалившейся штукатуркой. Все вокруг было пропитано запахом грязной одежды, дешевого мыла, джина и лимонной кожуры. Браш сел на одну из кроватей и грустно огляделся. Здесь жили два газетчика — Херб и Морри, киномеханик Бэт и Луи, лаборант из больницы, которого в эти тяжелые времена перевели в санитары.

Дружбу Браша с такими жильцами скреплял весьма запутанный договор. Со своей стороны Браш поклялся не мучить их проповедями и призывами к страху Господню, к целомудрию и к воздержанию от вина и табака. А они, в свою очередь, обещали оставаться в рамках приличий в разговоре и воздерживаться от слишком грубых шуток. А зиждилась эта ненадежная дружба на том факте, что Браш был великолепным вторым тенором и его участие в их общих песнопениях доставляло его друзьям великое удовольствие. Голос Браша творил чудеса в припевах к песенке «Чхану в отчаянии», которая приводила его компаньонов в совершенный экстаз. На первой же ноте припева «Если она уже не для меня-а-а-а» он мог подняться на целую октаву в своем лирическом portamento<sup>2</sup> и, держа ноту, перейти от шепчущего falsetto<sup>3</sup> к золотому fortissimo<sup>4</sup>. И в то время как трое других артистов сишло и хрипло голосили на второй ноте, он мог величественно перейти через всю гамму в басовый регистр. Он мог спеть «Вдали над водами Каюги» так, что в душе поднималась какая-то неопределенная тоска, словно простился с кем-то год назад в темном лесу, под далекий зов охотничьего рога. Однако требовался немалый профессионализм, чтобы держать всю эту компанию в руках. Их договор установился в первую же ночь, как Браш перебрался в этот, с позволения сказать, пан-

<sup>1</sup> Общество Святой Вероники — одно из многочисленных благотворительных обществ в США.

<sup>2</sup> Portamento — портаменто, певучее исполнение мелодии посредством замедленного скольжения от одного звука к другому (итал.).

<sup>3</sup> Falsetto — фальцет, регистр певческого голоса, исполняемый лишь голосовым резонатором (без грудного) (итал.).

<sup>4</sup> Fortissimo — очень громко (итал.).

сионат. Он встал на колени возле своей кровати, чтобы произнести, как обычно, вечернюю молитву.

— Или ты немедленно прекратишь — или вылетишь отсюда! — сказали ему.

— Ладно, если я и перестану, то вовсе не потому, что испугался.

— Ах ты! А ну убирайся отсюда! — закричал Луи. — Убирайся вон и живи там, в коридоре! Убирайся к дьяволу!

Но исполненное вполголоса «Всю ночь напролет» покорило их; они проглотили свое раздражение, и между ними был заключен договор.

Браш вспоминал, сидя на кровати, и с грустью взирал на убогую обстановку комнаты. Вошла Куини; она принесла белье.

— Если я немного приберу здесь, вы меня не дадите в обиду, мистер Браш? — нерешительно спросила она.

— Может быть, лучше завтра, Куини? Я не очень хорошо себя чувствую. Мне хочется вздремнуть.

— Плохо себя чувствуете? Что у вас болит?

— В общем-то ничего. Просто устал от гостиниц и поездов. Я устал от многих вещей.

Куини с сочувствием относилась к усталости. Она засуетилась возле кровати. Покончив с постелью, она сказала:

— У меня там на плите кофейник. Может, кофе взбодрит вас?

— Спасибо, не надо, — ответил он, разглядывая потолок. И тут он вдруг сам удивился тому, что неожиданно произнес: — Куини, тебе когда-нибудь хотелось умереть?

Куини даже вздрогнула.

— Не говорите так. Мне стыдно, когда я слышу от вас такие слова, мистер Браш. Однажды я призналась в этом на исповеди в Спокане, штат Орегон, но отец Лайон выбил из моей головы эту дурь. Во всяком случае, на вас не похоже.

Браш смущенно улыбнулся:

— Я пошутил, Куини. Как-то непроизвольно вырвалось...

— Такой здоровый молодой человек, с таким прекрасным голосом...

Куини продолжала свои увещевания и вдруг заметила, что Браш заснул. Она шагнула ближе, всматриваясь, затем на цыпочках вышла в коридор. Спустившись в холл, она услышала, как с шумом распахнулась уличная дверь, и перед нею возник Луи.

— Привет, Куини! — заорал он с порога. — Подтяни трусы, Депрессия миновала! Открыт способ добывать пресную воду прямо из океана. Тебе это понравится.

— Не кричи, пожалуйста! Мистер Браш наверху, спит в вашей комнате. Он, кажется, болен, он сам сказал.

— Что? Иисусик заболел? Ни слова больше. Я знаю, как его вылечить.

Луи, перепрыгивая через ступени, побежал наверх. Он влетел в комнату, разбудив Браша.

— Какой дьявол наградил тебя этой штуковиной? — спросил Луи, придвигая стул и садясь напротив.

— Какой штуковиной?

— Этой самой. Дай проверю твой пульс. Все ясно, никаких сомнений.

Б-17. Вирусный грипп. Где ты мог его подхватить?

— Ох, оставь меня в покое, будь другом.

— Выбирай: немедленное лечение или две недели в постели, причем не в этом доме. Ей-богу, не вру!

— Оставь меня в покое, Луи! — взмолился Браш.

— А что ты, собственно, развалился на моей кровати? А ну-ка перебирайся на свою! Мою подушку заражаешь... Ты же рассадник микробов!

— Ты что, всерьез?

— Когда ты впервые почувствовал, что с тобой не все в порядке?

— Я не помню. Сегодня. Нет, вчера...

— Ты завтракал?

— Нет.

— Ладно, лежи. Лежи, говорю! Я сбегаю в больницу за лекарством. Я скажу Куини, чтобы принесла тебе завтрак. Ешь побольше, ешь сколько сможешь. Это лекарство нельзя принимать на пустой желудок.

— Все-таки, я думаю, это не болезнь, а простая усталость.

— Что ты в этом понимаешь! Я ведь не зря трачу в больнице свои лучшие годы. Я хочу тебе помочь, а ты вопишь, что все в порядке. Ты же заболел!

Луи вскочил и побежал вниз, к телефону. Он был весьма возбужден и тут же принялся звонить во все концы. Первым делом он обзвонил своих приятелей, Херба, Морри, Бэта, и поделился с ними своим планом. После этого он помчался в больницу. В три часа несколько врачей в белых халатах поднялись по ступеням пансиона Куини, прошли в комнату, где лежал Браш, и долго о чем-то разговаривали между собой над постелью больного, перемежая немецкую речь латинскими выражениями. На стену тут же была водружена огромная диаграмма с температурой больного. Слюну и мочу немедленно подвергли анализу. В три тридцать больной, исполненный страха и благоговения перед столь внушительным консилиумом, сидел в кровати и уплетал бифштекс с картофельным пюре. Время от времени ему приказывали покрепче зажать нос и сделать глоток некоего снадобья из стоявшей рядом вместительной посуды.

— Я доставил вам столько хлопот, ребята, — сказал Браш, благодарно улыбаясь.

Он поймал взгляд Куини, которая с тревогой заглядывала в комнату, и постарался ее успокоить:

— Все в порядке, Куини. Мне уже лучше.

— А теперь зажди покрепче нос и глотни еще разок! — скомандовал Луи. — Доктор Шникеншнауцер из Берлина сказал, что надо пить медленно. А один врач из Вены советовал пить быстрее. Как ты считаешь?

— Мне все равно.

— А теперь полежи минутку, и уж потом прикончим эту банку совсем.

— Наверное, я буду сильно потеть?

— Потеть? Детка, у тебя будут потеть даже ногти! Ты у нас будешь парить, как озеро на рассвете!

— Это хорошо. Это очень кстати: мне кажется, я полон какой-то отравы. В жизни никогда не болел, но вот уже месяц я чувствую себя не очень хорошо. Не волнуйся, Куини, мне гораздо лучше.

— Я вижу, мистер Браш. Я уверена, они вас поставят на ноги.

Врачи запретили Куини входить, но она все-таки бочком проскользнула в комнату. Она тихонько подкралась к банке с лекарством и понюхала содержимое. Вдруг она обернулась и с возмущением закричала:

— Ах вы негодники! Как вам не стыдно! Как только вам в голову могло прийти такое! Я сразу заподозрила, что вы задумали какую-то каверзу.

— Заткнись, Куини! — зарычал Херб. — Убирайся прочь, или мы переломаем тебе ребра!

— Не трожь меня! — верещала Куини, вырываясь из его лап. — Постыдились бы играть такие шуточки с серьезным человеком! Я вас всех по-выгоняю из моего дома!

Херб и Луи подхватили ее за руки и за ноги и поволокли вон из комнаты. Браш, видя такое, взревел и выпрыгнул из постели. Он схватил Куини поперек и потащил вместе с Хербом и Луи назад в комнату. Несколько мгновений трое здоровенных мужчин, пыхтя от усердия, упражнялись с Куини, как с прямой акробатической труппы. И Браш был сама сила и энергия. Наконец он втоптал всю компанию в комнату, расшвырял Херба и Луи по углам и поставил Куини на ноги.

— Убью любого, кто ее коснется! — прорычал он грозно. — Говори, Куини. Что ты хотела сказать?

— Вы не поверите, мистер Браш, но эти обормоты пошутили над вами. Они вас спаивают!

— Что?!

— Это вовсе не лекарство. Это кое-что спиртное. Это — ром!

Браш со стоном вздохнул и спросил тихим голосом:

— Так я, выходит, пьяный, Куини?

— Вам надо сунуть голову под кран, и хмель пройдет.

Браш сел на кровать и постарался сосредоточиться. Он мрачно взглянул на своих мучителей.

— Ваше счастье, что я — пацифист, иначе я бы все кости вам переломал. Так, значит, вот что такое — быть пьяным... Ну и когда же я начну буяннить? Эй, Херб, подойди-ка ближе. Расскажи мне об этом подробнее.

— Ты не огорчайся, Джордж. Тебе еще понравится, я уверен!

— Так когда же все-таки у меня начнет двоиться в глазах? Когда я начну ломать мебель? Перила и столы?

— Да ничего ты ломать не будешь, дурачок! А как ты думал? Ты же вообще не пьян!

— Нет, все же кое-что чувствуется.

Браш встал и принялся шагать по комнате, трясая головой. Потом остановился и, насупясь, посмотрел на себя в зеркало. Затем, отвернувшись, провозгласил во весь голос:

— Как бы то ни было, а я не могу просто так стоять здесь и быть пьяным. Если уж так получилось, то ничем не поможешь. Впрочем, я даже рад, что так вышло. Наконец-то я узнаю сам, что это такое. А то все говорят, говорят... Давайте уж тогда куда-нибудь пойдём и что-нибудь сделаем!

Забавы ради он принялся поднимать стулья одной рукой, восклицая:

— А ну-ка посмотрите. Посмотрите же! Эй, Херб, а ну давай поборемся! Мне хочется побуяннить. Да не бойтесь, я никого не покалечу. Я, конечно, пацифист, но мне хочется побуяннить. Я самый сильный парень из всех, кто учился в нашем колледже! Я в десять минут разделаюсь с любым курякой! Ну, кто первый? Кто хотя бы еще разок назовет меня разиней? Ну? Скажите же, что я — сумасшедший или что-нибудь там еще!

— Заткнись! Чтоб его черт побрал! Этот придурок мне осточертел.

— Нет, давайте все же куда-нибудь сходим, — твердил Браш, — и что-нибудь натворим.

Внезапно его осенила блестящая мысль. Он величественно обратился к Куини:

— Куини! Куини Крэйвен! — торжественно поправился он. — Вот тебе пять долларов. Мы уходим. Пока нас не будет, позови миссис Кубински, которая живет рядом, и вдвоем уберите эти комнаты так, чтобы они были как... как... как банковский офис. Здесь обязательно надо все убрать. Вы, ребята, живете как свиньи, и с этим надо кончать. Слышите? Надо кончать! Вы — лоботрясы, каких свет не видывал, неумехи и бездельники. Пить, пить, пить — вот и все, что вы умеете. Не удивительно, что вас оставили без заработка. А теперь — выметайтесь и освободите комнаты для уборки, потому что с завтрашнего дня, стервецы, вы начнете новую жизнь.

— Ладно, хватит, — пробормотал Луи. — Херб, я думаю, он прав.

— Постой! Ты что? Разве не видишь, что это только начало? — зарычал Херб. — Куини, не смей! Убью!

Браш шагнул к Хербу, ухватил его сзади за штаны и рванул вверх. Херб шмякнулся прямо лицом в пол. Браш уперся ногой ему в лопатку и начал выкручивать руку.

— А ну-ка возьми свои слова обратно! — приказал он. — Давай-давай! Ты сам сейчас же попросишь Куини убрать в твоей комнате.

Херб схватил его за лодыжку, резко дернул и повалил на пол. Браш грохнулся так, что стены затряслись. Все четверо тут же набросились на него, но Браш превосходил всех силой и духом. Он заработал своими руками и ногами так, что скоро всех повалил друг на друга, сложив из них



копашающуюся и отчаянно ругающуюся кучу, на которую сверху водрузился и сам всеми своими восьмьюдесятью пятью килограммами.

Когда потасовка закончилась и победа Браша не вызывала сомнений, выяснилось, что Бэт крепко ударился об пол и потерял сознание. Его привели в чувство, и он застонал от сильной боли.

— Мне очень жаль, Ги, — сочувственно произнес уже отдышавшийся Браш. — Честное слово, я только защищался. Я также защищал те слова, которые вам сказал. Я вовсе не хотел оскорбить ваши чувства. И потом... я ведь пьян, не так ли? А пьяному даже полагается немного побуянить... Тебе уже лучше?

Бэт лежал на кровати, схватившись за локоть, и громко охал.

— Давайте лучше споем ему что-нибудь, — предложил Браш, и скоро весь квартет, склонившись над кроватью раненого, положив друг другу руки на плечи, соединился в согласной песне.

— Нет, — сказал вдруг Херб. — Что-то я плохо чувствую мелодию. Надо бы мне тоже принять того самого лекарства, что прописал Джорджу доктор Шникеншнауцер.

— Так в чем дело? — воскликнул Браш. — Я тоже не прочь принять еще! Должен сказать, что мне впервые в жизни довелось попробовать спиртное. А если уж пробовать, так пробовать до конца.

Словом, они все хорошенько потрудились и теперь собирались воздать себе за это полной мерой.

— Давайте спустимся в комнату Куини, чтобы не мешать ей убирать здесь!

Вошли Куини и миссис Кубински с целым арсеналом швабр и ведер и принялись сдвигать столы и стулья.

Мужчины возгласили троекратное «ура» в честь Куини и Анны Кубински, «королев Восьмой стрит», и вышли на улицу.

В этот вечер они предприняли своего рода большую прогулку. Дождь лил весь вечер, но наши приятели бродили туда и сюда по холмам Канзас-Сити, бегали по паркам, хохоча и дурачась. Они залезали на памятники и требовали у редких случайных прохожих, испуганно шарахавшихся от бесноватой гоп-компании, чтобы те их сфотографировали. Они врывались в редакции газет и костерили прессу. Они шатались, подобно агитаторам-общественникам, по вестибюлям кинотеатров и приставали к девушкам. Наконец, они даже не постеснялись осквернить своим посещением городской муниципалитет.

На следующее утро Браш проснулся и долго лежал глядя в потолок. Он чувствовал себя великолепно.

— Луи, — позвал он приятеля, — я вчера ничего не сломал?

— Нет. А что?

— И прохожих не оскорблял? Женщин, к примеру.

— Нет, насколько я помню. А что?

— Мне просто хотелось знать.

Он встал и принялся бриться. У него была привычка во время бритья ставить перед собой простенькое десятицентовое издание «Короля Лира» — чтобы лучше запомнить текст. Кто-то из учителей в колледже однажды заметил, что «Король Лир» — величайшее произведение английской литературы. «Британская энциклопедия», похоже, поддерживала это мнение. Браш раз десять читал пьесу, не находя в ней ни малейших признаков гениальности, и очень переживал по этому поводу. Однако он держал свое мнение при себе и при случае старался выразить на словах свое согласие с мнением всего света по этому вопросу. В настоящий момент он брился глядя в книжку и громко бубня текст пьесы.

Вошел Херб:

— Что случилось, бутуз? Что ты горланишь?

— Слушай, Херб, я в самом деле вчера напился?

— Конечно.

— И что, я вытворял что-нибудь? Ну, там, ругался, буянил или бесчинствовал?

— Разумеется. А что?

Браш пристально рассматривал себя в зеркале, растирая кожу на скулах.

— Видишь ли, я столько слышал об этом состоянии. Мне хотелось почувствовать это самому.

— Вот как! Ну и что ты об этом скажешь?

Браш склонился над раковиной умывальника.

— Ты знаешь, наверное, я не до конца понял, — ответил он задумчиво. — Одно лишь могу сказать: ничего удивительного в том, что это считают запретным. Я не знаю, с чем это сравнить. Видишь ли, в тот момент я чувствовал, что я — величайший проповедник во всем свете, что я — величайший мыслитель. Я чувствовал себя способным стать даже самым президентом Соединенных Штатов! Я совершенно позабыл о своих недостатках.

— Вот как! А это мысль! — умилился Херб. — Знаешь, крошка, стоит только начать, и скоро ты почувствуешь себя самым Господом Богом!

— М-м...

Тут Херб словно на что-то решился.

— Ладно, бутуз, слушай сюда, — сказал он Брашу, понизив голос. — Я устрою тебе свидание. Да, своего рода свиданьице. Оно тебе придется по вкусу.

— Что ты имеешь в виду?

— Ты ведь давно уже подыскиваешь себе хорошенькую девчонку, не так ли? Ты думаешь — она будет матерью твоих детей.

— Ты зря теряешь время, Херб. Тебе не удастся сыграть со мной какую-нибудь дурацкую шутку в этом роде. Не трать слова понапрасну, Херб.

— Да я вовсе не шучу, не веришь? Что за дьявол внушил тебе такую дьявольскую подозрительность?

— Я не верю тебе, Херб, когда ты строишь из себя серьезного человека. Так что побереги слова для кого-нибудь другого.

— Ладно. Хорошо. Тогда слушай. Меня пригласили на воскресный обед в один очень приличный дом. Там живут весьма порядочные девушки. Это самые чудесные девушки во всем Канзас-Сити, и у них есть деньги.

— Непонятно, как тебе удалось завести такое знакомство.

— Ты хочешь меня обидеть, да?

— Я и не думал, что это тебя обидит. Я только спросил.

— Ты меня плохо знаешь, Джордж. Я совсем переменялся. Я стал серьезным человеком. На самом деле я ухаживаю за одной из них. Я хочу жениться и завести свой дом.

Браш задержал взгляд на отражении Херба в зеркале, потом продолжил бритье.

— Где они живут?

— На бульваре Мак-Кензи. В шикарном особняке. Они хорошо зарабатывают. Они пригласили меня, Луи и Бэта сегодня пообедать, а я рассказал им о тебе, и они сказали, чтобы и ты приходил с нами. Это будет воскресный обед, бутуз, — ты понимаешь? Там будет столько всего!.. Ладно, давай говори, согласен или нет. Уже двенадцать, мне надо позвонить миссис Крофут и сказать, сколько нас придет.

Браш через зеркало пристально рассматривал Херба.

— Херб, — сказал он наконец, — поклянись перед Богом, что тут нет подвоха.

— О Господи, ты меня убиваешь! Ладно, черт с тобой! Оставайся дома и торчи тут один. Обедай в тошнилровке, если тебе нравится... А я думал, ты обрадуешься. Я ведь сказал миссис Крофут, что мы споем для них... Черт с тобой — оставайся дома, ломай наш квартет, если тебе не жалко...

— Хорошо, я пойду с вами, — сказал Браш и снова принялся за своего «Лира».

— «When thou clovest thy crown in the middle, and gavest away both parts, — забубнил он, — thou borest thine ass in thy own back o'er the dirt»<sup>5</sup>.

— Чего-чего? — не понял Херб. — Что ты сказал?

— Это не тебе. «Thou hadst little wit in thy bald crown when thou gavest thy golden one away...»<sup>6</sup>

Через несколько минут Херб вернулся:

— Послушай, Джордж, если уж ты пообещал мне пойти с нами, тогда я тебе кое в чем признаюсь. Тут есть одна маленькая шуточка... Не пугайся, не пугайся! Совершенно безобидная шутка, понимаешь? Я сказал им, что ты — знаменитый певец. Они пришли в такой восторг! Я сказал, что ты настоящий эстрадный певец, и знаменитый.

К изумлению Херба, ответ Браша был совершенно спокоен.

— А ты им не соврал, Херб, — сказал он. — Наверное, тысяч пять человек в стране с удовольствием слушают мое пение; я ведь пою на эстраде время от времени. Так что ты сказал им правду.

Херб, выпучив от удивления глаза, вышел вон из комнаты, а Браш, обернувшись к двери, крикнул ему вслед:

— Да я позавчера только в Кэмп-Морган пел вечером, и все были просто очарованы! Лупили в ладоши как сумасшедшие. Я вовсе не хвастаюсь, но у меня в самом деле чудесный голос. Скажи миссис Крофут, что я буду рад прийти к ним в гости.

## ГЛАВА 6

**Канзас-Сити. Воскресный обед у Мэри Крофут. Новости об отце Пажневски. Момент уныния в больнице Канзас-Сити**

Миссис Крофут действительно жила в прекрасном доме. Если у этого дома и были какие-то изъяны, то лишь в том, что его внешнему виду недоставало некоторой свежести и что с одной стороны к нему чересчур тесно примыкал некий деловой колледж, а с другой — похоронное бюро. Но если не принимать в расчет последние обстоятельства, это оказался, должен был признать Браш, домик хоть куда. Он возвышался над улицей, со своими башенками и фронтонами, эркерами и балкончиками. Дом не всегда принадлежал миссис Крофут — она купила его в рассрочку, минуя биржу. По непонятным соображениям среди кустов рододендрона валялась сломанная панель с неоновыми трубками, составлявшими надпись «The Riviera. Cuisine Française»<sup>7</sup>. Они вошли без звонка и оказались в темном холле. Браша в этом доме удивляло все. Отодвинув тростниковую портьеру, он увидел большую комнату, заставленную столиками, словно в ресторане.

— Это вы, мальчики? — спросил солидный уверенный голос из глубины комнаты. — Очень хорошо.

— Миссис Крофут, — сказал Херб. — Я хочу познакомить вас с певцом Джорджем Брашем.

— С огромным удовольствием. Позвольте вам сказать, что мы с нетерпением ожидали вас. Я хочу отметить, что мои дочери наряжались больше часа. Проходите, усаживайтесь в гостиной, мои девочки сейчас спустятся, — сказала она, кивнув в сторону лестницы, откуда сверху долетал шепот и щебетание девичьих голосов.

<sup>5</sup> Когда ты расколол свой венец надвое и отдал обе половинки, ты взвалил осла себе на спину, чтобы перенести его через грязь (англ.). (Шекспир, «Король Лир», акт I; перевод Б. Пастернака.)

<sup>6</sup> Видно, мало мозгу было под твоим золотым венцом, что ты его отдал (англ.) (Там же.)

<sup>7</sup> «Ривьера. Французская кухня» (англ., франц.).

Браш оглянулся на большую лестницу, подошел к раскрашенной стеклянной двери и увидел улыбающееся лицо, выглядывающее между балюстрады, и приглашающий взмах руки.

— Спускайтесь вниз и расскажите, что вы там над собой творите! — громко позвала миссис Крофут.

Миссис Крофут с небрежной элегантностью уселась в огромное плетеное кресло и кивком пригласила гостей садиться. У нее было большое красное лицо и тщательно устроенная копна желтых волос. Кайма мелких желтых завитков обрамляла ее лоб. На ней была черная шелковая блузка с длинными рукавами. На ее пышной груди покоились длинные бусы из гагата с золотыми часиками. Это была довольно крупная женщина, но с удивительно тонкой талией. Она с безошибочным изяществом носила свое достаточно увесистое тело. Брашу она понравилась сразу; он с трудом отрывал свой взгляд от ее высокой ловкой фигуры. Вскоре к ней присоединилась высокая тонкая девушка с такими же желтыми волосами.

— Это моя девочка. Лили, веди себя прилично! Это моя Лили, мистер Браш.

Ломаясь и хихикая, Лили стояла рядом с креслом, поглядывая на Браша.

— Лили очень музыкальна, — продолжала миссис Крофут. — У нее очень приятный голос.

Разговор неожиданно был прерван парадным выходом еще пяти юных леди. Все они были примерно одного возраста, от шестнадцати до восемнадцати лет, держались застенчиво и выглядели скромно. Одна из них была высока и темноволоса, явно не американка. У них у всех была одна и та же характерная черта: какая-то бессмысленность в глазах, словно им трудно было сосредоточить внимание на каком-либо определенном предмете. Процедура знакомства продвигалась с трудом. Они всё стояли, глазели, пунцовели и хихикали.

— У вас много дочерей, миссис Крофут, должен вам заметить, — сказал Браш.

— Боже! У меня? Во всяком случае, это еще не все, не правда ли, Герберт? Старшие еще наверху, прихорашиваются. Они сейчас сойдут вниз, и тогда весь мой детский сад будет перед вами, мистер Браш, — сказала она подмигивая. — Ну, может быть, не все из них — мои дочери; кое-кто из них просто временно живет у меня. Долорес, например, приехала с Кубы. Да, обед уже подан, давайте сядем за стол. Входите, девочки, входите. Что это сегодня с вами? Они такие взволнованные, они просто очарованы вами, мистер Браш. Нет, в самом деле! Они просто вне себя.

Вся компания направилась через анфиладу гостиных и оказалась в большой столовой в задней части здания. Миссис Крофут остановилась позади предназначенного для нее стула и принялась рассаживать гостей.

— Нас всего тринадцать, — сказала она, — поэтому Мэй сядет одна. Мы тянули жребий на картах, и Мэй выпал «джокер».

Мэй, покраснев от смущения, расположилась у окна и стала жадно пить воду.

— А теперь, мистер Браш, по праву вы должны сесть напротив меня, потому что я — самая старшая из всех находящихся здесь женщин. Девочки все хотели бы сидеть рядом с вами, и я не хочу отдать предпочтение какой-нибудь одной из них. Вот ваш прибор. Я вижу, Херб намерен расположиться рядом с Глэдис, как обычно.

Брашу ничего не оставалось делать, как только подчиниться столь скрупулезно составленному регламенту. Его место оказалось между кубинкой и шатенкой с мягким взглядом, которую звали Рут. Она была одета в простое белое платье и едва осмеливалась поднять глаза от своей тарелки. Подали суп, и некоторое время за столом царило молчание, неловкость которого отчасти сглаживалась ободряющими взглядами миссис Крофут. До сих пор Брашу не приходилось видеть вместе столько красивых девушек. Миссис Крофут с величайшим изяществом управлялась со своим супом; рукой, усыпанной перстнями, она поправила салфетку на груди.

Время от времени она делала несколько маленьких глоточков из бокала с тоником. Тарелки унесли; всеобщее нетерпение уже не могло больше сдерживаться, и нашему квартету предложили начинать. Они взялись за руки, попробовали голоса, сосредоточились и начали с «Как пережить разлуку с тобой?». Реакция публики превзошла все их ожидания. Они спели «Чажну в отчаянии», завершив ее особенно витиеватой каденцией. Девушки просто онемели от восторга и напустили на себя торжественный вид. Теперь уже никто не хихикал. Певцы наконец сели, исполнившись и сами благоговения перед собственным искусством, а девушки просто затрепетали, осознав наконец, что сидят рядом с такой знаменитостью. Миссис Крофут первой пришла в себя.

— Вы давно живете в наших краях? — спросила она.

— Нет, — ответил Браш, — я из Мичигана.

— О, вот как! У меня там есть друзья... Вам не приходилось слышать о мистере Пастернаке? Он занимается лесоторговлей. Очень состоятельный, богатый человек.

— Нет, не могу припомнить, к сожалению.

— Не помните? О, он настоящий джентльмен, и мне кажется, он очень богат. Да, он лесоторговец, я вспомнила. Его звали Юлий, Юлий Пастернак.

Она откинулась на спинку стула и грустно улыбнулась, что-то вспоминая.

— Ох, — добавила она, вытирая салфеткой уголок глаза, — я уже несколько лет не получала известий о нем.

Больше она ничего не рассказывала о таинственном мистере Пастернаке, но в комнате как будто возник его наполненный теплотой образ, и с этого момента тревожное молчание больше не посещало сидевших за столом. Лили послали задернуть шторы.

— Очень милая девушка, не правда ли? — шепнула миссис Крофут.

— Да, действительно, — ответил Браш.

— Милая девушка. Когда-то она выступала в театре.

— На сцене? — спросил Браш, с интересом взглянув на девушку. — И что же, вы играли Шекспира?

Лили робко оглянулась на миссис Крофут.

— Отвечай, дорогая моя. Кого ты играла?

Ответ был совершенно невнятен; пожалуй, что и не было даже никакого ответа.

— Я думаю, Майми знает об этом побольше, — спасла ее миссис Крофут. — Майми у нас любительница чтения. Всегда носом в книжку. Майми у нас рыженькая.

Рыжая головка Майми обернулась на похвалу; ей, видимо, захотелось привлечь к себе внимание гостя. Она пропищала тонким голоском, срывающимся от волнения:

— Я вчера читала его рассказ.

— В самом деле? — удивился Браш. — Он разве писал что-нибудь кроме стихов и пьес?

— Шекспир?! — воскликнула миссис Крофут, поспешив на помощь дочери. — А как же! Он все писал. У нас есть одна его книжка, там, наверху. Глэдис, ты сидишь ближе к двери. Поднимись наверх и принеси наши книги.

Она проводила девушку взглядом, когда та поднималась из-за стола и шла к двери.

— Мне такие нравятся, а вам? Очень милая девушка.

— Да, пожалуй, — пробормотал Браш.

— Чудесная девушка, — повторила миссис Крофут.

Глэдис вернулась, неся книги, и пошла обратно за другими, которые обронила на лестнице. Миссис Крофут принялась тщательно изучать титульные листы. Наверное, любой улыбнется при мысли, что Шекспир мог приложить свою гениальную руку к пособию для молодых матерей

«Уход за грудным ребенком и его кормление» или к переплетенному тому «Айнсли Мэгэзин» за 1903 год. На книжице «Сентябрьское утро в Атлантик-Сити» имени автора не было, а «Преграды сожжены» украшало имя Э. П. Роз<sup>8</sup>.

— Вот! — воскликнула миссис Крофут, постучав по крышке книжного гробика, полного мертвых слов, указательным пальцем, отягощенным огромным перстнем. — Я, наверное, ошиблась. Возможно, это не Шекспир. Сама не знаю, как я могла так промахнуться.

Она разразилась хохотом, прикрыв рот уголком салфетки. Девушки сдержанно хихикнули, восхищенные остроумием своей мамы; они переглядывались своими коровьими глазами, уверяя друг дружку, что каждая из них поняла, в чем дело.

— Ладно, — сказала наконец миссис Крофут. — Я полагаю, мы все любим хорошую шутку. Мистер Шор, вы знакомы с Лилиан Рассел? Сядь прямо, Пири.

— Нет, — ответил Браш, как только догадался, что вопрос обращен к нему. — Нет, я с ней не знаком.

— О, она прелестна. Прекрасная девушка.

В этот момент одна из девушек, Лили, неожиданно взвизгнула:

— Мама точь-в-точь похожа на нее!

Другие девушки визгливо закричали, поддерживая ее. Лили продолжала:

— У-нее-в-комнате-все-стенки-увешаны-ее-портретами. Мама-нам-рассказывает-о-ней. Мама-точь-в-точь-похожа-на-нее!

Миссис Крофут потупила взор.

— Да, мне многие говорили об этом, — с некоторым смущением произнесла она. — И конечно же, все это глупости. Но позвольте вам заметить, она была замечательная актриса. И я могу сказать — замечательная женщина.

Затем, понизив голос и торжественно взглянув на Браша, она добавила с намеком на то, что только он, пожалуй, способен оценить всю значительность ее слов:

— Я не слыхала ни слова, ни единого слова сомнения в безупречности ее репутации.

— Это прекрасно! — воскликнул Браш; последние слова глубоко его тронули.

Миссис Крофут тут же сменила тон на простой, домашний.

— Херб, — сказала она, — куда ты запропастился в последние дни? Где тебя носит?

— Это все Депрессия, — развел руками Херб. — Мне еще надо сходить в парк Джорджа Вашингтона.

Миссис Крофут величественно вздернула подбородок:

— Ну что ж, будь как все, если тебе нравится. Это, в общем-то, не мое дело. — Она обиженно отвернулась.

— А теперь, мальчики, хватит об этом, — возгласила хозяйка. — Кушайте, не стесняйтесь. Сегодня мы будем веселиться. Мы ведь неплохо проводим время; угощайтесь, пожалуйста.

Затем началось нечто странное. Браш смущался все больше и больше, ощущая в себе слепое доверие к миссис Крофут, которая нравилась ему все сильнее. В этот момент к ним, не снимая шляпы, почему-то вошел полисмен. Его приветствовали громкими криками:

— Привет, Джимми!

Он повел себя довольно развязно с одной из юных леди, сидевших за столом.

— Джимми, будь приличнее, — сказала миссис Крофут. — Там на кухне тебе приготовлен подарок.

---

<sup>8</sup> Роз Эдгар (1838 — 1888) — американский священник и писатель.

— Хм, вот как! — воскликнул Джимми и тут же исчез из поля зрения.

Следующую странность явила Долорес. Браш несколько раз пытался вызвать ее на разговор. Она на мгновение поднимала на него свой мрачный взгляд, невнятно бормотала несколько слов и снова утыкалась в свою тарелку. На третий раз, однако, она резко вскочила на ноги, перевернув свой стул, и ни с того ни с сего вдруг отвесила Брашу звонкую пощечину. Затем она бросилась вон из столовой.

Миссис Крофут ужаснулась. Она тут же вскочила и помчалась за Долорес, визжа:

— Немедленно наверх, Долорес! Немедленно наверх, дрянь ты этакая! Ах ты грязная дрянь! Я тебе сейчас покажу!

Вернувшись к столу, она растерянно заговорила, тяжело отдуваясь:

— Ох, мистер Шор! Я просто потрясена, я просто не знаю, что сказать! Хуже этого ничего представить невозможно. Было так хорошо, так чудесно, по-домашнему, воскресный обед... И эта мерзавка все испортила! И все-таки, мистер Шор, не принимайте близко к сердцу. Такие вещи, как видите, иногда случаются. Давайте забудем эту неприятность. Вы меня поняли?! — Она грозно оглянулась на замерших девушек. — Вы видите, мистер Шор, я должна беспокоиться о каждой из них.

— М-да! — выдавил Браш со значением, поглаживая щеку. — Но у вас есть, что называется, луч надежды. Мне не приходилось еще видеть дом, где было бы столько красивых и порядочных девушек.

— Благодарю вас, — сказала миссис Крофут, слегка покраснев. — Это очень приятный комплимент от такого великого певца, как вы. Мне хочется думать, что они все-таки вполне хорошие девушки. По крайней мере, я надеюсь.

— Гав! — гавкнул вдруг Морри и согнулся в три погибели, кашляя и задыхаясь от едва сдерживаемого смеха.

Миссис Крофут вскочила, дрожа от гнева:

— Я вас попрошу вести себя прилично, молодой человек! Меня не интересует, что вы думаете, но мне не нравятся ваши шутки. Повторяю: меня не интересует, что вы думаете об этом! А ну, девочки, ответьте мне — забочусь я о вас или не забочусь? Ну?

— Да, мама, — нестройно ответили шесть звонких голосков.

— Ответь и ты, Морри!

— Вы меня не поняли, — испугался Морри. — Я вовсе не хотел посмеяться над вами. Я хотел посмеяться над Брашем.

— Если бы ты тоже был таким воспитанным, как он, ты бы не валял дурака при людях. Мы все здесь... Мы все друзья, вместе едим, вместе... И ты должен вести себя соответственно. Твое поведение не очень хорошо характеризует дом, откуда ты пришел, должна тебе сказать.

— Миссис Крофут, — сказал Браш. — Я уверен, он вовсе не хотел оскорбить ваши чувства. Он чудесный парень, и я ничего не имею против, если он немного пошутит надо мной.

Миссис Крофут медленно уселась на свое место за столом, все еще хмуро поглядывая на Морри. Тягостное молчание воцарилось за столом. Девушки сидели опустив глаза, некоторые из них даже всплакнули, но тут же поторопились вытереть слезы. Но инцидент еще не был исчерпан. Миссис Крофут снова встала и, с чувством глядя на Морри, сказала:

— А ну-ка ответь мне! Что ты имел в виду своей шуткой? Мне не нравятся эти твои шуточки в мой адрес. Мне они не нужны. Не важно, мать я этой девушке или не мать ей. Должна я за ними присматривать или не должна?

Неожиданно тишину прорезал голос Херба, презрительный и твердый:

— Да не лезь ты в бутылку! Кто ты есть, как ты думаешь?

Теперь уже Браш замер на своем стуле, побелев от гнева.

— Херб, — с угрозой сказал он, посмотрев на приятеля, — если ты тоже хочешь выкинуть какую-нибудь шуточку, то учти: я сумею внушить

тебе правила добропорядочности. Я не знал, что ты такой грубиян. Тебе, очевидно, надо еще поработать над своими манерами, прежде чем идти в приличное общество. Извините меня, миссис Крофут, теперь я прошу у вас снисхождения к моему приятелю.

— Все в порядке, мистер Шор, — сказала миссис Крофут, смахнув слезинку и шмыгая носом. — Я просто не ожидала подвоха от такого милого парня, как он.

— Давай-давай! — не унимался Херб. — Чертов простофиля. Давай выйдем за дверь и ты меня поучишь! А я — тебя! Посмотрим, кто кого.

— Ничего не получится, Херб, — с презрением ответил Браш. — Ты же хилый. Табак тебя погубил. Ведь ты уже убедился вчера вечером.

Бэт тоже напустился на Херба:

— Да сядь ты наконец, Херб. Сядь! Мы потом с ним поговорим. Не здесь. Успокойся. Мы с ним потом поговорим.

Юные леди с живейшим интересом наблюдали за перебранкой. На шум из кухни прибежала повариха и стояла в дверях, блестя металлическими зубами. И хотя ссора утихла, в комнате еще чувствовалось напряжение.

Браш хмуро заговорил, ни к кому не обращаясь:

— Я полагаю, даже лучшие друзья, бывает, вздорят между собой. Это вовсе не означает, что они плохие люди. Это означает всего лишь то, что человеческая природа еще недостаточно развита и до идеала, который всегда перед нами, еще далеко. На самом деле я очень люблю Херба, и мне жаль, что я позволил себе разговаривать с ним таким тоном. Я верю: когда-нибудь придет день и люди не будут больше ссориться, потому что, по моему твердому убеждению, мир становится все лучше и лучше. И несмотря на маленькое недоразумение, которое здесь произошло, наша сегодняшняя встреча — лучшее тому доказательство. Я хочу искренне поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня. Моя жизнь проходит главным образом в поездах и гостиницах, и я очень ценю возможность побыть в домашней обстановке. Поэтому я тоже, в свою очередь, хочу сделать что-нибудь для вас. Вообще-то я не люблю ходить по театрам, особенно в воскресенье. Но я думаю, что сегодня должен сделать исключение. Во всяком случае, от этого никому не будет ущерба. Я приглашаю вас всех в кино, это здесь, рядом. Сеанс начнется в четыре часа.

— О, мистер Браш! — воскликнула миссис Крофут. — Это очень любезно с вашей стороны. Девочки, хотите пойти в кино с мистером ...?

— Брашем.

— С мистером Брашем?

Последовал взрыв восторга.

— Очень хорошо. Мистер Браш, сама я не могу пойти с вами, но мои девочки принимают приглашение с удовольствием. Позвольте, я вам кое-что скажу на ухо: мистер Браш, я не хочу, чтобы они вас разорили. Я каждой из них дала карманные деньги. Пусть они платят сами. А вы покупайте билет только себе.

— Но, миссис Крофут, — тихо возразил Браш, — ведь я их *приглашаю*. Я *хочу* платить за них.

— Нет-нет! Я лучше знаю. Все молодые люди вашего возраста стараются поспеть сразу везде и заплатить за всех. Поберегите ваши деньги.

Браш вынужден был подчиниться ее инструкции, и вся юная компания, звеня голосами, повалила на улицу. Его спутницы шли с преувеличенной чопорностью, чуть покачивая бедрами. Они говорили все сразу; каждая из них старалась привлечь к себе его внимание.

Их увлекало все. Они с захватывающим интересом просмотрели какой-то образовательный киножурнал о Кашмирской долине и затем другой — о конгрессе бойскаутов, а затем — о железнодорожной катастрофе. Потом с экрана сказал несколько слов сам президент, и они все согласились, что он очень приятный мужчина. Сам кинофильм был патети-



ческий, и они просто вскрикивали, исполненные счастья и высоких чувств. Носовой платок Браша то и дело требовался то одной его спутнице, то другой. Фильм рассказывал о красивой девушке, которой угрожали опасности, таящиеся в больших городах. Сюжет был полон неизвестности. Сидевшие рядом с Брашем две девушки старались прижаться к нему, и скоро он почувствовал, как вздрагивают в кульминационные моменты их руки на его коленях. Когда Браш отвел девушек домой, каждая из них обвила руками его шею и запечатлела на щеке ярчайшей помадой точный оттиск своих губок. Каждая заявляла, что получила от его общества огромное удовольствие и надеется, что он придет к ним еще. Они будут ожидать.

Браш был настолько переполнен чувствами, что решил подольше погулять, чтобы успокоиться. «Это лишь подтверждает мою давнюю теорию о том, что мир полон добрых людей, — сказал он себе. — Надо лишь знать, где их найти».

Когда он вернулся в пансионат Куини, было почти девять часов. На недавно вымытом, вычищенном верхнем этаже опять царил беспорядок. Вещи были разбросаны, на полу валялись воскресные газеты. Сами обитатели сидели задрав ноги на стол. Настроение у них было неважное.

— Ну что, беби, — сказал Херб. — Кажется, ты неплохо провел время, а?

— Да. А что?

Тут Херб спросил у него о такой непристойности, что Браш замер в удивлении. Все остальные, кто там был, захохотали, с любопытством ожидая, что он ответит. Браш с легким испугом некоторое время смотрел на них.

— Вы мне обещали, парни, не допускать подобных вещей.

— Все обещания потеряли силу, — заявил Херб в ответ.

Браш некоторое время раздумывал над его словами, затем вытащил из шкафа свой чемодан и начал собирать вещи.

— Согласись, ты провел последние два дня просто чудесно, — продолжал Херб с наглой ухмылкой. — Это тебе скажет каждый. Причем с большой для тебя пользой. В субботу ты назюзюкался до такого скотского состояния, что облевал памятник Погибшим на войне, а в воскресенье ты даже привел в восторг целый публичный дом. Великолепно, мой мальчик, просто великолепно!

Браш поднял глаза и долго смотрел на него, но ничего не сказал. Херб еще раз, чуть подробнее, перечислил все подвиги Браша в минувший уик-энд.

— Это неправда, — ответил наконец Браш.

— Неправда? Да ты что, ничего не замечаешь? Ей-богу, ты — лопух и простофиля, каких свет не видывал! Ты такой простак, что даже неприлично.

Не поднимая глаз на своего оскорбителя, Браш прижимал коленом крышку чемодана.

— И что же, это все были... падшие женщины?

— Падшие? — захохотал Херб. — Они такие падшие, что дальше некуда!

— Херб, ты же обещал мне, что все будет без подвохов.

— Все обещания кончились с переходом на летнее время, — объявил Херб. Он перевернул страницу газеты и продолжал чтение.

В комнате стояло молчание. И тут Браш закричал. Он даже вскочил в гневе.

— Это неправда! — кричал он. — Они не такие! Вы сами не знаете, что несете! Я вам говорю, они совершенно нормальные девушки, в этом я никак не мог ошибиться. Вы, парни, не можете судить об этом лучше меня, потому что вы... Послушай, Херб, ведь это неправда?

— И все-таки это правда, — ответил Херб, пробегая газетные заголовки безразличным взглядом.

Браш принялся ходить по комнате взад и вперед. Вдруг он с криком схватил стул и швырнул его в окно. Затрещало дерево рамы, посыпались осколки стекла.

Луи присвистнул.

— Ого! Как неприлично! — сказал он.

Браш замер у окна, устремив глаза на крыши домов.

— Вы, парни, делали вид, будто не знаете, что срок закончился и наш договор не действует. Вы притворялись! Вы притворялись всю свою жизнь. Это несерьезно... Я рад, что мне довелось побывать там, в этом доме, и поговорить с этими девушками... Я рад этому. Огромное вам спасибо.

Херб встал, подобрал свои кальсоны, валявшиеся на полу посреди комнаты.

— Снимай пиджак, — сказал он, — сейчас я с тобой рассчитаюсь. Ну, давай снимай пиджак!

— Я не буду с тобой драться, Херб. Ударь меня, если тебе так хочется.

— Нет, ты будешь драться со мной! — прорычал Херб, надвигаясь на него.

Браш, защищаясь, нехотя поднял руки. Остальные тоже вскочили с места и угрожающе двинулись к Брашу. Они бросились на него, повалили на пол и стали бить. В приступе злобы они пинали его ногами. Потом скинули с лестницы вниз и выволокли на улицу. Луи позвонил в свою больницу, приехала «скорая помощь» и подобрала Браша, лежавшего без сознания на тротуаре.

На следующее утро Куини пришла его навестить. Неловкая, в шляпе и перчатках, она вошла в палату, тревожно оглядываясь. Поймав взгляд Браша, почти целиком забинтованного, она подошла к его кровати, села рядом и посмотрела на него. Браш грустно улыбнулся.

— Вот ваш чемодан и ваш бумажник, мистер Браш. Должно быть, он выпал у вас из кармана. Они сказали, чтобы я отнесла все это вам.

— Спасибо, Куини.

— Вам очень больно, мистер Браш?

— Нет.

— Вы так избиты! Что вы им сделали, что они так озверели? Я знала раньше, что они — дикие ребята, но я не думала, что они способны на такое зверство, мистер Браш.

Браш не ответил.

Куини заплакала.

— Я сказала им, чтобы они забирали свои вещи и уходили. Я сказала, что больше не желаю терпеть ихнего хулиганства в своем доме. Я сказала им, чтобы они немедленно убирались.

— Нет-нет, Куини. Не выгоняй их. Пусть они остаются. Я как-нибудь потом все тебе объясню. — Браш помолчал. — Они что, уже собрали вещи?

— Я им сказала, чтобы они убирались из моего дома, но не думаю, чтобы они очень торопились. Они только сказали, что скоро уйдут и запрут дверь. Но я позволю им остаться, если вы так хотите, мистер Браш. Сейчас такие тяжелые времена, что я не знаю, найду ли кого-нибудь еще. У миссис Кубински, что живет в соседнем подъезде, пустуют целых четыре комнаты с самого августа.

Слезы у нее на глазах уже высохли, и наконец она неуверенно улыбнулась.

— Я вам скажу, вы выглядите несколько забавно с этими заячьими ушами, мистер Браш. Я очень рада, что вы хорошо себя чувствуете.

— В этой больнице работает Луи?

— Да. Я видела его внизу, когда входила сюда. Должна вам сказать, он выглядит как-то непривычно в белых штанах и халате.

— Что он сказал?

— Ох... Только «привет» и больше ничего.

— Когда пойдешь обратно, Куини, скажи ему, чтобы подошел ко мне на минуту.

Они помолчали.

— Как поживает отец Пажиевски?

— Я вам расскажу, мистер Браш. Он снова выглядит хорошо. Забавно: вы так часто спрашиваете о нем, а он спрашивает о вас.

Браш в волнении приподнялся:

— Да? Он спрашивает обо мне?

— Да. Однажды я рассказала ему о вас немного, и он очень заинтересовался вами.

Браш снова лег и уставился в потолок.

— Его уже не беспокоят почки? — спросил он тихо.

— Врачи думают, что у него были желчные камни, которые растворились оттого, что он пил чай с иорданской водой. Миссис Крамер приберегала эту воду для крещения своих внуков, но, наверное, у нее не будет внуков, так что отец Пажиевски получил эту воду.

— Как-нибудь... скажи отцу Пажиевски... что я много о нем думаю.

— Хорошо, я скажу. Может, передать от вас открытку для кого-нибудь, мистер Браш?

— Нет, Куини... У меня никого нет.

Куини ушла. Через некоторое время по палате проходил Луи. Браш свистнул ему. Луи подошел к кровати и, наклонившись, прошептал ему на ухо:

— Извини, спешу. Что ты хотел?

— Присядь на минуту, Луи. Я хочу кое-что спросить.

— Ладно. Только побыстрее. Мне надо идти по делам.

— Луи, скажи мне: что случилось со мной?

— У тебя нет мозгов, вот и все. Бог не дал тебе ума.

— Я знаю, — вздохнул Браш, глядя на Луи. — Ну и что же мне теперь делать?

— Как — что? Берись за ум. Проснись. Осознай.

— Я бы и сам этого хотел. Но только я не знаю, как этого добиться, вот в чем дело. Должно быть, мой случай гораздо серьезнее, чем я думаю, потому что вот уже в третий раз люди вдруг ни с того ни с сего начинают меня ненавидеть. Хотя мозги у меня все-таки есть, потому что в этот ужасный год я получаю по службе одни повышения... И в школе у меня были хорошие оценки.

Луи нагнулся к уху Браша:

— Со временем ты научишься. Я думаю, с годами ты еще найдешь свое место в жизни. Но только держись от нас подальше. У нас свои взгляды и своя жизнь, понимаешь? И нам не нравится, когда нам мешают жить.

— И остальные ребята тоже так считают?

— Да, конечно.

— Ну что ж... Тогда я скажу вам «до свиданья». Но только... Слушай: если вы когда-нибудь перемените свое мнение обо мне и захотите попеть, пошлите мне телеграмму, хорошо? По адресу «Каулькинс и компания».

— Слушай, Джордж, ты спросил меня, что тебе делать. Хорошо, я скажу тебе. Стань таким же, как и все. Научись пить, как и всякий мужик. И оставь других людей в покое. Живи сам и давай жить другим. Каждый человек хочет, чтобы его не трогали. И еще: не бегай от женщин. Ты ведь здоровый парень, верно? Наслаждайся жизнью. Тебе еще жить да жить, поверь мне.

Луи не заметил, как Браш начал медленно подниматься на постели. Но голос Браша вдруг зазвучал в ответ очень громко, поднявшись почти до крика:

— Можешь уходить и больше не приходи! Если я даже стану таким, как и вы, все равно я проживу долго, это я и сам знаю. Может быть, я чокнутый, может быть; но лучше уж быть сумасшедшим, чем таким «ра-

зумным», как вы. Я рад, что я сумасшедший. Я не хочу переделывать себя. Скажи своим друзьям, что я не переменюсь...

— Ладно, ладно, потише, успокойся...

— ...и если они захотят, чтобы я вернулся, то пусть они принимают меня таким, какой я есть!

В этот момент в палату на шум прибежала медсестра со шприцем наготове.

— Он помешался! — воскликнула она, подбегая к Брашу. — Луи, помоги. Его немедленно надо во флигель. Держи его за руки, Луи!

— Я уже спокоен, сестра! — слегка испугался Браш. — Извините, я просто вышел из терпения.

— Вы мне перебудили всех больных! Смотрите, глазают на вас.

— Я только одно скажу, сестра, — горестно ответил Браш и крикнул вслед уходящему Луи: — Если хочешь знать, это не я сумасшедший. Это весь мир сошел с ума. Это все сумасшедшие, а не я, — вот и все. Мир полон сумасшедших!

## ГЛАВА 7

Три приключения разной важности. Проповедник. Медлум. Первые шаги в ахимсе<sup>9</sup>

Выписавшись из больницы, Браш снова принялся раскатывать туда и сюда, словно маятник, между Канзас-Сити и Абилином, штат Техас. В этом заключалась его работа. В Абилине он занимался тем, что часами просиживал в приемных Симмонсовского университета, колледжа Мак-Марри и Абилинского Христианского колледжа. Он посетил Остиновский колледж в Шермане, колледж Бэйлора в Белтоне и Бэйлоровский университет в Уэйко. Он посетил колледж Даниэля Бэйкера и колледж Говарда Пэйна в Дентоне, Райсовский институт в Хьюстоне, Юго-Западный университет в Джорджтауне и университет Троицы в Уаксахачи. Он заглянул в Делхарт и в Амарилло. Он спустился в Сан-Антонио, чтобы посетить «Леди нашего озера»<sup>10</sup>, и в Остин, чтобы предложить свой учебник алгебры в университете Св. Эдварда. Возвращаясь из Оклахомы, он нанес визиты Государственному университету в Нормане, Баптистскому университету в Шоуни, колледжу в Чикаше, Сельскохозяйственному и Техническому колледжам в Стиллуотере. Он сделал крюк в Луизиану и побывал в Пайнвилле и в Растоне; Рождество он провел в одиночестве в Батон-Руж. Штат Арканзас привлек его своими городами Аркадельфией, Кларисвиллем и Аначитой. И везде на своем пути он выбирал те университеты, колледжи и институты, которые занимали стратегическое положение в системе образования и в деле распространения каулькинсовских учебников были способны повлиять на соседствующие малые учебные заведения.

За эти недели с ним произошло немало весьма необычных приключений. Из всего их множества мы выберем только три, которые лучше всего проиллюстрируют стадии внутреннего развития нашего героя.

В поезде, который вез его из Уэйко в Даллас, он развлекал себя чтением учебника алгебры для второго курса, который был недавно утвержден к распространению конкурирующей издательской компанией. Подобное чтение привносило в настроение Браша некоторую тревогу. Он жил в постоянном страхе, что другие издательства могут выпустить учебники лучше тех, которые издавала «Каулькинс и компания», что, конечно же, существенно убавит энергию и ясность слов, которыми он пропагандирует свой товар. Он был уверен, что книги, которые он продает, были лучшими

<sup>9</sup> А х и м с а — одна из этических составляющих древнеиндийской религиозной философии; система правил поведения человека, сводящаяся к непричинению боли, зла или вреда всему живому; вошла во многие древние памятники санскритской литературы (Веды, Упанишады); придала общую этическую окраску буддизму (Будда как провозвестник ахимсы).

<sup>10</sup> «Леди нашего озера» — женский колледж в Сан-Антонио, штат Техас.

книгами в смысле доступности содержания, потому что он сам прочитал их, выполнил все упражнения и сравнил методику этих учебников с методикой учебников, издаваемых конкурентами. В настоящий момент он, к огромному своему облегчению, убедился в том, что доктор Райкер из университета в Вустере, штат Массачусетс, не сумел справиться с проблемой представления отрицательных дробей, понятных даже шестнадцатилетнему школьнику. Доктор Райкер совершенно не умел придумывать доходчивые и ясные примеры и объяснял все тонкости на грубых аналогиях с самолетами и наручными часами. Во всех трудных случаях доктор Райкер просто-напросто ссылался на учебник доктора Каулькинса. Браш с головой ушел в чтение, как вдруг услышал над собой голос:

— Молодой человек, а ты когда-нибудь задумывался всерьез над фактами жизни и смерти?

Он поднял глаза и увидел наклонившегося к нему высокого небритого человека лет пятидесяти, в затасканном полотняном пиджаке. С его шеи на грудь свисал носовой платок, засунутый за ворот рубахи, а руки по локоть были спрятаны в черные нарукавники. У него были белые с желтизной усы и черные холодные глаза.

— Да, — сказал Браш.

Человек отодвинул газету, лежавшую рядом с Брашем, и сел.

— Ты чист пред Богом? Именно сейчас, в эту минуту? — спросил он, протянув свою длинную руку вдоль спинки сиденья и носом едва не ткнувшись в лицо Брашу.

— Да, — ответил Браш, густо краснея. — Думаю, что да.

— Ох, мой мальчик, — сказал незнакомец звенящим, вибрирующим голосом, дохнув зловонием гниющих зубов. — На подобные вопросы нельзя отвечать с такой поспешностью. Потому что никто не может сказать этого про себя наверняка. Спасти свою душу — ох, мой мальчик! — это не так просто, как сделать прививку оспы. Это означает борьбу. Это означает битву. Это означает коленопреклонение!

Он ухватил Браша за пиджак и стал безжалостно комкать лацкан.

— Я вижу, ты все еще барахтаешься в паутине слов и зрелищ. Ты пьешь вино?

— Нет.

— Ты куришь этот мерзкий табак?

— Нет.

Незнакомец понизил голос перед тем, как задать следующий вопрос:

— Тогда ты слишком часто ходишь к дурным женщинам?

— Нет, — ответил Браш, отворачивая свой нос от жуткого смрада.

— Значит, ты наверняка лелеешь похотливые мысли!

Браш не мог больше вынести такого насилия над своим обонянием и закашлялся.

— Да, сэр! — воскликнул незнакомец. — «Позволь тому, который думает, что стоит, остеречься, чтобы он не пал». Твоя беда в том, что ты исполнен гордыни. Ты полон высокомерия. А знаешь ли ты Библию?

— Я читаю ее каждый день.

— Что говорит Послание к Римлянам, глава пятая, стих первый?

— «Итак, оправдавшись чрез веру, мы имеем мир с Богом чрез...»

— Нет! Нет, не так.

— Я... я полагаю, что я сказал правильно.

— Нет. Там написано: «верою!» «Итак, оправдавшись *верою*», а не «чрез веру»!

— Да-да. Я полагаю, что именно так.

— «Я!» «Полагаю!» — передразнил незнакомец, вытащив из недр своего замызанного пиджака Библию и довольно крепко стукнув ею Браша по колену. — Разве так говорят о словах Бога? «Я!» «Полагаю!» — передразнил он еще раз. — О чем говорит Послание к Филиппийцам, глава третья, стих тринадцатый?

— «Братия, я не почитаю себя достигшим; а только...»

— Хорошо. Дальше.

— «...а только, забывая то, что сзади...»

— «Заднее», а не «то, что сзади»!

— «...и простираясь вперед, стремлюсь к цели вышнего...»

— Достаточно. Я не буду спрашивать у тебя четырнадцатый стих: ты его не знаешь. Тебе только кажется, что ты его знаешь. Ты «полагаешь», что ты знаешь его. Твоя беда в том, что ты пустозвон. Ты не знаешь даже начал. Ох, брат, я много встречал страждущих во грехах своих мужчин и женщин, и я хочу заверить тебя, что этого мало — сказать себе: «Я спасен».

Браш стал осторожно искать глазами место подалее от этого типа. А незнакомец, распалась, уже чуть не кричал, размахивая руками:

— Я двадцать пять лет пребывал в винограднике, борясь с дьяволом. Да, мир полон страждущих во грехе братьев и сестер. Но есть путь мира и милосердия. Почему ты не выбрал этот путь? Почему ты не протянул им свою руку вместо того, чтобы коснеть во граде своем, подобно фарисеям...

Теперь он уже стоял во весь рост и обращался ко всему вагону. Браш начал потихоньку двигаться к краю скамейки.

— Бежишь от собственной совести, да? — Незнакомец разгадал его намерение и обратил на Браша гневный взгляд. — Не можешь смотреть правде в глаза, да? Ты достаточно посидел здесь с умным видом, как я понимаю!

Тут на него обрушились с разных концов вагона:

— Эй ты, заткнись!

— Иди спать!

Незнакомец нимало не смутился:

— Братие, ни меч, ни огонь не страшат меня, пока у меня есть Слово!

Выбрав местечко подалее, Браш устроился поуютнее и снова открыл учебник алгебры. Он был весь красен, сердце его сильно билось. В другом конце вагона новоявленный пророк среди назревающей бури негодования всех пассажиров продолжал громогласно бичевать людские пороки, используя Браша как наглядный пример нравственного малодушия. Он принялся расхаживать туда и сюда по всему вагону, огрызаясь на насмешки своей невольной паствы. Браш, дрожа от волнения, наконец вскочил и, когда самозванный проповедник подошел к нему совсем близко, схватил его за руку и грубо втолкнул в свой угол, заставив сесть.

— Вы им не поможете, обзывая их сумасшедшими, — сказал он, усаживаясь напротив.

Проповедник с горящим взором продолжал метать громы и молнии, но полемический задор его начал угасать; он успокоился и лишь ворчал и что-то бормотал сердито себе под нос.

Дождавшись, когда он умолкнет совсем, Браш сказал:

— Можно, я кое о чем вас спрошу?

— Брат, я здесь для того, чтобы помочь тебе, — с достоинством ответил проповедник.

— У вас есть своя церковь?

— Нет, брат мой. Я странствую, свидетельствуя о Боге.

— Вы для своих проповедей ставите палатку?

— Нет. Я помогаю своей труждающейся братии прямо на улице. Иногда я выступаю и в церквях, где пустят.

— А на что же вы живете?

Проповедник повернул свою крупную голову и с крайним неудовольствием посмотрел на Браша.

— Станный вопрос. Вообще-то это не твое дело, брат мой.

Браш с суровым видом в свою очередь воззрился на него.

— Однако, — продолжал собеседник, — я отвечу тебе. Господь милослив. Он не дает погибнуть верному рабу своему, так что в этом отношении, сэр, будьте спокойны. Он смягчает людские сердца на моем пути. Ты

хочешь спросить: «А деньги?» ...Что есть деньги? Брат, я не верю в праведность денег. От Матфея, глава шестая, стих двадцать пятый. В настоящую минуту, мой мальчик, только один-единственный доллар отличает меня от птиц небесных, — сказал он, пошарил в карманах и вытащил две мятые бумажки. Это оказался льготный двухдолларовый железнодорожный билет для лиц духовного звания и замусоленное письмо, адресованное «его преподобию Джеймсу Бигелу».

— Извиняюсь, два доллара отличают меня от птиц небесных. Но разве я страшусь? Нет! Я живу постом и молитвой. Псалом тридцать седьмой, стих двадцать пятый...

— У вас есть семья?

— Конечно, мой мальчик, у меня есть жена, благородная женщина, и шестеро очень милых детей.

Вскоре, однако, выяснилось, что жена доктора богословия Дж. Бигелу живет в Далласе и работает в отеле прачкой. О своих детях доктор Бигелу сначала сказал, что они учатся в школе и получают одни пятерки. Но потом выяснилось, что двое старших уже давно сбежали из дому и о них ни слуху ни духу, еще одного призвали на службу в военно-морские силы, одна дочь прикована к постели болезнью, а остальные двое ходят в школу и учатся из рук вон плохо.

После расспросов Браша самоуверенность доктора Бигелу в значительной мере поубавилась. Когда они прибыли в Даллас, Браш сунул ему руку на прощанье и оставил его.

Другое приключение подобного рода произошло в Форт-Ворсе. Браш совершал обычный вечерний променад по жилому району города, приготавливаясь к длительному сидению в Публичной библиотеке за чтением своей любимейшей книги — «Британской энциклопедии», как вдруг в одном из окон старого кирпичного многоквартирного дома, мимо которого он проходил в этот момент, увидел любопытное объявление:

### СПИРИТИЧЕСКИЕ СЕАНСЫ

Медиум — миссис Элла Мак-Манус.

Вторник и пятница по вечерам

или

по назначению.

50 центов.

Как раз была пятница и был вечер. Браш в колебании побродил еще немного по улице. За углом дома, уже в другом окне, но, очевидно, принадлежавшем все той же квартире, он увидел другое объявление, гласившее:

### ЛЕЧЕНИЕ

варикозного расширения вен.

Бесплатная консультация.

В конце концов он решил войти. Его провели в тесно заставленную мебелью гостиную, где уже сидели несколько посетителей, главным образом весьма молодые женщины. Вошла миссис Мак-Манус и коротко представилась гостям. Это была невысокого роста крепкая женщина важного вида и с тяжелым, как показалось Брашу на первый взгляд, характером. После продолжительного и скучноватого разговора о погоде всю компанию препроводили в столовую и усадили за пустой стол, заставив всех положить руки перед собой ладонями вниз. Свет погас; спрятанный, очевидно, за шторой, граммофон заиграл «Четки». Тут же миссис Мак-Манус

начала сильно дрожать, а индейский вождь по имени Высокий Маис через ее губы обратился с приветствием ко всей честной компании. Он начал с весьма волнующего описания потустороннего мира, сопроводив свою речь несколькими энергичными словами в адрес земных душ, наставляя их в мужестве и терпении. Покончив с приветствием, он постучал — скорее всего пальцами миссис Мак-Манус — по столу, швырнул через всю комнату невесть откуда взявшийся тамбурин и сдернул со стены картину в довольно тяжелой раме. Пока гости приходили в себя от грохота, произведенного падением картины, он предложил задавать любые вопросы, на которые собирался отвечать независимо от их сложности. Миссис Мак-Манус, предварительно разузнавшая имена и даты рождения посетителей, попросила каждого из них передать ей какую-нибудь личную вещь — для лучшего контакта с миром духов, объяснила она. Она взяла наручные часы, принадлежавшие соседке Браша справа, миссис Кауфман, и, с жаром прижимая их к своей довольно объемистой груди, стала творить чудеса самым убедительным образом, называя по именам каждого из толпы покойных родственников, указывая места, где таились давно пропавшие вещи, и раздавая советы самого интимного свойства. Потом одна вдова пожелала услышать хотя бы несколько слов от своего мужа. В ответе для нее говорилось, что он устроился вполне прилично. Но вдова так бурно разрыдалась, что едва ли была в состоянии произнести хоть слово в благодарность духу Высокого Маиса и самой миссис Мак-Манус.

Браш сидел опустив голову и хмурил брови.

Тут очередь дошла и до него. Миссис Мак-Манус спросила:

— Не хотите ли задать вопрос о чем-нибудь, мистер Браш, сквозь таинственную завесу, временно разделяющую живых и мертвых?

Поколебавшись немного, Браш сказал:

— Я хотел бы кое-что передать Дуайту Л. Моуди<sup>11</sup>.

Последовала долгая пауза. Молчание нарушила миссис Мак-Манус, на этот раз прерывистым заносчивым голосом, еще более басовитым, нежели голос Высокого Маиса. Мистер Моуди отвечал, что он совершенно счастлив.

— «О да, вполне счастлив! Там, где я нахожусь, полный покой. Такой покой, какого на Земле не сыскать». Может быть, вы спросите о чем-нибудь мистера Моуди? — добавила от себя миссис Мак-Манус.

Браш мрачно смотрел прямо перед собой и ничего не отвечал.

— О, тут поступило новое сообщение от мистера Муди! — с воодушевлением воскликнула миссис Мак-Манус. Он говорит: «Браш, береги здоровье». Ага! Вот, кажется, он хочет сказать вам, что кто-то вас любит... Я думаю, это женщина... Да, я права. Ее имя начинается на «М»... Да, на «М». Кто бы это мог быть? Вы не знаете?

— Нет! — мрачно отрезал Браш.

— Знаете что, наверное, ее имя все-таки начинается на «Р». Пожалуй, так будет вернее. Он говорит: «Не торопись с нею, а то все испортишь». Теперь относительно денег. Копи или вкладывай в надежное дело, говорит он. Одну минутку: он говорит — я думаю, наши общие друзья не будут возражать против того, чтобы я повторила это сугубо личное сообщение? — заранее извинилась миссис Мак-Манус. — Итак, он говорит, что в вашу жизнь позже войдет одна женщина... скорее всего блондинка... вам следует внимательнее присмотреться к ней и понять, станет ли она для вас настоящим другом. Он говорит: тщательнее выбирай слова, когда пишешь письма. Все, он уходит. Нет! Он советует на прощанье укрепиться духом. Он ждет вас к себе. Это недолго, говорит он, потому что там у них сотня-другая лет подобны минуте.

Она вопросительно посмотрела на Браша.

— Если это и был кто-нибудь, — угрюмо заявил Браш, — то только не Моуди, которого я знаю. Я имею в виду Дуайта Л. Моуди.

<sup>11</sup> Моуди Дуайт Лаймен (1837 — 1899) — американский евангелист-проповедник.



— Я надеюсь, что Высокий Маис все-таки не ошибся, — заметила миссис Мак-Манус с легкой обидой. — Конечно, этих самых Муди перемерло уже тысячи и тысячи, но...

В этот момент в гостиной зазвонил телефон.

— Будьте любезны, миссис Кауфман, поднимите трубку, — попросила миссис Мак-Манус сонным голосом. — Скажите, чтобы позвонили немного позже.

— Миссис Мак-Манус в потустороннем мире, — с гордостью доложила в трубку миссис Кауфман. — Она просит вас позвонить немного позже.

Некоторое время она внимательно слушала, затем, понизив голос, сказала:

— Не сейчас! Только не сейчас! Вы что, не понимаете?.. Сначала теплой, потом холодной. Да. И нисходящий массаж. Не восходящий! Нисходящий! Да. Да.

Вернувшись на свое место, миссис Кауфман почтительно сообщила миссис Мак-Манус:

— Этот джентльмен сказал, что позвонит позже.

Браш сидел с разочарованным видом.

Спиритический сеанс кончился, все встали, задвигались, доставая свои пятидесятицентовики и с чувством благодаря миссис Мак-Манус. Браш встал и направился к выходу.

— Сожалею, но я не могу заплатить вам за этот сеанс, миссис Мак-Манус, — заявил он решительно.

— Что вы хотите сказать? Что вы мне не заплатите за работу? — вскричала миссис Мак-Манус, густо покраснев и следуя за ним по пятам.

— Я хочу сказать, что у меня, конечно же, есть деньги, но я не стану вам платить, потому что вы не заработали. Если вы назовете мне церковь, в которую вы ходите, я с удовольствием перешлю туда эти полдоллара. Ну а вы их не получите, потому что вы их не заработали.

— Постой-ка! — воскликнула она, подскочила к двери, лязгнула задвижкой и загородила дверь спиной. — Девочки! Подождите минутку, послушайте, что он говорит.

— Я не стану платить за мошенничество, миссис Мак-Манус. Это нечестно.

— Ты сказал, что я мошенничаю?!

— Миссис Мак-Манус, вы же сами прекрасно все понимаете. Я вовсе не тянул за язык миссис Кауфман, когда она разговаривала по телефону. Я все понял. Она старая ваша приятельница. И потом, вся эта ваша галиматья относительно Дуайта Л. Моуди... Я не стану платить за шарлатанство.

Миссис Мак-Манус обернулась к миссис Кауфман.

— Кора! Звони в полицию, — мрачно приказала она. — Если вы, мистер Браш или как вас там, попытаетесь скрыться, я закричу так, что сюда сбежится весь дом! Постой, Кора! Не надо. Я сама позвоню. Все! Уже поздно! Вам отсюда не убежать, молодой человек. Я подам на вас в суд за все, что вы натворили. Я сразу поняла, что он бездельник. Сидит здесь, понимаете ли, со своей идиотской физиономией! Мне сразу показалось подозрительным: такой здоровый бугай ходит в такие места, на такие встречи вместо того, чтобы заниматься своим делом. Как только он вошел, я сразу же себе сказала: это — бездельник! И твой Муди тоже! Но погоди, я покажу тебе, как оскорблять честных женщин!

— Я требую, чтобы вы позвонили в полицию, миссис Мак-Манус, — заявил Браш, не реагируя на ее воинственный тон. — Там разберутся и сумеют оградить людей от ваших проделок!

При этих словах миссис Мак-Манус распахнула дверь и величественно отступила в сторону, освобождая дорогу.

— Вон отсюда! — воскликнула она. — И чтобы духу твоего здесь больше не было! Девочки, запомните его хорошенько. Если я снова увижу, что вы слоняетесь здесь, я сдам вас в полицию, кто бы вы ни были. Посмотрите на него хорошенько. Запомнили?

— Да, — нестройно ответили перепуганные девушки.

— Я тут, понимаете ли, честно делаю свое дело... Как умею, в пределах своих способностей... А этот паршивый скептик, этот атеист... Потому что не иначе как он — атеист! Я в этом уверена...

Но Браш не спешил уходить. Он стоял на пороге в глубокой задумчивости, остановив взгляд на миссис Мак-Манус. Наконец он медленно сунул руку в карман и вытащил свой пятидесятицентовик.

— Пока я тут стоял, — произнес он раздельно, — я решил, что после всего, что вы тут нагородили, я должен вам заплатить. Но я не понимаю, как вы можете, миссис Мак-Манус! Я не понимаю, как могла прийти вам в голову такая мысль — вытворять подобные штуки? Я не понимаю, как человек может так долго лгать. Я полагаю, это может делать только тот, кто...

— Не нужны мне ваши деньги! — взвизгнула миссис Мак-Манус.

Браш положил монету на стол и сказал, впрочем, больше для себя:

— Я вижу, мне надо еще многое понять.

Он попрощался с каждой из девушек по имени и вышел на улицу. Он неторопливо брел по окраине Форт-Ворса, раздумывая о случившемся.

Третье приключение произошло с ним в штате Арканзас, в маленьком городке с интригующим названием Пекин. Как-то вечером Браш позвонил Греггам, с которыми познакомился еще в прошлый раз, когда был в этом городишке по делам. Он приехал к ним как раз в тот момент, когда младшие члены семьи Греггов собирались идти на вечернее собрание в воскресную школу. Естественно, он принял приглашение пойти с ними. Итак, Браш и Луиза Грегг отправились в школу, зайдя по дороге к мисс Симмонс, учительнице английского языка, у которой Луиза училась еще в первом классе. Мисс Симмонс оказалась жизнерадостной пожилой леди, сразу же выказавшей такое расположение к Брашу, что ему стало неловко. Их путь пересекал железнодорожную линию, приблизившись к которой они увидели ярко освещенные окна и широко открытые двери воскресной школы, стоявшей на холме. Была ясная лунная ночь, и все трое остановились перед путями, любуясь красными и зелеными огнями дальних и ближних железнодорожных семафоров. Тихину летнего вечера нарушали чьи-то грубые голоса, во всю свою молодую мочь горланившие какую-то залихватскую песенку. Вскоре из темноты выделились три высокие фигуры.

— Давайте обойдем их, — предложила мисс Симмонс. — Это те самые братья Кронины.

Парни узнали свою прежнюю учительницу и начали приглушенно вставлять в свое пение не слишком пристойное прозвище, которое прилипло к ней еще тридцать лет назад.

— Добрый вечер, Билл. Добрый вечер, Фред и Джарвис, — громко сказала еще издали мисс Симмонс.

Они ответили насмешливо и вразнобой:

— Добрый вечер, мисс Симмонс!

Но вдруг, вспомнив о недавнем своем освобождении от многолетней и ненавистой школьной лямки, они осмелели и принялись фальшивыми голосами обзывать друг друга, передразнивая манеры мисс Симмонс, кривляясь и обезьянничая.

Браш подошел к ним ближе и переменившимся голосом произнес:

— Сейчас же извинитесь перед нею!

— Чего?! — насмешливо спросил Билл Кронин, уперев руку в бок.

Мисс Симмонс позвала его:

— Ох, мистер Браш! Не связывайтесь с ними. Они всегда были грубиянами.

— Того! — сказал Браш. — Немедленно извинись перед мисс Симмонс.

Билл Кронин, нахально глядя ему в глаза, отпустил еще одно непечатное словечко, теперь уже по адресу Браша. Тут Браш, широко раз-

махнувшись, треснул юного нахала по уху с такой силой, что тот брякнулся наземь и несколько секунд оставался без движения. Двое других тут же отскочили на несколько шагов и смотрели на лежащего брата. Билл застонал, перевернулся со спины на грудь и с трудом встал на четвереньки.

— Извинись перед мисс Симмонс, — повторил Браш. — И вы тоже!

Билл Кронин забормотал, запинаясь, извинения; двое других понуро вторили ему.

Браш вернулся к своим спутницам.

— Я прошу меня простить за эту неприятную сцену, но... — произнес он смущенно.

Мисс Симмонс чуть не впала в истерику.

— Ужасные ребята! Они всегда были ужасными детьми. Ох, мне надо сесть, — простонала она ослабевшим голосом.

Она опустилась на каменное ограждение. Браш принялся махать своей шляпой ей в лицо. Оглянувшись через плечо, он посмотрел на Кронинов.

Билл все еще сидел на земле, не в силах подняться. Братья о чем-то шептались, склонившись над ним. Потом они подняли его и, подхватив под руки с обеих сторон, шатаясь, повели в сторону города.

— Мне уже лучше, — сказала мисс Симмонс.

— Может быть, мне сходить за машиной? — спросил Браш.

— Нет-нет, не надо! Мне уже лучше.

— Тогда, прошу прощения, я на минуту... — сказал Браш.

Он поспешил к Кронинам, которые, добравшись до платформы у пакгаузов, отдыхали на скамейке.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он приблизившись. — Я вовсе не хотел тебя покалечить.

Братья молчали, избегая его прямого взгляда.

— Я и сам не люблю драться, — продолжал Браш. — У тебя ничего не сломано? Голова не болит?

Братья не отвечали ни слова. Лежавший на скамье Билл Кронин с трудом сел, опустив ноги на землю; двое других, подставив ему под руки свои узкие плечи, подняли его и, спотыкаясь, повели прочь.

— В конце концов, — не унимался Браш, — это очень неприлично — так выражаться о мисс... мисс — как ее по имени? Вы сами понимаете, что так делать нельзя. Может быть, пожмем друг другу руки и кончим с этим, а, Кронин?

Билл Кронин мотнул головой, что-то невнятно пробормотав, и шествие продолжалось.

— Если врач предъявит счет, я оплачу, — крикнул Браш им вслед. — Мой адрес узнаете у Луизы Грегг.

Когда Браш вошел в здание школы, его встретили с шумным восторгом. Мисс Симмонс, едва оказавшись в стенах родной школы, хлопнулась в обморок, а придя в себя, несколько раз пересказала всю историю.

— Давно пора проучить этих невеж! — слышались возгласы из окружавшей ее толпы учителей и школьников. — Это самые отъявленные хулиганы во всем городе. Старший уже побывал в колонии и теперь напрашивается туда еще разок!

Браш молча принял дань восхищения. Его щеки слегка покраснели. Сам священник не мог оставить без внимания рыцарский поступок Браша. Часом позже, во время перерыва с закусками, он произнес короткий спич, назвав Джорджа Браша истинным джентльменом.

— Мистер Браш, может быть, вы скажете нам несколько слов? — завершил он свое выступление.

Глубоко тронутый, Браш встал, устремив одухотворенный взгляд на люстру в другом конце зала. Он так глубоко задумался, что казалось, он позабыл, где находится. Наконец он произнес:

— Если мне позволят высказаться, то я не стану противоречить словам его преподобия. Но я и теперь размышляю обо всем, случившемся там, на улице. И должен сказать: я весьма сожалею, что мне пришлось это сделать. На самом деле я — пацифист и принципиально против того, чтобы человек бил человека. Ведь это самое простое, что можно сделать! И теперь, услышав, что Кронин побывал в заключении, я сожалею о своем поступке еще больше.

— Но... но мистер Браш! Этот парень нахамил мисс Симмонс. Я так понял, что все его слова имели целью оскорбить ее.

Браш, не сводя глаз с люстры, заговорил медленно и веско:

— Это очень тяжело — судить о таких вещах абсолютно справедливо. Я полагаю, что мы должны позволить ему оскорблять ее...

Не обращая внимания на онемевших слушателей, потрясенных его последними словами, он продолжал:

— Видите ли, мистер Форрест, суть моей теории в следующем: если каждый человек будет хорошо обращаться с оскорбившим его плохим человеком, то этот плохой задумается и со временем исправится. Вот в чем суть моей теории. Собственно, эта идея принадлежит Махатме Ганди.

Мистер Форрест рассердился:

— Когда оскорбляют женщину, мистер Браш, настоящему джентльмену даже в голову не придет рассуждать о теориях. Вы знаете, что мы все думаем об отношении к женщинам здесь, на Юге.

Браш перевел взгляд на священника.

— Ну что ж, я думаю, что мир выбрал не лучшую дорогу и мы вынуждены все открывать заново, — произнес он с силой в голосе. — Я считаю, что все идеи, заполняющие наши умы, являются ложными. Я пытаюсь начать все с самого начала.

Он повернулся к Луизе Грегг и сказал:

— Сегодня я ударил человека, и потому я не достоин вашего общества. Я не могу остаться среди вас. До свиданья. Доброй ночи, Луиза, я думаю, что мне лучше уйти.

Он взял в гардеробе свою шляпу и вышел на улицу. Перейдя железнодорожный путь, он остановился недалеко и долго стоял в ночной темноте, погруженный в глубокое раздумье обо всем случившемся.

Перевел с английского А. Гобузов.

*(Окончание следует.)*



---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. БОРОВОЙ

\*

## МОЙ ЧЕРНОБЫЛЬ

*Чернобыль...*

*Пишем и говорим, говорим и пишем. Свидетельствуем.*

*Мне из свидетельств наиболее значительными представляются работы Гр. Медведева «Чернобыльская тетрадь» и Алы Ярошинской «Чернобыль. Совершенно секретно».*

*Но свидетельства получаются если уж не противоречивыми, так все-таки разными. Почему так?*

*Потому, что разные это люди — свидетели. Потому, что свидетельствуют они по-разному. Один, к примеру, инженер — проектировавший и строивший Чернобыльскую АЭС, участвовавший в ликвидации аварии, на этой ликвидации он заболел, долго лечился. Другая подняла засекреченные правительственные документы — очень важное дело!*

*И долго еще будем мы и весь мир судить о Чернобыльской аварии, грандиозной, поучительной, судьбоносной — эпитеты тут любые.*

*Для «Нового мира» с его экологическим уклоном — это все «его» материал.*

*И записки А. Борового — опять-таки наш материал.*

*Записки эти спокойны, неторопливы, инженерны. Послеаварийный Чернобыль (это уже много лет) для Борового — повседневность, его место работы, его «контора».*

*Вчитайтесь. Из этой простоты еще раз глянет на вас величайшая в мировой истории катастрофа, которая, не в пример многим другим катастрофам, все еще историей не стала, это — современность, та самая, в которой мы живем. В которой предназначено жить нам, нашим детям и внукам.*

*Сергей Залыгин.*

## ПРЕЛЮДИЯ

**«Р»**акета», небольшое судно на подводных крыльях, отошла от пристани и двинулась вверх по Днепру. Стоял теплый летний день, и на берегу хорошо были видны церкви и монастыри. Скамейки на «Ракете» были затянуты белым материалом, а сверху закрыты полиэтиленом.

Почти сразу же все стали переодеваться в полученную на берегу одежду: нитяные носки, солдатское белое белье, защитного цвета рабочие костюмы. Каждому выдали и по два плоских конверта — внутри их «Лепестки», легкие респираторы, закрывающие нос и рот специальной тканью, называющейся всюду по имени своего изобретателя — тканью Петрянова. Чтобы надеть «Лепесток» правильно, нужна либо хорошая инструкция, либо живой пример. В противном случае обязательно наденешь его плохо, и безопасность дыхания будет существовать только в твоём воображении. Никто, конечно, никаких инструкций нам не дал, и надевали респираторы кто как мог. Еще долго я не умел им пользоваться, а научившись, десятки, если не сотни, раз пытался научить других, особенно молодых солдат, сбивавших радиоактивный бетон отбойными молотками среди густой пыли.

А еще через два года, когда внутри разрушенного блока началась непрерывная война с плутониевой пылью, я смог уже достаточно квалифицирован-

но обсуждать наши нужды со знаменитым академиком, изобретателем ткани, и даже получил от него книгу с дарственной надписью...

Одевшись, сидели на своих местах почти без разговоров, а если и говорили, то шепотом.

«Ракета» подошла к устью Припяти, миновала пришвартованные к берегу суда, служившие жильем для рабочих, и причалила к пристани. С капитанского мостика объявили: «Добро пожаловать в Чернобыль!»

\* \* \*

У каждого из нас свой Чернобыль. Миллионы человеческих жизней были втянуты в водоворот этой трагедии, и каждая жизнь преломилась и исказилась по-своему. Я совершенно не представляю, насколько мое восприятие Чернобыля будет понято и принято другими людьми. Но вечное человеческое желание поделиться опытом, знанием, похвастаться иногда — называйте это как хотите, — это человеческое желание, возрастающее с годами, по мере приближения к зоне вечного молчания не дает мне покоя.

\* \* \*

В прелюдии к музыкальному произведению возникают и исчезают мотивы, которые потом найдут свое место и свое звучание, объединившись, в основной части. А перед моими глазами встают отдельные картины прошлого. И я постоянно перебираю их, пытаюсь сложить вместе.

У одних событий тысячи свидетелей, у других — свидетелей уже не осталось. Кроме меня.

Одна картина сменяет другую.

\* \* \*

Осень. На втором этаже в кабинете председателя Правительственной комиссии Бориса Евдокимовича Щербины (Б. Е., или Председатель, как мы его называем) он и академик Легасов. Несколько минут назад Легасов спустился в наш штаб — маленькую комнату с тремя столами — и привел меня к Председателю. Последний не теряет времени на предисловия:

— Вы в курсе того, что радиация над развалом увеличилась в четыре раза? Сегодня пилоты вертолета это зарегистрировали.

И ваши физики зафиксировали подъем температуры в нижних помещениях, под взорванным реактором.

И на площадке активность фильтров, сквозь которые прокачивают воздух, в десятки раз возросла.

Складывается впечатление, что в блоке началась неуправляемая цепная реакция. Давайте выясните причину. Быстро и доказательно.

Времени могу дать — два часа. Не выясните точно, что это не ядерная опасность, будем объявлять тревогу и выводить людей с площадки. Сегодня у нас тысячи людей там работают. Времени больше дать не могу.

\* \* \*

Перед глазами возникает кабинет Валерия Алексеевича Легасова, академика Легасова, члена Правительственной комиссии, заместителя директора самого известного института в стране — Института имени Курчатова.

Хозяина в нем нет. Несколько дней назад он покончил жизнь самоубийством.

Меня просили проверить его бумаги и вещи на радиоактивность, прежде чем передать семье.

Подношу счетчик к вещам на столе. Он начинает стучать. Стучит быстро, как сердце ребенка.

\* \* \*

— Японцы — молодцы. Сделали музыкальный дозиметр, никакого тебе треска, льется музыка, все громче и громче.

Кто-то из угла:

— Хорошо бы сначала марш Мендельсона, который плавно переходит в марш Шопена.

\* \* \*

Одна, вторая, сотая картина. Не могу сдержать все это в себе. И, воспользовавшись удобным поводом, о чем расскажу уже в конце, я сел за эти заметки.

### Тяжесть первых решений

Я собираюсь писать, опираясь на собственную память, говорить о событиях, прошедших перед моими глазами, и передавать мои собственные впечатления о них. Эти записки не претендуют на полноту описания Чернобыльской трагедии.

Очень хотелось бы избежать описания событий, участником которых не был. Но иногда без этого оказывается невозможным понять нашу работу.

\* \* \*

В ночь на 26 апреля 1986 года, в 1 час 23 минуты, ошибки персонала, работавшего на 4-м блоке, помноженные на ошибки конструкторов реактора РБМК (реактор большой мощности канальный), привели к самой крупной из аварий, которые знала атомная энергетика.

Об этой апрельской ночи написано очень много. Я видел десятки книг, брошюр и статей и подозреваю, что это даже не половина из написанного. Разговаривал я и со свидетелями, работниками станции, но уже несколько месяцев спустя после аварии, так что их рассказы от частых повторений приобрели несколько заученный характер.

Меня интересовали не «прокурорские» вопросы, а выяснение человеческой реакции, человеческого поведения в столь экстремальных условиях.

Общая картина складывалась такой. В подавляющем числе случаев рядовые сотрудники проявили после аварии высокое мужество и хорошую квалификацию. Они понимали, что произошли события с чрезвычайно тяжелыми последствиями, но для оценки истинных масштабов аварии информации еще, конечно, не имели.

Руководители различных уровней (и чем выше уровень, тем это сильнее проявлялось) старались истолковать поступающие сведения в максимально успокаивающем духе. Тем самым они не столько препятствовали распространению паники (как часто говорили потом), сколько искажали объективную картину страшных событий.

Люди, многие из которых позднее также проявили личное мужество, не имели достаточно мужества гражданского, чтобы сказать начальству правду. Продолжал работать 3-й блок, находящийся в том же здании, что и аварийный 4-й, продолжала работать приточная вентиляция на 1-м и 2-м блоках, постепенно наполняя помещения радиоактивными аэрозолями. Все больше людей на станции попадали под действие радиоактивного излучения.

Настало утро, а затем и день 26 апреля. При дневном свете стали отчетливо видны те разрушения, которые произошли на 4-м блоке.

Кровля здания, где помещался реактор, перестала существовать. Часть рухнувших стен образовала завал с его северной стороны. В развалины превратились и верхние этажи корпуса, примыкающего к зданию реактора. Во многих местах проломлена и сгорела крыша машинного зала, где размещались турбогенераторы.

На площадке вокруг блока, на кровлях ближайших построек валялись выброшенные взрывом конструкции активной зоны, графитовые блоки и части урановых сборок. Трудно описать эту картину, простое перечисление затронутых аварией конструкций занимало десятки страниц.

Но даже не вид страшных разрушений вызывал наибольшую тревогу, а столб пара и дыма, поднимающийся из развалин. Вместе с этим дымом в атмосферу выбрасывалась радиоактивная пыль, и, как довольно скоро стало из-

вестно, речь шла о тысячах и даже о десятках тысяч кюри в час. Миллионах кюри в сутки.

А это означало, что речь шла и о десятках тысяч квадратных километров загрязненных территорий, и о сотнях тысяч искалеченных людских судеб.

\* \* \*

В этой тяжелейшей обстановке к вечеру 26 апреля начала свою работу Правительственная комиссия (ПК). От нее ждали немедленных и действенных решений — по представлениям того времени, ждали почти чуда. Но в технике чудес не бывает, а быстрота и действенность принятия решений не могли не зависеть от объективных и субъективных причин.

К первым относились разрушения и огромные радиационные поля внутри и около 4-го блока. Мощность дозы в этих полях измерялась тысячами и десятками тысяч рентген в час. Они не давали возможности подойти к развалу реактора, войти во внутренние помещения, выяснить местоположение и состояние находившихся ранее в реакторе почти двухсот тонн ядерного топлива. Огромная радиоактивность была накоплена в нем за два с половиной года работы реактора 4-го блока.

Было еще много и много других причин, не позволяющих принимать быстрые решения, в том числе отсутствие нужных приборов и средств защиты. О том, насколько непригодными в условиях такой аварии оказались имеющиеся технические средства, можно написать отдельную книгу.

Но не меньше было и субъективных трудностей, особенно на первых порах. К ним следует отнести уже отправленные сообщения, преуменьшавшие масштаб аварии, ожидание руководством ведомства и страны немедленных успехов и бодрых рапортов, много лет пропагандируемое утверждение, что наши реакторы полностью безопасны.

— Реакторы не взрываются, — ответил министр, когда ему позвонили этой ночью.

Сотни неотложных вопросов требовали решения. Надо было выделить из них главные и правильно их сформулировать. Что касалось ядерного топлива, то оно грозило сразу тремя видами опасности:

- ядерной,
- тепловой,
- радиационной.

Ядерная опасность — это возникновение цепной реакции (СЦР). Но уже не управляемой человеком, как в реакторе, а самопроизвольной.

Насколько опасны были бы последствия возникновения в разрушенном блоке цепной реакции?

В течение долгого времени их опасность преувеличивалась, продолжает она преувеличиваться и по сей день. Вначале — в силу недоверия к заявлениям специалистов (сам факт Чернобыльской аварии никак не способствовал укреплению этого доверия), а позднее из-за личных интересов и влияния сообщений средств массовой информации.

Слова «ядерная опасность» у обычного человека прочно ассоциируются с ядерным взрывом. Гигантская по своей силе вспышка света, ударная волна, переворачивающая танки, как спичечные коробки, Апокалипсис. Ничего похожего внутри 4-го блока ученые не ожидали. При возникновении СЦР топливо нагреется, разрушится, вода испарится и реакция остановится. Опасность при этом представлял бы выброс радиоактивности, наработанной за время существования такого «самостийного» реактора. Но, по всем оценкам, этот выброс не шел ни в какое сравнение с выбросом при самой Чернобыльской аварии. Он был бы в тысячи раз меньше. Так говорили специалисты-ядерщики. Но, загипнотизированные огромной бедой, члены Правительственной комиссии не очень-то им верили.

Поэтому в первый день после аварии предприняли ряд попыток измерить потоки нейтронов у развала блока; предполагалось, что их большая величина может служить указателем того, что реактор продолжает неуправляемую работу



С риском для жизни такие измерения вблизи развала реактора пытались провести и член Правительственной комиссии академик В. А. Легасов.

\* \* \*

Много месяцев спустя, сидя в маленькой комнате, почти полностью занятой тремя столами, шкафом и сейфом, он неожиданно рассказал об этом эпизоде. Академик привел его как пример того близкого к аффекту состояния, в котором оказались люди, впервые понявшие масштаб уже произошедшей аварии и размеры надвигающегося бедствия.

— Я схватил первый попавшийся детектор, сел за руль и поехал на станцию, стремясь попасть как можно ближе к разрушенному реактору, — рассказывал Легасов. — Если бы я не был в таком состоянии, то сразу бы понял, что этот детектор не годится. Он просто захлебнется в огромных полях гамма-излучения и не сможет показать, есть нейтроны или их нет. Понял поздно, когда уже находился у развала. А нужного прибора у нас тогда не было, не с чем было ехать.

— И с хорошим прибором не надо было ехать, — неожиданно для самого себя говорю я из своего угла. — Невероятно, чтобы цепная реакция длилась сколько-нибудь долго. Все нагреется и развалится. Да и последствия несравнимо меньше, чем от аварии.

Легасов, в Чернобыле обычно очень терпеливый и корректный, резко замолкает, сдерживается, но дня три со мной не разговаривает.

Гораздо позднее я узнал, что в этой поездке наш руководитель получил дозу, которая почти неминуемо приводит к началу лучевой болезни.

Я не успел извиниться перед ним за мои непрошенные поучения.

\* \* \*

Так же как и ядерная опасность, страх вызывала и тепловая — так называемый «китайский синдром». Название это, почерпнутое из одноименного американского кинофильма, указывало на то, что раскаленное за счет остаточного, распадного тепловыделения ядерное топливо начнет одно за другим прожигать перекрытия здания реактора, опускаться вниз, достигнет грунтовых вод и загрязнит их.

Наконец, радиационная опасность — вот она, с каждым часом, с каждым выбросом дыма эта опасность становится больше, радиоактивность загрязняет все новые территории.

Бессонная ночь в Чернобыле, бессонная ночь в Москве, в Киеве...

Что делать?

### **Куда попали сброшенные материалы**

На видеокассете, пролежавшей несколько лет в закрытом архиве и только недавно ставшей доступной для просмотра, можно увидеть вертолет, приближающийся с северо-востока к разрушенному блоку. Хриплый, усталый голос невидимого нам человека кричит: «На трубу! На трубу! До объекта сто метров, пятьдесят, тридцать, сброс! Давай! Передержал...» — и далее уже крутые русские выражения.

Вертолет пролетает рядом с трубой, общей для 3-го и 4-го блоков, и в этот момент от него отделяется груз. Он падает внутрь развалин, и здание сотрясается от удара, как при настоящей бомбежке.

Такую картину можно было наблюдать начиная с 27 апреля в течение многих дней. Доставленные из Афганистана лучшие военные летчики забрасывали разрушенный реактор самыми разными материалами. Они должны были попасть в открытую взрывом вертикальную шахту реактора, туда, откуда вырывался белесый дым, и стать барьером на пути ядерной, радиационной и тепловой опасности.

Прежде всего бросали препараты, содержащие бор. Они должны были предотвратить самопроизвольную цепную реакцию, поскольку бор — один из самых эффективных поглотителей нейтронов. Достаточно ввести несколько десятков килограммов этого элемента внутрь работающего реактора РБМК,

чтобы навсегда прекратить ядерную реакцию. А в развал реактора было сброшено за первые дни после аварии в тысячи раз больше — 40 тонн соединений бора. Так боролись с ядерной опасностью.

Использовались и другие материалы. Они должны были засыпать шахту реактора, создать фильтрующий слой на пути выбрасываемой радиоактивности. Среди них глина, песок, доломит. Всего 2600 тонн за первые дни.

Так пытались уменьшить радиационную опасность.

Наконец, бросали металлический свинец в самых разных изделиях — дробь, болванки и т. п. Свинец должен был расплавиться, соприкоснувшись с нагретыми материалами реактора, и тем самым взять на себя часть выделяющегося тепла. Предотвратить «китайский синдром». Свинца сбросили 2400 тонн.

Согласно первоначальному плану, шахта реактора должна была постепенно покрываться сыпучей массой — это уменьшало выброс радиоактивности и отвод тепла. По расчетам экспертов, совместное действие этих двух факторов должно было привести сначала к падению выброса, затем к подъему (прорыву горячих газов) и снова к окончательному падению.

Многие причины мешали точно измерить количество выбрасываемой радиоактивности — ошибка измерений была огромной. Тем не менее эти измерения показали сначала падение выброса, потом увеличение. Потом... УРА! Выброс упал в сотни раз. Это произошло к 6 мая.

Практика прекрасно подтвердила расчеты теории. И так считалось три года, а во многих работах продолжает утверждаться и сейчас. Но в 1989 — 1990 годах стало очевидным, что большинство сброшенных материалов не попало в шахту реактора и не выполнило своего назначения. Совпадения расчетной и измеренной кривой, скорее всего, следует считать результатом психологического воздействия расчетов на результаты весьма неточных измерений.

Давайте рассмотрим факты.

Факт первый. Обратимся к фотографии центрального зала реактора.

Он буквально засыпан сброшенными материалами, которые образовали в зале многометровые холмы. Это можно было наблюдать с вертолетов, до завершения строительства «Укрытия», это же подтвердили и разведывательные группы, проникшие в него только через несколько лет. Но это, правда, не исключает того, что немалая часть материалов все-таки попала в отверстие шахты реактора.

Факт второй. В середине 1988 года исследователям удалось с помощью оптических приборов и телекамер увидеть то, что находится внутри самой шахты. Существенно, что сброшенных материалов они там практически не обнаружили. Но и здесь можно возразить: эти материалы попадали в область очень высоких температур, расплавились и растекались по нижним помещениям реактора. Такой процесс вполне мог происходить. На нижних этажах действительно обнаружили большие массы застывшей лавообразной массы, содержащей ядерное топливо.

Факт третий. Индикатором того, что в состав лавы вошли не только материалы собственно реактора, бетон, разного рода защиты и т. п., но и сброшенные с вертолетов, мог бы стать свинец. Свинца в реакторе и его окружении нет, а сбросили его 2400 тонн! И вот, после исследования десятков проб лавы, выяснилось, что свинца в них ничтожно мало. Значит, в шахту он практически не попал. Поэтому и другие компоненты засыпки если и попадали, то в таких количествах, что это решающим образом не повлияло на поведение выброса.

Таковы известные нам сейчас факты.

Что же помешало летчикам выполнить задание?

Я не профессионал, и мне трудно судить. Но, по-видимому, риск столкнуться со стапятидесятиметровой трубой, столб дыма, содержащий огромную радиоактивность (об этом пилоты, конечно, знали), — все это не способствовало успешному бомбометанию. Главное же заключалось в том, что выброшенная взрывом и ставшая почти вертикально верхняя «крышка» реактора создала как бы щит, отбрасывающий в центральный зал все падающие материалы.

Значит, все зря? Зря военный летчик капитан Сергей Володин первым зависал в радиоактивном дыму прямо над шахтой реактора, чтобы примериться к страшной цели? Зря полковник Б. Нестеров сбросил самый первый мешок с песком и разметил маршрут полета?

Нет, так считать тоже нельзя. Материалы, содержащие бор, попали в центральный зал, куда во время взрыва были выброшены многочисленные фрагменты активной зоны реактора и топливная пыль. Попад на топливо, эти материалы сделали его ядерно безопасным.

Песок, глина, доломит засыпали во многих местах толстым слоем радиоактивные обломки и облегчили впоследствии работу строителям и исследователям.

Небольшая часть материалов все же могла попасть в шахту и облегчить образование лавы.

Потребовалось три года напряженной работы, чтобы собрать и осознать факты.

\* \* \*

А сейчас на видеопленке следующий вертолет заходит над блоком, и охрипший голос выкрикивает свои команды, и блок содрогается от падения груза.

### Учителя

Я пишу эти строки 4 февраля 1994 года. Сегодня умер Анатолий Петрович Александров. Бывший директор нашего института и бывший президент Академии наук бывшего СССР. Один из основных создателей атомного оружия, атомного флота и атомных станций. Он совсем немного не дожил до своего 91-летия.

Каждый человек воспринимается окружающими не однозначно, а люди такого масштаба тем более. У них много доброжелателей и поклонников, но и много врагов. Я, безусловно, причисляю себя к поклонникам.

Впервые мне пришлось достаточно долго говорить с ним в 1968 году на защите своей кандидатской диссертации. Александров был председателем ученого совета, и мы разошлись во мнениях. Я в своем выступлении рассказывал о нужности и актуальности работы, а председатель, выступивший после весьма положительных отзывов официальных оппонентов, сразу же заявил, что тема работы никому не нужна.

Пикантность ситуации заключалась в том, что эту тему буквально навязал нашей лаборатории его заместитель, который на защите не присутствовал. В лаборатории работу как практически невыполнимую поручили мне, скорее всего в педагогических целях. Промучившись годик, я неожиданно для всех придумал метод решения задачи. И вот теперь из речи академика стало понятно, что наверху, в дирекции, идет большая война «за» и «против» того, чтобы заниматься этой тематикой, и Александров однозначно против.

Дело оборачивалось плохо.

Помню, что лицо руководителя нашей лаборатории приобрело необычный светло-зеленый оттенок.

Времена, при которых развертывалось это действие, не располагали к публичным выступлениям против директора, президента и члена ЦК.

Мне оставалось только одно — защищаться самому, в конце концов, процедура и носит название «защита», да и терять уже было нечего. И в заключительном слове я с храбростью обреченного сказал, что выполнил достаточно трудное задание, что уже работает не один прибор, использующий новый метод, и если у дирекции есть сомнения относительно нужности самой темы, следовало их разрешить до, а не после выполнения работы.

Александров все это выслушал и вдруг заулыбался.

Черных шаров не было.

Потом в нашем общении наступил длительный перерыв.

\* \* \*

Я продолжал работать на втором этаже трехэтажного здания, носящего название «главное». С этого здания начинался институт. В него, тогда еще не до конца достроенное, пришел в 1943 году со своими немногочисленными сотрудниками И. В. Курчатов, чтобы развернуть работы по атомному оружию. Позднее на третьем этаже сделали кабинеты дирекции, где она и пребывает по

сей день. Число кабинетов в здании неуклонно растет, и сейчас практически они вытеснили лаборатории со второго и первого этажей. После смерти Курчатова в его кабинете стал работать Александров. Я здоровался с директором при почти ежедневных встречах на лестнице, этим и ограничивались разговоры в течение двадцати лет.

В пятницу 25 апреля 1986 года в Москве был солнечный и прохладный день. После институтского семинара Александров пешком возвращался в главное здание, и я, подкараулив директора, стал по дороге рассказывать ему об идее новой установки, которая могла бы регистрировать нейтринное излучение ядерного реактора. Он шел медленно, слушал, как мне показалось, с интересом, задавал вопросы и наконец попросил зайти к нему во вторник — через четыре дня, для подробного доклада уже с рисунками и чертежами. Ни он, ни тем более я не знали, что в этот момент недалеко от старинного городка Чернобыль с цветущими фруктовыми садами и от современного и престижного города энергетиков Припять на 4-м блоке Чернобыльской атомной станции уже началась подготовка к эксперименту.

Было 2 часа дня 25 апреля 1986 года.

Именно в этот момент девушка, диспетчер из Киева, позвонила на Чернобыльскую атомную станцию и потребовала (!) перестать снижать мощность 4-го реактора и отсрочить испытания. Вечная боязнь любого начальства, любого приказа — сработала. В результате испытания перенесли, а блок продолжал свою работу при пониженной мощности еще девять часов.

Это был опасный режим.

Начало нарастать «ксеноновое отравление» реактора, при котором управлять им становится трудно.

Не будем вдаваться в технические детали, скажем только, что это был один из первых шагов к аварии.

После Чернобыльской катастрофы я видел Александрова и беседовал с ним очень часто. Об этом и о том, как я оцениваю его роль в аварии, расскажу позже. А сейчас вспоминаю, что в конце мая с какими-то бумагами меня направили к нему в Академию наук. Ни людей в приемной, ни секретаря почему-то не было. Тихо отворил я дверь и заглянул в кабинет президента. Александров сидел прямо и смотрел перед собой. По каким-то неуловимым признакам я понял, что он не просто в задумчивости, не просто в заботах. Он в отчаянии. Войти я не решился.

Ему было тогда 83 года, и почти одновременно с Чернобылем у него умерла жена. Думаю, что весна 1986 года разделила его жизнь на две половины — триумфальную и безнадежную. Последняя длилась почти восемь лет. Посыпались бесконечные обвинения, чаще всего грубые и непрофессиональные. Он держался с достоинством, продолжал работать и помогал чем мог нам в Чернобыле.

\* \* \*

Жизнь начала потихоньку и незаметно готовить меня к Чернобылю — возможно, еще со школьной скамьи. Узнав, что я собираюсь стать физиком, и не просто физиком, а атомщиком (!), мои школьные учителя дополнительно занимались со мною после уроков (безо всякой платы, конечно). Я поступал и поступил в Московский инженерно-физический институт при очень большой конкуренции — шесть человек, окончивших школу с медалью, на одно место. Выбор этого института диктовался не столько будущей профессией специалиста по ядерной физике (ее я представлял весьма смутно), сколько его престижностью и тем, что знакомым девушкам очень нравились слова «секретность» и «радиоактивность».

И дальше все складывалось удачно. Во-первых, у меня были очень хорошие учителя. Прекрасные ученые и интересные люди. Я учился у Беляева, Будкера, Гуревича... Бегал слушать лекции нобелевских лауреатов — Черенкова и Ландау. Последний представлялся нам почти богом — он и похож был на библейского пророка. После лекции мы тихой и восторженной толпой двигались за своим кумиром, и он иногда замечал нас и вступал в краткую беседу или задавал свои любимые вопросы. Однажды Ландау попросил нас дать определение счастья. Как физик понимает счастье? Никто из студентов над этим

вопросом еще не задумывался. Ощущение счастья у двадцатилетнего человека не требовало глубокого философского обоснования.

Ландау сказал: «Счастье — это когда ты ставишь перед собой очень трудные, но разрешимые задачи». Потом пояснил для непонятливых: «Если задача легкая, то ты не испытываешь удовольствия, решив ее. Если слишком трудная и не решается, развивается комплекс неполноценности».

Все были в восторге — еще бы, великий ученый заговорил с нами и высказал такие неординарные суждения. Что сказать по прошествии стольких лет? Философ я никудышный, но мне кажется, что решение трудных задач — это не всегда достаточно для счастья. Счастье — вещь индивидуальная, и сейчас я бываю счастлив, зная, что меня ждут, что я нужен любимым мною людям.

\* \* \*

Придя в Институт Курчатова, я попал на обучение к Петру Ефимовичу Спиваку. Прекрасный экспериментатор, добрый и чрезвычайно порядочный человек, он любил пошуметь и напустить на себя строгость. Кроме того, он был удивительно подвижен. Уличив меня в ошибках и незнании, что случилось с удручающей частотой, Спивак начинал ругаться и одновременно чуть-чуть подпрыгивать.

Он требовал неукоснительного выполнения многих и многих правил и даже почти законов экспериментальной физики. Записывать все, и записывать аккуратно — даже то, что сейчас кажется неважным. Оканчивать опыт тем же измерением, с которого начал, чтобы убедиться, что ничего не изменилось и не сломалось, и т. д. и т. п. А главное, продумывать и рассчитывать эксперимент до мелочей, никогда не облучаться зря, но и не паниковать, если попадешь в поля радиации.

Однажды я набрался нахальства и спросил, у кого учился он сам. Спивак долго объяснял мне, что надо знать историю физики, и потом очень гордо сказал: «Я учился у академика Иоффе!» Я, не подумав, задал следующий вопрос. Спросил: «А Иоффе у кого учился?» Руководитель мой даже не стал прыгать, а просто прорычал: «У Рентгена, у того самого Рентгена!!!» — «Тогда что вы волнуетесь, Петр Ефимович? — пролепетал я. — Просто считайте, что на мне эта цепочка оборвалась».

Знать бы мне тогда, как часто будем мы упоминать по делу и без дела имя великого Рентгена. Что и во сне мне будут представляться разрушенные помещения и голос дозиметриста, выкрикивающий: «Один рентген, пять, осторожнее! Сорок рентген! Дальше не идем!» (В условиях разрушенного блока никому, конечно, и в голову не могло прийти говорить фразу полностью: «Мощность дозы сто рентген в час». Времени для этого просто не было.)

\* \* \*

Во-вторых (для тех, кто не забыл, что было и во-первых), у меня были хорошие ученики. Вместе с друзьями мы организовали вечернюю школу, в которой занимались старшеклассники из обычных школ, те, кто был особенно способен к физике или математике или думал, что он особенно способен к этим наукам. Мои дорогие ученики, многие из которых стали кандидатами и докторами наук, тут же принялись, в свою очередь, обучать меня физике, при этом достаточно жестким способом. Они доставали всеми возможными путями трудные задачи и с удовольствием наблюдали за моими конвульсиями у доски при попытках их решить. В конце концов я стал довольно сносно и быстро ориентироваться в вопросах общей физики. Это очень пригодилось. Особенно когда в темных развалинах 4-го блока требовалось принять быстрое решение, не имея под рукой ничего, кроме пластиковой одежды, фонаря и дозиметра.

Итак, я работал в Курчатовском институте и руководил маленькой группой сотрудников. Мы взбунтовались и ушли от прежнего начальника, стремясь сделать новый нейтринный детектор. Никакого отношения к проектированию, строительству или управлению реакторами мы не имели. И тут грянул Чернобыль.

## Моя мама

Я познакомился со своей мамой, когда мне было двадцать семь лет. Во время войны она разошлась с отцом и уехала куда-то очень далеко. Мне было тогда три года, и о маме остались не воспоминания, а ощущения тепла и чудесного запаха от ее волос. И так уж сложилась дальнейшая моя и мамина жизнь, что видеться с нею я начал взрослым, уже сформировавшимся человеком. Мы с женой приезжали к ней в дом, и визиты становились все чаще и чаще, поскольку дом этот был необыкновенно интересным. Кто только не собирался сюда к вечернему чаю! Искусствоведы (мамин нынешний супруг был крупнейшим в России специалистом по искусству Индии), священнослужители (мама была очень религиозна), удавшиеся и не слишком удавшиеся писатели, знаменитые врачи и люди, выдававшие себя за врачей, известные фокусники и жаждущие аудитории и славы телепаты. Эту весьма разношерстную компанию объединяло одно — мамино обаяние. Написав это слово — «обаяние», я подумал, что оно лишь в слабой степени передает то сильнейшее притяжение, которое исходило от этой пожилой, но еще очень внешне привлекательной женщины.

\* \* \*

Иногда даже мне, пропагандисту точных наук и далекому от мистики или религии человеку, начинало казаться, что мама — колдунья. Судите сами. Мама очень часто гадала женщинам на картах. Я долгое время не обращал внимания на их восторженные отзывы о результатах гадания, относя это к области самогипноза и маминой житейской проницательности. Но вот однажды вечером знакомая привела к ней молодую женщину, которой срочно потребовалось узнать будущее, по причинам, которые она не называла. После долгих уговоров мама согласилась «раскинуть карты». Я тихо сидел в углу соседней комнаты, читал и поэтому остался незамеченным.

Мама пристально смотрела на женщину:

— Вас зовут Лида?

— Да, я назвалась, когда нас познакомили.

— Вы замужем и мужа зовут Володя?

— Да, но откуда вы знаете? — И обращаясь к общей знакомой: — Это ты сказала?

— Нет, я ничего не говорила!

— И вы хотите узнать что-то о женщине по имени Мария, в которую, как вы думаете, влюбился ваш муж?

В голосе Лиды был слышен откровенный ужас:

— Откуда вы все знаете? Я ведь никому в целом мире об этом не говорила!

Не стану описывать дальнейшую процедуру, но позже я не выдержал, подошел к маме и стал у нее выпрашивать, как она угадывает имена при гадании. Мама отвечала, что сама этого не знает. Ей надо настроиться, выходит это далеко не всегда, но если сумеешь настроиться, то имена сами как бы вспыхивают в мозгу. И не только имена людей, но и названия городов, числа и даты событий. Я чувствовал, что она говорит правду. Она была слишком гордым человеком, чтобы заниматься фокусами или тем более обманом. Материализм мой не поколебался, но осталось ощущение, похожее на страх перед темной комнатой. И только через несколько лет, совершенно случайно, я наткнулся на объяснение такого чтения мыслей.

Произошло это на Урале, в небольшом городке или даже селе — Сим. Этот городок — место рождения Курчатова. По традиции, каждый год летом в нем собирали талантливых старшеклассников со всего Урала и читали им по возможности интересные лекции. Я читал лекции по физике, а в соседней аудитории проходили занятия то ли по психологии, то ли по психиатрии: я сначала не интересовался ими. Но вот с течением времени ученики все чаще стали рассказывать, какие интересные вещи там происходят. Говорили, что занятия ведет женщина — профессор из очень секретного института, что она демонстрирует буквально чудеса и потом очень просто все объясняет. Мне стало любопытно, и после недолгих дебатов с организаторами лекции по физике стали начинаться раньше, а я сделался самым пунктуальным посетителем за-

нятий в соседней аудитории. Действительно, было необычайно интересно. Тем более что для демонстраций требовались добровольцы, а молодежь стеснялась показать себя в глупом свете, и опыты проводились на мне. Однажды после занятий, на правах любимого подопытного кролика, я рассказал историю про мамино гадание и попросил объяснений. Профессор их и дала, назвав это явление «эффектом цыганки»:

— Я сталкивалась с этим у цыган. Чтобы угадывать имена, гадальщица должна обладать большими способностями к внушению. Тогда, в момент, когда она пристально смотрит на клиента и говорит: «Ваше имя...», а затем делает паузу, губы человека начинают невольно двигаться и произносят это имя. Самое интересное, что не только сам клиент, но и гадальщица не подозревают об этом механизме. Чтение по губам проходит как бы мимо ее сознания, и то, что одному представляется чудом угадывания, второму кажется чудом озарения.

Так, не совсем до конца, но приоткрылся один из маминых секретов.

\* \* \*

Мама часто болела и на моей памяти несколько раз попадала в больницу. С окончанием обхода врачей у ее кровати скапливалась целая толпа женщин, просящих ее погадать или даже просто поговорить.

В начале 1986 года она снова попала в больницу, и довольно скоро мы начали догадываться о том, что ей уже никогда не придется сидеть дома за чайным столом, внимательно и сочувственно слушать нового гостя. Шел апрель месяц.

\* \* \*

Чернобыль начался для меня вечером 29 апреля. Директор нашего отделения академик С. Беляев позвонил мне домой и очень вежливо осведомился, не могу ли я подойти и помочь в расчетах, которые делаются для Чернобыля. Я, конечно, согласился. По дороге по трезвом размышлении стало немного странно, что в отделении, где такое количество блестящих теоретиков, для расчетов вызывают экспериментатора. Уже позже я понял, что большинство теоретиков совсем не были знакомы с этой областью, но были и такие, которые отказывались из «принципиальных соображений»: «Они допустили аварию, пусть они и разбираются». Кто это «они» — не уточнялось. Эти слова приходилось слышать и от многих других специалистов. За ними стоял элементарный страх — вдруг отправят в Чернобыль. Лучше совсем не иметь к нему отношения.

Вечер перешел в ночь, и началась моя многолетняя одиссея.

\* \* \*

Больница. Мама уже практически неподвижна, говорит с трудом. Днем я работаю в институте, а потом приезжаю дежурить у нее — обслуживающего персонала мало, он успевает только делать уколы и давать лекарства. Кормить маму некому, тем более уговаривать съесть кусочек, выпить глоток воды. Она знает, что я работаю в оперативной группе, помогающей расчетами и экспериментами Чернобылю.

Как только я первый раз произношу это слово, мама вспоминает, что чернобыль — это сорт полыни, горькой степной травы. И вдруг неожиданно говорит: «Сашенька, возьми Библию и открой Откровение Иоанна Богослова». Я открываю и сразу же вижу столько раз повторявшиеся потом в статьях и книгах слова: «Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод.

Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки».

Мама пристально смотрит на меня: «Солнышко мое, поезжай туда. Мне скоро будет лучше. Надо ехать, я знаю это, я чувствую. Чернобыль — твоя звезда, нельзя уйти от судьбы, твое место там. Не бойся за меня. Благослови тебя Бог!»

Я выехал в Чернобыль на следующий день после ее похорон.

## ЧЕРНОБЫЛЬ — 1986

## Первые шаги

Удивительная вещь — память. Она так часто подводит меня, когда я, скажем, пытаюсь воспроизвести события школьных лет или некоторых лет работы в институте. Приходится опираться на какие-то особенные даты, долго выстраивать минувшее в хронологическом порядке, иногда делать это с карандашом в руках. Но почти любой день моей многолетней чернобыльской эпопеи, особенно в 1986 — 1988 годах, вспоминается безо всяких усилий и почти поминутно.

Итак, Чернобыль 1986 года.

\* \* \*

Город без жителей. Большая часть домов с заколоченными дверьми и ставнями на окнах. Но встречаются и дома, в которых все распахнуто и в глубине можно видеть разбросанные вещи. То ли хозяева покинули дом так поспешно, то ли кто-то пытался обосноваться в нем, то ли это последствия мародерства.

На улицах люди в темной рабочей спецодежде, напоминающей одежду заключенных, многие в белых масках — респираторах. Военная техника. Постоянно проезжают поливальные машины, струями воды осаждая пыль.

Неожиданно вижу старуху, которая тащит мешок. Она в обычной кофте, юбке и безо всякой маски. Помогаю тащить. Взгромождаем мешок на грузовую машину, он раскрывается, и в кузов падают какие-то совершенно нищенские вещи. Старуха целует меня и крестит.

Сады полны фруктовых деревьев. Одинокая курица спешит спрятаться. Неужели отстреливают домашних животных?

В движениях людей, на их лицах постоянная тревога.

\* \* \*

Река Припять, широкая и красивая. На ней замершие у острова небольшие корабли. Они стоят там и сейчас, ободранные и проржавевшие. Окунуться в воду можно, а вот по берегу Припяти лучше не ходить.

Радиоактивность, попавшая на поверхность воды, очень скоро оседает и захватывается придонными водорослями. Они цепко держат мельчайшие частицы ядерного топлива, выброшенного при аварии. Это особенно хорошо видно при измерениях, производимых с вертолета. Пока он летит над территорией станции, приборы показывают высокую загрязненность. Стоит зависнуть над водной поверхностью — показания уменьшаются в сотни раз. Излучение от водорослей поглощается водой, а сама вода относительно чистая.

Зато берега, самая их кромка, на которую волны выбрасывают ил и разнообразную речную грязь, сильно запачканы радиоактивностью. Мощность дозы здесь измеряется рентгенами в час.

\* \* \*

Церковь. Двери заперты, да и подойти к ней практически нельзя. Вокруг колючая проволока, а там, где она прерывается, — шлагбаум, часовые. Вокруг церкви (случайно? специально?) разместились военные части. На паперти лежат охапки свежих цветов. И сколько бы раз на протяжении долгих чернобыльских дней 1986 года я ни заглядывал сюда, цветы всегда лежали. И всегда свежие.

\* \* \*

Правительственная комиссия размещается в двухэтажном доме на площади. Лицом к дому, в котором раньше был горком партии, обращен памятник Ленину. Позже, когда случалось много часов подряд работать в этом доме и когда голова совсем отказывалась соображать, мы совершали небольшую прогулку до памятника и обратно. Называлась эта прогулка «Пойти посоветоваться с Ильичом».



\* \* \*

На первом этаже разместились оперативная группа Института атомной энергии имени И. В. Курчатова. Вхожу — и удивляюсь ничтожным размерам этого помещения. Начальник оперативной группы сразу начинает на меня кричать:

— Почему вы приехали, а такой-то и такой-то не приехал? Где дисциплина?

Видно, что он устал до предела. Я стараюсь разрядить атмосферу:

— Вы мне выговариваете, как профессор, к которому на лекцию пришли только два студента. Он на них кричит и упрекает в невнимании к предмету. Но ведь эти люди как раз пришли, и их надо хвалить, а не ругать.

Смеется и приказывает подняться на второй этаж и представиться кому-нибудь из Правительственной комиссии, поскольку я теперь вроде консультанта при ней. На втором этаже меня ожидает следующий урок. Вхожу в комнату и обращаюсь к пожилому и уважаемому человеку. Он меня не слушает и кричит:

— Вы можете русским языком сказать, кто вы такой?

Я отвечаю, называю свою фамилию, институт, но он не сдается:

— Профессию свою можете назвать?!

— Могу: физик.

— Нам физики не нужны, на кой черт здесь физики! Нам нужны специалисты по реакторам!

— Специалисты по реакторам все, что могли, для вас уже сделали.

Он ошалело смотрит на меня и машет руками по направлению к двери. Становится очевидным, что начальству я крайне не понравился.

\* \* \*

Весь день я провел на ногах, ничего не ел и не представлял себе, где буду спать. Только к ночи удалось попасть в общежитие, в котором жили курчатовцы. Многих людей здесь я хорошо знал. А среди остальных никто не стал интересоваться моей специальностью — все только обрадовались дополнительным рабочим рукам. Меня отвели в столовую и предложили устроиться на кровати одного товарища, работавшего в ночную смену. Кроватей пока не хватало.

### Немного о работе и о быте

Перед глазами снова встают лица моих товарищей, работавших в это время в оперативной группе Курчатовского института. Их было 20 — 30 человек, число постоянно менялось. Обычно небольшая команда, подготовив в Москве свою аппаратуру, приезжала в Чернобыль и работала здесь иногда несколько дней, иногда несколько месяцев. При длительном сроке происходила периодическая смена ее состава. Часть людей, побывав здесь, уже никогда не возвращалась в Чернобыль. Другие после передышки в Москве вновь ехали на работу в зону. Для многих чернобыльская эпопея затянулась на месяцы и годы, а я подбираюсь к десятилетию.

Работа наша в это время была удивительно интересной и захватывающей. Члены оперативной группы постоянно ощущали необходимость своего труда и его значимость, а это великий стимул для любого человека. Выполнялось и условие счастья, сформулированное когда-то Ландау, — практически все, что делалось, было на пределе наших сил, мы решали трудные задачи, и решали их успешно.

Существовало и еще одно обстоятельство. После аварии специалистам удалось хотя и не на долгое время, но заставить помогать испугавшийся чиновничий и хозяйственный аппарат.

За годы пребывания в институте я понял и смирился с тем, что любой малограмотный снабженец, любая девчонка в бухгалтерии или секретариате могут беспрепятственно командовать учеными. Эти люди вольно или невольно шантажировали специалистов своей возможностью помешать их работе.

Чернобыль 1986 года, волна всеобщего сочувствия к работающим в зоне, жесткая, а часто и жестокая позиция Правительственной комиссии — все это

заставило работать самые различные службы. Все старались помочь или, во всяком случае, делали вид, что стараются помочь.

Даже по такому сосредоточению подпольной власти, как торговля, иногда наносились удары. Насколько эффективные — это другой вопрос.

\* \* \*

Я помню, как на одном из заседаний Правительственной комиссии среди ватников вдруг мелькнули два обычных штатских костюма и роскошный женский плащ. Отчитывалась торговля: два крупных начальника — мужчины и одна начальница — женщина. Они повесили плакаты с цветными диаграммами и графиками. Графики показывали рост числа торговых точек, рост продажи и вообще рост всевозможных достижений. Притихший зал слушал перечень товаров, которые привозили для чернобыльцев из всех стран мира. Их продавали в магазинах, находящихся за зоной, где жили, а точнее, успевали поспать несколько часов работавшие в зоне. Курчатовцев, собственно, это мало касалось: мы жили в Чернобыле, работали на станции и о поступающей в торговую сеть икре, кофе, австрийской обуви, французской косметике и канадских дубленках впервые слышали только сейчас. Впрочем, как оказалось, в этом мы не были одиноки.

Речь докладчика лилась гладко и уверенно, а я перевел свой взгляд с победных торговых графиков на Председателя. К этому времени (стояла осень 1986 года) я уже начал немного узнавать его и по отдельным признакам понял, что дело может не ограничиться аплодисментами.

— Вы кончили? — вежливо спросил Председатель. Ему всегда требовался некоторый первоначальный разбег. — Очень хорошо, значит, за последние три дня чернобыльцам продали всю обувь?

— Да, товарищ председатель.

— Ничего не осталось в магазинах и на базах?

— Практически ничего, наш долг — скорее передать все героям-чернобыльцам.

Председатель помолчал.

— Вот ведь что странно, — сказал он, обращаясь к залу, — сегодня с утра все члены Правительственной комиссии разбились на группы и объехали магазины, которые должны были торговать этой обувью. Мы опросили сотни людей. Никто из них не видел и не слышал об иностранной обуви. Я думаю, что вся она была увезена и продана подпольно! И это и есть результаты вашей работы, а не вранье, которое мы слушаем почти час!! Есть в зале кто-нибудь из прокуратуры?

Надо сказать, что на заседаниях Правительственной комиссии, как правило, присутствовали высокие чины из союзной и украинской прокуратуры. Они встали.

— Необходимо немедленно возбудить уголовное дело по поводу этой преуспевающей шайки. А сегодняшней доклад приобщите к материалам следствия, он только на это и годен.

На докладчика и его товарищей страшно было смотреть.

\* \* \*

Этот инцидент произвел очень сильное впечатление на присутствующих, а затем, приправленный различными домыслами и фантазиями, разошелся по всей зоне и даже далеко за ее пределами. Я сильно подозреваю, что на это он и был рассчитан. Показав высокую принципиальность, Правительственная комиссия занялась необъятным кругом инженерно-технических вопросов, а торговля, оправившись от легкого шока, занялась своими делами. Вообще зона все эти годы представляла удивительное сочетание великолепной, честной, а подчас и героической работы с почти незакамуфлированным, наглым бездельем и воровством. Пропорции первого и второго со временем изменялись, и, к сожалению, не в лучшую сторону. По мере успехов перестройки постоянные разоблачения в печати все меньше волновали руководителей и практически не вызывали никакой реакции у правоохранительных органов.

\* \* \*

Итак, если в 1986 году тормозящие работу структуры и были частично нейтрализованы, то очень скоро все вернулось на круги своя. И если бы только вернулось. Но об этом — позже.

\* \* \*

Теперь мне хотелось бы совсем немного рассказать о нашем чернобыльском быте. Общежитие (оно же одновременно и лаборатория) ИАЭ размещалось в гинекологическом отделении Чернобыльской городской больницы. Станный на первый взгляд этот выбор был просто объясним, если учесть, что помещения гинекологии легко дезактивировались. Большинство из них было выложено кафелем, стояли столы и другая мебель из нержавеющей стали, стены и потолки были окрашены белой масляной краской. Существовало два душа и ванная комната. Почти идеальные условия для дезактивации.

Еще долгие годы этот корпус называли не лабораторный (каким он постепенно стал), а «гинекология». Случайный свидетель разговора двух хмурых и давно не бритых мужчин в телогрейках поразился бы, слыша, как один из них выговаривает другому: «Твое место в гинекологии. С таким трудом его выбили, а ты по улицам бродишь. Немедленно в гинекологию».

К моему приезду первоначальная радиационная, да и просто чистота была полностью утрачена. Часть комнат использовалась как спальни, другая часть была отведена для работы. В них считали, чертили, подготавливали приборы и градуировали их с помощью радиоактивных источников. В них же приносились эти приборы для ремонта. Приносили после работ на станции и далеко не тщательной дезактивации (а иногда и вообще без нее). Уставшие, невысыпающиеся люди забывали снимать рабочую одежду. Сняв, бросали как попало. Конечно, деление на спальни и рабочие помещения было довольно условным — работали всюду, где находился удобный уголок. И пачкали тоже всюду.

Что касается гигиены, то на 20 — 25 человек остался один действующий душ, а о туалетах и вспоминать не хочется.

Как говорится в пословице, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Из Москвы приехал один инженер и привез прибор для работ на блоке. Но еще в разобранном виде. Человек он был очень ответственный и, почти не отходя от своего стола, несколько дней собирал и налаживал этот прибор. Уходя утром из «гинекологии» и возвращаясь в нее поздно вечером, я постоянно видел, как он, согнувшись над столом, что-то паяет или завинчивает.

В это время нагрянула проверка наших накопителей. Накопитель — небольшая таблетка, регистрирующая полную дозу облучения, полученную человеком за время его работы. Он обычно прикреплялся на верхнюю одежду. Периодически накопители сдавали в лабораторию, где таблетку особым образом отжигали, измеряя при этом накопленную дозу, а потом возвращали владельцу. При этой процедуре накопитель полностью «забывает» свою предыдущую историю и снова готов регистрировать дозу.

С накопителями мы вели постоянную тайную борьбу. Дело в том, что человек, получивший дозу в 25 рентген, по требованию медиков немедленно откомандировывался из Чернобыля. При этом ему выплачивали пять месячных окладов — большие по тому времени деньги. Откуда взялось число 25 рентген в соответствующих нормах, мне, как неспециалисту, сказать трудно. (Для себя я запомнил, что, если полученная доза начинает превышать 100 рентген, лучевая болезнь становится вполне возможной.)

Сразу же после принятия руководством такого решения общество, работающее на станции, резко поляризовалось. На одном полюсе (впрочем, весьма малочисленном) оказались те, кто захотел поскорее выбраться из зоны, да еще с пятью окладами. Эта часть, которая впоследствии более всех претендовала на славу чернобыльских героев, обычно пыталась «забыть» свой накопитель и другие виды дозиметров в опасных местах, а потом тихонько вернуться и снова их взять. При контроле обнаруживалась желанная доза, и, если все было проведено достаточно чисто и доказательств жульничества не находилось, герой с почетом и деньгами отбывал на родину. Там он сразу же начинал бо-

роться за всякие льготы с энергией, которую трудно было предположить в облученном человеке.

К чести курчатовцев, их подавляющая часть оказалась на противоположном полюсе. Люди, проводящие разведку в полях с мощностями дозы в сотни и тысячи рентген в час, старались всеми способами оставить свои дозиметры в безопасном месте или как-то защитить их, только чтобы не набрать роковые 25 рентген и не быть откомандированными из Чернобыля. В этом и состояла тайная война с накопителями. Руководство знало об этом, но смирялось: специалисты нужны были как воздух.

Так вот, проверка нагрязнула в лабораторию и накопители у сотрудников отобрали. После снятия их показаний наступило полное недоумение. Давно работающие на блоке демонстрировали самое «примерное» поведение: 10, 12, 15 рентген. А у человека, налаживающего прибор в лаборатории — того самого, — 30 рентген! Откуда? Почему?

И расследование показало: рядом с ним, на соседнем столе, лежала рукавица. А в ней кто-то принес небольшой сувенир — источник, создающий на расстоянии 0,5 метра, прямо на рабочем месте этого инженера, мощность дозы около одного рентгена в час. Теперь обратным ходом рассуждений легко было сосчитать, что человек действительно трудился не покладая рук, раз он за три дня просидел за своим столом тридцать часов.

Но всем уже было не до смеха — «сожгли», как мы выражались, работника, и «сожгли» совершенно бесполезно. Владелец перчатки пожелал остаться неизвестным, инженера с прибором и пятью зарплатами отправили домой, а из Москвы прикатила комиссия.

Благодаря этому событию через две недели после моего приезда быт существенно изменился. Заработали ванна, души и все остальное, была проведена повторная дезактивация в комнатах, устроен санпропускник и т. д. и т. п. Полной чистоты, конечно, не добились, но как ее было добиться в Чернобыле 1986 года?

\* \* \*

Кормили нас очень хорошо. И хотя сами помещения столовых, почему-то всегда полутемные, с толпами людей, одетых в ватники, шапки — все это тоже темных, грязных цветов, — сильно напоминали о лагерях, пище могли позавидовать лучшие московские столовые.

Ко времени обеда или ужина у столовых собирались немногочисленные брошенные животные — собаки, кошки. Позже всех осторожно подбиралась лиса. Ее любили и не давали собакам обижать. Мне казалась очень странной походка этого животного: она ходила мелкими и робкими шажками, все время крутила головой. Только позднее я узнал, что лиса — слепая.

### «Укрытие»

Работа оперативной группы все более сосредоточивалась вокруг и внутри сооружения, которое строилось и должно было закрыть разрушенный 4-й блок. Оно называлось «Укрытие 4-го блока», а потом, с легкой руки одного из писателей, стало известно под именем «Саркофаг».

Мы уже говорили о том, что 6 мая, через десять дней после начала аварии, выброс радиоактивности из разрушенного блока, грозивший огромными бедствиями, неожиданно упал в сотни раз. Тогда это приписывали воздействию материалов, сброшенных с вертолетов. Сейчас мы знаем, что материалы не смогли сыграть своей роли. Объяснение выглядит иначе. К этому моменту топливо, расплавившее нижнюю защитную плиту реактора, само растворилось в расплавленных материалах, образовав никогда еще не встречавшуюся в природе радиоактивную лаву. Лава растеклась по нижним этажам блока и начала интенсивно охлаждаться. Выброс практически прекратился.

«Китайский синдром» — прожигание бетонных плит и постепенное опускание топлива — сработал только для нижней плиты и отчасти для пола помещения, находящегося прямо под аппаратом.

Опять-таки мы знаем это сейчас, а тогда, в мае 1986-го, стало ясно только одно: положение хоть как-то стабилизируется.

Теперь было необходимо открытую радиоактивную рану — развая реактора — как можно скорее закрыть, изолировать от окружающей среды. Без этого сильный ветер мог выдувать из нее пыль, дождевая вода, попадая внутрь, насыщалась радиоактивностью и могла загрязнить грунтовые воды, наконец, проникающая радиация угрожала всем работающим на станции.

Проектанты предложили восемнадцать различных вариантов «Укрытия». Если не вдаваться в подробности, то можно было разделить проекты на две группы. К первой относились огромные сооружения, закрывающие герметичным куполом или ангаром все здание 4-го блока. Старые конструкции вместе со всеми радиоактивными материалами оставались при этом внутри «Укрытия». В другую группу входили проекты, использующие старые конструкции как опоры для новых.

Остановились на втором подходе. Он обеспечивал большой выигрыш в сроках строительства и в его стоимости.

Я думаю, что решение в существовавшей тогда экстремальной ситуации было совершенно правильным. Однако, как это часто бывает, вместо того чтобы трезво оценить не только достоинства, но и недостатки второго подхода и начать их немедленно исправлять, об этих недостатках старались вообще не упоминать.

В чем они заключались?

Используя старые, претерпевшие взрыв и пожар, частично разрушенные конструкции как опорные для новых, необходимо было удостовериться в их прочности, провести необходимые испытания. А провести такие испытания было невозможно — этому препятствовали огромные радиационные поля вокруг и внутри блока. Приходилось многое определять «на глазок», иногда лишь с борта вертолета. Поэтому степень устойчивости новых огромных металлических конструкций на самом деле была неизвестна.

Заниматься строительством непосредственно у блока, а не в удалении от него (как предлагали проекты первой группы) можно было лишь при использовании дистанционной техники. Такая техника была с удивительной для наших организаций быстротой куплена за границей. Это и специальные бетонные насосы «Путцмайстер», которые подавали раствор через длинные шланги, управляемые на расстоянии, и краны высокой грузоподъемности «Демаг». Механизмы обеспечили возможность быстрого дистанционного строительства. Но... при таком строительстве невозможно использовать сварку, достаточно аккуратно подгонять конструкции друг к другу. И в сооружении остались многочисленные щели. Через эти щели в «Укрытие» попадала вода, а активная пыль вполне могла выходить через них наружу при каких-либо обрушениях внутри.

Итак, два главных недостатка — неопределенная прочность сооружения и его негерметичность — стали своеобразной платой за дешевизну и быстроту строительства.

Мы забежали вперед. «Укрытие» еще не существует. Идет его строительство, идет с потрясающей скоростью. И мне еще надо найти свое место в чернобыльской эпопее.

### Заповеди

Я иду в штаб, а по дороге непрерывно думаю о том, чем буду заниматься. Меня послали сюда в качестве консультанта-физика, но смогу ли я справиться с этой ролью, буду ли действительно нужен?

В штабе ждут Легасова. Он должен приехать к середине дня, но появляется только вечером и сразу начинает выслушивать отчеты и раздавать поручения. Моя очередь — последняя.

— Есть одна задача, которую надо быстро решить. На участке с западной стороны от блока большая мощность дозы. Слишком большая, чтобы разрешить работать строителям. Двадцать — тридцать рентген в час. Непонятен источник излучения. То ли «светит» стена блока через окна, проломы, трещины. То ли «светит» грунт. Его недавно засыпали щебнем и песком, но, может быть, этого недостаточно? Надо выявить основной источник и понять, как от него защититься. Что предлагаете? Завтра надо успеть все сделать, послезавтра должны начать работу строители.

Все лица обращены в мою сторону. Все молчат, ждут. В глазах сочувствие: начальство проверяет нового сотрудника.

— Надо посмотреть все на месте. Взять дозиметр, свинцовые листы. Сначала измерить дозиметром мощность дозы в месте будущих работ, потом защитить его листами свинца от прямого излучения блока. Так называемая теневая защита. Если показания сильно упадут, то ясно: в основном «светит» блок. Тогда и людей можно защищать экранами, стенками. Если все останется по-прежнему, то, значит, излучение идет со всех сторон, «светит» грунт. Тогда придется подсыпать песок. Но это — если повезет. По закону максимальной подлости, скорее всего, светит и то, и это. Придется и подсыпать, и стенки ставить. Да еще надо бы взять пробы грунта в вертикальные трубки. Чтобы знать, сколько песка уже есть и сколько надо досыпать.

— Ладно, действуйте, — говорит академик. Народ расслабляется, и многие предлагают помощь. Но у меня есть хороший помощник, мой старый товарищ, который тоже приехал вчера; к тому же он прекрасно водит машину, а без машины там делать нечего. Решаем выехать на блок ранним утром.

\* \* \*

Вечер, я сижу у себя на кровати и рассчитываю необходимую толщину свинцового листа. Не торопясь входят два старожилы, люди хорошо известные мне по институту. Им завтра надо уезжать в Москву после месячной вахты, и я сначала думаю, что они пришли проститься. Но дело оказывается не в прощании. Усевшись на соседнюю кровать (стулья в «гинекологии» — большой дефицит), один из них говорит:

— Саша, слушай, только внимательно. На блок ездить — это не к теще на блины ходить. На книгах и на том, что в институте узнал, там долго не протянешь. Выполнять все обычные инструкции по безопасности — лучше вообще в Чернобыль не приезжать, ничего здесь сделать не сможешь, все *строго запрещается*. Но ведь авария... Чтобы и работать и жить подольше, надо знать правила игры. Здесь много людей обожглось, прежде чем эти правила поняли. Но раз поняли, их еще раз проверять на своей шкуре уже ни к чему. Поэтому слушай и запоминай, как «Отче наш».

Второй вступает в разговор:

— Вроде бы даже не правила, а заповеди. Красивее звучит.

— Почему так много людей пострадало сразу после аварии: погибли, тяжело заболели, еще заболеют и станут инвалидами? Потому, что они даже не представляли себе, какие сумасшедшие поля радиации бушевали у развала и в помещениях блока. И они шли в эти поля и работали на своих местах. Иногда, может быть, это было необходимо, а чаще, я думаю, совершенно бесполезно. А не знали они действительной обстановки, потому что не было нужных приборов. Были переносные, которые показывали до 3,6 рентген в час. А здесь поля в сотни и тысячи. Вроде бы у одного человека из гражданской обороны был прибор ДП-5, до 200 рентген в час. Но ему начальство поверить не захотело. И другому с тысячником тоже не поверили и картограмму, которую он снял, постарались потерять. Так нам на станции рассказывали.

Теперь о сегодняшних делах. Пойдешь завтра, вооруженный «депешкой» — ДП-5. Прибор делали для военных, для гражданской обороны. С ним хорошо измерять, когда радиация ведет себя плавно и когда мощность дозы до 200. А если скачок? Если не 200, а 2000? Бежишь в трех рентгенах в час, в таком поле тоже стоять долго не рекомендуется, за угол завернул, а там тысячи — прострел. Стрелка у нашего кормильца ползет медленно, десятки секунд, да еще диапазоны переключаешь. А ты ждешь и набираешь дозу. А в конце стрелка упрется в 200! Что делать?

Сейчас, конечно, есть приборы, показывающие тысячи рентген, но их мало. В обычную разведку не дадут, и они неудобные. А в обычной разведке все необычное и случается...

— Ну и как выходить из положения? — спрашиваю я.

— Используя собственные, родные, органы чувств!

— Но ведь человек не чувствует радиации, всегда во всех учебниках, на всех лекциях говорится: без вкуса, без цвета, без запаха?

— Это на лекциях. Потому что лекторы задержались в Москве и все никак не доедут до Чернобыля. Большие поля имеют свой запах. И если его почувствуешь, никакого геройства не проявляй, а быстро-быстро сматывай удочки.

— Чем же они пахнут?

— Озоном. Первая заповедь: бойся запаха озона. Там, где он есть, поля в сотни и тысячи рентген в час. Конечно, сквозняк может его ослабить, все равно есть шанс попасться, но уж если почувствовал — беги.

\* \* \*

— Вторая заповедь попроще: не оставайся без света. Предположим, поручили работу на блоке, в уже освоенных помещениях. Освещение хорошее, яркие лампы. Все равно бери и всюду носи фонарь. И еще спички. Куришь не куришь, а спички чтобы всегда с тобой были. Объяснять не надо? Вот как первый раз строители силовой кабель при работе перебьют и все помещения без света оставят, то сам все поймешь.

\* \* \*

— Вода на блоке вообще штука очень неприятная. Но вода под ногами — опасность, которую ожидаешь. Пластиковые бахилы, сапоги, от такой воды защитят. Вот падать, конечно, не рекомендуется. Заповедь не в этом. Бойся воды сверху! Смотри, чтобы она не полилась. Входя в помещение, избегай таких мест, где это может случиться. От воды, льющейся сверху, трудно защитить лицо. Она может попасть на маску, а потом добраться и до глаз. Сполоснуть лицо, промыть глаза на блоке негде. Береги глаза.

\* \* \*

Разговор наш продолжается долго. «Заповедей» достаточно много.

Я бесконечно благодарен друзьям за этот разговор, за предупреждения, которые помогли избежать многих «лишних» рентген. Как эстафетную палочку, передавали члены оперативной группы знаменитые устные «заповеди». Но потом, по мере улучшения ситуации на блоке, традиция потихоньку забылась.

\* \* \*

Трижды я попадал внутри «Укрытия» в тяжелые ситуации. И все три раза потому, что нарушал эти, выстраданные неизвестными мне людьми, нигде не записанные, заповеди. Трудно сознаваться в собственной глупости. Поэтому у меня хватает сил только на рассказ об одном, надеюсь последнем, случае.

\* \* \*

Если темнота бывает абсолютной, то именно такая абсолютная темнота окружала меня.

Главное — не надо двигаться. Ведь пока еще зрительная память сохраняет представление о помещении, в котором я нахожусь. Начнешь двигаться — и полностью потеряешь ориентацию. Итак, не двигайся, не впадай в панику, спокойно думай.

Электричество отключено уже несколько минут, возможно, полчаса. Если неполадки начнут ликвидировать, то нет вопросов, можно еще постоять в темноте. Но в душе уже знаю: на это надежды мало, скорее всего совсем ее нет. Сейчас вечер, работы на блоке закончены. В ночной смене у вспомогательных служб людей не хватает. Если они быстро не справились, то или не знают об отключении (скорее всего) либо подождут до дневной смены.

Но мне несколько часов ждать нельзя. И не из-за внешней дозы, она невелика. Из-за большой концентрации радиоактивной пыли в воздухе. Тут с моим уже проработавшим несколько часов и влажным респиратором не спасешься. Он хорош на несколько минут — заглянул в помещение и побежал

дальше. На ночевку в такой ситуации использованный «Лепесток» не рассчитывался.

Ни фонаря, ни спичек у меня нет.

Я самым грубым образом нарушил одну из заповедей, и радиоактивная пыль, с которой последние годы мы вели непрекращающуюся войну, наконец подловила меня самым подлым образом.

Путь назад очень труден даже при полном свете. Надо спускаться по двум пожарным лестницам, нагнувшись пролезать через узкие проходы, пробираться среди настоящих дебрей. Ненароком легко забрести в такое место, где уже и внешнее облучение свое возьмет.

Станут ли меня искать?

Вряд ли. Наряды, в том числе и мой, ребята уже закрыли. И в это время я, пользуясь некими «привилегиями» старожила и начальства, взял ключ и решил заглянуть в это помещение. Крикнул: «Немного задержусь. Идите без меня».

Они посидят в автобусе и решат, что я поехал на «персональной» машине. А я шофера отослал в Чернобыль. И никому, кроме него, об этом не сказал.

Главное — не надо терять голову и не надо куда-то спешить.

Постоим спокойно и подумаем. Время еще есть.

\* \* \*

Шел четвертый год после аварии — 1990-й. С огромным трудом одно за другим отвоевывались у радиоактивности помещения блока. Отвоевывались, чтобы установить в них буровые станки и с помощью бурения скважин приблизить детекторы к местам скопления ядерного топлива. Помещение, где я оказался в плену у темноты, освоено было уже достаточно давно — больше месяца. Из него была пробурена скважина, и шла подготовка к установке детекторов. Рядом бурили следующую скважину. И вот случилось чрезвычайное происшествие. Из-за неосторожного обращения с керном, вынутым из скважины, часть топливной пыли попала в помещение. Дозиметристы доложили о резком возрастании концентрации плутония в воздухе, в несколько тысяч раз. Работы были немедленно остановлены, комната закрыта, а я решил быстро заглянуть сюда, чтобы представить себе ситуацию...

\* \* \*

Что вокруг меня?

Что может помочь?

Где-то здесь есть монтажный стол, на нем лежат подготовленные к сборке части детекторов. Если я не ошибаюсь, на столе валялся чей-то халат.

Почему здесь халат?

Ладно, это не важно. Важно, что в халате есть карманы и могут быть спички или респиратор. Если человек такой неаккуратный, что бросил здесь халат, то, может быть, он и курит потихоньку на блоке? Таких примеров, увы, много. Раньше комната была вполне благополучная, радиация, по нашим меркам, очень маленькая. Не ходить же курить в санпропускник! Времени потратишь много, а еще больше потратишь сил на дорогу.

В общем, себя я уговорил, осталось мысленно уговорить хозяина халата: во-первых, курить, во-вторых, курить на блоке и, в-третьих, забыть в халате спички. Ну, нет спичек, хоть до стола дойти надо: стол — это уже место, уже предмет, а не черная пустота.

Комната очень большая. Метров пятьдесят квадратных? Может, со страху кажется большой? Надо идти к стене и по стене против часовой стрелки. Не торопись, время еще есть.

Стол, халат. Карманы на месте, ни респиратора, ни спичек нет.

Вот скотина! Мужик — и не курит! Но я и сам не курю... Не курю, но и халатов не бросаю, не разрушаю человеческих надежд!

Думаем дальше... Время еще есть.

Неужели у меня нет ничего, чтобы хоть немного светилось?



Есть!!! В комбинезоне, на груди, я спрятал наручные часы, у них светящийся циферблат. Достаю часы. Время видно хорошо — много уже прошло времени, больше часа, как расстался с ребятами. Свет от часов использовать практически нельзя, он позволяет заметить предмет, только если тот поднести на расстояние трех — пяти сантиметров. Или часы поднести к предмету. Сел на стул, продолжаю думать. В голову лезет разная чепуха. Не очень оптимистичная.

\* \* \*

В 1986 году те, кто побывал на блоке или даже рядом с блоком, начинали страшно кашлять. Практически все. Я помню, как много ночей спал в полусидячем положении и буквально выкашливал свои бронхи. И я был еще далеко не самый «тяжелый». Первенство по кашлю принадлежало у нас двоим. Один был замечательный физик, очень скромный человек. Слушать его кашель, смотреть на него во время почти не прекращающихся приступов было просто страшно. Лекарства не помогали. Больших усилий стоило уговорить его уехать в Москву и помогать нам оттуда своими расчетами. Уговорили. Я думаю, этим спасли ему жизнь. Теперь он российский академик. Но кашель, как создается, бесследно не прошел. Второй «чемпион» — известный биофизик, мой хороший товарищ. Он не уехал, не хотел, да и не мог, не было равноценной замены. В результате — постоянные и тяжелые заболевания. Когда его вижу, то тихонько молю Бога продлить ему жизнь. Меня, как и всегда, ото всех, в том числе и черновобильских, болезней вылечила жена. Врачи до сих пор не дали сколько-нибудь внятного объяснения «черновобильскому кашлю». Интересно, после того, как я выйду из проклятой темноты, вернется кашель или нет? Но сначала надо выйти.

\* \* \*

Кажется, придумал!

Мало меня мои ученики мучили! Научили соображать, но все-таки медленно.

Ведь электрическая сеть, которая повреждена, не единственная в этой комнате. Если собирались установить детекторы, то должен быть распределительный шкаф от другой сети, сети высокой надежности. Такие сети всегда существуют на атомных станциях и имеют много защит от поломок и прерывания электропитания. Мы для своих детекторов использовали именно их. Надо найти этот шкаф и с помощью сверхслабого свечения часов попытаться подключить к его клеммам прожектор, который стоял — я совершенно уверен в этом, — стоял в углу. Подключать совсем без освещения — смертельный номер. А так маленькая надежда, но есть.

Прожектор сильный. Если подтащить его к двери, можно осветить самую страшную часть пути.

Иди и не торопись. Время еще есть, но как мало его, этого времени.

\* \* \*

Через полтора часа я вышел к санпропускнику. Дежурному дозиметристу сказал, что задержался в другом, чистом помещении. Он уже дремал и не стал меня перепроверять. Только сказал вслед сочувственно:

— Грипп у вас? Сейчас много болеют, вот так же вроде озноб, а сам весь мокрый.

Три дня я отмывал, а лучше сказать, буквально отдираю свою кожу. И кашлял...

## Работы

Я собирался описать мою первую поездку на станцию, к 4-му блоку. Рассказать о том, что я чувствовал на четырнадцатикилометровом пути от Чернобыля до ЧАЭС, как непрерывно смотрел на дозиметр, как проезжал мимо знаменитого «рыжего леса» и т. п. Но вовремя спохватился.

Практически все журналисты и писатели, побывавшие в Чернобыле, описывали этот путь.

Вряд ли удастся добавить что-либо новое.

Мы доехали до блока, чертыхаясь перенесли свинцовую защиту, провели измерения и поехали назад. Как я и предполагал, излучение блока и излучение почвы были примерно одинаковыми. Пришлось использовать и теньевую защиту и досыпать песок со щебнем.

Дальше пошли будни.

\* \* \*

В то время многие полосы газет пестрели заголовками типа: «Робот идет по блоку», «Создатели роботов — героям Чернобыля», «На помощь пришла наша передовая робототехника» и т. п. Поэтому я очень удивился, когда в ответ на мои расспросы, где именно можно увидеть нашу передовую робототехнику, получил совет катиться вместе с ней к...

Тут можно сделать небольшое отступление.

Вообще, мужское общество, собравшееся в Чернобыле и выполняющее тяжелую и опасную работу, не чуралось крепких выражений. При очень пестром национальном составе, который был мобилизован для борьбы с аварией (особенно это относилось к армейским подразделениям), языком межнационального общения, естественно, стал русский. И русские ругательства явно преобладали. На них особенно и не обижались, понимая, что крепкие выражения не столько относятся к родственникам собеседника, сколько к напряженности момента.

К ругани привыкли, но слова, обращенные к роботам, а точнее, к их создателям, своей искренностью и глубиной прямо потрясали.

Скоро я убедился, что оценки соответствуют действительности.

Оказалось, что уже больше недели, как на горизонте появились изобретатели, которые стремились спасти жизнь и здоровье чернобыльцев (а заодно и хорошо заработать) с помощью робота оригинальной конструкции. Начальство требовало немедленных испытаний «спасителя», а спасаемые упирались и отлынивали всеми возможными способами. Наконец власть и дисциплина победили и робота отволокли на блок. Испытания должны были проводить курчатовцы, которых обучили управлять роботом. Самое печальное в этой затее, как выяснилось впоследствии, заключалось в том, что наших сотрудников заставили расписаться за сохранность робота (он стоил страшно дорого).

Вернувшись с блока, участники испытаний хранили загадочное молчание. На все вопросы следовал один и тот же ответ: «Все засняли телекамерой, вечером будем показывать начальству, и вы сами все увидите».

Действительно, вечером состоялась демонстрация телефильма, если так позволительно будет назвать десятиминутный ролик. Присутствовало руководство и члены оперативной группы, а также создатели робота. Один из них выступил с кратким рассказом об огромных возможностях чудесного механизма. Он не догадывался о содержании кадров, которые будут иллюстрировать это выступление. Иначе вся команда изобретателей давно бы уже была на пути в Киев.

Сначала на экране появилась картина коридора, в котором должны были проходить испытания. Место это было известно своими большими радиационными полями, которые возрастали по мере продвижения в глубь блока. Робот стоял в боевой стойке, оператор и другие участники испытаний прятались за выступом стены. После коротких приготовлений робот двинулся вперед. Он благополучно проехал метров восемь и застрял, наткнувшись на металлическую трубу, лежавшую поперек коридора. Нельзя сказать, чтобы труба была большая — ее диаметр не превышал пятнадцати сантиметров. По сравнению с самим роботом препятствие выглядело жалким, но тем не менее преодолеть трубу механизм не смог.

Далее камера бесстрастно зафиксировала, как двое людей в белых комбинезонах и масках выскочили из укрытия, подбежали к роботу и с трудом перенесли его через трубу.

Механизм продолжал свое движение, но, к сожалению, недолго. Через три метра он снова застрял. Несколько минут оператор дергал и вертел ручки на

пульте управления, но безрезультатно. Робот не двигался ни вперед, ни назад. Камера зафиксировала чей-то голос, который укорял: «Я же предупреждал, что не надо было расписываться за это дерьмо. Опять теперь в рентгены лезть. Зачем ты, Юрка, расписывался?»

Снова две белые фигуры метнулись к роботу и развернули его назад. Оператор буквально прыгал у пульта, но робот стоял неподвижно. Наконец, отчаявшись, человек махнул рукой и прекратил попытки оживить механизм. Так прошла минута или две. И вдруг... Совершенно неожиданно и нелепо замахав своими щупальцами и замигав лампочками, робот развернулся, бросился вдоль коридора, заскрежетал и свалился набок.

«Звук! Выключи звук!» — закричал на стоявшего у телевизора сотрудника руководитель испытаний. Но крик этот опоздал. Из динамиков телевизора на зрителей хлынули такие виртуозные ругательства, что почти все невольно встали. Так, в торжественной обстановке, демонстрация закончилась.

Начальство ограничилось только одним вопросом: «Вытащили?»

\* \* \*

Такова была судьба всех сложных и дорогостоящих роботов, которые испытывались внутри блока. Они либо застревали в его развалинах, либо их электроника отказывалась действовать в огромных радиационных полях, и механизм «сходил с ума».

\* \* \*

Первым успешно действующим роботом, реально помогавшим нам в 1986 году, был... детский игрушечный танк. В эту историю трудно поверить, но она абсолютно правдива и подтверждается не только рассказами очевидцев, но и десятками минут телевизионных съемок.

Сейчас уже нелегко установить, кому первому пришла в голову такая идея, но один из членов нашей команды, приехав в Киев, купил этот танк в магазине «Детский мир». Заплатил он за него 12 рублей. Танк был пластмассовый, величиной с небольшой телефонный аппарат, имел гусеницы и длинный кабель, идущий к пульта управления. По этому кабелю шло питание от батарейки на пульте к электромоторчику на танке и сигналы управления.

Танк мог ехать вперед и назад, разворачиваться и тарыхтеть, имитируя стрельбу. Последнее свойство на блоке не пригодилось, а остальные были использованы в полной мере.

Его переоборудовали: заменили кабель на более длинный (около десяти метров) и многожильный, поставили наверх дозиметр, измеритель температуры и закрепили сильный фонарь. Теперь танк не только двигался, но и проводил примитивную дозиметрическую и тепловую разведку и вообще представлял собой своеобразную «охотничью собаку», которая могла бежать на поводке перед «охотниками» при обследовании блока и предупреждать об опасности. Несмотря на свои весьма ограниченные возможности, он с честью выполнял работу и относительно легко отмывался от радиоактивности. Танк «дожил» до весны 1987 года, после чего уже не подлежал дезактивации и был захоронен на блоке. Спасибо тебе, маленький помощник!

\* \* \*

В связи с отсутствием дистанционно управляемых механизмов и для решения ряда других задач по ликвидации возможных аварий было организовано новое учреждение — Спецатом. Ему и поручили создать необходимую робототехнику. Учреждение просуществовало несколько лет, съело огромное количество государственных денег и было ликвидировано. Никаких осязаемых плодов его деятельности не осталось.

Чтобы не жечь людей, мы вынуждены были начать конструировать и изготавливать роботы для «Укрытия» своими силами. Первые попытки и, естественно, частые неудачи в течение двух-трех лет служили поводом многих критических и юмористических выступлений на семинарах и конференциях. Но те, кто работал над созданием роботов, проявляли завидное упорство и продолжа-

ли совершенствовать свои механизмы, понимая, что никакого другого пути нет. И постепенно роботы все успешнее действовали в радиоактивных развалинах.

Но это уже другое время и другой рассказ.

\* \* \*

Пока же только один вид «роботов» реально существовал и продвигался все дальше в огромных полях и в темных, разрушенных помещениях. Это были люди. С чьей-то легкой руки появилось название *биоробот*. И оно надолго прилипло к тем, кто работал внутри и вокруг блока.

### Великое строительство

Мы снова возвращаемся к созданию «Укрытия», но теперь к тому, что происходило на моих глазах.

Конец лета и осень 1986 года были периодом Великого строительства.

В окрестностях станции и Чернобыля были построены бетонные заводы. Они беспрерывно перемалывали составы с цементом, щебнем, песком. Через каждые две минуты, днем и ночью, могучие бетоновозы, ревя моторами, мчались по шоссе на станцию. За ними двигались поливальные машины, осаждая висящую в воздухе пыль. Маленькие чернобыльские домики, спрятавшиеся среди фруктовых садов и навсегда лишившиеся своих хозяев, вздрагивали от грохота проносящихся машин.

На станции рекой лился бетон. Днем и ночью работали краны «Демаг». Рабочие, инженеры, военнослужащие трудились в четыре смены при солнечном свете и при свете прожекторов.

Одновременно на площадке работало около десяти тысяч человек.

Возведение «Укрытия» было поручено ведомству, которое обладало гигантскими строительными мощностями, — Министерству среднего машиностроения. Под таким названием выступало тогда огромное министерство, занимающееся всем ядерным циклом: от добычи урана до создания атомного оружия и захоронения радиоактивных отходов.

На Правительственной комиссии заместитель министра, начальники главка этого министерства, руководители строительства докладывали о тысячах и десятках тысяч кубометров уложенного бетона и монтаже огромных металлоконструкций.

Их постоянно торопили, чтобы окончить работы по созданию «Укрытия» к празднику — 69-й годовщине Октябрьской революции.

И «Укрытие» — выросло на глазах.

\* \* \*

Первыми шагами при его создании было строительство перегородок и стен, отделивших поврежденный 4-й блок от 3-го, который находился в том же здании. Предполагалось, что в будущем, после того как 3-й блок возобновит свою работу, эти герметичные, защищающие от излучения разделительные стены позволят персоналу работать в нормальных условиях, не боясь грозного соседства.

Быстрее! Быстрее! Быстрее!

И в результате, когда через несколько лет наши разведчики сумели внимательно обследовать разделительные стены, на верхних этажах они оказались, мягко сказать, не совсем герметичными. Поскольку в нескольких местах человек средней комплекции довольно свободно проникал сквозь них из 4-го блока на 3-й и обратно. Это счастье, что вблизи от этих мест ни разу не падали разрушенные конструкции, вздымая при падении плутониевую пыль. Счастье плюс самоотверженная работа моих товарищей.

При строительстве было допущено много и других погрешностей. Самое печальное не в том, что в абсолютно экстремальных условиях люди не могли качественно выполнить работу. Требовать от них большего чаще всего было бы бессмысленно или преступно. Плохо то, что эти погрешности замалчива-

лись из-за страха перед начальством и общая картина представлялась излишне оптимистичной. Можно помянуть недобрым словом и традицию приурочивать окончание строительства и решение чисто технических проблем к очередным политическим праздникам.

С трех сторон на подступах к блоку были возведены специальные защитные стены, обеспечивающие относительно безопасное приближение к нему. Стены эти получили название «пионерные», но были далеко не маленькие. Шесть метров высотой с северной стороны — там, где благодаря взрыву образовалась огромная гора из рухнувших стен и выброшенных из здания обломков (ее называли развалом), и по восемь метров с южной и западной стороны.

Западная стена была разрушена меньше. Выбиты окна, образовались проломы, сверху, как одинокий зуб, торчал кусок монолитного бетона. Но все-таки это была стена. Было решено недалеко от блока собрать огромные металлические конструкции — контрфорсы, высотой около пятидесяти метров, и придвинуть их к блоку, чтобы они образовали с запада вторую, металлическую, стену. Когда она была построена, то получила название «контрфорсная».

Как закрыть блок сверху, на что опереть перекрытия?

Три огромные стальные балки, идущие в направлении восток — запад, должны были держать на себе все верхние конструкции. Чтобы они выполнили свою задачу, необходимо было обеспечить им устойчивые опоры. Опорами должны были стать старые конструкции, поврежденные при аварии. Вы помните, мы уже говорили об этом раньше. Укрепление этих старых конструкций, когда нет никакой возможности к ним приблизиться и приходится работать почти вслепую, — вот задача, вставшая перед строителями. Они дистанционным образом бетонировали основания опор, бетон лился и лился. Сначала сотни, а потом и тысячи кубометров бетона утекали на нижние этажи здания, в темноту радиоактивных помещений. А строители продолжали подавать его, чтобы максимально застраховать прочность возводимого сооружения.

Конечно, они сообщали на ПК о трудностях бетонирования, но истинного объема пролитого внутрь блока бетона никто не представлял.

\* \* \*

Чем же занимались в это время курчатовцы? Почему в такое напряженное время их работе продолжали уделять самое пристальное внимание и постоянно требовать отчета о ней?

Главная причина — постоянная тревога практически всех, кроме небольшой группы профессионалов, что в разрушенном блоке вспыхнет ядерная реакция и произойдет «второй Чернобыль».

И основные наши усилия были направлены на то, чтобы понять, где и в каком состоянии находится оставшееся в реакторе топливо, а затем принять все возможные и невозможные меры, чтобы обеспечить его безопасное хранение.

Топливо можно было бы искать по его излучению, по гигантским, в десятки тысяч рентген в час, дозовым полям. Но тут существовали свои трудности.

Во-первых, радиоактивное излучение поглощалось как в толще самого топлива, так и в стенах помещений и в других материалах. Из-за поглощения слой топлива толщиной в метр «светил» точно так же, как и слой толщиной в пять — семь сантиметров. Поди разберись, сколько его в этом слое.

Во-вторых, и это главное, сама процедура обнаружения топлива по мощности дозы подразумевает возможность эту дозу измерять. Измерять ее сквозь стены разрушенного блока? Кто знает толщину материалов в этих развалинах и степень ослабления излучения? Измерять, заходя непосредственно в помещения, в которых лежит топливо? Измерения с помощью доступных тогда средств привели бы к болезни или даже гибели людей.

И основным путем поиска топлива была выбрана тепловая разведка.

В то время каждая тонна облученного ядерного топлива выделяла десятки киловатт тепловой мощности за счет интенсивного распада радионуклидов. Объем, занятый топливом, величиной всего с обычное ведро отдавал тепла столько же, сколько выделяют включенные вместе десятки бытовых электрических нагревателей.

Заходя, забегая, заползая в сохранившиеся помещения и развалины на нижних этажах блока, исследователи старались установить там приборы, показывающие температуру и определяющие потоки тепла. Такие методы тепловой локации позволили установить, например, большое скопление топлива, каким-то образом проникшее в помещение, находящееся под реактором.

Сверху в развал блока, в бывший центральный зал реактора, удалось установить с помощью вертолетов и кранов «Демаг» устройства, названные «буями». Они очень походили по внешнему виду на обычные речные буи, по которым ориентируются суда. Но внутри эти «буи» были начинены аппаратурой. Стоя среди выброшенных наверх обломков и сброшенных с вертолетов материалов, они регистрировали тепловые потоки, температуру, скорость движения воздуха и дозовые поля. Вся информация по кабелям передавалась на центральный пульт. Периодически, при производстве работ, строители обрывали кабели, и очередной «буй» замолкал. Последний замолк в октябре 1986 года.

\* \* \*

Утром и днем я выполнял самые разные задания руководства оперативной группы. Ездил вместе с товарищами на блок, обрабатывал результаты измерений, занимался проблемами выброшенного из реактора плутония. А вечером обязан был присутствовать на заседаниях Правительственной комиссии.

Я садился в дальний угол и оттуда наблюдал за генералами, начальниками больших учреждений и даже министрами, которые отчитывались перед комиссией. Ее члены периодически менялись: одни, «взяв свои рентгены», отправлялись в Москву, другие, придя немного в себя и сделав неотложные московские дела, возвращались в Чернобыль. Уезжал и Председатель. Тогда все чувствовали себя более свободно и заседания ПК проходили быстрее.

Я слушал часто возникавшие споры, иногда хотел бы высказать свое мнение, но им никто не интересовался.

Способ повлиять на события, когда это казалось абсолютно необходимым, у меня был только один: убедить свое начальство — руководителя оперативной группы, а он уж выступит на ПК или в рабочем порядке постарается убедить Председателя.

\* \* \*

Время летело. Строители возводили «Укрытие», и все больше бетона уходило в неизвестность. Военные вертолеты, зависая над блоком, ежедневно регистрировали мощность дозы на высоте двухсот метров над реактором. Физики пытались получить информацию о топливе.

### Два часа

День начинался прекрасно. Прохладный и солнечный осенний день в октябре 1986 года. Я шел по узеньким чернобыльским переулкам вдали от основных дорог. Постоянный гул машин с трудом прорывался через сады. После вчерашней тяжелой работы была надежда отдохнуть, сидя в штабе и обрабатывая полученные результаты. И до конца разобраться в одном важном вопросе, который уже несколько дней доставлял нам серьезное беспокойство. Но человек предполагает, а судьба...

\* \* \*

Через несколько часов я очутился на втором этаже: Легасов спустился в наш штаб и привел меня в кабинет Председателя. Щербина не терял времени на предисловия:

— Вы в курсе, что радиация над блоком увеличилась в четыре раза? Еще не знаете? Сегодня доложили пилоты вертолета.

И еще. Ваши физики зарегистрировали подъем температуры в нижних помещениях, под взорванным реактором. Почему мне сразу не сообщили — это отдельный вопрос, и мы еще с ним будем разбираться. Сейчас нет времени.

И на площадке активность фильтров, сквозь которые прокачивают воздух, в десятки раз возросла.

Складывается впечатление, что в блоке началась неуправляемая цепная реакция.

Давайте выясняйте причину. Быстро и доказательно. Времени могут дать — два часа. Не выясните точно, что это не ядерная опасность, будем объявлять тревогу и выводить людей с площадки. Сегодня у нас там тысячи работают.

Пока не выполните работу и не доложите лично мне или академику Легасову, ни с кем никаких разговоров об опасности. Обычная штабная работа. Срочная, но обычная. Любая помощь будет оказана немедленно...

Я спускаюсь в штаб, и практически вслед за мной входит незнакомый человек и предъявляет документы офицера КГБ. Он настоятельно просит подписывать каждую бумажку, каждый лист расчетов и потом все передавать ему. Еще несколько раз предупреждает об ответственности...

\* \* \*

Если у вас времени мало, но есть ресурсы для решения проблемы — двигайтесь сразу несколькими путями. Если время есть, а ресурсы очень ограничены — выстраивайте последовательную цепочку задач, которые необходимо решить, чтобы добраться до финала. Если нет ни того, ни другого — остается одно: надеяться на удачу.

На мое счастье, ресурсы нашлись. Что уж там сообщили из ПК в оперативную группу, я не знаю, но уже через несколько минут мне в помощь были мобилизованы многие курчатовцы. Часть из них поехала на станцию, чтобы проверить ситуацию с фильтрами, часть отправилась к вертолетчикам, за документацией на бортовую аппаратуру, а наиболее ловкие и дипломатичные были посланы к строителям, дабы в сугубо неофициальных беседах узнать о... но об этом чуть позже.

Кроме того, несколько человек из Радиевого института были откомандированы с переносной аппаратурой к блоку для того, чтобы взять, где это только возможно, пробы воздуха на короткоживущие продукты деления — верный признак начавшейся СЦР.

Если быть честным, то надо сказать, что в ядерную опасность я не верил ни минуты. Тем более что на один вопрос Председателя ответ уже был.

Почему в нижних помещениях блока, вблизи от шахты реактора, начала подниматься температура?

Вчера мы обсуждали эту проблему, и почти все согласились с тем, что причина — в бетоне, проливающимся внутрь блока. Если раньше воздух свободно проходил по коридорам и комнатам и уносил тепло, выделяющееся ядерным топливом, то теперь бетон мог перекрыть эти пути естественной вентиляции. Топливо начало разогреваться, и температура повысилась.

Объяснение простое, но уже первые оценки дали, как мне казалось, фантастические данные о количестве пролитого бетона. Тысячи кубометров! (Позднее станет ясно, что в реальности речь шла о десятках тысяч.) Поэтому мы не торопились докладывать и решили сначала выяснить этот деликатный вопрос у строителей.

И сейчас довольно быстро вернувшиеся из Управления строительством «разведчики» сообщили, что версия с «очень большим проливом» неофициально подтверждается.

Просто объяснилась и ситуация с повышением активности на фильтрах. Установки для забора воздуха, находившиеся в максимальной близости к развалу, кто-то догадался передвинуть поближе к дороге, по которой непрерывным потоком шли бетоновозы, поднимая сильнейшую пыль. В новом месте они измеряли не выброс активности из блока, а нечто неопределенное, скорее всего связанное с графиком укладки бетона. График был жесткий, и не удивительно, что активность фильтров возросла в десятки раз, скорее удивительно,

что не в сотни. Передвинуть установки передвинули, а сообщить не сообщили. Ни те, кто передвигал, ни те, кто менял фильтры. (Слава Богу, делали это не курчатовцы!)

А вот с третьей проблемой — увеличившимися в четыре раза показаниями приборов, установленных на вертолете, — пришлось помучиться.

Каждый день, согласно программе «Галс», над блоком на высоте 200 метров по определенному курсу пролетал вертолет, проводя дозиметрические измерения. Когда он находился над крышей «Укрытия», мощность дозы в предыдущие дни составляла 12 — 10 — 10 Р/ч. И вдруг сегодня около 40 Р/ч!

Дозиметрические приборы находились вне кабины вертолета. Их показания передавались на бортовой компьютер, и на табло появлялся результат. Какие операции проделывала электроника с поступающими данными, в Чернобыле никто не знал. Разработчики аппаратуры находились далеко, и на их розыски ушло бы слишком много времени. Поэтому пришлось мне засесть за вычисления.

Я не буду утомлять читателя своими выкладками. Скажу только, что, списывая страницу за страницей, постоянно ошибаясь и зачеркивая результаты, волнуясь, как никогда в жизни, я, безбожно просрочив время (на целый час), все-таки выбрался, как мне казалось, на верный путь. Вычисления убеждали (пока только меня), что показания бортового компьютера надо было делить на коэффициент. Равный четырем!

\* \* \*

Звоню военным летчикам:

— Что, сегодня летал новый экипаж?

— Да, вчера прибыла смена.

— А можно поговорить с пилотом, который сменился? Он еще здесь?

— Повезло вам, он уже садится в машину. Сейчас позовем.

— Слушаю. Да, да. Конечно, делили на коэффициент, разработчики аппаратуры нам его сосчитали. Да. Равный четырем. Почему не передали сменщикам? Передали, точно помню, что передали, и запись в журналах есть. Наверное, они не успели внимательно прочесть. Их сегодня намного раньше подняли...

Сменщики уверяли меня, что никто и ничего им не передавал. Я не стал разбираться. Ни времени не было, ни желания — летчики прибывали к нам из Афганистана, после тяжелых боев. И попадали в Чернобыль на работу, которой вряд ли кто-нибудь мог позавидовать.

\* \* \*

Щербина тоже не стал вдаваться в подробности. Выслушав меня внимательно, он задумался и потом, глядя мне в глаза, очень отчетливо произнес:

— Я не ученый и не могу повторить ваши расчеты. И не очень-то мне верится в такое наложение случайностей. На станции работают люди, и я отвечаю за их жизнь. Тому, что вы доложили, простите, не верю. Вы должны представить безусловные и абсолютно ясные доказательства. Тревожное положение не отменяю. Сроку даю еще два-три часа...

На мои робкие слова, что наши команды не обнаружили никаких следов короткоживущих продуктов деления, отрезал:

— Поэтому и продлеваю срок.

Наступило молчание. И когда я направлялся к выходу, одна на первый взгляд выполнимая идея мелькнула в моей голове.

\* \* \*

Прошло три часа. Легасов и Щербина наклонились над столом и рассматривали фотографические отпечатки. На них была снята приборная доска вертолета и одновременно целый набор дозиметров:

— советские (четыре типа),

— «ORIENT», японского производства,



— «PENDIX», производства США.

Показания дозиметров лежали в пределах 8 — 10 Р/ч.

— Наши сотрудники, — говорил академик, — зависли на вертолете над блоком. Вы видите это по показаниям приборов на доске. Высота двести метров. И видите показания дозиметров, самых разных типов. Ни о каких сорока рентгенах в час и речи быть не может. Коэффициент деления подтверждается — четыре.

— Да, — как-то неохотно подтвердил Председатель, — но все же еще разок проверьте.

Полеты продолжались и в течение двух последующих дней. Меняли вертолеты, бортовые дозиметры, повторяли эксперимент с иностранными приборами. Все подтверждалось.

\* \* \*

Офицер КГБ забрал скомканные, но подписанные бумажки и ушел. Больше я никогда его не видел.

\* \* \*

Я сидел на очередном заседании ПК в своем любимом углу. Уже больше трех ночей спать было практически невозможно. Стоило только лечь, и начинался непрерывный кашель, переходящий в астматический приступ. Заседание казалось невероятно скучным: какие-то поставки, вопросы снабжения металлом. Затем наступила прекрасная пауза. Оказалось, что я не только заснул, но и свалился в проход и продолжал спать лежа в проходе. Спасибо сидящим рядом, они подняли меня за ватник и возвратили в исходное состояние. Я с ужасом взглянул на Председателя. Щербина не сказал ничего, но укоризненно покачал головой. Прошло еще некоторое время, обсуждался уже интересный вопрос, и вдруг Председатель, в первый раз за эти месяцы обращаясь ко мне, сказал:

— Хотелось бы послушать мнение науки, если она уже проснулась.

### Яблоки

За это время я видел Председателя в разных ситуациях и в разных ипостасях. Чаще всего он выступал как суровый и тяжелый человек. Его боялись и старались лишней раз не попадаться на глаза. Но и само это время, и огромная ответственность, возложенная на него, не располагали к особому добродушию. Я только поражался тому, как быстро входил Щербина в курс все новых и новых проблем, несмотря на свои далеко уже не молодые годы.

Разные были ситуации...

\* \* \*

К осени из зоны было эвакуировано более ста тысяч человек. Вывезли и вывели скот. Деревни опустели, и дома смотрели мертвыми глазами. На полях остался неубранный хлеб, и огромное количество полевых мышей суеилось среди полеглих колосьев. Вечерами десятки сов начинали кружить над посевами, напоминая эскадрильи самолетов, заходящих на бомбежку. В садах на земле гнили самые разнообразные фрукты. Поздние яблоки еще держались на ветках, и мои товарищи, вернувшись с блока, с удовольствием собирали и ели их. Я не ел, не из-за боязни радиоактивности — после того, как очищали кожу, яблоки вполне можно было есть, — но из-за своей давней нелюбви даже к чуть-чуть кислым плодам.

\* \* \*

Ранним утром мы прилетели на вертолете в одну из покинутых деревень. Надо было отобрать пробы почвы и отвезти их на анализ. Несмотря на солнечное утро, красоту осеннего леса, который начинался сразу за последней хатой, на душе была постоянная тяжесть, как будто мы прилетели на кладбище.

Дела наши уже подходили к концу, когда из-за соседнего дома вышла странная процессия. Впереди старуха с кошкой на руках, а сзади еще одна старуха и старик, которому она помогала идти. Мы остолбенели. По всем представлениям, на многие километры вокруг простиралась безлюдная территория зоны. Первое, что мне пришло в голову: армейские части, помогавшие проводить эвакуацию, из-за какого-то упущения или торопливости забыли вывезти этих стариков.

Я кинулся навстречу, и когда подбежал, то сразу же задал далеко не самый умный вопрос:

— Откуда вы здесь?

— Мы здесь родились, — ответил старик, — а военные ваши нас не нашли — здешних в лесу не найдешь. Немцы в войну и то найти не могли. Большие были специалисты, с собаками искали — и не нашли. Где уж солдатам. Мы мимо их постов по тропкам свободно ходим. За зону ходили, исповедовались и причастились. Назад вот дошли.

В словах его звучала гордость.

— Ты вот что нам скажи, и не бойся, говори правду. До зимы доживем ли с радиацией этой? Или раньше померем? Мы смерти не боимся, но знать надо, дрова на сколько запасать, как с провиантом быть. Мы потому вышли, что спросить не у кого, а ты вроде с приборами возишься. Скажи, пожалуйста.

Сильно тогда запершило у меня в горле, и не от чернобыльских горячих частиц.

— Здесь радиация небольшая, и она будет довольно быстро спадать. Свою главную дозу вы уже получили в первые недели после аварии. Но и она очень-очень далека от смертельной. Вам сколько лет?

Оказалось, что старику более восьмидесяти, а старухам за семьдесят.

— Ну, вот видите, за свою жизнь вы уже болезнями обзавелись. От чего померете, это — Богу решать, только не от радиации.

— Животное по земле можно пускать? — спросила старуха с кошкой. — А то тяжело мне носить, но боюсь, чтобы уродом каким не стала, лапы не пожгла.

— Пускайте, ничего ей не будет.

— С деревьев что можно есть, яблоки можно?

— Можно, если от кожуры очистить.

— Съешь яблоко, — говорит хитрый старик.

Я срываю яблоко и ем. Боже! Никогда в жизни не ел более кислого яблока. Скулы у меня сводит, но я вспоминаю путь, который прошли они до церкви и назад, путь по лесным чащобам, в десятки километров, старика, которого вела старуха, кошку... И не только ем, но даже улыбаюсь. Наконец с яблоком покончено.

— Съешь еще, — просит старик.

Ем...

Мои товарищи, подбежавшие чуть позже и отлично знающие мою «любовь» к яблокам, делают вид, что любят окрестностями.

Время наше истекло.

Мы переговорили с пилотами и оставили старикам все консервы и шоколад из неприкосновенного запаса.

\* \* \*

Вечером я дождался, когда в кабинете Щербины не было посетителей, и попросил секретаря пустить меня на три минуты. Рассказал Председателю про стариков и то, как я нарушил все инструкции и правила, посоветовав им остаться. Щербина поднял на меня красные от недосыпания глаза:

— От немцев спаслись, а свои снова в лес загнали. И просят, чтобы дали право на родной земле умереть? Как можно отказать? У кого рука поднимется? Пусть живут. У вас еще какие-нибудь предложения есть?

— Там недалеко расположена воинская часть. Нельзя ли приказать раз в день полевую кухню присылать в деревню? Подкормить их. Питание будет чистое, а внешняя радиация незначительна.

— Хорошо. Идите.

Выходя, я слышал, как он приказал соединить себя с военным начальством.

### Славутич

Несколько лет назад в разговоре со мной один из работников Чернобыльской атомной станции, живущий в городе Славутиче, произнес горькие слова: «Все эти годы мы и наши семьи живем под гнетом. И все еще в городе продолжается борьба с радиоактивностью. Конца этому не видно».

Так уж получилось, что один из эпизодов описываемых здесь событий оказался связанным со Славутичем. Начало его — тоже осень 1986 года.

\* \* \*

Однажды, придя в зал заседаний (не особенно большую и душную комнату), я поразился рисункам и чертежам, развешанным по стенам. На них были изображены улицы прекрасного города. Трехэтажные коттеджи самой современной архитектуры с небольшими садиками и гаражами в подвальном этаже, зеленые парки, бассейны, удобные магазины.

На вопрос: «Что это такое?» — стоявший рядом военный объяснил:

— Это будущий город энергетиков, тех, кто будет работать на Чернобыльской станции после того, как ее снова пустят, конечно первые три блока. А ваш монстр, четвертый блок, захоронят.

Город впоследствии назвали Славутичем.

Началось заседание ПК. Очень скоро стало ясно, что на строительство такого города потребуется слишком уж много средств. В конце концов решили, что для чернобыльцев каждая из республик Советского Союза построит один микрорайон будущего города, естественно, в своем национальном духе. Так возникнет новый прекрасный город — город мечты.

Забегая на несколько лет вперед, скажу, что многие районы города действительно получились красивыми и удобными. Но в результате распада Союза полностью эта мечта так и осталась неосуществленной.

Пока шли архитектурно-строительные споры, мне в голову пришла одна тревожная мысль.

Город предполагали расположить в достаточном удалении от границы Чернобыльской зоны. Казалось, место выбрано удачно: красивое, без радиации и удобное для железнодорожного сообщения. Но мы уже в то время знали, что вылетевший при аварии из реактора долгоживущий (его период полураспада около тридцати лет!) радионуклид цезия-137 разнесся на очень большие расстояния. Чернобыльская зона была местом сосредоточения выброшенных частиц топлива и связанной с этими частицами радиоактивности. Цезий же легко испарялся и летел, независимо от топлива, на мельчайших частицах пыли и дыма. Там, где радиоактивные облака касались земли в результате дождя или сложных воздушных течений, на почве образовывались радиоактивные «пятна» — «цезиевые пятна».

К этому времени «пятна» уже обнаружили на Украине, в Белоруссии и в России за сотни километров от Чернобыля. В особенно активных «пятнах» здоровье живущих там людей подвергалось серьезной угрозе. Было решено их переселять.

И вот, слушая докладчиков, я думал о том, что в районе будущего города могут быть «цезиевые пятна». Никаких конкретных данных о радиационной обстановке сообщено не было, и после совещания я подошел к руководителю нашей оперативной группы и попросил поговорить с военными. Они дают нам вертолет, а мы берем пробы почвы в месте, где будет строиться Славутич, и анализируем их.

Вообще-то измерениями радиационной обстановки вне территории станции занималось специальное ведомство с труднопроизносимой аббревиатурой — Госкомгидромет. Но у его работников в то время часто не хватало приборов, сил и времени, чтобы выполнить весь огромный объем работы. И другие учреждения, способные делать измерения, выполняли их и передавали результаты комитету для создания подробных карт радиационной обстановки. Поэтому моя просьба была выполнена — вертолет дали, пробы мы взяли и измерения в «гинекологии» провели.

Результаты можно было толковать двояко. С одной стороны, радиоактивность проб не превышала норм, введенных после аварии. Согласно этим нор-

мам, допустимая загрязненность почвы по цезию-137 составляла 15 кюри на квадратный километр. А наши данные по району Славутича колебались от 5 до 11 — 12. Все ниже нормы.

С другой стороны, я не мог представить себе, как люди, большинство из которых пережило аварию и выселение из города Припять, будут жить в месте, где постоянно трещит счетчик радиоактивности. И его надо брать с собой, чтобы пойти собирать в лесу грибы или ягоды. И постоянно думать, съесть сорванное яблоко или лучше не есть. Для существования в таких условиях надо иметь глубокую веру в расчеты медицины и очень крепкие нервы. Вряд ли можно было ожидать эти качества у людей, переживших аварию.

С нашей точки зрения, следовало перенести центр города на несколько километров в сторону от «пятна», это намного улучшило бы радиационную обстановку в самом городе и позволило бы безопасно отдыхать в его окрестностях.

Изложив все эти соображения, я передал докладную записку и карту с измерениями (раскрашенную для убедительности цветными карандашами) в ПК и представителю Госкомгидромета.

И забыл о Славутиче, занятый бесконечными и всегда спешными делами.

\* \* \*

Прошли месяцы. Наступил 1987 год, весна, приближалось лето.

\* \* \*

В конце весны мне не повезло. Во время обследования 3-го блока, который проходил в это время усиленную дезактивацию и подготовку к пуску, на меня сверху неожиданно хлынула радиоактивная вода. Бег к санпропускнику, где можно было ее смыть, оказался недостаточно быстрым. И пришлось отправляться в Москву на лечение. Только осенью 1987 года я снова попал в Чернобыль.

\* \* \*

На очередном заседании ПК разбирались вопросы, связанные со строительством Славутича. После того как все разошлись, я подошел к карте. И буквально замер от неожиданности. Год назад мы рекомендовали немного изменить расположение города, отодвинуть его от «цезиевого пятна». Город действительно отодвинули. Но в другую сторону! И теперь он находился чуть ли не в центре загрязненной области.

Что делать?

Надо сказать, что мое служебное положение к этому времени изменилось — я приехал уже как научный руководитель оперативной группы Курчатовского института. И вся ответственность за решения и действия этой группы непосредственно в Чернобыле лежала на мне. И любые мои высказывания воспринимались как мнение института.

Достаточно долгое время сидел я в нашем штабе и размышлял.

Думал о том, что, собственно, все это не мое дело. Как первый раз никто не поручал нам исследовать пробы, так и сейчас никто не спрашивал нашего мнения о Славутиче. И тем не менее я не мог смолчать.

К кому обратиться?

Легасов был в больнице. Не было в институте — я уже забыл, по какой причине, — моего непосредственного руководителя, академика С. Беляева. Председатель ПК Борис Щербина гораздо большее время, чем в 1986 году, проводил в Москве, занимаясь своими непосредственными обязанностями — заместителя премьер-министра СССР. Если в Чернобыле я бы отважился обратиться прямо к нему, то звонить в Москву и добираться до такого начальства было абсолютно бесполезно.

На столе в штабе рядом с обычным желтым телефоном, рядом с красным телефоном спецсвязи «Искра» стоял еще один аппарат — белый с золотым гербом. Этим телефоном разрешалось пользоваться членам ПК, министру, его

заместителям. А обычным смертным — только в исключительных случаях, для передачи особо важной информации, и только по поручению членов ПК.

Я снял трубку и попросил дежурного по коммутатору правительственной связи соединить меня с Москвой, с аппаратом академика Александрова.

\* \* \*

Уже через три дня, сопровождая А. Александрова, я впервые в жизни поднимался по ступеням знаменитого кремлевского «крылечка», ведущего в здание, занимаемое правительством. И хотя ожидаемый прием в Кремле был совершенно исключительным событием в моей жизни, в этот момент мысли, очень далекие от темы предстоящего разговора, металась в моей голове. О людях, самых известных людях огромной страны, которые проходили здесь. Что было в их сердцах? Скорее всего волнение и страх. Ведь в течение долгих десятилетий в невысоком здании работали «вожди».

Трудно объяснить, что значило это слово для прежних поколений советских людей. Поднимите меня сейчас глубокой ночью и спросите имена, отчества, фамилии вождей сталинского времени — отвечу без запинки. Я должен был знать их с семи лет, с момента поступления в школу, и запомнить их на всю жизнь. Мне с детства на всех уроках говорили о том, как многим мы обязаны вождям и как сильно должны их любить. А из разговоров дома я понимал, что их еще надо и сильно бояться.

Десятки лет они руководили страной по воле одного человека — Сталина. И иногда, по его воле, снимались, объявлялись врагами народа и уничтожались.

Огромное большинство людей не знало и не знает о существовании кремлевского «крылечка». Но я знал довольно давно. Мне рассказала о нем мама.

\* \* \*

Это было пятьдесят лет назад.

По удивительной, странной случайности по его ступеням ровно пятьдесят лет назад, осенью 1937 года, поднимался ученый, крупнейший советский астрофизик и руководитель программы освоения Севера — Отто Шмидт. Он должен был пройти на прием к Сталину, который в то время благоволил к Шмидту. В папке у академика был всего один лист бумаги, и на нем пять фамилий. Пять фамилий его ближайших сотрудников, людей, приговоренных к расстрелу. Он шел просить о помиловании.

Дальше мама рассказывала так.

Сталин принял Шмидта, просмотрел список и сказал, что получил уже одно письмо от него с перечислением этих фамилий. Он, Сталин, дал поручение своим помощникам проверить материалы дела. Выяснилось, что обвинение полностью соответствует действительности, а обвиняемые сознались в своих преступлениях перед народом и партией. Академик не разобрался в своем окружении.

— Вы все понимаете, когда дело касается звезд, — сказал вождь. — А когда дело касалось наших земных вопросов, этим людям удавалось вас обманывать.

— Неужели все сознались? — помертвевшим голосом спросил ученый.

Сталин еще раз взглянул на бумагу. Случилось невероятное: вождя подвела его на самом деле выдающаяся память.

— Нет, не все, — раздраженно сказал он.

Потом помолчал и добавил:

— Один вот не сознался.

Сталин взял толстый синий карандаш, подчеркнул фамилию в списке и показал листок Шмидту:

— Вы действительно можете ручаться за этого человека?

И, получив утвердительный ответ, написал на полях: «ПРОВЕРИТЬ. ВОЗМОЖНО — ОГОВОР».

Какая причуда судьбы!

Никогда бы я не шел в 1987-м, ровно через пятьдесят лет, по этим ступеням, если бы один из пяти осужденных не выдержал допросов и подписал признание вместе со своими товарищами.

Потому что этим человеком был мой дед, отец моей матери.

Мужество Шмидта и надпись синим карандашом сохранили жизнь ему и его семье.

\* \* \*

И вот мы, пройдя проверку документов, стоим в приемной Б. Щербины. Меня сразу поразило огромное количество телефонов на столе у секретаря. С гербами и без гербов, белые, черные, всех цветов радуги, с разными системами набора номеров и даже с короткими антеннами. Совершенно непонятным было то, как секретарь может угадать, какой из них звонит в данный момент. Но он угадывал.

Через несколько минут нас пригласили в кабинет. Высокие и красивые двойные двери, деревянные панели, ковровая дорожка, ведущая к столу. На столе опять телефоны. Но меньшее количество.

Щербина пожал нам руки и, кивнув мне как уже хорошо знакомому человеку, сказал:

— Давайте, давайте, докладывайте.

Я доложил то, о чем уже известно читателю, и передал Председателю копии актов 1986 года. (Они до сих пор хранятся в институтском архиве.)

— Я ваши докладные не читал и вообще не видел, — сказал Щербина. — Помощники тоже ничего не докладывали. Вроде бы мы в Славутиче далеко от предельного уровня. Надо связаться с Госкомгидрометом. Председателя его сейчас нет в Москве, но приедет заместитель, он полностью владеет ситуацией. Придется немного подождать.

Через полчаса заместитель приехал, и наше обсуждение возобновилось.

На столе разложили карты радиационной обстановки в районе Славутича. Они не давали такой плохой картины, как результаты анализов наших проб. Если у нас анализы показывали загрязнение цезием 5 — 12 кюри на квадратный километр, то цифры Госкомгидромета были в 1,5 — 2 раза ниже.

— Ну, вот видите, — с упреком заметил Щербина, — надо мерить точнее. Зря не разводить панику...

Лицо Александрова, обычно очень спокойное и приветливое, приобрело незнакомое мне жесткое выражение.

— Нет, вряд ли наши измерения ошибочны. Не такая у курчатовцев школа, и не такие уж трудные анализы. Вы можете объяснить эти различия? — повернулся он ко мне.

Очередной раз надо было соображать в самом быстром темпе.

— Наверно, могу. Данные Госкомгидромета получены с помощью съемки радиоактивных полей с вертолета. Правильно? А если так, то их точность не всегда хорошая. Особенно над участками, покрытыми лесом и густой растительностью. Излучение сильно поглощается, и возникают погрешности, мощность дозы получается заниженной. Нет ли у вас результатов проб почвы в этом районе?

Результаты были. И когда их положили рядом с нашими, они практически совпали: 5, 7, 12... кюри на квадратный километр.

— Как же так получилось, Борис Евдокимович, что ошиблись с местом? — спросил академик.

— Строители настояли. Им так удобнее и много дешевле проводить коммуникации. Грунт более приемлемый. А исправить ситуацию? Можно, конечно. Мы об этом думаем и работы начали. Будем проводить тщательную дезактивацию и города и окрестностей. Сильно зараженные места пока оградил, поставили знаки радиации.

После этого нам стало ясно, что мы ломимся в открытую дверь. Б. Е. Щербина все знал, а вот почему правительство сделало такой выбор в пользу строителей и дезактивации? Сыграли ли здесь свою роль эти 1,5 — 2 раза различия в дозах? Я не знаю этого и сейчас.

Мы вышли из кабинета. По дороге Александров, от которого я в жизни не слышал более сильных выражений, чем «вот, черти», сказал, ни к кому не обращаясь:

— Вот, черти, опять решили с наскака, не посоветовались, а теперь десять лет исправлять будут.

\* \* \*

Десяти лет еще не прошло. Но все восемь лет, прошедшие с начала строительства, «исправляли ситуацию», тратя огромные силы и средства.

## 1987 ГОД И ДАЛЬШЕ

### Когда начали создаваться эти записки

Я лечу над Соединенными Штатами, рейс Альбукерк — Феникс — Вашингтон. Фантастика! До 1989 года я не мог и предполагать, что пролечу над этой огромной страной и вообще попаду за границу. Немногие приглашения из-за рубежа, приходившие на мое имя, ожидала одна и та же незавидная судьба. Очередной чиновник украшал их надписью: «Необходимость в поездке отпала» и подшивал в папку. Дальше этой папки мои путешествия так и не продвинулись. Но в 1989 году министр объявил: все, что связано с Чернобылем, является открытой тематикой и может свободно рассказываться на конференциях и печататься в журналах и книгах. Это было летом, а уже осенью МАГАТЭ пригласило меня как эксперта по Чернобылю в Вену. И дальше приглашения пошли одно за другим. Все бы хорошо, но вот мой английский...

Его состояние было совершенно плачевным.

На одной из конференций после напрасных попыток понять выступающих я неожиданно сорвал свое раздражение на очень кротком и вежливом индусе. Он подошел ко мне в перерыве и начал щебетать что-то мелодичное.

«Если вы думаете, что я что-то понимаю, то вы глубоко ошибаетесь. Во всяком случае, не больше, чем умная собака. В начальной стадии ее дрессировки». (Так я, по крайней мере, хотел сказать.) После этой речи индус долго благодарил меня и сказал (так я понял), что действительно хотел заниматься влиянием радиации на крупных животных.

Этот эпизод меня доконал.

Я решил серьезно заняться английским. Теперь, когда каждый делится опытом, как надо изучать иностранный язык, возможно, я составлю счастливое исключение, поскольку хочу рассказать, как это делать не надо.

Не надо учить его самостоятельно.

Не надо начинать это делать, когда тебе сильно за пятьдесят.

Не надо заниматься по ночам.

Повторение вслух английских фраз во время работы в радиоактивных помещениях может создать у окружающих неверное представление о твоей вменяемости.

Не надо удивляться и сердиться, если собеседник при ответе на вопрос не угадает, какие именно английские слова ты знаешь, и употребит другие.

Не надо...

Меня утешало одно. Известнейший французский ученый профессор Пьер Пеллерен, проработавший в 1991 году вместе с нами внутри «Укрытия» больше двух недель, человек, к которому я отношусь с глубоким уважением, все эти две недели изучал русский язык точно по моему методу.

Правда, заметных успехов он не добился.

Прошло четыре года занятий, и теперь, сидя в самолете, я проверяю свой английский на Гэрри Данбере, вице-президенте фирмы ЛАТА. Гэрри мой хороший друг, и этот факт, так же как природное терпение, дает ему силы слушать чернобыльские истории в моем исполнении. Через час он заметно грустнеет. Но тут счастливая идея, как избежать полного истощения сил, озаряет моего слушателя.

— Александр, — говорит он, — может, было бы лучше перевести все это на нормальный английский и напечатать? Тогда я смог бы спокойно и не торопясь прочесть ваши истории.

Идея захватывает меня. Это как бы последняя капля, переполняющая чашу.

Так, урывками, в поездах Москва — Киев и Киев — Москва, вечерами вместо изучения английского, тайком на нудных совещаниях, я начинал обдумывать и набрасывать эти записки.

## «Слоновья нога»

8 декабря 1989 года в главной тогда газете страны «Правда» появилась наша статья «Что делают люди в «саркофаге»?». Она сопровождалась фотографиями. Так, впервые был опубликован снимок «слоновьяй ноги» — гигантского радиоактивного сталактита, образованного застывшей лавой. Впоследствии ее фотографии стали появляться в самых разных изданиях, цветные и черно-белые, сделанные с разным увеличением и разной подсветкой.

Надо сказать, что «слоновья нога» честно заслужила свою славу, заставив нас изрядно поработать в 1986 — 1987 годах. А один раз чуть не стала причиной настоящей трагедии. Но теперь обо всем по порядку.

Обнаружили ее в одном из помещений на отметке шести метров осенью 1986 года. Чтобы увидеть «слоновью ногу», необходимо было проползти сквозь достаточно узкую, во всяком случае для моих габаритов, щель. Через несколько метров щель выводила вас в коридор обслуживания. Справа в этом коридоре находилась дверь в помещение, весьма пригодившееся нам для тепловой разведки. Как оказалось впоследствии, оно располагалось вниз и наискосок от главных скоплений лавы. В помещении этом было полно труб и очень жарко, более 40 градусов по Цельсию. Однако мощность дозы оставалась вполне приемлемой. Влево коридор расширялся, и там-то, вдали, и красовалась черная, с гладкой поверхностью, огромная капля. Ее овевала прохлада и радиационное поле, достигавшее 8000 Р/ч.

Сразу же возникло множество вопросов, но, конечно, первый из них: из какого материала авария создала «слоновью ногу»?

Своим тусклым блеском этот материал очень напоминал свинец. Значит, свинец, который должен был взять на себя тепло ядерного топлива, наконец найден? Не зря его бросали в горящий реактор. И все обвинения в адрес инициаторов заброски в том, что свинец просто испарился и дополнительно загрязнил окружающую территорию, безосновательны.

Распоряжения ПК были короткими и ясными: сфотографировать, взять пробы и провести их полное исследование.

\* \* \*

Мало кто кроме курчатовцев знает, какую важную и трудную работу делали в Чернобыле наши фотографы и видеооператоры. Они шли вместе с разведчиками в темноту разрушенного блока. «Горели» в радиационных полях, но при этом переживали не за себя, а за аппаратуру. Завертывали фотоаппараты в свинец, чтобы от излучения не покрылась вуалью фотопленка, брали с собой приборы для освещения и тащили эту тяжесть на высоту двадцатиэтажного дома, во многих местах поднимаясь бегом. Остальные члены группы, вернувшись с блока, могли помыться и хотя бы немного отдохнуть, а для фотографов начиналась новая, ответственнойшая работа — проявление и печатание снимков. Потом дезактивация и ремонт аппаратуры. А завтра новое распоряжение ПК — и новый поход на станцию. Или проведение съемок с воздуха, наполовину высунувшись из люка вертолета, зависшего над шахтой реактора на двухсотметровой высоте.

Руководил фотографами Валентин Ободзинский. Он и сделал первые снимки «слоновьяй ноги», но в черно-белом варианте. После их демонстрации последовало указание: сделать цветные фотографии. Однако Ободзинского в оперативной группе уже не было. Его здоровье пришло в столь критическое состояние, что наше руководство, не вступая ни в какие дискуссии, велело ему ехать в Москву и прислать себе замену. Так в нашей команде появился новый, никогда еще не бывавший в Чернобыле человек, которому уже на следующий день после приезда необходимо было не просто посетить блок, а пройти и проползти весь труднейший путь к «слоновьяй ноге» и суметь сделать ее высококачественные цветные фотографии.

\* \* \*

Постарайтесь себе представить следующую картину. Одно из относительно чистых помещений блока. Серые бетонные стены, два стола, покрытые поли-



этиленом. На столах приборы, на бетонном полу путаница кабелей. На входе помещения, перегораживая его, стоит скамья. Каждый входящий садится на скамью, снимает обувь, переворачивается, надевает другую, чистую (правильнее сказать, более чистую) обувь и только после этого входит в помещение. Мы довольно темпераментно что-то обсуждаем, и в этот момент гаснет свет. Ситуация, в общем, не новая: строители в очередной раз перерубили силовую кабель. Все безумно спешат, октябрьские праздники неотвратимо приближаются, а «Укрытие» еще далеко от завершения.

Свет выключили, но у нас есть фонари, и при их свете я обнаруживаю, что в комнату вошел и не сменил обувь один хороший, но очень рассеянный товарищ. Пока окружающие с удовольствием напоминают ему правила внутреннего распорядка, я где-то глубоко внутри начинаю чувствовать зарождающуюся тревогу. Дело в том, что именно этот, опытный в походах по блоку, человек должен был сопровождать фотографа к «слоновьей ноге» и обеспечивать дозиметрический контроль. Он шел с ДП-5, а фотограф — с дорогой японской аппаратурой. Конечно, в комнате темновато, но не настолько, чтобы не заметить фотографа. Его нет. Я осторожно спрашиваю:

— Что успели отснять?

Он стоит, и даже при свете фонаря видно, как становится абсолютно белым его лицо.

— Я отвел его, посадил в комнате справа, ну там, где жарко и доза небольшая, пополз за дополнительным прожектором, вернулся к ребятам, заговорился... забыл, совсем забыл, что он... внизу... ждет, сам выйти не сможет...

\* \* \*

Мгновенно настала абсолютная тишина. Я думаю, перед каждым из нас встала одна и та же картина. Человек, согнувшись и обливаясь потом, сидит в небольшой комнатухе и ждет. Он только что проделал страшный для новичка путь, он не профессионал и наверняка очень боится. Он ждет, но никто не приходит. Надо как-то выбираться, сил ждать в неизвестности и нестерпимой жары нет. И в это время выключают свет. Теперь даже хорошо знакомый с дорогой человек не сразу найдет щель, через которую они пришли. Фотограф поднимается и идет, идет по нормальному коридору, в прохладную тишину... К мучительной смерти.

Чтобы представить это, потребовалось одно мгновение.

Я хочу вскочить, но ноги стали ватными и не держат. Я сплеховал в эту решающую минуту. Но были люди, которые не подвели. Делаю еще только свой первый шаг, а уже в конце коридора с каким-то всхлипом, с хрипом в своих прокуренных легких исчезает фигура человека.

Он прибежал вовремя. Фотограф уже вышел в коридор. Увидев человека, вылезавшего из щели, с шахтерским фонарем на голове, он заплакал и начал бить своего спасителя драгоценной японской камерой.

Вечером в «гинекологии» безо всяких объявлений собрались вместе члены оперативной группы. Было единственное и очень короткое выступление. Один из группы встал и сказал: «Пусть уезжает. Работать с человеком, забывшим про товарища, не будем». Затем все разошлись.

\* \* \*

Страдания фотографа на этом не кончились. На следующий день надо было лететь на вертолете и, высунувшись из кабины, снимать блок. Он, наверное, старался, но на фотографиях, кроме неба с пушистыми облаками, ничего не проявилось.

Прошла неделя... И человек стал неузнаваемым. Его буквально приходилось держать за фалды, чтобы он не забывался и не попал в сильные поля или, того хуже, не вывалился из вертолета.

Мы проработали с ним много лет.

\* \* \*

Попытки взять пробу вещества «слоновой ноги» одна за другой терпели неудачу. Сначала исследователи соорудили систему из самоходной тележки и установленной сверху электродрели. Это сооружение подобралось к сталактиту, но не смогло просверлить в нем дырку — материал оказался слишком твердым.

Следующая попытка была произведена одним из военных, с неодобрением наблюдавшим за робкими усилиями науки. Сам я при этом не присутствовал, но, согласно показаниям очевидцев, попытка была проведена в атакующем стиле. Никто не успел опомниться, как смелый офицер подбежал к «слоновой ноге» и начал бить по ней топором. Результаты оказались минимальными, если не считать его немедленного откомандирования из Чернобыля.

После нескольких посягательств на целостность «ноги» удалось набрать вещества на анализ. Исследования показали, что никаких следов свинца нет, зато есть своеобразная стекловидная масса, содержащая в себе весь набор радионуклидов ядерного топлива. Так впервые мы столкнулись с самым необычным веществом, рожденным в адской кухне аварии. Это вещество называли *лавой*.

\* \* \*

Весной 1987 года снова встал вопрос об исследовании вещества «слоновой ноги». Мы располагали информацией только о поверхности, а что находилось внутри? Конечно, обнаружить долгожданный свинец уже никто всерьез не надеялся, но понять внутреннюю структуру и состав было необходимо.

\* \* \*

Сменное руководство оперативной группы состояло из двух человек: начальника и научного руководителя. В качестве последнего я приехал в Чернобыль 2 марта 1987 года. И в эту смену, и в дальнейшем мне везло с начальниками. Это были талантливые и опытные инженеры и прекрасные товарищи. В марте начальником был Алексей Борохович, отличавшийся кроме перечисленных выше качеств высоким профессионализмом в области дозиметрии и неудержимой энергией во всех хозяйственных вопросах. Я помню, как однажды он долго укорял меня за то, что я просто так отдаю наши научные отчеты приходящим военным.

— Они используют их и докладывают начальству как свои достижения, а нам даже спасибо не всегда говорят, — возмущался он.

— Что же делать? Вместе работаем, не давать отчеты нельзя.

— Давать, конечно, нужно, но с умом. Военное ведомство страшно богатое. Пусть помогают нам в наших нуждах. Давайте в следующий раз я вам покажу, как это надо делать.

Я согласился. Передача отчета проходила при закрытых дверях и довольно долгое время. Наконец договаривающиеся стороны вышли, удовлетворенно улыбаясь. На мой вопрос, какие блага удалось получить, Борохович таинственно изрек:

— Вечером увидите.

Вечером я подходил к жилому корпусу.

А надо сказать, что теперь мы жили в отдельном двухэтажном доме, с собственными легковыми и грузовыми машинами, складами и прекрасным санпропускником на первом этаже, с постоянным дозиметрическим и врачебным контролем. В общем, жили так хорошо, как ни до этого, ни после в Чернобыле не жили, и все это благодаря энергии Бороховича.

И теперь, подходя к корпусу и ожидая дополнительные блага, я сразу заметил огромный трейлер и живую цепочку курчатовцев, по которой передавались на склад какие-то пакеты.

— Вот! Уже час разгружаем. Военные нам прислали. За один отчет, — гордо сказал крайний в цепочке.

— А что в пакетах?

— Кальсоны. Всего три тысячи пар.

— Не много ли на тридцать человек? — робко спросил я. — Могут ведь подумать, что на блоке мы ведем себя не очень мужественно.

Но общий энтузиазм не позволил кому-нибудь разделить мои опасения.

\* \* \*

Когда снова возник вопрос об исследованиях «слоновой ноги», начальник оперативной группы стеной встал против дополнительного облучения людей. Пришлось придумывать дистанционную технологию взятия проб. Помучившись несколько вечеров, мы кое-что придумали. Решили расстрелять этого монстра из стрелкового оружия, да еще так, чтобы пули ложились «одна в одну» и пробу можно было взять из глубины.

Сначала никто не хотел давать нам оружие. Военные послали нас в милицию, оттуда отправили в КГБ, из КГБ — снова в милицию. Помогла только наша чрезвычайная назойливость и то, что в милиции в это время работал прекрасный снайпер капитан Сороко. Он и взял на себя осуществление этого весьма необычного упражнения в стрельбе.

О том, как происходила эта стрельба, была отснята видеопленка, использованная потом в телефильме Би-би-си. Она происходила весьма успешно, точно по намеченному плану и принесла нам пробы вещества из глубин «слоновой ноги». Пробы, полностью подтвердившие первоначальный диагноз о том, что вещество «ноги» — стеклообразная лава.

### Книги и фотографии

Глубокая ночь. Я сижу в кабинете своей чернобыльской квартиры. Станным кажется это сочетание слов — чернобыльская квартира, кабинет. Вот как обернулась мечта 1986 года об отдельной кровати. Но, с другой стороны, девять лет на одной кровати не проживешь.

С 1988 года, когда уже наша оперативная группа была преобразована в комплексную экспедицию при Институте Курчатова и нам были приданы строительные подразделения, снова начался период большой стройки. Укреплялись отдельные конструкции внутри «Укрытия», очищался от радиоактивных завалов машинный зал, отвоевывались у блока помещения для работы. Используя присутствие строителей, я добился переоборудования старого школьного здания в Чернобыле в современный лабораторный корпус. Тогда же были достроены несколько подъездов пятиэтажного здания, которое начинали возводить в Чернобыле перед аварией. Его заняли курчатовцы. В соседних квартирах живут мои товарищи (не в таких «шикарных условиях», как я, но все же в отдельных комнатах). Это и удобно — можно в любой час дня и ночи обсудить неотложные вопросы, и не очень удобно, поскольку идеи к моим сотрудникам чаще всего приходят именно по ночам, а я до сих пор не могу расстаться с привычкой спать в это время суток.

Обычно в промежутке от одиннадцати до часу ночи раздается стук в дверь и кто-нибудь из молодежи спрашивает: «Вы уже спите?»

Разве можно не выслушать человека, который придумал совершенно гениальный способ крепления датчика в только что пробуренной скважине?

Разве можно его сразу сторчить тем, что помещение, в которое идет эта скважина, оказалось абсолютно неинтересным и никаких датчиков там вообще ставить не надо?

Нет, конечно. Сначала надо оценить изобретение, а потом, постепенно, повести разговор так, чтобы молодой изобретатель сам пришел к выводу, что датчик ставить не надо, и, успокоенный, пошел спать. Вот только спать при этом остается совсем мало времени.

Сегодня никаких гостей нет. И спать не хочется. Перебираю книги о Чернобыле, фотографии, лежащие на столе. Рассматривая их, я предоставляю своей памяти полную свободу. Не считаясь с хронологией событий или их важностью. Вспыхнет свет перед глазами, возникнет какая-то картина, прошлое окружит тебя...

\* \* \*

Сверху лежит книга «Чернобыль, пять трудных лет». Очень небольшая книжечка. Первое впечатление: о пяти годах работы в Чернобыле можно было бы написать и побольше, даже если рассказывать о работе только нашего института.

Я готовил для этого издания главу про «Укрытие». Написал не слишком много, но и это сократили в несколько раз. Никому не интересно? Думаю, что нет. Тираж разошелся очень быстро.

Как возник замысел этой книги? Сейчас вспомню...

Легасов пригласил нас в кабинет заместителя председателя ПК. Показал план будущей книги про ликвидацию последствий аварии. Каждому ведомству поручалось написать свой том — военным, медицине, строителям, науке...

«Ничего из уроков Чернобыля не должно быть забыто, все должно сослужить свою службу людям. Слишком дорогой ценой заплачено за эти уроки».

Был подготовлен десяток томов, но даже в них вошла далеко не вся интересная информация. Работа осталась сделанной, может быть, на одну треть. Тома так и лежат неизданными.

И окончательный результат — эта небольшая книжка.

\* \* \*

Рассматриваю одну из иллюстраций. Изображены дозовые поля на крышах 3-го и 4-го блоков.

Весна 1987 года. Крыша, покрытая снегом.

Как я ненавижу походы на эти крыши, расположенные на высоте многих десятков метров! Добираться сюда, как правило, приходится по пожарной лестнице, по скользким обледенелым ступеням, с неудобным дозиметром за спиной. Всю жизнь я уваливал от физкультуры и очень боялся высоты. И надо же, в таком приятном сочетании эти мои антипатии объединились сейчас. Но лазить по крышам необходимо — они все еще не очищены до конца от радиоактивных обломков. Для того, чтобы составить программу их очистки, и приходится подниматься сюда, изображая из себя жалкое подобие альпиниста.

Я стою за выступом стены, радиация здесь существенно меньше, чем на открытом месте, где стоит Легасов. Уже минуты две-три я уговариваю его отойти под прикрытие, тем более что обзор и там и здесь одинаково плохой. Академик отмахивается. Стоит себе и с видом туриста наблюдает за припорошенными снегом кусками неизвестного происхождения. Что делать? Силой его не потащишь, а слова он не воспринимает.

На мое счастье, на крыше, рядом, появляется военный со звездочками, нарисованными чернилами на плечах ватника. Звездочки порядком расплылись, но еще можно установить его звание — майор. Поскольку на академике простой ватник безо всяких знаков различия, фигура у него моложавая, а лицо скрыто респиратором, я пытаюсь использовать ситуацию. Показываю на Легасова и говорю:

— Слушай, майор, это твой солдатик? Ты что же людей не проинструктировал и они зря «горят»? Непорядок тут у вас.

Майор мгновенно попадает на приманку.

Могучим хриплым голосом он в таких убедительных выражениях приказывает академику убираться с крыши (во избежание немедленного мордобоя), что член Правительственной комиссии бесприкословно подчиняется.

— Распустились эти вояки, — жалуется Легасов, когда мы наконец достигаем земли.

\* \* \*

Незадолго до его смерти я встретил академика в коридоре главного здания. В последние месяцы он много болел, почти не занимался Чернобылем, выглядел очень плохо. На вопрос о самочувствии Легасов тихо сказал: «Как может себя чувствовать человек без печени?»

Я вспомнил эту проклятую крышу...

\* \* \*

Фотография. Вручение орденов чернобыльцам.

В эти годы все еще сохранялся авторитет правительственных наград. Они приносили не только моральное удовлетворение, но и осязаемые материальные блага. Право на продвижение в очереди на жилье и автомашину, получение путевки и т. д.

Поток наград, хлынувший на людей, связанных с чернобыльской проблемой, превосходил все ожидания. Награждались не только те, кто непосредственно работал в зоне или рядом с ней. Награждались те, кто им помогал, работая далеко от Чернобыля, или хоть как-то был причастен к проблеме. Полное число награжденных, по моим оценкам, насчитывало десятки тысяч.

Никто из курчатовцев не получил ни ордена, ни медали.

На прямой вопрос, чем вызвана такая несправедливость, чиновники отвечали однотипно. Они поднимали глаза вверх и говорили, что ТАМ решено не награждать сотрудников некоторых учреждений, поскольку эти учреждения якобы несут моральную ответственность за аварию. Конкретный человек никого не интересовал, какой бы высокий профессионализм и личное мужество он ни проявил. Не важно, что он ни сном ни духом не был причастен к причинам аварии. Таким образом, на первое место ставились не заслуги, а принадлежность к учреждению. (Еще спасибо, что не место постоянного проживания или национальность. Логика могла быть точно такой же. Авария произошла на Украине, значит, украинцев награждать не надо.) Такая система в моих глазах практически девальвировала цену чернобыльских наград.

Особенно нехорошо поступили с Легасовым. Накануне опубликования списков награжденных все были совершенно уверены, что его, вместе с немногими избранными, удостоит высшей советской награды — Звезды Героя. В институте Легасова прилюдно поздравил Александров.

А утром — в списках он не значился, вычеркнули.

Масса разговоров и сплетен ходило об этом. Потом чернобыльцы как-то уверились, что это — дело рук Горбачева, невлюбившего популярного академика.

\* \* \*

Еще одна фотография. Лаборатория в Чернобыле. В моем кабинете известный американский ученый, он радостно улыбается. Смотря на фотографию, я вспоминаю события, предшествовавшие этой встрече, и тоже невольно улыбаюсь.

Утром в поезде Москва — Киев, выйдя из своего купе, я увидел в коридоре взволнованного и огорченного иностранца. После нескольких попыток удалось понять следующее. Он с женой прилетел вчера вечером из США. В самолете жену немного укачало и она ничего не ела. С самолета поехали прямо на вокзал и здесь тоже не успели поесть. Думали поесть в поезде, но это оказалось невозможным. Ресторана нет, буфета нет, проводник разводит руками. То ли не понимает, то ли и у него тоже никакой еды, только чай с сахаром. Супруга американца постится уже вторые сутки. Что делать?

Я ехал с товарищем, и мы оба были опытными путешественниками по советским железным дорогам. Поэтому через пять минут перед симпатичной пожилой американкой красовалась полная тарелка бутербродов и пирожков, приготовленных нашими женами. Супруг попытался всучить нам деньги, а после отказа их принять долго благодарил. На этом инцидент, казалось, и закончился.

Через несколько дней в Чернобыле меня посетил сотрудник иностранного отдела. Это происходило еще в те времена, когда любые контакты с иностранцами максимально ограничивались и находились под строгим контролем соответствующих служб. Сотрудник этот сообщил, что принято решение о моей встрече с американским ученым, занимающим важный официальный пост. Составлена программа. Беседовать надо только в рамках программы и в пределах отведенного для встречи времени. На вопросы отвечать так-то. Самому вопросы лучше не задавать. Я разозлился и спросил: «А здороваться надо как? Нужно ли его, следуя примеру наших вождей, обнять и поцеловать?» Реакция была очень серьезной. Нет, целовать нельзя ни в коем случае, обнимать тоже нельзя. Максимум пожать руку.

\* \* \*

В день визита у меня в кабинете собралась целая компания. Уже упоминавшийся сотрудник, его помощник, фотограф и я. Открылась дверь, вошел переводчик и... мой знакомый попутчик. По-видимому, американца его спецслужбы плохо проинструктировали, потому что вошедший уже с порога раскрыл объятия, подошел и обнял меня. Я, конечно, обнял его в ответ и через плечо сказал сотруднику: «Прошу зафиксировать, что он начал первым».

\* \* \*

Часы тикают. Никак не заснуть. Лежит на столе еще один пакет с фотографиями. Горько мне его открывать: в нем снимки товарищей, которых больше нет. Почти у всех одна и та же причина. Нет, не лучевая болезнь. Сердце. Трудно было выдержать Чернобыль 1986 — 1988 годов. Постоянные стрессы, постоянное недосыпание, постоянное насилие над чувством самосохранения.

\* \* \*

Кончается многочасовая беседа с иностранными журналистами. Сколько таких бесед было и сколько еще будет! Я жду обязательного вопроса. Сегодня он, видно, будет задан в самом конце. Иногда его задают в середине, очень редко — в начале, но задают обязательно. Прежде всего — сенсации. И вот пододвигается ближе журналист в очках:

— Скажите, почему покончил с собой академик Легасов?

Все считают, что, работая рядом с ним в Чернобыле и Москве, я должен знать какую-то «действительную правду». Но действительная правда состоит всего из трех слов:

— Я не знаю.

\* \* \*

Я только думаю, что вопрос, лишить или не лишить себя жизни, — это вопрос внутреннего мира, вопрос состояния души человека и одними внешними причинами страшный выбор не объяснишь.

\* \* \*

Его кабинет в институте.

Меня просили проверить бумаги и вещи на радиоактивность прежде, чем передать их семье. Они лежат на большом столе, покрытом полиэтиленом.

Я вспоминаю, как где-то читал, что все вещи семьи Кюри, Пьера и Марии Кюри, находящиеся в парижском музее, радиоактивны. Если поднести к ним счетчик, он начинает считать, и это будет продолжаться практически вечно.

Подношу счетчик к вещам на столе. Он начинает стучать. Стучит быстро, как сердце ребенка.

### 13 октября 1987 года

Но вернемся к лету 1987 года. Всем стало ясно, что поиски ядерного топлива внутри «Укрытия» с помощью разведывательных групп уже исчерпали свои возможности. Люди подвергались все большему риску, а получаемая информация становилась все более скудной. Что мы знали к этому времени?

Что топливо почти все находится внутри «Укрытия», приблизительно 180 тонн (если считать по урану) из 190 тонн, бывших в реакторе 4-го блока перед аварией.

За прошедший год были сделаны анализы десятков тысяч проб грунта как вблизи 4-го блока, так и на дистанциях во многие сотни километров. Самолеты и вертолеты, снабженные специальной техникой, провели разведку над территориями Украины, Белоруссии, России. Были получены данные исследований зарубежных коллег. Выявлены многочисленные «цезиевые пятна». И обнаружилось, что собственно топлива — частиц урана вместе с нелетучими радионуклидами — выброшено за пределы «Укрытия» не более 5 процентов.

А вот летучего и имеющего период полураспада около тридцати лет цезия-137 выбросило около 30 процентов того количества, что было накоплено за годы работы реактора.

Мы уже знали, что после аварии внутри «Укрытия» топливо находится по крайней мере в трех различных видах.

Во-первых, в виде целых и разрушенных фрагментов активной зоны: сборок, стержней, урановых таблеток и их частей. Некоторое количество этих фрагментов было выброшено взрывом на территорию вблизи блока, на крыши зданий, на площадки вентиляционной трубы. Наиболее крупные из них собрали, сбросили в развал или сложили в контейнеры. Многие из этих контейнеров тоже находятся внутри «Укрытия», замурованные в бетон. Но, конечно, все эти «видимые» фрагменты составляли незначительную часть активной зоны. Предполагалось, что их главная часть лежит в центральном зале под сброшенными с вертолетов тысячами тонн различных материалов и стала для нас «невидимой».

Второй вид топлива — пыль. Или более научно — «горячие топливные частицы» («горячие» — в смысле радиоактивные). Они имелись практически во всех помещениях «Укрытия», внедрились в стены, пол, потолок, находились в воздухе вместе с обычной пылью. Об этом особенно «приятном» для нас виде топлива рассказ впереди.

Наконец, лава. Кроме знаменитой «слоновъей ноги» она была обнаружена и на самых нижних отметках блока в виде своеобразных куч и кусков «пемзы».

Теперь о главных результатах тепловой разведки.

Еще в 1986 году с помощью тепловых детекторов и датчиков воздушного потока, установленных на «буях», удалось, хотя и грубо, подтвердить результаты внешних измерений. Действительно, подавляющая часть топлива должна была находиться внутри блока.

Тепловые измерения, проведенные в комнате рядом со «слоновъей ногой» (помните, в которой оставили фотографа), показали, что большое количество топлива каким-то неведомым путем проникло в помещение, находящееся прямо под реактором. Оно носит название «подаппаратная». В этом помещении лежит огромный металлический крест, на него опирается нижняя крышка реактора и несет на себе всю его тяжесть.

Было выдвинуто много теорий, как могло туда попасть топливо, но, как потом выяснилось, природа оказалась куда изобретательнее теоретиков.

Наши усилия все чаще и чаще натыкались на непреодолимую стенку. Самые интересные помещения оставались недоступными. Путь разведчикам теперь перекрывали не только радиационные поля, но и бетон, попавший внутрь «Укрытия» и заливший многие комнаты и коридоры.

Оставалось два выхода. Либо прекратить наступление на блок и ждать, пока благодаря распаду короткоживущих радионуклидов поля радиации уменьшатся раз в десять, либо в корне изменить стратегию и тактику наступления.

Первый путь серьезно даже не рассматривался. На площадке, где уже работали два первых блока и готовился к пуску третий, где днем и ночью находились тысячи людей, было невозможно оставлять радиоактивную мину с совершенно неизвестными свойствами и огромным зарядом.

Почти на каждом заседании ПК мы слышали упреки в адрес института в том, что до сих пор не можем найти топливо и ответить на вопросы об ядерной опасности.

Оставался второй путь.

Вернувшись в Москву, я сразу с головой окунулся в обсуждения и споры, которые проходили в основном на втором этаже главного здания, в кабинете академика Беляева. Насколько я помню, именно хозяином кабинета впервые была высказана идея использовать для проникновения внутрь недоступных помещений технику бурения. Пробурить сквозь бетонные стены и металлические конструкции скважины — если надо, то длиной в десятки метров — и ввести по ним в предполагаемые места скопления топлива необходимые детекторы.

Чем детальнее обсуждалась эта идея, тем реальнее и привлекательнее она казалась.

Вернувшись в Чернобыль, я принялся разрабатывать тактику наступления. Советовался со специалистами по реакторам, строителями, геологами. Просил

приехать из Москвы тех членов оперативной группы, которые особенно хорошо знали блок. Никто не отказывал в помощи. Приезжали на свои выходные дни, днем и ночью обсуждали места установки буровых станков, направление бурения первых скважин, ходили со мной на блок и на месте решали спорные вопросы. Лаборатории института начали разрабатывать специальные детекторы, которые можно было вводить через скважины.

Каждый момент чувствовал я за спиной нашей маленькой чернобыльской группы мощь одного из лучших в мире ядерных центров.

В первых числах октября в Чернобыль приехали первый заместитель министра и институтское начальство. Целый день шло обсуждение программы наших действий. В общем она была одобрена.

13 октября должно было состояться заседание Правительственной комиссии, где среди других вопросов будет рассматриваться и эта программа.

До сих пор я не знаю до конца истинной подоплеки случившегося. Но за день до заседания все институтское и министерское начальство довольно спешно покинуло Чернобыль. На мой вопрос, кто же будет докладывать на ПК такую важную для нашего будущего программу, ответ был очень короткий: «Вы!»

Сопоставляя разные факты и слухи, я довольно быстро пришел к выводу, что между Щербиной и руководством нашего министерства пробежала черная кошка, возможно и не имеющая прямого отношения к Чернобылю. Заседание ПК было удобным местом для Председателя, чтобы наказать строптивых ядерщиков. И я в какой-то мере был оставлен на заклание.

Конечно, никому не приятно подвергнуться прилюдному разносу, а в том, что такой разнос неизбежен, сомневаться не приходилось. Слишком опытным и умным человеком был Председатель. Но если разнос касается твоего неумения доложить материалы, это полбеда. Большая беда, если при этом будет отвергнута программа, стоившая стольких усилий и сулившая реальное продвижение вперед. Никто из товарищей мне этого не простит, и прежде всего я сам себе этого никогда не прощу.

После долгой бессонной ночи и серого, пустого утра наступил день 13 октября 1987 года.

\* \* \*

Заседания ПК проходили теперь в зале специально построенного двухэтажного здания. Щербина пришел мрачный и сел на свое председательское место сжав губы. Первым докладывал директор Чернобыльской атомной станции — человек, талантливости и деловым качествам которого я не перестаю удивляться уже много лет. Очень высокого мнения о нем был и Председатель. Тем не менее через десять минут после начала Щербина прервал доклад:

— Вы кто? Директор атомной станции или нищий на паперти? О чем вы докладываете? О выработке электроэнергии, о выполнении плана, об экономии средств? Нет! Вы выпрашиваете людей и средства на дезактивацию, просите о поставках оборудования, просите, без конца просите! Страна и так дает вам все, что может. Последнее дает. Надо совесть иметь! Это не доклад, я его не принимаю! Если завтра в семь утра лично мне не сделаете нормального доклада, значит, вы не можете руководить станцией! Найдем другого, на вас свет клином не сошелся!

Директор побледнел, повернулся и молча, нетвердо, как слепой, пошел к двери. Никто не знал, он никому не признавался тогда, что у него больное сердце, и такая сцена могла стоить ему жизни.

Следующий докладчик был отправлен на место через пять минут после начала выступления. Пришла моя очередь.

Мне казалось, что в течение долгой бессонной ночи я придумал прием, дающий хотя бы небольшие шансы добиться успеха и одобрения нашей программы. Сейчас эти шансы представлялись нулевыми. Тем не менее другого плана у меня не было.

Я начал рассказывать. О том, что необходимо очистить и дезактивировать несколько сохранившихся помещений на западной стороне блока. Установить в них обычные буровые станки. И начать бурить горизонтальные скважины по



направлению к шахте реактора и подреакторным помещениям. Рассказал о подготавливаемых детекторах и методах измерений. Щербина меня пока не прерывал. Настало время для домашней заготовки. Я обратился к присутствующим и сказал, что высказываю пока только наши предложения по количеству первоначальных скважин и по отметкам, на которых предполагается их бурить. Здесь есть строители, военные, члены ПК, которые прекрасно знают блок. Хотелось бы услышать их мнение, правильно ли мы выбрали начальные плацдармы, главное направление атаки. Какие помещения более доступны, какие легче дезактивировать. Прием был старый, как мир, и состоял в том, чтобы втянуть присутствующих в обсуждение, сделать их не критиками, а советчиками и участниками программы.

После пережитых тяжелых сцен аудитория несколько оживилась. Началось обсуждение и споры. Щербина повернулся на стуле и тоже бросил несколько реплик.

Выступление закончилось. В полном изумлении я сел на свое место, а в перерыве стал мучить знакомого генерала вопросами.

Почему Председатель, прерывавший людей, к которым был расположен, не разгромил вдребезги, не отправил вообще из Чернобыля представителя враждебной команды?

Доклад был очень хороший?

Прием мой с блеском сработал?

Ответ меня несколько остудил и огорчил:

— Да, доклад был неплохой, идея хорошая и вроде бы подходящая. Прием тоже не повредил, все увлеклись обсуждением. А главное, что Председатель отлично понимал, что вы никакого интереса для сведения счетов не представляете. Простите меня за сравнение, — добавил он, — но что толку было делать из вас стрелочника. Он найдет другое время и другое место, чтобы поспорить с вашим ведомством.

Как бы там ни было, а программа была принята.

\* \* \*

Для осуществления этой программы и выполнения других работ на «Укрытии» в конце 1987 года в Чернобыле была организована Комплексная экспедиция при Курчатовском институте (КЭ). Она включала в себя подразделения научных работников, проектировщиков, строителей, монтажников, обеспечивающие службы. Научный отдел был сформирован из представителей крупнейших институтов министерства, а его ядром стала наша оперативная группа. В 1988 году я был назначен начальником этого отдела.

Идея создания такой организации была очень разумной. Небольшой (30 — 50 человек) научный отдел разрабатывал тактику и стратегию работ, а также вел их научное сопровождение. В своей работе он все время опирался на базовые институты. Другие подразделения КЭ осуществляли задуманные планы. Общая численность экспедиции в наиболее напряженные моменты работы достигала трех тысяч человек.

\* \* \*

К началу 1988 года намеченные помещения с западной стороны блока были готовы к работе. Началось бурение скважин.

### Семь дней в мае

В 60-х годах два журналиста из Вашингтона, Флетчер Кнебель и Чарльз Бейли, выпустили книгу «Семь дней в мае», которая очень быстро стала бестселлером не только в Америке, но и во всем мире.

Напряженное действие книги разворачивается на протяжении семи майских дней — одной недели. Конечно, описанные события — плод фантазии авторов, но благодаря их таланту об этом забываешь, и они представляются вполне реальными.

Я с удовольствием прочел эту книгу и вспомнил сейчас о ней потому, что для людей, работавших в «Укрытии», первые семь дней мая 1988 года тоже стали решающими. Только теперь события, происходящие в реальной жизни, приобрели несколько фантастический характер. Почти каждый из майских дней приносил что-то новое. Далекое не всегда приятное. Наиболее запомнившиеся события произошли 1 и 3 мая.

\* \* \*

На блоке шло активное бурение.

Часть скважин должна была войти в толстую плиту, служащую полом под-аппаратного помещения. Необходимо было проверить, не начало ли топливо, попавшее в это помещение, прожигать бетон. Не развивается ли злополучный «китайский синдром».

Другие скважины, находящиеся на более высоких отметках, были нацелены на проникновение в шахту реактора. Что осталось от активной зоны, в каком состоянии эти «остатки» — вот вопросы, на которые мы мечтали получить ответ. Ведь ядерную опасность могла представлять оставшаяся неразрушенной даже небольшая часть кладки реактора из урана и графита.

\* \* \*

Первый день мая приходился на воскресенье. Но это был не просто нерабочий день, а крупнейший праздник, и поэтому к вечеру внутри «Укрытия» людей осталось совсем немного. Бригада бурильщиков, работавших в нижних помещениях, дежурные в пультовой, дозиметристы, электрики, охрана.

А сотрудники нашего отдела собрались в Чернобыле за праздничным столом.

Хорошо известно, что все неприятности происходят в праздники и чем неприятность крупнее, тем позже ночью она возникает. Поэтому в тот момент, когда веселье достигло апогея, меня вызвали к телефону. Говорил мастер бурильщиков:

— Из скважины идет какой-то не то пар, не то туман. Устье ее уже плохо видно. Скоро доползет до станка. Что делать?

— Выводите немедленно людей. Закройте все двери и постарайтесь их загерметизировать. Ждите меня, я сейчас приеду...

Легко сказать — сейчас приеду: до блока четырнадцать километров, праздничная ночь, найти машину и трезвого водителя невозможно.

Но тут мне неслыханно повезло. Один из наших водителей в этот момент вернулся из поездки и еще не успел присесть к праздничному столу. Безропотно пошел он к своему автобусу, и мы, двое сотрудников и я, поехали по темной дороге к станции.

\* \* \*

Бурильщики находились наверху, в пультовой. Мы спустились вниз и подошли к дверям, ведущим в коридор, из которого уже можно было попасть в помещение с буровыми станками. Двери были прикрыты, но ничем не загерметизированы. Ругнувшись про себя, я вошел внутрь и закрыл за собой дверь. Даже в коридоре видна была стоящая в воздухе пыль. Пока я пытался оценить обстановку, сзади вдруг раздался голос:

— Пропуск. Предъявите ваш пропуск!

Из тумана приблизилась фигура солдата, прижимающего рукой ко рту совершенно неверно надетый респиратор.

— Вас почему не вывели? Забыли?!

— Никак нет. Не могу покинуть пост.

— А офицеры где?

— Не знаю. Должны прийти.

Нетрудно было догадаться, где сейчас офицеры.

— Я тебя могу снять с поста?

— Вы же штатский.

— Сколько времени, как туман появился в коридоре?

— Минут пять — семь.

— Еще минут десять прстоишь здесь — и можешь вообще не выходить. Легче помирать будет!

Жестокие и неправильные слова я произнес, но другого выхода тогда не нашел. Солдатик убежал.

А мы, заскакывая по очереди на несколько секунд сначала в коридор, а потом к станкам с водяным шлангом в руках и действуя точно так, как действуют дворники, то есть разбрызгивая воду, туман постепенно осадили.

Топливная пыль еще раз сделала нам весьма серьезное предупреждение.

\* \* \*

Итак, охлаждающая буровой инструмент вода попала в область высокой температуры. Она начала быстро испаряться, разрушая вещество, превращая его в пыль. Эту пыль потоки пара и воздуха выбросили наружу.

Но для этого в прежде сплошную плиту должно было попасть что-то, выделяющее много тепла. Топливо? Как? С помощью постепенного ее разрушения, прожигания. Подозрения, связанные с «синдромом», подтвердились, и впоследствии подтвердились окончательно.

\* \* \*

На следующий день скважины, идущие выше, подтвердили еще одно подозрение. Нижняя плита реактора каким-то образом опустилась вниз аж на четыре метра! Наверное, вместе с ней опустилась и кладка, активная зона реактора?

\* \* \*

3 мая одна из верхних скважин, пройдя через бетонные стены, песчаную засыпку, стальные стенки бака водяной защиты, вошла наконец в шахту реактора. Учитывая опускание кладки, это должно было быть место расположения ее центра. Того места, где зарождалась авария.

Мы ввели в скважину длинный щуп и попытались определить границы разрушения активной зоны. Щуп уходил все дальше и дальше, не встречая сопротивления. Наконец он достиг противоположной стенки бака, в котором должна была находиться кладка. Никаких признаков ее не обнаружилось.

Произошло это вечером. Все так измотались, так устали за день, что сразу как-то не осознали важности события.

Молодежь пошла отмываться в душ, а я, совершенно обессиленный, сел на какой-то ящик, опершись спиной о многострадальный буровой станок. Сделалось совсем тихо. Слышно, как из превертора скважины капает вода. И в моей усталой голове, побродив где-то в подсознании, мелькнула честолюбивая мысль: «Сейчас встану и загляну в скважину. И буду первым на земле человеком, заглянувшим не куда-то там, а в активную зону взорвавшегося чернобыльского реактора. Но в реакторе — темнота. Абсолютно темно, ничего увидеть нельзя. Ну и пусть. Все равно буду первым человеком, который попытается заглянуть в реактор. Скважина небольшого диаметра и очень длинная. Излучение, которое бушует в шахте реактора, сюда практически не доходит. Угол маленький. Да я и не буду долго смотреть в эту абсолютную темноту. Вот только вставать не хочется».

Честолюбие победило лень. Я встал и пошел к скважине. Если бы только знать, чем это кончится, никогда бы с места не двинулся, но кто же мог предположить...

Скважина не обманула моих ожиданий: ничего видно не было. Зато слух преподнес неожиданный и даже страшный сюрприз. Из отверстия донесся голос, который посоветовал немедленно убираться отсюда, если я не в состоянии нормально работать.

Подходил я к стене медленно и не торопясь, а от нее даже не отходил и не отбегал, а отпрыгнул с неожиданной резвостью. Остановился и попытался прийти в себя.

«Ясно, что в реакторе, в поле, измеряемом тысячами рентген в час, никто сидеть не может. Он и не сидит, никого там нет. Значит, этот голос внутри меня. И, скорее всего, я сошел с ума. А может быть, не сошел? Надо еще раз все обдумать, торопиться теперь некуда, хуже не будет».

Я снова сел на ящик и задумался. В основном о том, что дети еще не кончили институт и кто же будет кормить семью, если меня отправят в психиатрическую больницу. Очень невеселые были мысли, а от усталости еще и тянулись медленно.

«Может быть, это разовый психоз? Разовая галлюцинация? Надо еще раз попробовать».

Повторный эксперимент принес тот же результат. Голос из скважины продолжал меня ругать и даже уличал в технической безграмотности. И вот в ответ на это горькое обвинение моя усталая голова сработала, и все стало ясно.

Несколькими этажами ниже бригада буровиков трудилась над параллельной скважиной. Они немного отставали, и сейчас бур только вошел в огромный цилиндрический бак, сооруженный вокруг активной зоны. Бак с водяной защитой. После аварии вода из его секций полностью или частично вылилась, и бак стал прекрасным резонатором. Даже тихо сказанное внизу слово было отчетливо слышно через скважину. А слова так и лились из уст мастера, поскольку при входе бура в бак бурильщик ухитрился сильно дернуть штангу и как-то уронить головку вниз. Замена же инструмента требовала времени.

Но вернемся к удивительной легкости, с которой наш «шампур» проткнул реактор.

Где же активная зона? Две сотни тонн урана, огромное количество графита?

В следующие дни с максимально возможной скоростью рядом с первой была на той же высоте пробурена вторая скважина. Через нее в шахту реактора ввели мощные осветители. А через первую скважину — специальный перископ.

### ШАХТА ОКАЗАЛАСЬ ПРАКТИЧЕСКИ ПУСТА!

На этом удивительном открытии и окончились семь майских дней.

Но отнюдь не окончились наши страдания.

Сначала вздох облегчения вырвался из груди каждого сотрудника комплексной экспедиции.

Наиболее страшная с точки зрения возникновения самопроизвольной ядерной реакции уран-графитовая кладка перестала существовать. Но за вздохом облегчения последовал и грустный вздох. Теперь нам предстояло отыскать пропавшее топливо.

Поиски эти ведутся и по сей день. Драматические и комические ситуации, связанные с ними, выходят за рамки этого повествования.

Напоследок скажу только одно: уже весной 1989 года ПК было доложено, что все обнаруженные к этому времени скопления топливосодержащих масс сейчас (!) ядерно безопасны.

## ФИНАЛ

Колеса стучат. Поезд. В среднем один раз в месяц еду по маршруту Москва — Киев — Чернобыль и через двадцать дней назад, в Москву. За восемь лет — около ста пятидесяти таких поездок, больше двух тысяч часов в дороге. Еду, смотрю в окно, думаю. Когда еду в Чернобыль, то думаю о работе, когда возвращаюсь в Москву — жду встречи с женой, сыновьями, внуками.

Но сейчас все мысли заняты книгой. Я собирался написать страниц пятьдесят, но увлекся, и сейчас их число неумолимо растет. Времени же осталось совсем мало: через четыре дня надо лететь в Вену, а там уже совсем не за горами десятилетие с момента аварии.

Но прежде всего необходимо прочесть все написанное в Чернобыле самому главному для меня читателю — жене. За десятилетия совместной жизни она прослушала, наверное, несколько тысяч страниц. Все, что я когда-либо написал, кроме совсем уж специальных научных статей.

Других будущих читателей я представляю себе совсем плохо.

Как они воспримут эти эпизоды чернобыльской жизни?

\* \* \*

В 1991 году режиссер Би-би-си Эдвард Бриффа снял телефильм о людях, работающих внутри «Саркофага» («Укрытия»). В этом фильме есть такой эпи-

зод. За ужином сидят несколько членов курчатовской экспедиции и беседуют о том, что же больше всего мешает их работе на блоке. Все сходятся на одном: это не радиация, а непобедимый бюрократизм чиновников самых разных рангов. Тех самых, которые были призваны обеспечивать работу и которые ее всеми правдами и неправдами тормозят. Один из собеседников, тот самый, который спас фотографа у «слоновъей ноги», приводит примеры нашей бедной жизни на «Укрытии». Спецодежды не хватает, часто нет даже носков.

Посмотрев готовый фильм, мы еще раз безнадежно поругали бюрократизм, а примеру с носками никакого значения не придали.

\* \* \*

Фильм с успехом демонстрировался телевидением Англии, Франции, Германии, США. Несколько раз его повторяли.

\* \* \*

Однажды утром на «Укрытие» мне позвонил секретарь и сказал, что на мое имя из Шотландии пришла бандероль, очень большая и подозрительно легкая. Вечером я первым делом вскрыл эту бандероль. Один пакет, внутри другой и наконец... десяток пар прекрасных, связанных вручную шерстяных носков. Признаться, я страшно удивился и долго пребывал в удивлении, пока не обнаружил маленькую записку.

Двое супругов из далекой Шотландии писали, что они посмотрели фильм, он им очень понравился. Из фильма стало понятно, что курчатовцы, работая в очень нелегких условиях, не имеют самых необходимых вещей. К сожалению, супруги люди небогатые — пенсионеры. Мэри (жена) прирабатывает вязанием. И она с удовольствием связала нам носки, потому что в России, где так холодно, они просто необходимы.

На очередном нашем совещании я встал, показал всем посылку и сказал:

— Отныне в научном отделе вводится высший орден за профессионализм в работе — пара носков, связанных женщиной из Шотландии...

И тут же вручил первую награду одному из лучших наших сотрудников.

\* \* \*

Через неделю пришла вторая посылка с носками — из Канады. Затем третья, четвертая. Единственная зарубежная страна, которая пока не прислала носков, — это, по-моему, Австралия. По-видимому, посылка еще в пути.

\* \* \*

Поезд подходит к Москве.

Отведенное мне время кончилось.

Я быстро перелистываю написанные страницы, мелькают лица и события.

Старуха крестит меня дрожащей рукой...

Люди из выселенной деревни молча ждут приговора...

Солдатик выходит из радиоактивного тумана, неумело прижимая рукой респиратор...

Женщина в Шотландии склонилась над вязаньем...

На платформе, под дождем, фигурка моей жены.

Спасибо вам всем. И до свидания.



---

---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ВЛАДИМИР БЕРЕЗИН

\*

## О ТВАРДОВСКОМ

1

**Я** пишу о нем как человек своего поколения. Поколения, которое его никогда не видело и, что еще важнее, не ощущало его присутствия в литературной жизни, а воспринимало как сложившегося классика. То противостояние журналов, те произведения и события, что получили название «оттепель», совершились и завершились до момента взросления нынешних тридцатилетних.

Мое первое прикосновение к его стихам было позорным.

На выпускном экзамене по русской литературе мне выпал билет со вторым (первый всегда был о девятнадцатом веке) вопросом по литературе советской — это разделение еще существовало, и из книжного шкафа улыбался мне в спину Генеральный секретарь на развороте своей книжки, сверкающий четырьмя Золотыми звездами. Второй вопрос касался Твардовского, не читанной мной поэмы «За далью — даль», и я ни минуты не колеблясь сочинил «за Твардовского» два четверостишия. Нас учили: нужны, дескать, примеры. Хотя я и не был первым учеником.

К счастью, я этих виршей не помню.

Позор не в том, что я пользовался невежеством своих учителей, а в том, что думал, что стихи мои — хорошие и подобны оригиналу.

Вторым прикосновением к Твардовскому было чтение «Теркина на том свете» в детской библиотеке, куда я, великовозрастный, был допущен по ошибке. Поэма была не то что запрещенной — не рекомендованной.

Я возвращался домой, брел по снежной улице, тогда называвшейся Кропоткинской, и бормотал: «Там — рядами, по годам, шли в строю незримом — Колыма и Магадан, Воркута с Нарымом». Все это казалось значимым и крамольным, как и чтение «Ивана Денисовича» по затертому до прозрачности номеру «Роман-газеты».

За мастеровитым зеком Щ-854 явился и теленок, тот, что бодался с дубом.

И снова речь шла о Твардовском, о «Новом мире».

Потом, купив на Севере, в случайном приречном магазинчике, сборник Маканина, я читал, сидя в моторной лодке вместе с лагерным прапорщиком, о том, как герой ходит по ночной Москве — мимо редакции знаменитого журнала, видит светящееся окно.

Я читал о любви и литературе, о том, что вот написана повесть, а нести ее некуда и Твардовского уже нет в журнале. Я читал, а под днищем лодки журчала вода, и прапорщик заискивал передо мной: он знал, что я пишу что-то...

Поколение, опознавшее в Твардовском учителя и опоздавшее в тот «Новый мир», не было моим поколением. Мое — даже и не опоздало.

Возвращаюсь к моему школьному вялотекущему времени, в котором «Василий Теркин», как и многие другие классические для русской литературы произведения, разошелся и поговорками, и по плакатам, и по литературно-художественным монтажах.

Эти фразы лишались автора. Они воспринимались именно как пословицы, а у пословиц авторов нет. «Смертный бой не ради славы», «Нет, ребята, я не гордый» уже были отдалены от Твардовского.

Итак, кроме плакатного мифа о Василии Теркине, о собственно стихах — представления не было.

## 2

Поколения у нас меняются часто.

Что ни поколение — другая эпоха.

К несчастью, еще у каждого поколения своя война. Их много, незначительных, — в Китае, Монголии, Польше, Финляндии, Корее, Вьетнаме, Лаосе, Анголе...

Текст маловат для перечисления. А с окончания последней мировой прошло полвека — как-то забывается, что окончилась она в сентябре и сперва было два Дня Победы — 9 мая и 3 сентября.

Что уж говорить об иных войнах.

Люди же погибают, и про них забывают, хотя они самоценны. Люди в форме лежат под палящим солнцем или остаются в снегу.

География не имеет значения, не имеют значения форма, вооружение и конъюнктурные политические мотивы.

А слово «незначительный» уже стало термином, хоть и взятым из стихов, из реальной, настоящей поэзии. Теперь оно употребляется без кавычек, стало быть, действительно стало термином — точным и печальным:

Мне жалко той судьбы далекой,  
 Как будто мертвый, одинокий  
 Как будто это я лежу,  
 Примерзший, маленький, убитый  
 На той войне незначительной,  
 Забытый, маленький лежу.

Стихотворение это 1943 года, а напечатано спустя год после той войны, про которую говорят просто: «война».

В карельской тетради, в дневнике, где и говорится об этой незначительной войне и что так и называется «С Карельского перешейка», Твардовский тоже писал о мертвых: «Сжималось сердце при виде своих убитых. Причем особенно это грустно и больно, когда лежит боец в одиночку под своей шинелькой, лежит под каким-то кустом, на снегу... Далеко уже ушла его часть, а он лежит. Есть уже и другие герои, другие погибшие, и они лежат, и он лежит, но о нем уже реже вспоминают. Впоследствии я убеждался, что в такой суровой войне необыкновенно легко забывается отдельный человек. Убит, и все. Нужно еще удивляться, как удерживается какое-нибудь имя в списках награжденных. Все, все подчинено главной задаче — успеху, продвижению вперед. А если остановиться, вдуматься, ужаснуться, то сил для дальнейшей борьбы не нашлось бы».

Финская война — особая.

Давид Самойлов в недавно изданных воспоминаниях писал: «Наверное, никто из нас не думал тогда о нравственном значении той малой войны... только подспудным нравственным чувством, неосознанным и свербящим, объясняется нерешительность... в начале финской». Он писал о том предчувствии ненужности, которое всегда несет с собой завоевательная война.

Он писал: «Войны никогда не окупаются. Репарации никогда не выплачиваются. Территориальные приобретения всегда — бочка пороха в доме».

Прикосновение к Твардовскому. Вернее, несколько касаний.

## 3

Общим заблуждением невнимательного читателя моего поколения было убеждение, что «Книга про бойца» написана фронтовым корреспондентом Великой Отечественной войны.

Между тем это верно лишь отчасти, и нет смысла приводить известную статью Твардовского о том, как был написан «Василий Теркин».

Текст статьи — ответа читателям — известен. Он хрестоматиен.

Гораздо важнее вернуться к дневнику, который велся на карельском фронте и о котором речь уже шла выше:

«20 апреля 1940. ...Вчера вечером или сегодня утром герой нашелся... Вася Теркин! Он подобен фольклорному образу. Он — дело проверенное... Вася Теркин из деревни, но уже работал где-то в городе или на новостройке...

Теркин — участник освободительного похода в Западную Белоруссию, про который он к месту вспоминает и хорошо рассказывает».

Вначале Теркин был похож на Козьму Крючкова, насаживающего на пику немцев, — словно бы предтечу красноармейца на известном плакате, насаживающего на штык иностранцев-дипломатов по мере признания ими Советской Республики.

Рядом с Васей Теркиным соседствовал военнослужащий — повар (и казак) Иван Гвоздин: «Как обед варить искусно, чтобы вовремя и вкусно».

Это — старый, вечный, сюжет. Бравый воин, специалист по варке каши из топора, живучий плакатный воин. Действительно, на тех плакатах Теркин доставал из кабины самолета «кошкой» «за штанину» летчика-шюцкоровца.

Среди прочих стихотворений финской войны, написанных Твардовским для армейских газет, одно — про Героя Советского Союза Пулькина.

Фамилия, геройский подвиг, отношение к жизни — все кажется придуманным.

А Пулькин — реальный человек, и рядом со стихотворением в газете был напечатан его портрет.

Между описанием этого солдата и будущим Теркиным Отечественной войны нет общего. Однако Вася Теркин похож именно на агитационный образ зимней незнаменитой кампании.

У каждого писателя или поэта есть свой перелом. Это не обязательно первое соприкосновение со смертью. Толстой попадает в Севастополь после Кавказа.

Для Твардовского переломным моментом в восприятии войны был не поход в бывшую Польшу, где, между прочим, шли серьезные бои — польская армия была не худшей в Европе.

Перелом случился и не в 1941 году. Переломным моментом в творчестве человека, уже написавшего «Страну Муравию», была финская война.

О ней Твардовский в дневнике сделал среди прочего замечание, говорящее о многом, — настолько сильное, что его нужно цитировать:

«4. IV. 40. — Это целая большая зима — от осеннего бездорожья до почти уже бездорожья весеннего. От первого неглубокого снега, на котором раздавленные сапогом краснели, как капли крови, ягоды крупной брусники, до серого, опавшего мартовского снега, из которого стали вытаивать — то черная, скрюченная, сморщенная кисть руки, то клочья одежды, то пустая пулеметная лента и т. п. От суровых ночных метелей, от морозных страшно красных закатов на темном и белом фоне хвойных лесов, от первых дымок землянок — до свежих, легкоморозных утр, почерневших дорог, чистых, точно умытых, елей и сосен... От первого выстрела в 8 часов 30 ноября 1939 года — до последнего выстрела в 12 часов 13 марта».

Счет здесь ведется не с инцидента в Майниле, формального повода к войне. Война начинается с наступления советских войск — не слишком грамотного и слишком поспешного.

Через полвека история повторяется; она повторяется всегда.

Так же гибнут люди: человеческое тело не изменилось и по-прежнему чернеет от огня — горит ли Т-26 или Т-72.

«...в груди остатков сгоревшего танка мы видели танкиста без ног — один валенок с мясом в нем торчал неподалеку. Лицо танкиста так иссохло, что было маленькое, почти детское. Оно было черное, совершенно черное. Волосы наполовину обгорели, ото лба, на макушке торчали торчком — от мороза, что ли. Рука у него была тоже невероятно маленькая» (из того же фронтового дневника).

Та же зима. И те же периоды войны — самонадеянное начало, обучение в бою ценой человеческих жизней и, наконец, продвижение вперед, взятые города и поселки.

А мертвые всегда незнамениты. Их дети не рождены. Те вдовы давно состарились или стали чужими женами.

Мне близка история советско-финской, или просто «финской», войны, потому что моя родина за последние полвека привыкла вести незнаменитые войны, открещиваясь от своих пленных. Воевать со странными целями, воевать, увязая в чужих снегах и горах и оставляя везде — убитых.

Мое поколение привыкло к незнаменитости этих войн.



Война закончена — забудьте!

Но то, что стало «Книгой про бойца», рождено именно на финской войне. Вторым планом, о чем говорится мало, но что подразумевается уже в повествовании о Теркине времени Отечественной войны, — память о другой войне, незначительной.

Несколько раз цитируемый Твардовским Суворов замечает: «Солдат любит похвастаться не только ратными подвигами, но и перенесенными лишениями»

А русскому солдату лишений не занимать.

Однако речь идет не собственно о лишениях, а о самооценке.

Твардовский говорил на X пленуме Союза писателей, и это был 1945 год: «Мужичок, который пропер от Волги до Берлина, у него очень повышенная самооценка... Не то чтобы он кичился, но он смотрит на себя очень уважительно».

Этих же людей показал Михаил Ромм в знаменитом фильме «Обыкновенный фашизм». Есть там такой кадр: сидят солдаты на берегу Шпрее. Не очень brave, не такие уж молодые дядьки.

Сидят курят. Голос за кадром сообщает: «Вот они, победители, хотя на победителей не очень похожи. Орденов даже не видно, только медали»

И видно, что это крестьяне, рабочие, которых хочется назвать мастеровыми. В этом определении нет никакой посконности и домотканости.

Это маленькие люди, пришедшие воевать — и довоевавшие. Может быть, несмотря на предстоящую Японию, все-таки уцелевшие.

А уцелеть, понятное дело, тяжело. От пехоты к концу войны осталось не много. Танков стало много, много пушек, самолетов, много боевого железа, а людей — мало, они все там, под Москвой, Сталинградом, на откосах Днепра.

В одной Польше — шестьсот тысяч.

Особенность войны, ее страшная беда в том, что персональная гибель чувствуется менее остро, страдание и сострадание притупляются.

Человеческий организм защищается от горя как может — особенно в момент боевых действий.

Я знаю, никакой моей вины  
В том, что другие не пришли с войны,  
В том, что они — кто старше, кто моложе —  
Остались там, и не о том же речь,

Что я их мог, но не сумел сберечь, —  
Речь не о том, но все же, все же, все же.

Твардовский — свидетель происходящего, точный и внимательный. Много лет спустя после войны он писал в частном письме: «Сколько я знал людей из нашей литературной или журналистской братии, для которых война была страшна тем, что там можно вдруг быть убитым или тяжело раненным. А потом — как с гуся вода. Для них война прошла тотчас по ее окончании. Они ее «отражали», когда это требовалось по службе, а потом стали «отражать» послевоенную жизнь... по уставу мирных лет... терпеть не могу, когда литераторы и журналисты, прошедшие войну именно в этом качестве, говорят «я воевал» и т. п.».

Твардовский понимает дистанцию — говорит об этом спокойно.

О страшном всегда нужно говорить спокойно.

Весь ряд человеческих лиц — солдаты на берегу Шпрее, хмурое и не слишком хмурое достоинство победителей, лица в бинтах и без, лица живых и пока живых, уважительно перечисленные люди — совмещается в один персонаж: Теркина.

Работника иной, знаменитой, большой, войны.

Внимательно вчитываясь в «Книгу про бойца», неожиданно открываешь, что в глазах человека моего поколения она, эта книга, существует в контексте множества других произведений.

Слово «певец» перекликается с Жуковским и станом русских воинов.

Недаром — пушкинская цитата в последней главке «Теркина»: «Светит месяц, ночь ясна, чарка выпита до дна...» — из «Песен западных славян»

Недаром для читателя моего поколения одна из глав «Книги про бойца» ассоциируется со стихотворением Исаковского, пропетым позже Бернесом, — «Враги сожгли родную хату».

Разговор война со смертью воспринимается не только сам по себе, но и в связи с тем произведением Горького, что выше «Фауста» Однако эта ассоциация более далекая, сюжет этот вечен, как и сюжет поединка зла и добра.

Он существует и в приметном рассказе Платонова «Неодушевленный враг», и в одной из глав «Книги про бойца». Солдат Платонова убивает немца, Теркин ведет его в плен, но дерутся они очень похоже — и тот и другой врукопашную.

Недаром старик в другой главке называет немцев немцами — и это отсылает к самостоятельному стихотворению Твардовского, посвященному именно этому образу.

Итак, чем больше проходит времени, тем больше прочтений, тем больше образов накладываются один на другой.

Не только образов современных, связанных с новым знанием о войне — той, далекой, и войнах нынешних.

Это еще и связь с предшествующей литературой — например, с лермонтовским служилым человеком, и нужды нет, что вечный герой школьных сочинений, штабс-капитан, фамилии которого никто не помнит, исполняет свою службу в далеких от России Кавказских горах, на вечной войне с немирными горцами, а Теркин начинает свою военную судьбу войной на другой окраине империи — в финском снегу. В чем-то они похожи — отношением к Поручению, которое надо исполнить.

Необходимо сделать одно замечание. Литература всегда фрагментарна, говоря о литературе, используя это слово как термин, человек всегда имеет в виду лишь фрагмент списка.

Я разглядывал русскую литературу сквозь окошко школьного списка. Список литературы для внеклассного чтения, обязательный программный список. Номенклатура его была незатейлива: Пушкин — Гоголь — Лермонтов — Толстой — Достоевский. Между ними скрывались непонятно как выбранные две главы из повествования о семействе Головлевых, неглавные романы и неохотно читаемый «Что делать?».

Есть и никем не описанная черта этой номенклатуры — подборка репродукций в конце учебника. Была там среди прочих знаменитая картина Непринцева — иллюстрацией к «Василию Теркину».

Картина называется «Отдых после боя».

Сидят в лесу солдаты, а один, в центре, балагурит. Кисет висит на его пальце. А человек двадцать смеются его байкам.

В лесу танки, на танках снег. Солдаты на привале в сапогах, а в сапогах зимой плохо: пальцы отморожены и надо заматывать их в газеты. Я говорю об этом потому, что при разглядывании этой картины обычен подход неискusstвоведческий, подход непрофессионала. Собственно, про эту картину написано много: «Непринцев коснулся принципиально важной стороны мировосприятия советских солдат. Он показал в облике разных по характеру и возрасту фронтовиков, что война не ожесточила и не огрубила их души»...

Заметны всегда фрагменты, по ним скользит взгляд.

Я замечаю снег и сапоги, снаряженные ящики и вскрытую банку тушенки-«американки». Слева от общей кучи-малы сидит пожилой усатый дядька. Держит ложку над котелком, а в нем, видно, какое-то хлебово. Котелки, кстати сказать, мало изменились с тех пор.

Чем-то этот дядька напоминает солдат из фильма Ромма. Это правильный мужик. Он занят своим делом. Хлебают что-то после боя.

В нем есть крестьянские черты.

В уже упоминавшихся воспоминаниях Давида Самойлова: «Лучшая литература военного времени — литература факта. Исключение — «Теркин» Начавшись с факта, он перерос в былину. Былина кончается с крестьянством. «Последний поэт деревни», Твардовский написал последнюю былину для последних крестьян о последней Русской Войне, где большинство солдат были крестьяне».

Смоленский, узбекский, киргизский, украинский, армянский — всех их перечислить невозможно — крестьянин выиграл войну. Несмотря на разность национального уклада, это был в массе человек, возделывающий землю, работающий на земле.

Я воспринимаю это сквозь рамку картины в школьном учебнике, через обязательный список: Пушкин — Гоголь — Лермонтов — Толстой — Достоевский. Маленький человек, война, навеки обреченная с русской литературой.

Лермонтов навсегда привязан к Кавказской войне, войне затяжной. Текст вызывает странные ассоциации: «Исполнив этот неприятный долг, он бросился вперед, увлек за собою солдат и до самого конца прехладнокровно перестреливался с чеченцами». Война для школьника скрыта за этой фразой.

Заключена она в «Валерике», стихотворении страшном и пронзительном.

От четверти к четверти, от полугодия к полугодю, от класса к классу, как по эстафете, ученика передают друг другу русские писатели.

Одним из немногих неглавных персонажей «Войны и мира» стал на уроках капитан Тушин.

Маленький артиллерист прикрывает своими пушками отход в Австрию. Руку он теряет где-то в Восточной Пруссии. Названия сражений — Шенграбенское, Фридландское — говорят школьнику мало: это эпизоды незначительной войны на чужой территории.

Как всегда, проигранная война стала незначительной.

Моя учительница литературы задавала классу вопрос:

— Мог ли капитан Тушин участвовать в Бородинском сражении?

И тут же отвечала сама:

— Нет, не мог — ведь он же потерял руку. Но наверняка он был в ополчении.

Тушин потерял руку на исходе чужой незначительной войны. Он показан человеком простым, почти штатским. В бою он работает. С начальством разговаривать не умеет. Не балагур.

Он такой же винтик войны, как и русский солдат, — с поправкой, конечно, на денщика и дворянство.

Тушин некрасив, как некрасива война. Он исполняет свой долг, а война лишь часть его.

Но есть и иная, неизвестная школьной программе моего времени литература.

В герое Твардовского есть соотнесенность с двумя героями Лескова.

Это Левша и Очарованный странник — простой человек Флягин.

Знаменитый «Левша», с одной стороны, почти не читается, а с другой — кто же не знает Левшу? Само имя тульского (или сестрорецкого) умельца стало нарицательным. Между тем рассказ этот страшен, он страшен и прост, как многое из того, что писал Лесков.

«Левша» — это не история о блохе. Это история о жизни и смерти.

Левша отвечает изодравшему его волосья Платову:

— Бог простит, — это нам не впервые такой снег на голову.

У Твардовского говорится по этому поводу:

Есть сигнал: вперед!.. — Вперед.  
Есть приказ: умри!.. — Умрет!

Англичане упрекают Левшу в незнании арифметики, говорят, дескать, если б вы подумали бы да рассчитали б, то поняли, что нельзя блоху ковать — она танцевать не сможет.

Левша отвечает им сталинской формулой:

— Об этом, — говорит, — спору нет, что мы в науках не зашлись, но только своему отечеству верно преданные.

Это страшные слова: в них суть безотчетной и беспрекословной службы в России. Теркин и Левша — люди, своему отечеству верно преданные.

Странник Флягин, сидя на дрожащей палубе парохода, рассуждает, как Шпенглер: будет война, по всему видно — будет. А стало быть, умирать надо. За себя жить поздно. Монашеское надо снять, потому что воевать в нем не-

удобно, нечего идеей форсить, а умереть — к этому мы приучены, нам не привыкать.

Левша, умирая, хрипит о ружьях, чищенных кирпичом.

Не надо, говорит, не портите калибр.

Не слышат его, а ведь не о чем больше ему стонать, кроме как о поруганном его механическом деле, о государственном деле.

Не о матери, не о невстреченной жене. О ружьях. Храни Бог от войны, ведь стрелять не годятся. Мне умирать, а вам жить, воевать — с этими расчищенными ружьями.

Не слышат.

В старинном уставе говорится: «Назначение русского солдата — умирать за Отечество».

Поэтому Теркин, лежа на снегу в середине России, готовится умирать — будто Левша.

Все ассоциации с русской литературой — бесспорно личные, потому что каждое поколение воспринимает литературу иначе, так же как смерть и войну.

Разговор о войне — разговор о смерти. Говоря о смерти, легко впасть в натурализм — или язык реляций. Патетика сопутствует военной литературе.

Куда сильнее чувствуются поэтому случайные образы — тоскливая графа в сводке: «безвозвратные потери» или знаменитая фраза Пирогова о том, что война — это травматическая эпидемия.

Но иногда кажется, будто необходим военный сюжет, хотя Курт Воннегут был против сюжета в произведениях о войне: наличие сюжета в произведениях о войне делает ее, войну, значительной и пригодной для продажи.

А смерть проста и некрасива, как вытаявшие из-под снега солдаты, как сгоревшие в танках. Среди танкистов, кстати, вообще бывает мало раненых.

Смерть проста, но все же загадочна.

Что-то, несомненно, остается. И это «что-то» — не взятая траншея, не подбитый танк, не выигранная война, а нечто другое.

Тайна потери.

Это говорится потому, что неверно убеждение в том, что Теркин — только продукт фольклора. Его автор, бывший студентом ИФЛИ, хотя стоявший особняком от ифлийской поэзии, знал не только крестьянскую жизнь, но был и знатоком литературы. Этот очевидный, но как бы уходящий в тень факт ставит Теркина в ряд именно литературных, а не фольклорных героев.

«...немалое количество людей, даже и свободных от забот о куске хлеба на завтрашний день, с привычной бездумностью на словах, что, мол, все смертны, все там будем, вообще не впускают в круг своих размышлений полной реальности своего собственного конца или полагают, что если смерть и неизбежна, то к ним она придет, по крайней мере, в удобное для них время. Не думаю, чтобы эти люди представляли собой социалистический идеал духовного развития. Такая беззаботность в иных случаях, в час испытания реальностью смерти, нередко оборачивается животным трепетом перед ней, готовностью откупиться от нее чем угодно — вплоть до предательства. Я не хочу, конечно, сказать, что люди с обостренным чувством смерти во всех случаях лучше людей, лишенных такого чувства. Но ясное и мужественное сознание пределов, которых не миновать, вместе с жизнелюбием и любовью к людям, чувство ответственности перед обществом и судом собственной совести за все, что делаешь и должен еще успеть сделать на этом свете, — позиция более достойная, чем самообман и бездумная трата скупой отпущенного на все про все времени».

Эта цитата из большой статьи Твардовского о Бунине, 1965 года, — напечатанной, кстати, в «Новом мире».

Главное в ней — достоинство. Слова о буржуазности и предрассудках в ней кажутся партийными камешками Демосфена, набранными в рот по необходимости.

Возвращаясь к Теркину, надо сказать, что он остается человеком, рабочим войны, не праведником, не грешником, а человеком, которому больно.

Умирать ему не хочется.

Знаменитость его обманчива — он человек маленький.

Такой же, как ты.

## 5

В глазах моего поколения война занимает особое место.

Точкой отсчета является поколение давнее — лежавшее в окопах. «Книга про бойца» писалась в их время, про них и для них.

Это чувствуется во всех стихах того времени, иногда более агитационных, чем собственно поэтических, страшных в своей откровенности: «Если дорог тебе твой дом...» — с обязательным «Убей его!».

В «Василии Теркине» есть показательная фраза о пухе перин, который вьется по дорогам. Пух перин — не только знак войны, это и знак погрома, не еврейского, а уже немецкого, того, что описан в военных воспоминаниях Померанца или в страшном пассаже Синявского-Терца.

За ними пришло поколение детей войны, ориентировавшееся на своих отцов, и у него уже была своя, чуть иная, литература.

Наконец, годы шестидесятые — время первых празднований и отмечаний.

И за ними следовало мое поколение, для которого время между лязгом немецких танков на Буге и наших — в Берлине было историческим, но близким и постоянно упоминаемым. Война же в Афганистане — незначительная — казалась нереальной.

За моим поколением пришло иное, то, что уже путается в войнах, которые ведет наше государство. Стрельба и оружие стали привычны. Война превращается в театр — недаром бытовало выражение «театр военных действий». Она рассматривается через окошко телевизора, заедается ужином.

Это не тот бой, что ради жизни на земле, — это бой, который становится, благодаря средствам массовой информации, чертой жизни на земле.

Действия солдата, описанного Твардовским, неминуемо воспринимаются в этом контексте — сперва понимания Отечественной войны как вовсе не святой, а вполне тяжелой, ведущейся против разного противника — от СС до гитлерюгенда и фольксштурма, войны, иногда бессмысленно и бездарно управляемой, потом используемой в политической конъюнктуре, в свете дальнейших колебаний. Затем — в контексте современных войн, в которых нарабатывается, навоевывается опыт и сознание поколения.

## 6

Твардовский родился 21 июня, и отчего-то это кажется символичным. Какая тут символика, вернее, что с ней делать, мне, правда, непонятно.

Ночи с 21-го на 22-е никогда в России не быть просто ночью летнего солнцестояния.

А в «Книге про бойца» начала войны, первых ее дней нет.

Войны никогда не начинаются внезапно, это всегда чувствуется: начинают врать газеты, в воздухе возникают особые поля наподобие электрических.

Начало войны есть у Твардовского в других стихах — и можно употребить эпитет «пронзительных», а можно не употреблять. Это прилагательное их не испортит.

Перед войной, как будто в знак беды,  
Чтоб легче не была, явившись в новости,  
Морозами неслыханной суровости  
Пожгло и уничтожило сады.

.....

Прошла война, а ты все плачешь, мать.

Знак беды — мороз; сад и гибель сада — устойчивый образ нашей литературы, и мать, которой уж поздно плакать, и все уже поздно.

В «Голошеньке», задуманном как зачин «Дома у дороги», где речь идет больше не о том, как воюют, а о том, за что, это состояние выражено так:

Война, война. Любой из нас,  
Еще живых людей,  
Покуда жив, запомнил час,  
Когда узнал о ней.  
И как бы ни была она  
В тот первый час мала,  
Пускай не ты — твоя жена

Все сразу поняла.  
 Ей по наследству мать ее  
 Успела передать  
 Войны великое чутье,  
 А той — другая мать...

1942.

Точность — вот что подкупает здесь. В обоих стихотворениях главное переживание войны — у матери. А точность метафоры — не свойство агитационной поэзии. Это ценность просто поэзии.

Древние греки могли позволить себе плакать при обычном расставании — на день или на два.

Теперь времена более жестоки, точность и скупость образа волнуют больше. Слишком многое увидено человеком на излете двадцатого века. Оттого, верно, и западает в память часто цитируемая мысль Бунина о том, что в «Книге про бойца» нет слов обязательных, бездушных.

Например, в нескольких строках из «По дороге на Берлин»:

И земля дрожит привычно,  
 Хрусткий щебень черепичный  
 Отряхая с крыш долой...

Цепочка связи: дрожь — хруст — черепица — отряхивание, — очень экономна. Она проста и беспарфосна — как разрушение. В данном случае не просто крыш, а страны целиком.

И забыто — не забыто,  
 Да не время вспоминать,  
 Где и кто лежит убитый  
 И кому еще лежать.

Или:

Командир наш был любитель,  
 Это — память про него...

Отношение к четырем военным годам меняется от десятилетия к десятилетию: от газетного оптимизма к обдумыванию — снова к казенным сказкам — к отрицанию. Приходит знание о фильтрационных лагерях, о заградотрядах.

Одно не отменяет другого, опыт продолжается.

После войны, видимо впервые показывая нашу любовь к сериальным продолжениям, появился Теркин-пожарник, Теркин-зенитчик, Теркин-целинник, Теркин-строитель и Теркин-милиционер. «Соответственно, — писал Твардовский, — никакого разрешения у меня спрашивать не нужно: «Теркин» давно уже не принадлежит мне».

Появился даже загадочный антисоветский Теркин Юрасова — в издательстве А. П. Чехова, — узнать о существовании которого можно лишь из второго варианта «Ответа читателям „Василия Теркина“».

Можно, конечно, глумиться над этими текстами, но не стоит, как не стоит глумиться над стариками, ровесниками Теркина, которые соперничают с телевизионным латиноамериканцем.

Многочисленные Теркины — тоже фольклор, хотя образы этого фольклора неточны, а страдания не всегда натуральны.

Страдания остаются другие — нетелевизионные воспоминания о войне.

Теркин, выйдя из сказа, вернулся туда, откуда пришел. Однако это не просто сказ, а сказ, опирающийся на книжную традицию. Ему не повредила и эта поздняя канонизация и празднично-ритуальное чтение.

Позабыто, не забыто...

Не забыто.

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

## В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ ЖИЗНИ

*Переписка Г. В. Рочко с В. В. Розановым и А. Т. Твардовским*

...У него, по-моему, сильный писательский темперамент, он мыслит своей головой, и ярко. Беда его в том, что у него, как у мухи, сто глаз; а чтобы быть большим писателем, надо ослепнуть на 98 глаз и чтобы осталось только два, больших, как у бегущего паровоза ночью. Он еще молод, если жизнь оглушит его здоровенным ударом извне или изнутри, он ослепнет и прозреет на два глаза...

*Из письма М. О. Гершензона В. В. Розанову от 6 января 1913 года\**.

*«Здоровенным ударом» жизнь его оглушила. Тюрьма, лагеря, туберкулез... Однако «большим писателем» он не стал. Но тогда, в 1913 году, когда М. О. Гершензон дал о молодом литераторе — будущем моем отце, Григории Викторовиче Рочко — столь лестный отзыв, вехи прожитой им жизни выглядели вполне благополучно. Еврейская светская семья, традиционное начальное образование, золотая медаль Виленского коммерческого училища, С.-Петербургский Политехнический институт Императора Петра Великого, звание кандидата экономических наук\*\*...*

*«Государственной службой», правда, оказалась маленькая банковская должность — корреспондентом при главном бухгалтере, — требовавшая определенной «литературной казуистики»: положительные ответы писались коротко и вежливо, отрицательные — многословно и непонятно.*

*Вот, собственно, и все «анкетные данные» Г. В. Рочко к моменту его знакомства с В. В. Розановым, о чем он и рассказывает в своих «Воспоминаниях попутчика»\*\*\*. Но мне кажется небезынтересным подчеркнуть, что возникли эти воспоминания благодаря А. Т. Твардовскому.*

*В мемуарах В. Я. Лакшина есть упоминание о том, что Твардовский «откопал какого-то Рочко, старика-поэта», и возится с ним\*\*\*\*. Действительно, А. Т. не только взял на себя труд отобрать из множества (!) стихов несколько стихотворений для альманаха «Литературная Москва», но и — вместе с Э. Г. Казакевичем — подвигнул Григория Викторовича на написание автобиографической повести\*\*\*\*\*.*

*Вот ее фрагмент.*

---

Публикация, подготовка материалов, сопроводительный текст и комментарии С. Г. ХЛАВНА (РОЧКО). Из личного архива Г. В. Рочко.

За помощь в работе над этой публикацией благодарю моего брата Марка Андреевича Соболя. — С. Х.

\* «Переписка В. В. Розанова и М. О. Гершензона». — «Новый мир», 1991, № 3, стр. 235.

\*\* Звание это означало в те годы не путь в науку, а всего лишь право служить, что и следовало из диплома: «...на основании ст. 38 Положения об Институте Г. В. Рочко 26 Октября 1911 года удостоен Советом Института звания кандидата экономических наук с правом на производство в чин X класса при поступлении на государственную службу».

\*\*\* Название авторское. Глава о детстве напечатана в кн.: «Вторые Добычинские чтения». Ч. 2. Даугавпилс. 1994, стр. 3 — 39.

\*\*\*\* Л а к ш и н В. Я. «Новый мир» во времена Хрущева. М. 1991, стр. 20.

\*\*\*\*\* Из письма Твардовского Рочко от 19. X. 1956 года: «Он (Казакевич. — С. Х.) думает, как я понял, подвигнуть Вас на какое-то дело вроде автобиографической повести».

Г. В. РОЧКО

## ВОСПОМИНАНИЯ ПОПУТЧИКА

...Общим фоном тогдашней жизни была политическая реакция. Даже террористические акты вроде убийства Столыпина не шевелили душу, а вызывали скорее недоумение, ощущение жути. Уже к тому времени вышел «Конь блед» В. Ропшина (Савинкова), с психологических позиций дискредитировавший террор. Да что террор? Какое впечатление он мог произвести, если смерть стала «своим человеком» среди интеллигенции.

Литературный 1910 год даже начинается альманахом под названием «Смерть», в котором пишут и В. Розанов, И. Репин, Г. Чулков, и многие другие<sup>1</sup>. Кто бы что там ни писал, а сама тема альманаха показывает, на чем заострено было внимание. Число самоубийств быстро росло, в особенности среди учащейся молодежи, и по количеству самоубийств Петербург занял в 1910 году первое место в мире.

Я не знаю, в какой мере поднимали статистику самоубийств такие стихи Сологуба:

Я напрасно ожидаю  
Божества, —  
В бедной жизни я не знаю  
Торжества.

И безмолвный, и печальный,  
Поутру,  
Друг мой тайный, друг мой дальный,  
Я умру<sup>2</sup>.

Сейчас может показаться смешной полемика того времени в «Русской мысли», не сократит ли самоубийства анкета среди учащихся о самоубийствах. Святая наивность! Должно было пройти много лет, чтобы мы твердо узнали, что свойство анкеты, ее прямое назначение — когда не убивать, то причинять неприятности.

В это время, по свидетельству Изгоева, русские университеты представляли «воистину зрелище поля на другой день после побоища. Разгромлена профессура, разбито студенчество. К физическому поражению, как часто бывает в таких случаях, присоединилось нравственное угнетение»<sup>3</sup>.

И вот в этой обстановке, под щелканье счетов и среди писем всяким «Милостивым Государям», у меня, не связанного ни с какими революционными организациями, оставался один выход: уйти в себя, запрятаться в свой сейф, как это и делали тысячи других интеллигентов, не желавших ни спиться, ни юродствовать, ни участвовать в оргиях Илиодора<sup>4</sup>.

В это время, когда мы так ушли в себя, появилось «Уединенное» В. Розанова, к которому очень многих потянуло уже по одному названию книги.

«Вывороченные шпалы. Шашки. Песок. Камень. Рытвины.

— Что это? — ремонт мостовой?

— Нет, это «Сочинения Розанова»...»<sup>5</sup>

Кто это писал? Какой недруг, злой критик Розанова?.. Он сам. Ну что ж, бывает. Вот Гоголь в тяжелые часы угнетенности просто бросил в огонь 2-ю часть «Мертвых душ»... Если развороченные в разные стороны сочинения Розанова — безумие, то в этом безумии, как у Гамлета, есть система.

Приведем его собственные слова.

«Дело в том, что таланты наши как-то связаны с пороками, а добродетели — с бесцветностью. Вот из этой «заковыки» и вытаскивайся»<sup>6</sup>.

Вот из этой «заковыки» получились развороченные мостовые.

«Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти»<sup>7</sup>.

«Да, я коварен, как Цезарь Борджиа: и про друзей своих черт знает что говорю. Люблю эту черную измену, в которой блещут глаза демонов»<sup>8</sup>.

Какие страсти-мордасти! И Цезарь Борджиа, и глаза как у демонов. Я его видел, был у него, пил чай у него, когда мы уже были в раздоре, и вышел от него живым.



«— Какое сходство между «Henri IV» и «Розановым»?

— Полное.

Henri IV в один день служил лютеранскую и католическую обедню...

Вот и поклонитесь «Розанову» за то, что он, так сказать, «расквасив» яйца разных курочек — гусиное, утиное, воробьиное — кадетское, черносотенное, революционное, — выпустил их «на одну сковородку»...

И сделал это с восклицанием:

— Со мною БОГ»<sup>9</sup>.

Цезарь Борджиа превратился в повара. Яички-то он действительно разбил, а вот насчет того, участвовал ли при этом бог, сомневаюсь. Но мне еще рано сомневаться. Просто спрошу, куда ведет такая дорога?

Может быть, Розанов шел такой дорогой к раю? Увы, он не только не верил в рай, но даже в «преддверие» рая. В церковь он себя втаскивал за уши и не мог втащить. Но если это не шествие в рай, то, может быть, покаянная в русском стиле исповедь больной и грешной души? Но вот Розанов смотрится в зеркало и говорит:

«Не понимаю, почему меня так ненавидят в литературе. Сам себе я кажусь „очень милым человеком”»<sup>10</sup>.

Однако милый человек чувствует себя совсем не по-милому.

«Запутался мой ум, совершенно запутался...»<sup>11</sup>

«Болят душа, болят душа, болят душа...»<sup>12</sup>

В письмах ко мне постоянно — «устал» и даже «изустал».

«Если кто будет говорить мне похвальное слово «над раскрытою могилою», то я вылезу из гроба и дам ему пощечину»<sup>13</sup>.

Скажут: вы приводите самохарактеристики, так сказать, собственные показания подсудимого. Вы же на своем опыте знаете, чего стоят такие показания, не подкрепленные никакими фактами. Да, знаю. Потому приведу и факты.

4 сентября 1910 г. Розанов пишет в «Новом времени»:

«Чернышевский и Писарев были гасителями духа в России, гасителями просвещения в ней».

В то же время он пишет в «Уединенном»:

«Конечно, *не использовать* такую кипучую энергию, как у Чернышевского, для государственного строительства — было преступлением, граничащим со злодеянием... такие орлы крыльев не складывают, а летят и летят, до убоя, до смерти или победы»<sup>14</sup>.

О Достоевском в одной и той же книге:

«Достоевский, как пьяная нервная баба, вцепился в «сволочь» на Руси и стал пророком ее»<sup>15</sup>.

«Достоевский дорог человеку. Вот «дорогого»-то ничего нет в Толстом»<sup>16</sup>.

Он признавал гениальность Толстого, но считал, что Толстой холоден и не умен и что он сам и его черносотенный приятель Рцы<sup>17</sup> умнее Толстого. Считал так считал! Сам Толстой грешил против Шекспира. Но вот вопрос факта. Умер Толстой. Всеми предшествующими сообщениями мы были готовы к этой смерти. И все же, когда я с моим школьным приятелем, тогда вольноопределяющимся, встретились на одной из московских улиц, обрадованные встречей, но вдруг, из окриков газетчиков, узнали, что умер Толстой, — мы оба лишились голоса, и по лицу товарища потекли недержимые слезы. Все темы умерли, все слова угасли. Так мы и разошлись, не поговорив друг с другом. Правительство сделало все, чтобы ограничить похороны Толстого. Не давали добавочных поездов, и люди плакали, не попадая на поезд. Холодный Валерий Брюсов, бывший на похоронах Толстого, писал: «Все свершилось очень просто, но было что-то более сильное, чем волнение и шум многотысячных толп на иных погребениях»<sup>18</sup>.

А вот что писал Розанов по поводу смерти Толстого:

«Мне кажется, Толстого мало любили, и он это чувствовал. Около него не раздалось, при смерти, и даже при жизни, ни одного того «мучительного крика вдруг», ни того «сумасшедшего поступка», по которым мы распознаем настоящую привязанность. «Все было в высшей степени благоразумно»; и это есть именно печать пошлости»<sup>19</sup>.

Салтыкова он не читал, о его жизни почти не знал, но сказал о нем, что он волк, напившийся русской крови<sup>20</sup>.

«Вот и я кончаю тем, что все русское начинаю ненавидеть»<sup>21</sup>.

«Вся литература (теперь) «захватана» евреями. Им мало кошелька: они пришли «по душу русскую»...»<sup>22</sup>

И через несколько страниц:

«Р<очко> (талантливый еврей в Москве), написав мне 3-е письмо (незнакомы лично), приписал: «Моей сестре вот-вот родить».

Да. Их нельзя ни порицать, ни отрицать...»<sup>23</sup>

Вот за эту приписку он амнистировал евреев, а я ее сделал потому, что он писал мне, что беременность является для него чуть ли не высшей формой красоты. Потом, в «Опавших листьях», он подтвердил, что постоянно хотел видеть весь мир беременным.

Розанов очень много и очень своеобразно писал о семье. Из-за нее он, пожалуй, любил Ветхий Завет, в котором было больше семейного и семейственности, чем в Евангелии. Он очень любил свою жену и дочерей и ценил их привязанность к себе. Но вот что он пишет про свою мать, которая, по его же словам, одна вытаскивала, бедствуя, большую семью: «Когда мама моя умерла, то я только то понял, что можно закурить папиросу открыто. И сейчас закурил. Мне было 13 лет»<sup>24</sup>.

Вряд ли в литературе найдется много таких циничных признаний.

Мне опять скажут: «Вы все приводите слова».

Но и но! В словах изображены факты, а главное, у писателя слова — самые важные факты. Мне кажется, портрет ясен. У Розанова не было костяка — скелета, не было и мяса, а одни лишь хаотически кричащие в разные стороны клеточки нервов, базар первичных ощущений, всяких и всяких.

Семнадцатилетняя приятельница или родственница Розанова<sup>25</sup>, по-видимому девушка умная, по его же утверждению, сказала ему:

— У вас мужского только брюки.

И, пожалуй, лучше не скажешь. А между тем Розанов очень интересовался половыми вопросами, писал об очень рискованных вещах, но с какой-то умственной высоты, без тени вожделения.

В чем же, однако, было влияние и притягательность этой уникальной в литературе фигуры, этого бескостного «Фуше» литературы?

На этом стоит остановиться. Розанов до «Уединенного» написал немало книг, в которых он показал себя первоклассным стилистом и проникательным наблюдателем, но настоящую большую славу ему создало «Уединенное».

Я должен о себе сказать — я это много раз замечал, — что во мне нет большой оригинальности. Когда я откликаюсь на какие-то события, то потом оказывается, что точно так же чувствуют и очень многие другие, т. е. по термометру у меня под мышкой можно довольно точно определить «среднюю температуру» значительной части моих современников.

Когда я прочел «Уединенное», я почти тотчас написал Розанову взволнованное письмо и получил от него быстрый ответ, что я его тронул индивидуальным подходом<sup>26</sup>. И тут же он стал рассказывать о своих семейных делах, горестях. Письмо, хоть и интересное, не давало мне ничего нового о Розанове, а я был не тщеславен, чтобы просто переписываться со «знаменитостью». Я не ответил на письмо. Тогда я получил запрос в розановском стиле: что Рочко — миф? сказка? сон? почему он молчит?

Я снова заговорил и попутно к чему-то коротенько написал ему о своем путешествии по Швейцарии. Он мне опять ответил, а еще через некоторое время пригласил сотрудничать в «Новом времени»<sup>27</sup>. Я отказался, он очень обиделся и наговорил много несуразного о евреях, но попутно объяснил, чем я его пленил. К чему я все это вспомнил?

«Уединенное» взволновало меня и тысячи таких, как я. Попытаюсь по своему ответить, чем «брал» Розанов и в чем своеобразие «Уединенного». Первое очень легко. Цитаты из Розанова своей меткостью, проникновенностью, хотя бы частичной правдой сами сделают свое дело:

«С основания мира было две философии: философия человека, которому почему-либо хочется кого-то выпороть; и философия выпоротого человека»<sup>28</sup>.

Вспоминая Ницше и Достоевского, чувствуешь хотя бы частичную правду этого.

«В России вся собственность выросла из «выпросил» или «подарил» или кого-нибудь «обобрал». Труда собственности очень мало. И от этого она не крепка и не уважается»<sup>29</sup>.

«Посмотришь на русского человека острым глазком... Посмотрит он на тебя острым глазком...

И все понятно.

И не надо никаких слов.

Вот чего нельзя с иностранцем»<sup>30</sup>.

Уже перед самой смертью он написал маленькую притчу об интеллигенции и революции, разумея интеллигенцию, стоявшую вне революции. «Полобовавшись вдоволь на это ужасное зрелище, мы сказали — теперь наденем шубы и пойдем домой. Но оказалось, что шубы украдены, а дома заняты»<sup>31</sup>.

У меня в запасе еще столько же цитат, наспех выписанных, но хватит. Конечно, это не значит, что с точки зрения стилистики Розанов все время ронял «алмазы». У него есть и муть, и многословие, но алмазов хватит на десятерых.

Теперь об особенностях «Уединенного». Свои 18 строк об «Уединенном» я не помню, да и вряд ли мог бы в той же «невинности души» повторить их сегодня. Но Розанов, как всегда, хитрит. Сам он объяснил «Уединенное» короче и, наверное, лучше меня.

«Шумит ветер в полночь и несет листы... Так и жизнь в быстротечном времени срывает с души нашей восклицания, вздохи, полумысли, почувства... Которые, будучи звуковыми обрывками, имеют ту значительность, что «сошли» прямо с души, без переработки, без цели, без преднамеренья, — без всего постороннего... Просто, — «душа живет»... т. е. ...«жила», «дохнула»...»<sup>32</sup>

Я так хорошо не скажу, а сказать хочется.

Есть частицы атомов. Им жизни миллиардная доля секунды, а сила в них огромная. Мысль, которая вспыхивает в какую-то долю секунды, попадает в перерабатывающий аппарат логики, начинаются всякие «ведомственные» согласования. Если она выживает, она выходит из всей этой переделки неузнанной, если она умирает, мы ее вообще не видим. В чем «научная находка» Розанова? Он хотел первые же блестящие мысли, частицы атомов донести до читателя ценою хотя бы того, что он даст не синтезированного, не благоустроенного, а расщепленного человека, так сказать, кричащие, мыслящие частички «я». Это была утопия, потому что еще Тютчев говорил, что «мысль изреченная есть ложь». То есть, облакаясь в слово, мысль уже совсем не та, какую она хотела быть. Возможно! Дело, как говорится, темное. Но, во всяком случае, Розанову как никому удалось донести до читателя расщепленные мысли, частички атомов, с максимальным приближением к первоначальному состоянию. И он ловил эти кричащие частички повсюду: на ходу, на извозчике, в поезде, за нумизматикой и даже в ватерклозете.

Это была розановская находка, хотя сегодня я думаю, что нам важнее «собрать» человека, чем расщеплять его.

Найдя новый метод, он продолжил его в «Опавших листьях», но, пожалуй, хуже и многословнее, а под конец второй части «Опавших листьев» стал уже просто истощенным, синтезированным черносотенцем, без всяких скидок на расщепление атомов.

Я был у Розанова раза два-три. Рыжеватый и подвижный, он был в жизни приветлив и несчастлив. Он переживал не только семейную драму, длившуюся многие годы, — болезнь жены, но и свою литературную отверженность. Никто о нем хорошо не писал.

Выросши в православной семье, имея рядом религиозную жену, которая неустанно молилась, религиозных друзей, страшась как никто смерти, он гнал себя все время в церковь, уговаривая себя по-разному и тем, что в церкви найдешь тепло, и как же он может быть в другом месте, чем друг и мамочка<sup>33</sup>, что самое дорогое в России — это старые церкви, что позитивизм — холодная плаха с холодным железом, что его лучшие друзья — церковники. Словом, он гнал себя в церковь, как в преддверие рая, а верить не мог себя заставить. Достигнув 56 лет, он из 54-х возможных случаев был в церкви «со свечечкой» только 12 раз<sup>34</sup>. Я не меньшее число раз в пасхальные ночи христосовался с хорошенькими девушками, но не стал православным. Он обещал, что начнет «великий танец молитвы». Характерное выражение<sup>35</sup>. Он, словом, представлял себе молитву как шаман, с бубнами и танцами. Не веруя, он

буквально кричал, что церковь основывается на «нужно». И повторял это «нужно» курсивом, крупными буквами. Он слишком хорошо знал, что установленный церковью день 25 декабря как Рождество Христово был у язычников днем возрождающегося солнца. Но у Розанова была тяга к религиозности независимо от того, какой бог, и художественное чутье ритуала. Он клал все на одну доску: культ египтян, которым он больше всего увлекался, культ язычников, иудеев и православие. Но бесполое Евангелие он читал реже и любил меньше, чем Ветхий Завет.

Своим литературным душеприказчиком он назначил Флоренского, ученого, ставшего священником, но и о нем, подчеркивая его пристрастие к церковности, сказал: «Засыхают цветочки Франциска Ассизского»<sup>36</sup>. Так обстояло дело, пока Розанов был в литературе. Я не знаю его последних дней после Октябрьской революции, когда, поселившись в Троице-Сергиевской Лавре, он в великой нужде подбирал на шпалах железной дороги окурки от папирос. Люди близкие к нему утверждают, что он умер в состоянии умиления и экстаза, писал покаянные письма евреям и точно, с помощью Флоренского, выполнил всю православную обрядность, положенную умирающему. Судороги души, спазмы и «просветление» перед смертью!.. Увы, Гейне, правда по другому случаю, сказал: «Das ist eine alte Geschichte, doch ist sie immer nee»<sup>37</sup>.

Оставил ли Розанов какой-нибудь след в литературе своим мастерством? Я могу лишь сказать, что, проглядывая дневник Пришвина, человека весьма благоустроенного при жизни и не расщепленного, я почувствовал нечто от розановской манеры — без ее силы. После этого случилось, что я зашел к приятелю, с которым мы в один день и час кончили институт. У него я нашел много портретов Пришвина с трогательными надписями. Они, оказывается, дружили. Там же я увидел изумительную фотографию черного кота с надписью Пришвина:

«Зверь все знает, но не может сказать.

Человек все может сказать, но не знает».

Это уж была чисто розановская формулировка. Когда я на это обратил внимание приятеля, тот сказал, что, читая еще в рукописи дневники Пришвина, он намекнул автору на влияние Розанова. Пришвин, не отрицая, хитро сощурил глаза и приложил палец ко рту. Я палец от своего рта отнял и рассказываю об этом. Но хватит Розанова. Нет, все-таки еще два слова. Розанов мало читал, тем не менее он читал Конан Дойля и часто поминает Холмса. Что привлекало в нем Розанова? Розанов тоже выискивал и судил по малому о большем. Он, однако, не анализировал «мельчайшие улики», весь этот пепел, упавший с сигары, а воспринимал художественным чутьем. «Что я имею против Венгерова, — спрашивает Розанов, — он труженик и всю жизнь посвятил изучению Пушкина. Но у него толстый живот и он черен. Он жук»<sup>38</sup>.

Мне довелось один раз, не помню, по каким делам, быть в ученом кабинете Венгерова. Я не помню его писаний, а копающийся жук остался. Розанов в литературе был Холмсом, схватывая отдельные штрихи и строчки и рисуя по ним целую картину.

И только видя всю картину, Розанов мог писать:

«Таких, как эти две строчки Некрасова:

Еду ли ночью по улице темной, —  
Друг одинокий!..

Нет еще во всей русской литературе»<sup>39</sup>.

И мне действительно начинает казаться, что так, если, разумеется, представить всю картину.

<sup>1</sup> В альманахе «Смерть» (СПб. 1910) опубликована статья Розанова «Смерть... и что за нею».

<sup>2</sup> 2-я и 4-я строфы стихотворения Ф. Сологуба.

Друг мой тихий, друг мой дальний  
Посмотри, —  
Я холодный и печальный  
Свет зари.

Я напрасно ожидаю  
Божества, —  
В бедной жизни я не знаю  
Торжества.

Над землею скоро встанет  
Ясный день,  
И в немую бездну канет  
Злая тень, —

И безмолвный, и печальный,  
Поутру,  
Друг мой тайный, друг мой дальный,  
Я умру.

Стихотворение написано в 1898-м и впервые опубликовано в «Собрании стихотворений» Сологуба в 1904 году. То есть ранее описываемого здесь периода, но Рочко оно, скорее всего, запомнилось по первому тому собрания сочинений поэта (1909).

<sup>3</sup> Изгоев А. С. На перевале. Университетские дела. — «Русская мысль», 1911, № 8, стр. 105. Известно, что в 1911 году вслед за студентами, исключенными из Московского университета, его покинули в знак протеста свыше ста ведущих профессоров.

<sup>4</sup> Иеромонах Царицынского монастыря Илиодор длительное время пользовался дружбой и покровительством Г. Распутина. Сквернослов и развратник, жестокий враг либералов, он собрал вокруг себя паству — «илиодоровцев», состоявшую из молодых женщин и «кулакастых» мужчин. Их непотребные «духовные» оргии нередко переходили в погромные выступления. В 1911 году, после ссоры с Распутиным, Илиодор был отправлен на исправление в монастырь. С тех пор он стал врагом Распутина. Отказавшись от сана и Бога, он после неудачного покушения на Распутина бежал из России. В эмиграции написал о бывшем друге и покровителе книгу «Святой черт». Книга вышла в Москве в 1917 году.

<sup>5</sup> «Опавшие листья» (СПб. 1913, к. 1, стр. 45).

<sup>6, 7</sup> «Уединенное» (СПб. 1912, стр. 115, 181).

<sup>8</sup> «Опавшие листья» (СПб. 1913, к. 1, стр. 217).

<sup>9</sup> «Опавшие листья» (Пг. 1915, к. 2, стр. 162, 163).

<sup>10</sup> «Опавшие листья» (СПб. 1913, к. 1, стр. 365).

<sup>11, 12</sup> «Уединенное» (СПб. 1912, стр. 213, 251).

<sup>13, 14</sup> «Уединенное» (СПб. 1912, стр. 297, 43, 46).

<sup>15</sup> «Опавшие листья» (СПб. 1913, к. 1, стр. 362).

<sup>16</sup> «Опавшие листья» (Пг. 1915, к. 2, стр. 219).

<sup>17</sup> Рцы (псевдоним И. Ф. Романова) — писатель, публицист, друг Розанова.

<sup>18</sup> Брюсов В. На похоронах Толстого. — В его кн.: «За моим окном». М. 1913, стр. 11. Процитировано с неточностями.

<sup>19</sup> «Уединенное» (СПб. 1912, стр. 151).

<sup>20</sup> «„Как матерый волк“, он наелся русской крови и сытый отвалился в могилу (о Щедрина, вагон)» («Уединенное». СПб. 1912, стр. 197).

<sup>21</sup> «Уединенное» (там же, стр. 200).

<sup>22, 23</sup> «Опавшие листья» (Пг. 1915, к. 2, стр. 176, 186 — 187).

<sup>24</sup> «Уединенное» (СПб. 1912, стр. 256).

<sup>25</sup> Речь идет о Нине Рудневой, родственнице жены Розанова — В. Д. Бутягиной (урожд. Рудневой). См. «Уединенное» (СПб. 1912, стр. 26).

<sup>26</sup> Из первого письма Рочко: «И что, может быть, больше всего волнует, это ее (книги. — С. Х.) бесконечная наивность и невинность. Наивность и невинность умного, хитрого, вероятно, даже недоброго человека — ведь это ирония, и как она трогательна» (РГАЛИ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 621).

<sup>27</sup> Постоянным сотрудником «Нового времени», ежедневной газеты, выходившей в Петербурге (1868 — 1917), Розанов стал в 1899 году, что помогло ему создать некоторое материальное благополучие в семье. Позднее Розанов писал, что без «Нового времени» не мог бы даже отдать детей в школу.

<sup>28, 29, 30</sup> «Уединенное» (СПб. 1912, стр. 121, 71, 16).

<sup>31</sup> Цитата из «Апокалипсиса нашего времени» приведена автором по памяти, хотя суть сказанного Розановым сохранена:

«С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русской Историей железный занавес.  
— Представление окончилось.

Публика встала.

— Пора одевать шубы и возвращаться домой.

Оглянулись.

Но ни шуб, ни домов не оказалось».

(Розанов В. «О себе и жизни своей». М. 1991, стр. 627).

<sup>32</sup> «Уединенное» (СПб. 1912, стр. 1).

<sup>33</sup> В. Д. Бутягина была незаконной, «тайно венчанной» женой Розанова (из-за отсутствия его развода с А. Суловой). В своих произведениях типа «Уединенного» Розанов не называл ее иначе чем «другом» и «мамочкой».

<sup>34</sup> См. «Уединенное» (СПб. 1912, стр. 283).

<sup>35</sup> «Я начну великий танец молитвы. С длинными трубами, с музыкой, со всем: и все будет дозволено, потому что все будет замолено» («Уединенное». СПб. 1912, стр. 269).

<sup>36</sup> «Опавшие листья» (Пг. 1915, к. 2, стр. 331).

<sup>37</sup> Из «Лирического интермеццо» Г. Гейне:

Старинная сказка? Но вечно  
Останется новой она.

(Перевод А. Плещеева.)

<sup>38</sup> Венгеров С. А. (1855 — 1920) — историк литературы, библиограф. Цитату о нем Рочко привел, очевидно, по памяти. В книге она звучит более жестко:

«Что я все нападаю на Венгерова <...> Труды его почтенны <...> он всю жизнь работает над Пушкиным <...> Но как взгляну на живот — уже пишу (мысленно) огненную статью <...> Странно сказать: оттого, что толст и черен (как брюхатый таракан)» («Опавшие листья». Пг. 1915, к. 2, стр. 27 — 28).

<sup>39</sup> Розанов неточно цитирует стихотворение Н. А. Некрасова («Уединенное». СПб. 1912, стр. 29). Ср.:

Еду ли ночью по улице темной,  
Бури заслушаюсь в пасмурный день —  
Друг беззащитный, больной и бездомный,  
Вдруг предо мной промелькнет твоя тень!

Рочко повторяет ту же ошибку, принимая розановскую интерпретацию стихотворения.

*Письма В. В. Розанова, сохранившиеся в отцовском архиве, к сожалению, не имеют дат, кроме последней почтовой карточки со штемпелем: «СПБ. 10.II.12». Но недавно в Розановском фонде РГАЛИ В. Г. Сукачом обнаружены письма Г. В. Рочко, имеющие тоже всего одну дату — зато на первом письме. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что эта переписка длилась полгода: с 12 апреля по 10 ноября 1912 года — года выхода в свет «Уединенного».*

*Последовательность расположения писем в данной публикации продиктована рассказом Г. В. Рочко, приведенным выше. Сами же они, написанные на обрывке бумаги (письмо 2-е), вырванных из блокнота страничках (письмо 5-е), зачастую небрежным мелким почерком, словно для самого себя, напоминают опавшие осенние листья, кое-как брошенные в короб.*

*Выражаю искреннюю благодарность В. Г. Сукачу за помощь в подготовке писем В. В. Розанова к публикации.*

## В. В. РОЗАНОВ — Г. В. РОЧКО

### 1

Благодарю Вас за письмо, тронувшее меня *индивидуальным* пониманием человека, писателя и книги: Вы не поверите, этого *совсем* в литературе (критической) нет: и, напр., я представляюсь (я -ем) то в виде Манфреда, Мефи... [оборвано] или Прометея. Вы не поверите бешенству и отчаянию, овладевающему при сих оценках. «Уж если до такой степени *глухо* (не глупо, а — хо!), то, конечно, «школы нет», «учеников нет», «ничего не вышло» и «я не нужен»<sup>1</sup>. Скажите, что это: «все-таки известные критики» не понимают того, что «с первого аза» видят корреспонденты частных писем (у меня 5 — 6) иногда в глухой провинции? Кем же *литература захвачена?* «Apaches de Paris»?<sup>2</sup> Скучно и тоскливо...

Но мне особенно *дома* тоскливо, и вот источник моей Книги. Просто я захотел быть *навсегда* связанным с «другом» и чтобы обо мне не помнили *без нее*, а при мысли обо мне — *всегда ее помнили*. Все так, как записано в книге<sup>3</sup>. Я — умный, «гениальный», дурной, слабый; [оборвано]... в чем не честный; она — вся пряма, открыта, жива, неистощимо энергична (всем детям отыскала, *высмотрела* лучшие в Петербурге школы, имея сама 3 класса гимназии). Никогда в жизни не солгала, никогда не притворилась. Всегда всем уступила

дорогу, имея много гордости — достоинства, но тихого и бесшумного. И что поразительно: никогда ни в чем не старалась, не воспитывала себя, никогда «трех упряжек»<sup>4</sup> и вообще бумаги, прописи и подражания.

Удивительно. «Все само уродилось». И я люблюсь. Т. е. люблю.

Смертельная моя вражда к церкви — из-за нее: но она же и покорила это безупречностью, неспорчивостью и тем, что всегда сама молилась, ежедневно, тихо, никогда «становясь на колени» или официально, а перебирая свои тетрадки с молитвами (я ей на машинке переписал). Оказалось — она с 17 л. больна: теперь 47. Всех обманул ее цветущий вид и энергия, неустанность в труде да диагноз *академика* Бехтерева<sup>5</sup>. Но она при цветущем виде вот 20 лет переходит из болезни в болезнь, страшно снова падая — едва поправится. Теперь (в 47 л.) разгадалось: ее точил невидимый недуг. Ясновидящая (слова этого не понимает), т. е. знает «за стенами» и будущее. И все — верно!!! И знает спокойно, твердо. Ее-то вера, ее-то религия и покорила просто *красотой* меня: и плюнул я на «философию» и «гений», увы, возможно, столь лукавый.

Просто я увидел *лучшее*.

И пошел — *за лучшим*.

А [нрзб.] такая же дрянь, как и всегда были. «Ни шатко, ни валко, ни на сторону».

Ну, устал. Спасибо. Кто Вы? Что делаете? Сколько лет?

Рцы<sup>6</sup> и Шперк<sup>7</sup> — правда умнее всех: и Тол<стой> или Соловьев — просто дети и «сочинители» около этих очень простых и *метафизически — врожденно умных* людей. Ах, мы умными рождаемся, и кто им не родился — никогда не станет умен.

В. Розанов.

Это не страшно, что «Рочко» похоже на «Рачковский»<sup>8</sup>?  
СПб. Звенигородская, д. 18, кв. 23.

<sup>1</sup> Здесь Розанов повторяет мысль, неоднократно звучащую в «Уединенном». Отвечая на нее, Рочко пишет: «...Вы действительно не создали школы и не оставили учеников. Нельзя научить других любить то же <...> научить видеть и проникать далеко глазом, не у всех глаза зорки, но смотреть Вы заставили, не смотреть мы после Вас не можем. Вы положили начало нашему изумлению и тем самым известному роду мудрости и философствованию.

И за это Вам многое простится» (РГАЛИ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 621).

<sup>2</sup> Парижскими хулиганами (*франц.*)

<sup>3</sup> Тема неразрывной связи Розанова с «другом» повторяется неоднократно как в «Уединенном», так и в «Опавших листьях». «Я чувствую, что метафизически не связан с детьми, а только с „другом“. <...> Если она умрет — моя душа умрет. <...> „Букет“ исчезнет из вина, и останется одна вода. Вот „моя Варя“» («Опавшие листья». Пг. 1915, к. 2, стр. 107).

<sup>4</sup> Источник этого выражения не установлен.

<sup>5</sup> Бехтерев В. М. — выдающийся русский невропатолог, психиатр и физиолог нервной системы. Розанов обратился к нему в конце 1890-х годов для уточнения диагноза тяжело больной жены. Впоследствии, в связи с ухудшением состояния Варвары Дмитриевны, Розанов стал считать диагноз, поставленный Бехтеревым, неверным, а его самого — виновником своих многолетних страданий.

«Ах, Бехтерев, Бехтерев, — все мои слезы от вас, через вас...» («Опавшие листья». Пг. 1915, к. 2, стр. 284).

<sup>6</sup> Рцы — см. выше, примеч. 17 к «Воспоминаниям попутчика».

<sup>7</sup> Шперк Ф. Э. (ок. 1870 — 1897) — критик, философ, друг Розанова.

<sup>8</sup> Рачковский — видный деятель полицейского сыска. С 1884 года заведовал русской агентурой в Европе. Затем был назначен верховным комиссаром над политической полицией Петербурга. Известны его руководство политическими провокациями и видная роль в организации погромов.

## 2

Да что «Рочко»? Миф! Сказка? Сон? Отчего же *он* не отвечает, если вообще *есть*?

Или я переврал адрес? Или Вы умерли?

В. Розанов.

Я Вам послал длинное *заказное письмо*.

Адр.: СПб., Звенигородская, д. 18, кв. 23.

Вообразите: здоровье — чуть-чуть *получше*, и есть надежда. — — <sup>1</sup>

<sup>1</sup> В ответном письме (без даты) Рочко говорит о своей предстоящей поездке в Швейцарию, «где рассчитываю обновиться и, кстати, на досуге поразмыслить над Песнею Песней, дух которой, по-моему, совершенно противоречит толкованию Вашего прекрасного предисловия» (РГАЛИ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 621). Речь идет о предисловии Розанова к книге «Песнь Песней Соломона», перевод с древнееврейского А. Эфроса (СПб. 1910).

### 3

Ну, спасибо, что не «миф». Что мне сказать Вам, мой «талантливый друг» (Вы явно талантливы), в том болении, о котором и говорите, и оно чувствуется в тоне письма.

А что вообще-то могут люди в этих болениях, как только лечь на плечо друг друга: «Подержи, брат, свои ноги не держат». — Ах, тяжела жизнь и страшна она. И так томит бессмыслица окружающего, оттого особенно, что в ней-то нет *fatum'a*<sup>1</sup>, как в болезнях или неискоренимых слабостях «я».

«Другу» я в самом деле всем обязан. И такая удача: встретился. Их было 3-ое: бабушка (тогда 55 — 60 л., но *совершенно свежа*), она («27 лет») и внучка лет 6 — 7 (теперь курсистка, оч<sup>ень</sup> талантливая, лет 28 — красивая, но «не волящая» к браку, даже невыносима его мысль, его запах, его «все», комнаты, сложность быта /7 комнат/, из него вытекающая. «Никак не больше 2-х маленьких комнаток, для меня и подруги, двух ученых монашек». Особая категория, которую я только года 3 начал «принимать во внимание». Без нее необъяснима всемирная история /«Люди лунн<ого> света»/<sup>2</sup>.

Самец ли я? Умеренный. Более *думаю об этом*, взвешиваю, вымериваю мировую значительность. Хотя есть как *непосредственное* какая-то влюбленность в чужие беременные животы, и груди, и прочее. Всегда люблюсь на улице (беременн<ыми>). Это целая история. Тут уж, скажу по секрету, ей-ей, какое-то (у меня) совпадение с Божьим существом, которое через «плодитесь (оплодотворяйтесь), множитесь»<sup>3</sup> выразило тот самый вкус, как у меня. «Через это я так много и понял» или Бог мне открыл. — — Читайте *всю Библию* и увидите, что верно предисл<овие> к «Песни песней». — — Вы, должно быть, монах, «как наша Шурочка». Ну, и благослови Вас Бог: но не *осуждайте чужие лучи*, как теперь я не осуждаю «отцов-пустынников и жен непорочных».

Да. Тяжела жизнь. Сложна. Запутанна. И [никто] *ничего в ней не может*. Кто «может» — называется Родичевым<sup>4</sup>, и цена ему и его достижениям — 2 копейки. Как 100 р.: «ничего не может».

У меня нет томления по одиночеству (кроме минутами и всегда «жаль *России*»): с детства (страшно несчастное) и юности (университет, первая женитьба) всегда *безумно любил* одиночество, оставленность, презираемость даже *по связи с этим* любил. И в 26 л. была мечта: «Полусветлая комната, лежит на постели больная жена — и я ей подаю лекарства, утешаю». И вот — выпало.

За 20 л. «с другом» я (духовно) «замирел». Никогда она не даст меня разбудить (хоть «раззнаменитость приехала»), никогда сама не разбудит, неисчерпаемая забота обо мне, детях, обо всех. Она в самом деле идеальна (между прочим, «прозорливая, ясновидящая», никогда этого слова не слыхав). И я «в счастье» — зажирел. Вот объяснение моего *жирного тона* в предисловии к Песни п<есней><sup>5</sup> и вообще <sup>9</sup>/<sub>10</sub> моей «философии»; ну, какие — мы иудеи, где 100° жара: петербуржцы, кисленькие. Ах, черт побери все «наше». Христианство и противно: но, увы, я *только христианин* и «больше не могу».

Вот противоречия. Устал, оторвался к письму из-за рецензии. С 1-го сентября мой адрес: СПб.; Эртелев пер.; д. 6. В редакцию «Нов<ого> Вр<емени>». Василию Васильевичу Розанову (*всегда* дойдет). В. Розанов.



Спасибо, что «есть друзья»: привет им от старого и страшно душою усталого человека.

<sup>1</sup> Рока, судьбы (*лат.*).

<sup>2</sup> В своей книге «Люди лунного света. Метафизика христианства» (СПб. 1912) Розанов рассматривает отдельные аномалии в области пола и связь их с религией.

<sup>3</sup> «...и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю, и обладайте ею...» (Быт. 1: 28).

<sup>4</sup> Родичев Ф. И. — левый думский деятель (член Государственной думы 3-х созывов), один из лидеров партии кадетов.

<sup>5</sup> В предисловии к «Песни Песней Соломона» Розанов относит ее к «редкой, исключительной, немногочисленной группе произведений обонятельных ли — как угодно» и обращает внимание на некую «бестелесность» текста — отсутствие в нем ярких красок и геометрически конкретных форм. Чувственность, очарование образов «Песни» воспринимаются через запахи жертвенных туков, миррового масла, елея. Через обоняние, через масленость кожи чувственность здесь сближается с актом жертвоприношения (поскольку тук — чистый жир жертвенного животного, предназначавшегося Господу). Таким образом, «жирные запахи» ассоциируются у Розанова с так восхищавшим его культом плоти у иудеев.

## 4

Редакция газеты «Новое время»  
С.-Петербург, Эртелев, 6<sup>1</sup>.

«В литературе нет обрезанных и необрезанных» — во-первых, и потом, «Н<sup>о</sup>вое Вр<sup>е</sup>мя» до такой степени безгранично благодушно, что волнения и сомнения В<sup>а</sup>ши совсем не имеют места: у А. С. С<sup>у</sup>вори<sup>на</sup><sup>2</sup> в доме жила лет 15 еврейка Анна Самуиловна, о чем узнал я, случайно с ней познакомься, — бывшая учительница музыки его дочери. А когда раз пришел в редакц<sup>ию</sup> один архиученый еврей (потом б<sup>ыл</sup> у меня на дому), коего община почти съела экономически, и он захотел ей отомстить «за себя, за детишек своих» (его слова мне: «Ритуальных убийств нет, но есть вещи гораздо ужаснее ритуальн<sup>ых</sup> убийств»; его имя как ученого есть в энциклопед<sup>ических</sup> словарях), то там не стали слушать. «Я прихожу в «Н<sup>о</sup>вое Вр<sup>е</sup>мя» как антисемитическую газету, думаю — вот схватят с жадностью мои сведения: и никто не хочет даже выслушать, узнать». Словом, Ра-с-с-е-я.

Можно оставить и Рочко, а если хотите скрыть — пусть Рачков. Об этом напишите спешно.

Мотивом пригласить Вас были 2 письма: 1) о Швейцарии, 2) об «Уедин<sup>енном</sup>». Это так кратко и впечатлительно, так поэтично и мягко. Нет похвалы, которая всегда груба, нет ругани, которая несносна. И мне теперь приходит на ум, не есть ли это естественнейшая и прекрасная для Вас форма — «кое-что и ни о чем», «кое-что и обо всем», штрих, тон, где Вы в немногих словах очерчиваете всю вещь и выражаете ее душу. Об «Уедин<sup>енном</sup>» — всего строк 18: но потом меня брала охота взять эти 18 стр<sup>ок</sup>, переделать «вы» на «он» и поместить в «Вечерн<sup>ем</sup> Времени»<sup>3</sup>. Вы помните — там нет похвалы, лести (что всегда пошло); но как-то замечена неуловимо душа книги. И мне захотелось ее «увидеть», к<sup>а</sup>к всякому автору хочется увидеть свою «душу», схваченную верно (мысль эту я и не оставил, если дадите carte blanche). Вот эта форма, «краткая и разительная», была бы в высшей степени удобна для газеты: 18 — 80 строк *всегда* и *быстро* пройдет (разумеется, если сама по себе хороша, удачна); фельетон «даже Розанова» иногда откладывается на неделю, даже больше — *за недостатком места*, а меньших сотрудников сплошь и рядом вовсе гибнут: теснота такая, и еженощно выкидывается иногда до 7 столбцов уже сверстанного и поставленного в № материала. Расширять объем нет возможности: из-за дороговизны бумаги каждый «подписчик» дает газете «2 р. убытку», а если объем увеличится — газета не выдержит. Все это сообразите.

Итак, не волнуйтесь и попробуйте «могсеау<sup>4</sup> Рочко» о текущих явлениях литературы, об интересной шумящей книге, о том о сем. Еtc. Устал и даже изустал. В. Розанов.

Пока В<ашу> рукопись не развернул. Вы испугали меня: «Песнь песней». Это слишком специально, «вне придирки к поводу», и для газеты невозможно. А мне хочется подать редактору «моментально подходящее», чтобы предрасположить к «Рочко»<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Ответ сразу на два письма Рочко, в первом из которых он делится своими впечатлениями о поездке, рассказывает о жизни в Швейцарии, во втором — говорит о своем еврействе.

<sup>2</sup> С А. С. Сувориным (1834 — 1912), публицистом, издателем «Нового времени», Розанова связывали теплые дружеские отношения.

<sup>3</sup> «Вечернее время» — ежедневная вечерняя газета (издательство «Новое время»), с 1911 года издававшаяся Б. А. Сувориным, сыном А. С. Суворина.

<sup>4</sup> Отрывок, фрагмент (франц.).

<sup>5</sup> Можно предположить, что именно к этому периоду переписки относятся розановские мысли, связанные с письмом Рочко. Они вошли во 2-й короб «Опавших листьев»:

«Евреи слишком стары, слишком культурны, чтобы не понимать, что лаской возьмешь больше, чем силой. И что гений в торговле — это призывать Бога в расчет (честно рассчитаться).

Они вовремя и полным рублем рассчитываются — и все предложили им кредит. Они со всеми предупредительны — и все обратились к ним за помощью.

И через век вежливости, ласки и «Бога в торговле» — они овладели всем.

А кто обманывал — сидит в тюрьме; и кто был со всеми груб, жесток, отталкивающий — сидит в рубище одиночества.

(ночью в постели, читая письмо еврея Р<о>чко).

---

\* Статья в законах Моисея, которую полезно бы переплести в «Правила Св. Апостол» и в «Кормчую»: „Не задерживай до завтра утра плату, которую ты должен уплатить работающему вечером сегодня”».

(Розанов В. В. О себе и о жизни своей. М. 1990, стр. 363).

## 5

Друг мой! На Ваше жесткое, очень жесткое, даже жестокое, письмо отвечаю сравнением:

Одному джентльмену сказали, что он подал неверный счет. Он не смутился — ответил:

— Да. Но я отлично читаю «Птичку Божию»...

---

Не читал какого-то «Мориса»<sup>1</sup> в В<ашем> письме, но прочел о Вашем «свдом честном отце», и отвечаю, что мы у матери 6 человек умирали с голоду, и она лежала 2 года больная... Это в связи с тем, что все шапочники в Брянске («Брянские леса») уже не русские<sup>2</sup> и что в тысячах петербургских аптекарских магазинов, увы, — русских даже в мальчиках на посылках нет.

Вы несмотря на поэзию, конечно, тоже знаете, что Гоц<sup>3</sup> был сын московского миллионера. Согласитесь сами, что от всего этого нельзя отделяться «Птичкой Божией» или «сединами моего отца». Моя мать тоже была седа и очень несчастна, и ей не на что было купить лекарства, когда и Гоц, и Ойзер Димант, и Поляковы, и 1000-и были сыты, богаты в «сложном кругообороте России»?

Вы коснулись бесконечного вопроса, который не в письмах разрешить. Мне печально, что столько умных евреев, столько гениальных евреев, столько, наконец, скептических евреев, усомнившихся и в Христе и в Талмуде, ни однажды не заподозрили: «да уж нет ли огня возле дыма? нет ли в самом деле чего-то мучительного от нас для народов, начиная еще от Египта? задолго до христианства и «Нов<ого> Вр<емени>»?»

И вот что они никогда даже не подняли этого вопроса, кажется мне, простите, бесчестным.

Ну, прощайте, Господь с вами. Я не сержусь, но мне горько.

В. Розанов.

Р. С. Знайте, что не русские обижают евреев — а евреи русских. Погромы — бессильная конвульсия человека, которому «тонко и научно» подрезают жилы — и он это чувствует, и не знает, как с этим справиться.

<sup>1</sup> Несколько раздраженный тон Розанова объясняется, очевидно, отказом Рочко сотрудничать в «Новом времени». В том же письме Рочко рассказал Розанову о прочитанном фельетоне С. Морица. Речь в нем шла о том, как некто Г. Скрабе поднялся высоко в горы. «Там на вершине воздух крепок, чист и прозрачен, благословен он. Казалось бы, только смотреться, дышать и не надышаться!.. Г. Скрабе вдохнул, выдохнул и, ах <...> (зачем, к чему) замахнулся разок, другой на евреев» (РГАЛИ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 621).

<sup>2</sup> Тема эта (возможно, отклик на утраченное письмо Рочко) связана у Розанова с воспоминаниями об уездном городе Брянске, где он учительствовал после окончания университета и наблюдал местный городской быт.

Здесь уместно привести ответ Рочко на «шапочников»: «Теперь о брянских шапочниках-евреях. Кстати, знаете ли Вы брянских евреев офицеров и почтовых чиновников? Нет же. Жить нужно, Василий Васильевич, это святая истина. Записано шапочниками еще больше, т. к. ремесло дает право жительство. Я его имею, кроме Сибири, а вот мой братик, которому Кассо закрыл все двери, уже, вероятно, будет „шапочником“» (РГАЛИ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 621). (Кассо Л. А. (1865 — 1914) — министр народного просвещения с 1910 по 1914 год.)

<sup>3</sup> Гоц А. Р. — видный деятель партии эсеров, родился в богатой еврейской семье. С 1907 года он отбывал восьмилетний срок на каторге.

## 6

Москва,  
Кривоколенный пер., д. 8, кв. 7.  
Григорию Викторовичу Рочко.  
[Штамп на почтовой карточке:]  
СПБ 10. XI. 12  
Москва 11. XI. 1912.

Мне так печально и страшно жить, так я испуган каждую минуту, что никакого еще впечатления не могу выносить и потому не пишу, и Вы мне не пишете. «Порхатое место» у меня не значило порицание: это *repis* человечества, как Европа — лицо его<sup>1</sup>, и, м. б., русские — его задушевность и его безобразие и хаос. — Я на Вас не гневаюсь. Вообще я почти умер и скрежещу зубами, что не имею силы умереть в самом деле.

В. Розанов.

<sup>1</sup> В оригинале вместо «его» («человечества») — «ея». По-видимому, эта описка Розанова, писавшего открытку в некоторой запальчивости. Настроение же Розанова, думается, было вызвано письмом Рочко, который, касаясь извечно спорного вопроса о судьбах еврейства в России, писал: «...пусть, по Вашему давнишнему выражению, еврейство «порхатое место в истории» — что же! Я протолкнусь на это место и назову его святым, иначе я не могу по крови своей. И «доказать» Вы не докажете мне ровно ничего! А если оно действительно свято, это место, все же Вы вольны его не принять, вольны возненавидеть, не можете, вероятно, иначе по личной и национальной жизни, и что в таком случае «докажу» я Вам?» (РГАЛИ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 621).

Размолвка между корреспондентами длилась недолго. Рочко поехал в Петербург «мириться» с Розановым, и уже к концу 1912 года тот связал «молодого поэта» с М. О. Гершензоном («пусть к Вам течет все талантливое»). Вскоре Рочко дебютировал в «Русских ведомостях», затем печатался в «Речи», в «Русской мысли»... Писал обо всем, но профессиональным литератором так и не стал, вернулся на служебную стезю. Однако и порвать «со словом» не смог — мешали стихи. Писал их «в стол», мучительно, борясь с собой. «Со стихами кончено, — уверял он М. О. Гершензона в одном из писем, — хотя мне это было мучительнее, чем Вам можно предполагать. В душе — постоянно стихотворения, целые строфы, ритмы, но нет для них слов. Или слова скверны для души, или душа для слов?..» (ОР РГБ, ф. 746, к. 40, ед. хр. 69).

\* «Переписка В. В. Розанова и М. О. Гершензона». — «Новый мир», 1991, № 3, стр. 234.

*Письмо к М. О. Гершензону не датировано. Скорее всего, оно относится к концу 1918 — началу 1919 года. Кончить же со стихами Г. В. так никогда и не смог. Уже в начале 1920 года значительную подборку их он направил Ю. И. Айхенвальду. Мнение известного критика было положительным.*

*Два года спустя Рочко передал главе издательства «Радуга» Л. М. Клячко рукопись небольшого поэтического сборника. Стихи были им предварительно тщательно «отсеяны». Таким образом, в руки рецензента — К. И. Чуковского — попала их лучшая часть. Оценку стихи получили высокую, автор же назван «исключительно талантливым»<sup>\*\*\*</sup>.*

*Казалось, после таких отзывов компетентных литераторов можно было предсказать успех небольшой книжечке стихов — «Ночью», — вышедшей в 1923 году. Однако она осталась незамеченной. Много лет спустя отец писал: «Возможно, если бы была составлена добросовестная и тщательная антология поэзии за первую половину нашего века, парочка вырвавшихся вперед стихотворений попали бы в антологию. Но, в общем, я писал на блоковские темы, а Блок писал много лучше...»*

*Несмотря на книжку стихов и публикацию отдельных статей, «хлеб насущный» Рочко давала не литература, а успешное продвижение по службе. Длилось это, правда, недолго. Уже в 1930 году оно было остановлено арестом — за «принадлежность к контрреволюционной вредительской деятельности Госбанка»<sup>\*\*\*</sup>.*

*Тюрьма, лагеря, короткое пребывание в Москве, высылка, поиски «дозволенного угла», туберкулез... Короче, до реабилитации — 27 лет мытарств. И все эти годы — повести, рассказы и стихи... стихи... стихи... Их он писал более сорока лет...*

*В канун собственного семидесятилетия, пытаясь понять, что же он за эти годы «натворил», Рочко обратился к некоторым писателям. Откликнулся один — А. Т. Твардовский.*

*Ниже приводится их переписка. Письма Рочко печатаются по копиям; письма Твардовского — по оригиналам.*

## Г. В. РОЧКО — А. Т. ТВАРДОВСКОМУ

[Без даты.]

Многоуважаемый Александр Трифонович!

Моя жена, разбирая старые бумаги, наткнулась на письмо Корнея Чуковского, адресованное издателю «Радуги», Л. М. Клячко, который выпустил сборник моих стихов. Стихи прошли незамеченными и забыты. После этого я хотя и отошел от Блока, но писал мало, еще реже делал попытки печататься, и во всех случаях неудачно. Обнаруженное письмо — похвалы в нем, подхлестнуло меня собрать то лучшее и то немногое, что я написал помимо сборника.

В моем возрасте — мне под 70, это делается либо в целях предсмертного либо посмертного признания, либо... как пища для крыс. Моя нелегкая жизнь выработала во мне бесстрашие. Оно восторженно не разорвется от признания и не умрет огорченно от неудачи. Но мне все-таки хотелось бы услышать от такого поэта, как Вы, что ж я все-таки сделал? И я был бы Вам очень благодарен, если бы Вы разрешили мне прислать или занести Вам небольшую пачку стихов, для чего Вам пришлось бы пожертвовать час времени.

Уважающий Вас

Г. Рочко.

## А. Т. ТВАРДОВСКИЙ — Г. В. РОЧКО

М<осква>. 6.IX.56.

Уважаемый Г. В., конечно, присылайте Ваши стихи, — для этого не нужно было испрашивать разрешения.

Желаю Вам всего доброго.

А. Твардовский.

<sup>\*\*</sup> Отзывы Ю. И. Айхенвальда и К. И. Чуковского (автографы — в личном архиве Рочко) см. в приложении к настоящей публикации.

<sup>\*\*\*</sup> По приговору Коллегии ОГПУ 25 апреля 1931 года Рочко был осужден по статье 58-7-11 на десять лет.

*На конверте А. Т. указал свой домашний адрес. Отец послал стихи, Твардовский ответил... Так началась переписка. Но прежде чем продолжить ее публикацию, будет уместно познакомить читателя хотя бы с несколькими образцами поэтического творчества Рочко. (К сожалению, мне неизвестно, какие именно из его стихов были впоследствии отобраны Твардовским для «Литературной Москвы».)*

\* \*  
\*

Когда тебя покроет тучей  
Та окончательная мгла  
И пропоют псалом могучий  
В последний раз колокола;

Когда, ломая все преграды,  
Как бесконечный ледоход,

Домов нестройная громада  
С тяжелым звоном поплывет, —

Я покорюсь судьбе железной,  
Ее простертому мечу,  
Я за тобой во мглу и бездну  
Сухой пылинкой полечу.

\* \*  
\*

Любви недолгой кончился обет.  
Расстались мы безгневно и безбольно.  
— Уходит все, — шепнул я тихо вслед,  
Ушла и ты... Спасибо... и довольно.

Я закурил, и в сереньком дыму  
Возник мой гость, тревожный и горячий,  
Один из тех, кто чтит любовь и тьму,  
Он скрыл лицо, дрожавшее от плача.

Бросал слова невнятные, как мрак:  
— Осквернена тут чаша золотая. —  
А я курил. Что он хотел, чудак,  
Упорные слова безумно повторяя?

\* \*  
\*

Огонь затихнет в фонаре.  
Взглянув в окно, ты улыбнешься.  
Ты выйдешь юной на заре,  
Но юной больше не вернешься.

Свобода утренних часов  
Одушевит тебя надеждой,  
Мелькнет знакомый строй домов,  
И дрогнут легкие одежды.

Когда ж, свершая ремесло,  
Растопит небо круг высокий,  
Всмотрись в вагонное стекло,  
Как унесло тебя далеко.

А дальше будут, как у всех,  
Событья следовать по книге —  
Борьба, кулисы и интриги,  
Потом усталость и успех.

И будут тайные мечты  
Тревожить сумрак одинокий.  
И как-то жадно вспомнишь ты  
Зарю, фонарь и путь далекий.

В мечтах ты вновь сбежишь с крыльца,  
Но все равно ты улыбнешься,  
Уйдешь и больше не вернешься  
И путь повторишь до конца!

\* \*  
\*

Гляжу с шестиэтажной высоты, —  
Свисает ночь завесой огромной.  
Что хочет он сказать мне, город темный?  
Напряжены застывшие черты.

И что-то хриплое, как будто зов,  
Растет, растет и тонет в быстром крике.  
Лишь миг звучит торжественный и дикий  
Гортанный звук, тупой обломок слов.

И та же тишь. И тот же мрак ночной.  
Не понял я, что город мне пророчит.  
Но повторить свой крик он снова хочет,  
И страшен мне язык глухонемой.

\* \*  
\*

Звонки, толчок... Непоправимо.  
Не раз изведенная боль.  
И вновь себя ты приневоля  
К цветным огням, бегущим мимо.

Непроницаемо чужая —  
Ночь сторожит по сторонам.  
Колеса, мерно гроыхая,  
Бегут по стонущим путям.

И, в фонарях повиснув, свечи  
Дрожат в вагонном полусне.  
Мой голос слабый, человеческий,  
Волнуясь, крепнет в тишине.

Душа найдет свою тревогу,  
Ревнуя, мучась и любя.  
Свисти, железная дорога.  
Дай, сердце, оглушить себя.

\* \*  
\*

Когда-то в рощах и лесах зеленых,  
Уродливый старик — и дик, и пьян, —  
Среди мужей и девушек смущенных  
На дудочке играл Великий Пан.

Какой там Пан теперь — в двадцатом веке!  
На дудочке тысячелетний мох.  
Но есть во мне, что было в человеке  
В ту каждую из прожитых эпох.

Во мне есть все — судья и подсудимый.  
Клочки истории — я ничего не рву.  
Я погибаю вместе с древним Римом  
И вместе с варварами вновь живу!..

\* \*  
\*

Сударь-фонарь, всего два словечка:  
— Нет ли у вас огонька?  
Тут одного человечка  
Одолевает тоска.

Верите мне, он решился во вьюгу  
— Метель еще, на беду, —  
В темноте искать подругу,  
Белую искать звезду.

Слышите вы, танцуют беспечно.  
Свадьба, что ли, идет?  
Эта волынка, конечно,  
Будет все ночь напролет.

Часто меня встречали в испуге.  
Я приходил в два часа  
Усталый... синие круги...  
И как в тумане глаза.

Верите, я хотел быть монахом.  
За монастырской стеной  
Долго боролся со страхом  
И с городской зарей.

Вот я теперь укутан шубой  
И не узнает никто.  
Ничьи не повторяют губы  
Славное имя — Пьеро.

И пусть меня в меха нарядили,  
Но та же сказка сейчас.  
Те же любовь и белила  
И пара горящих глаз.

Сударь, итак, всего два словечка:  
— Нет ли у вас огонька?  
Тут одного человечка  
Одолевает тоска.

\* \*  
\*

Все это так! Не выкинешь ни слова.  
Утешься тем, что в годах стал мудрей.  
Весна глядит и молодо, и ново,  
Но сорок лет красавице твоей.

Все это так, хоть жизнь неповторима  
И два не могут быть похожи дня.  
Закурим, друг, пусть будет много дыма,  
Где нет почти огня...

*Три стихотворения, присланные из Бутырской тюрьмы\*.*

\* \*  
\*

Дочурка милая, с подружками в потеху  
Ты гонишь мяч вперед, роняя легкий след.  
А ветер тут как тут твоей игре помехой.  
Вы видите ее. Я нет!

Вот ранний час утра, и маленькое тело,  
Чуть удивленное, оглянется на свет —  
И сразу песенка нехитрая поспела.  
Вы слышите ее. Я нет!

Когда, нахмуря лоб, задаст она загадку,  
Быть может, обо мне, вам трудно и в ответ  
Головку мудрую ласкаете украдкой.  
Я нет!

\* \*  
\*

Мой мальчик, помнишь ли, как перед сном лукаво  
Ты медлишь засыпать и взор горящих глаз  
Уж молит у меня отсрочку и забаву,  
Немного чепухи, увенчанной в рассказ.

Не сказка и не быль, но то, что невозможно,  
Что рядом возле нас, но движется быстрее.  
Фонарщик, как пастух, шестом неосторожно  
Мчит в городе стада бегущих фонарей\*\*.

С тех пор мы выросли, и ты, и я, пожалуй.  
Но вымысел, он есть, мой мальчик дорогой.  
И видишь ты его, когда стоишь усталый  
В час вечера, увы, перед моей тюрьмой!

---

\* Первое из них обращено ко мне — сбоку его написано: «Аллочке (домашнее имя), второе — к сыну жены, поэту Марку Соболю. Надпись около стихотворения: «Марочке». Третье, около которого стоит «Р. С. Б.», — к жене Рахили Сауловне Бахмутской.

\*\* В пору, когда Москва освещалась газовыми фонарями, включались они с помощью шеста, которым фонарщик, переходя от фонаря к фонарю, поворачивал ручку.

\* \*  
\*

О чем судьба в том долгом споре  
Гадала тайно на весах?  
Что я читал в открытом взоре,  
А ты в порывистых словах?

За юность, за ограду выйдя  
В трудах, тревогах, суете,  
Мы подошли, почти не видя,  
Уже к загаданной черте.

Каким предчувствием томима  
Ты медлила войти в мой круг?  
И счастье плыло мимо, мимо,  
Ушло, но возвратилось вдруг.

Мои тюремные ворота,  
Твоя судьба, где сплетены  
И материнская забота,  
И участь горькая жены!

## Г. В. РОЧКО — А. Т. ТВАРДОВСКОМУ

11 сентября 1956 г.

Многоуважаемый Александр Трифонович!

После В/звонка, каюсь, я немало ворочался с боку на бок. Что это, воскрешение из мертвых? — спрашивал я, но, в сущности, я и не жил, а родиться сразу 70-ти лет, так что-то не бывает. В конце концов, я себя успокоил обычным: «поживем — увидим».

Если Вам доведется поговорить обо мне с Корней Иванычем, учтите, пожалуйста, следующее. Смутно помня, что Корней Иваныч дал положительный отзыв о моем сборнике, я в 1951-ом г., кажется, послал ему неотделанную «Прогулку с внуком» и многое другое. Он был тогда болен, лежал в больнице, но и по выздоровлении не ответил мне, и я думаю, жалеючи меня. В моих стихах было, вероятно, слишком много шлаку. Требовался длительный отбор, многоэтажные исправления, чтобы вещи получились в таком хотя бы виде, как они показались Вам. Я поспешил, но я не думал, правда, что столько проживу.

Гораздо легче у меня с прозой. Она идет, если идет, единым дыханием, а потом обычная, хотя, стараюсь, тщательная отшлифовка.

Поскольку Вы приняли во мне такое участие, мне бы хотелось, чтобы Вы знали основные вехи моей жизни. Чтоб не повторяться, я прилагаю копию своего письма Федину<sup>1</sup>. В нем упомянуты два прозаических произведения. Они вам посылаются. Есть у меня третье, новое, написанное в этом году, «В нашем доме». Его я держу на запас. Я пошлю Вам его, если Вы проявите интерес к моей прозе или назначите мне «перезэкзаменовку». Я не лицемерю, но мне очень совестно, что я отнимаю у Вас столько времени, и я считаю как-то пошлым благодарить Вас, п<отому> ч<то> никогда не отдам Вам долга.

Всего хорошего.

Ваш Г. Рочко.

<sup>1</sup> Указанного письма к К. А. Федину в архиве не сохранилось.

## А. Т. ТВАРДОВСКИЙ — Г. В. РОЧКО

11.IX.56. М&lt;осква&gt;.

Дорогой Григорий Викторович

Возвращаю рукопись — всю, за исключением страниц, переданных мною редактору «Лит. Москвы» Э. Г. Казакевичу.

С уважением.

А. Твардовский.

## А. Т. ТВАРДОВСКИЙ — Г. В. РОЧКО

М&lt;осква&gt;. 17.IX.56.

Уважаемый Григорий Викторович!

Я прочел Ваши повести. «Доктор» мне вообще не понравился; — это смесь какой-то запоздалой провинциальной достоевщины с чувствительностью но-



вогодней художественности. Простите, что так резко, но это так. И потом — полная изолированность любовной истории от обстоятельств места и времени. Что считает, с чем имеет дело Ваш статистик? Кого, как и чем лечит доктор, кроме статистика? Что они едят? Сколько получают жалованья — ничегошеньки этого нет, все в безвоздушном мире.

Что касается Жака Баттертона, там дело сложнее. Написана вещь умело и уверенно, даже изящно. Но беда, пожалуй, во-первых, в непривычной для наших редакторов условности манеры и содержания, во-вторых, в порядочной литературноватости, если можно так выразиться, — тут и Вольтер, и Франс, и еще кое-что: вещь сильно отдает переводом. В-третьих — она, как и «Доктор», написана, как можно заключить по некоторым привязкам ко времени, где-нибудь в середине 30-х годов. А с тех пор много воды утекло, многое изменилось в мире, и боюсь, что многое из существенного содержания вещи будет сейчас политическим анахронизмом. Но я ее покажу кое-кому, о ней я Вам не говорю сейчас окончательно.

Ваш А. Твардовский.

### Г. В. РОЧКО — А. Т. ТВАРДОВСКОМУ

20 сентября 1956 г.

Многоуважаемый Александр Трифонович!

Человек не может быть судьей своим делам. Вот читал же я «Доктора» без пристрастия — после 15 — 17-ти лет полного забвения, и он мне настолько же понравился, насколько Вам — наоборот. И, вероятно, правы Вы. Если удастся, проверю еще через 15 лет.

Относительно Баттертона разрешу себе пару замечаний. Мой рецензент Инге<sup>1</sup> в 1939 г. тоже упрекал меня, что повесть отдает переводом. Другой рецензент, Оксенов<sup>2</sup>, считал сие крупным достоинством, т. к. художественным образом это доказывало, что записи сделаны иностранцем. Где истина? Мне же лично не раз хотелось дать автору вымышленную фамилию и подписать: перевел с французского «имярек». Но это мистификация, а сейчас не времена Мериме.

Что правда, то правда — Франс мне близок по игре ума. Но ирония и парадокс — главные краски в его палитре, однако не его монополия. Этим отмечались и другие мыслители и писатели до Франса, в его время и после. В моем представлении это вообще особенность французского мышления, как юмор и сатира — русского. Я своему метису, Баттертону, дал французскую иронию и английскую эксцентричность. Если Вы с такой точки зрения взглянете на Баттертона, может быть, «литературноватость» покажется несколько иной.

А вот Вольтера знаю только по цитатам. Пробовал его читать, не мог. Смеющийся, хитрый Вольтер казался мне скучным. Невероятно, но факт!

Политические анахронизмы досадны, но устранимы. Важны три непереходящих тенденции в политической и нравственной жизни 20-го века: «ячество» диктаторов (бесноватые); сказки как прямых мошенников, так и прекраснодушных проповедников морального совершенствования и, наконец, разумный реализм коммуниста, Поля Пэра. Я не знаю, доходит ли это до читателя? Если не совсем дошло, что-то, очевидно, надо доделать.

А в литературном отношении мне кажется интересной находка новой художественной формы — кружевная манипуляция со сказками. Новым, скажем, в свое время было превращение людей в лилипутов и гуинменов<sup>3</sup>. Ей-богу, я не сравниваю себя со Свифтом, но этим смелым броском я хочу лишь пояснить свою мысль. Это своеобразие и кое-что другое дает Баттертону право на место под небом, на мой взгляд, более прочное, чем злободневным, но ничейным повестям, которые никому ничего не сулят, кроме гонорара автору.

А с непривычкой редакторов что поделаешь. Конечно, выражаясь Вашими же словами, моя «беда». И не по моим годам прошибать такую толщу. И да будет воля Господня!

Всего доброго. Спасибо!

Ваш Г. Рочко.

P. S.

Мне хочется без комментариев привести изречение Мюссе: «Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана».

<sup>1</sup> Инге Ю. А. — ленинградский поэт, погиб на фронте в 1941 году.

<sup>2</sup> Оксенов И. А. (1897 — 1942) — поэт, критик, переводчик, взявший на себя подготовку рукописи «Сказки и жизнь Жака Баттертона» к печати. В письме к Рочко (май 1939 года) он передал устный отзыв о повести А. Н. Толстого, назвавшего ее «единственной настоящей, которая попадаетея среди сотен поступающих рукописей» (архив Г. В. Рочко).

<sup>3</sup> Имеются в виду гуингнмы — сообщество мудрых лошадей из «Путешествий Гулливера» Дж. Свифта.

*Прерываю главой из «Жака Баттертона» публикацию писем, чтобы дать некоторое представление читателю о предмете спора.*

## ПОЧЕМУ У ЧЕЛОВЕКА НЕТ ГЛАЗ НА ЗАТЫЛКЕ

После ряда неудач и голодных дней в мансарде я решил найти себе заработок, рассказывая людям сказки. Мое ремесло казалось мне не совсем порядочным, но люди и поумнее меня уступали обстоятельствам.

Я занимался тем, что ретушировал покойников: одному благочестиво-просветительному издательству поставлял биографии порядочных людей. Я выкапывал их, как из-под земли. Не знаю, что хуже? Мрак, когда покойник ничего не оставляет после себя — ни важнейших дат своей жизни, ни писем, ни рассказов современников — одну лишь мутную легенду о порядочности и двух-трех чудаковатых почитателей?.. Или свет, когда перед тобой портрет во весь рост — полный архив всякой всячины, словом, весь гардероб, но настолько пропитанный пятнами, что они не поддаются никакой химической чистке?.. Но у кого в голове есть пара сказок, тот знает, где нужно пролить свет, где замазать пятна... Дело у меня шло, хотя мне часто приходил в голову Джон — скромный мастер, который занимался изготовлением прелестных женских головок для витрин парикмахерских. У самого Джона жена совсем не была Мадонной. У нее было некрасивое скуластое лицо с неопределенным выражением. И знаете, что говорил Джон, приходя домой?

— После этих рож, — (имелись в виду парикмахерские головки), — приятно посмотреть на хорошенькое личико.

Я отчасти понимал его и после биографий порядочных людей бегал иногда проветриваться в знакомую мне по прежним временам обитель Армии Спасения.

Под предлогом поговорить со знакомыми патронессами, которые радовались моему возрастающему благополучию, я не без удовольствия поглядывал на жующие рты, облепившие стол. Что поделаешь с людьми, если они так громко чавкают, но именно этого мне и не хватало... Мои порядочные покойники никогда не чавкали. Однажды, забежав в обитель, я застал миссис Бильби порядком встревоженной. Едва мы поздоровались, она зачирикала, что из-за внезапной болезни другой патронессы люди останутся без наставлений на ночь. Нет, миссис Бильби сама никогда не выступала. И не подумайте ее уговаривать!..

Я не думал ее уговаривать. Я смотрел на людей, доедающих свою похлебку. Их было около тридцати — сплошь мужчины. Одни лучше, другие хуже одетые, одутловатые, отошавшие, безработные, бывшие и будущие тюремные сидельцы, на всех лицах была очевидная печать угрюмого опыта и долгих наставлений.

Я едва не сказал своей собеседнице, что этих детишек можно бы разок оставить без наставлений на ночь. Но ей пришло в голову, что я мог бы выступить, и притом неплохо. Этим «неплохо» она и уговорила меня.

«Что тут трудного? — подумал я. — Начну Господом, а потом скажу: не робейте, друзья, пишите биографии порядочных людей — или что-то в этом духе».

Я встал перед ними с фразой, которая мне сразу показалась подходящей:

— Возлюбленные братья, пути Господа неисповедимы...

Я произнес свою фразу отчетливо, взглянул на слушателей и почему-то сразу осекся. В голове стало необыкновенно светло и пусто. Ничего! Только эта фраза. Я начал мять ее и выжимать все соки...

— Что значит неисповедимы? — медленно продолжал я. — Это значит неизвестны. Что значит неизвестны? Это значит, что никто не знает. «Почему не зна-

ет?» — спросим мы себя. В самом деле, почему? Почему же?.. Почему мы не можем знать путей Господа? Спросим раз, спросим еще раз, спросим тысячу раз.

Я вытянул всю эту кишку, пока нашел продолжение:

— И наконец ответим! Потому что мы осязаем только то, что можно трогать, чувствуем запах только тогда, когда он близко, слышим то, что раздается недалеко от нас, и глаза у нас смотрят только вперед, не зная, что делается по сторонам или позади...

Я следил за своей аудиторией, и, должно быть, для этих привычных ко всему, выдавших виды людей в моем повествовании были какие-то трещины. Выражение их лиц мало ободряло, и в особенности мне не нравился один детина, который довольно нагло ухмылялся, глядя на меня.

Едва я произнес фразу о глазах, которые смотрят только вперед, как раздался его зычный голос:

— Почему у человека нет глаз на затылке?..

Хотя стены обители и призывали к сдержанности, поднялось дружное фырканье. Я был сбит с толку, предчувствуя, какой хохот поднимется, когда они выйдут за дверь... Но тут я разозлился и почувствовал себя тверже.

— Что хотел брат мой сказать своим вопросом, непристойно раздавшимся в этих стенах? Если он хотел поставить в тупик меня или миссис Бильби, мы, как христиане, простим его. Если брат мой хотел смутить генерала нашей армии, он простит ему, как христианин. Если восклицавший метил своим вопросом в английское правительство, оно простит его, ибо там сидят христиане. Если он имел в виду короля, то король помилует его, ибо простая арифметика говорит, что лучше помиловать одного виновного, чем казнить десять невинных. Но если брат мой хотел поставить в тупик Господа нашего, то мы умолкаем, и пусть Господь сам решит, простит его или нет...

Неся этот вздор, я чувствовал, однако, в нем какой-то проблеск мысли, может быть, начало сказки о страшном суде. Я, во всяком случае, видел, что порядком озадачил людей, и даже у моего детины лицо менялось все больше под влиянием глухих угроз, по мере того как я, поднимаясь по высокопоставленной лестнице, дошел до Господа.

«Вот так история, — подумал я, — куда меня понесет дальше? Все это они, бедняги, должны слушать, расплачиваясь за похлебку»... Но мотор был заведен, нерв красноречия трепетал...

И, оборвав начало сказки о страшном суде, я загремел с тем же суровым воодушевлением:

— Я не забуду поставленного вопроса. Но я отодвину его... Пока же спрошу вас. Случалось ли вам, каждому из вас, являться куда-нибудь непрошеным гостем? Просить работы там, где в вас не нуждаются, зайти в чужой двор, пренебрегая предостерегающей надписью?.. Джентльмены, если вам знакомо это дело, мотните головой!.. Благодарю вас, достаточно!.. Случалось ли вам пробраться в чужую кухню, где вкусно пахло едой, подняться в вагон поезда, не имея билета, растянуться в чужом саду на траве или на скамейке, когда так хочется спать?.. Джентльменов, сведущих в этом деле, я попрошу снова мотнуть головой. Благодарю вас!.. И если то или другое с вами случалось, чувствовали ли вы, как дюжая рука хватает вас за шиворот, как рука, сжатая в кулак, больно ложится на ваш затылок? Случалось ли все это с вами, и если да, то проголосуем весь вопрос в целом... Джентльмены, когда-либо подставлявшие затылок, поднимают руки!..

Тридцать человек, то ли захваченные моим искренним красноречием, то ли растормошенные воспоминаниями, которые я в них пробудил, мрачно, но дружно подняли свои руки. Никогда, ни до, ни после этого, я не присутствовал при столь торжественном и важном голосовании.

— А если все это так, — сурово продолжал я во весь голос, — если все это с вами случалось, если вы сейчас единодушно проголосовали и знаете, что такое хороший удар по затылку, спрашиваю вас: зачем нам глаза на затылке?.. Разве не сидели бы вы тут сейчас с зияющими дырами, ослепленные, искалеченные? Поэтому не задавайте вопросов и благодарите Господа, что он создал затылок без глаз, затылок достаточно крепкий, чтобы многое выдержать. Могло быть хуже, если бы этим распорядился не Господь, а люди!..

Я кончил. Молча и мрачно уходили мои слушатели, миссис Бильби, к моему удивлению, сердечно поблагодарила меня. Я вышел. Во мне опять проснулся, бурлил и гневался мансардный человек. Меня ждали биографии порядочных людей.

**Г. В. РОЧКО — А. Т. ТВАРДОВСКОМУ**

18 октября 1956 г.

Многоуважаемый Александр Трифонович!

Боюсь, что я не совсем точно напомню Вам известный рассказ Марка Твена. Словом, добрый доктор вылечил хромую собаку. Та из благодарности и для прославления доктора привела двух хромых соплеменниц, те еще, и т. д., и т. д., и т. д. Добрый доктор бежал из города.

Вероятно, я один заменяю целую стаю благодарных собак, когда загружаю Вас своими письмами, рукописями, заставляю заниматься собой и т. д., и т. д.

И Вы уж, наверно, догадались, что за этим предисловием последует новый акт «благодарности». Во всяком случае, мне это предисловие дает храбрость поставить следующие три вопроса, отвечающие пессимистической склонности моего мышления и опыту моей жизни:

1) Звучит ли молчание Э. Г. Казакевича как похоронный звон?

2) Бессмысленно ли будет, если я, в качестве таинственного незнакомца, пошлю в «Советский писатель» известное Вам наличие стихов для сборника?

3) Где могила Жака Баттертона?

Знаю, что Вы ответите мне со всей прямоотой, но я чувствую себя порядочным нахалом, задавая эти нужные мне вопросы. И потому опускаю железный занавес.

Всего, всего доброго.

Искренне Ваш Г. Рочко.

**А. Т. ТВАРДОВСКИЙ — Г. В. РОЧКО**М<sup>осква</sup>. 19.X.56.Многоуважаемый Григорий Владимирович<sup>1</sup>!

Казакевич сегодня уехал в Ленинград, перед этим я говорил с ним по телефону: он говорит, что *несколько* стихотворений непременно будут напечатаны в Альманахе. «Жак Баттертон» ему решительно не понравился, — рукопись будет возвращена вам в ближ<sup>айшие</sup> дни. Он хотел бы с Вами связаться по приезде, — Вы бы могли ему и сами позвонить (В-1-04-25). Он думает, как я понял, подвигнуть Вас на какое-то дело вроде автобиографической повести. Словом, он Вами интересуется.

В «Сов<sup>етский</sup> писатель», конечно, можно послать рукопись книги стихов, но, говоря откровенно, мне не кажется это дело надежным, — очень много стихов, и кроме того, на обычный редакторский взгляд, Ваши вещи, сколько я их знаю, не вызовут особой нетерпеливости к их изданию. Лучше, по-моему, повременить, опубликовать в периодике несколько вещей, как-то объявиться граду и миру, а там будет видней.

На днях я уезжаю на месяц, но я буду неподалеку, почту мне будут привозить раз в неделю. Если захотите еще что-нибудь показать, не стесняйтесь, пожалуйста, «собачьими» соображениями — присылайте.

Всего Вам доброго.

Ваш А. Твардовский.

<sup>1</sup> «Владимирович» — ошибка Твардовского. Так же в письме от 21.IV.57.

**Г. В. РОЧКО — А. Т. ТВАРДОВСКОМУ**

23 октября 1956 г.

Многоуважаемый Александр Трифонович!

Пеняйте; Вы сами навлекли мою собачью благодарность. И вот перед Вами последнее мое произведение 1956-го года. Я уж как-то Вам писал, что оставил эту повесть для переэкзаменовки по разделу прозы. Но скажу честно, на мой взгляд, я к переэкзаменовке, пожалуй, подготовлен хуже, чем к экзамену. Будь какой-нибудь Сиротский Дом для не появившихся в печати героев, я бы туда непременно поместил бы Жака Баттертона в надежде, что его усыновит и пригрет какой-нибудь потомок.

Казакевичу я, конечно, позвоню, хотя меня сейчас больше, но, вероятно, тоже впустую тянет на пьесу. Ваш план моего продвижения в стихотворной

области единственный, раз в моих стихах (по темам или исполнению) нет нужной пробивной силы, но... если вся «тысяча» моих пушек не может пробить бреши, то кого развлекут одиночные выстрелы? Начни я по кусочкам размещать свой поэтический архив, все преимущества, и притом справедливо, будут на стороне постоянно пишущих и подающих надежды — при существующей тесноте. Мне даже просто стыдно приходить в журналы и задавать загадки, что я — буйный или тихий? Увы, у меня нет дара перевоплощения, чтобы в свои 70 лет, как Сара Бернар, играть «Орленка».

Как видите, я без всяких иллюзий признаю свое поражение. Но это вовсе не страшно. Дожив до моего, от таких вещей не умирают. А что до литературного рецидива, которым я недомогаю сейчас, то пусть это не лучше, но это и не хуже ломоты в суставах, колик в печени и прочей старческой немощи.

Всего доброго. Вы, вероятно, работаете. От всей души желаю Вам плеснуть полной чашей.

Г. Рочко.

### А. Т. ТВАРДОВСКИЙ — Г. В. РОЧКО

Москва, 16.II.57.

Уважаемый Григорий Викторович!

Прежде всего прошу, если это возможно, простить меня за задержку с ответом. Дело в том, что почти все это время я считал, что рукопись Вашу посеял, еще не прочитав ее. Думал, что оставил ее в Малеевке, но, по проверке, оказалось — нет. На днях я нашел ее в одной из своих папок. Теперь по существу.

Вещь мне решительно не понравилась, — это опять же все вполне грамотно, умело, но это, прямо сказать, то самое, что называется лакировкой действительности. При этом — все выполнено в таких фальшивых тонах умиления, такая все неправда, что вчуже — и то неловко становится. Этот старичок в духе М. Девушкина<sup>1</sup> (в какой-то степени), его самоперевоспитание из «сухаря» в деятеля на поприще устройства различных человеческих судеб (Дуняша, Маруся и др.) вплоть до крайней жертвенности (обмен комнат) — ох, Григорий Викторович, это все пародийно.

Язык никак нельзя отнести к нашим дням, хотя там есть и целина, и борьба с культом личности. То и дело мелькают словечки и выражения, которые застряли в Вашей памяти от первых лет революции, во всяком случае — они из 20-х годов: «природа знает», «собес» (теперь так не говорят, хотя отдел социального обеспечения есть), «МУР», еще что-то, не помню. А рядом — абсолютно уже выморочная лексика: «сударь», «состояние» (в смысле средств, богатства). Нехорошо и стремление поигрывать фразами, каламбурить: «Надгробное слово или гробовое молчание» и т. п. Нехороши часто употребляемые «пары» к непарным предметам (я это подчеркивал, может, не везде).

Набор примеров «вторжения в жизнь» бывшего «сухаря» и себялюбца до крайности наивный, все это вроде мотивов новогодних рассказов дореволюционного времени.

Словом, вещь не годится, и более того, я лично не вижу возможностей ее исправления, как говорят, доработки.

Вот, к сожалению, все, что могу сказать о Вашей рукописи. Простите резкость, не мог я хотя бы из чувства вины перед Вами за задержку ответа изменить свое мнение о рассказе.

Желаю всего доброго.

А. Твардовский.

<sup>1</sup> Имеется в виду герой романа Ф. М. Достоевского «Бедные люди» Макар Девушкин.

### Г. В. РОЧКО — А. Т. ТВАРДОВСКОМУ

Москва, 19 февраля 1957 г.

Многоуважаемый Александр Трифонович!

Я очень обрадовался, что Вы обнаружили. Это даже сняло досаду за резкость В/отзыва. За пару часов до получения Вашего письма я писал о Вас Эмман<уилу> Генриховичу<sup>1</sup>.

А что до отзыва, то Вы вряд ли правы. «Собес» существует как ходкое словечко. Я достаточно толкался насчет своей пенсии и знаю это. Возможно, что Вы правы и неправы насчет других слов. Но что страшного, если старые люди говорят привычными для них старыми словами? Во всяком случае, это не главное. Конечно, главное в лакировке. Но есть разные лакировки. Диккенс и много других писателей — лакировщики, но не подхалимы. Все дело в том, что мы сейчас ожесточены, так злы, что потеряли всякий вкус к добру. Не считаете же Вы покаянную поездку Нехлюдова, князя и гуляки, в Сибирь следом за проституткой лакировкой в новогоднем сюжете. А ведь похоже! Что ж Вас так испугала сегодня уступка нескольких метров жилплощади? У моего героя в каком-то высшем смысле тоже есть нравственная вина перед несчастной Дуняшей.

Мне кажется, что я так хорошо понимаю тон Вашего отзыва и даже сочувствую ему, потому что сам как читатель отдаюсь этому неверию добру, даже как проповеди. Вот и все. К тому же Вы очень русский, а моя манера письма эксцентричного скорее английская. Но законны и передвижники, и французские импрессионисты.

Могу добавить, что чувствую себя физически довольно отвратно и морально не намного лучше. Я в последнее время томился воспоминаниями. 1-ая часть их у Э. Г. Казакевича. Он ее одобрил. Вторая часть — из пяти («Воспоминания попутчика»<sup>2</sup>) — тоже готова, но после конфуза со стихами, я думаю, не стоит торопиться с нею, пока не определится участь первой части.

Буду рад всякой весточке от Вас.

Всего, всего доброго. Г. Рочко.

<sup>1</sup> Э. Г. Казакевичу.

<sup>2</sup> Рочко написал еще две части «Воспоминаний попутчика», доведя автобиографическую повесть до 1916 года. Дальше писать он считал невозможным, так как лгать не умел, а какова может быть расплата за правду, знал слишком хорошо. До конца жизни отца рукопись находилась у Э. Г. Казакевича, который настаивал на ее продолжении. Привожу одно из его писем:

Глубокоуважаемый Григорий Викторович!

Я только что приехал из поездки по Ярославской области, почему и отвечаю Вам с таким опозданием.

Ход Ваших мыслей по поводу воспоминаний после 1917 года кажется мне неправильным. Во-первых, Вы не обязаны называть всех без исключения людей собственными именами. Во-вторых, воспоминания такого рода не могут быть по самой своей природе юбилейными, если они претендуют хоть в какой-нибудь мере на отражение действительности и рассчитывают на внимание потомства. Ваши воспоминания нужно продолжать, обязательно. По-моему, это даже в некоторой степени гражданский долг. Без герцога Сен-Симона наши сведения об эпохе Людовика XIV были бы не только неполными, но даже искаженными, без Брантома XVI век во Франции был бы для нас темной страницей. Сравнения эти не должны Вас смущать. Стремиться надо к наивысшему. Желание сделать крупное вовсе не означает самоопущения.

Такова моя точка зрения. Хорошо бы встретиться. Как освобожусь от набравших за это время многочисленных дел, я позвоню Вам.

24 апреля 1957 г.

Эм. Казакевич.

**Г. В. РОЧКО — А. Т. ТВАРДОВСКОМУ**

[Без даты.]

Многоуважаемый Александр Трифонович!

Опять жена из своего бездонного шкапа вывалила мне грудку моих старых, очень старых бумаг — стихи и прозу. Большой частью хлам, подлежащий уничтожению. Но небольшая часть стихов мне «показалась». Они, конечно, не для оборота. Это дополнение к сборнику, изданному в 1923 году и написанному еще раньше. Какой же смысл в посылке Вам «дополнения», если Вы самого сборника не знаете? Смысл такой: соскучился, мне хочется услышать Ваш голос и получить некоторую уверенность, что Вы не очень сердитесь за мое последнее письмо. Вняв почти всем Вашим замечаниям и переделав, я все-

таки, в основном, остаюсь на позициях своего письма, хотя и не знаю, как двинуть свою вещь? Вы скажете: «Упрямый старик!»

Дорогой Александр Трифонович, мне так худо во всех отношениях (за исключением жратвы) живется, что я давно был бы бесплотным ангелом у Господа, если б не мое упрямство!..

Всего, всего доброго!

Уважающий Вас Г. Рочко.

### А. Т. ТВАРДОВСКИЙ — Г. В. РОЧКО

Москва, 21.IV.57.

Дорогой Григорий Владимирович!

С чего Вы вдруг взяли, что я могу на Вас будто бы за что-то сердиться! Если уж сердиться, так на себя: пробовал-пробовал что-то сделать в смысле продвижения Ваших вещей в печать — и все не выходит. Точнее сказать, у Вас действительно могут быть основания пенять на меня, и если не особо пеняете, то и слава богу.

Стихи разных лет (этой засылки) прочел. Что я могу сказать? Для Вас они дороги — как часть жизни и т. п. При благоприятных условиях Вы могли бы часть этих архивов включить в свою книгу, но для опубликования в периодике, скажу прямо, они не годятся, т. е. никто не возьмет. Что же касается моей собственной оценки их, то при всем непредубеждении скажу, что они уж очень отзываются то Блоком, то еще чем-то. Они слишком принадлежат своему литературному времени. Их можно принять за вновь открытые вещи Блока. (Крепитесь, я говорю, что думаю.)

Насчет того, что Вы пишете в последнем абзаце своего письма, скажу, что, как бы оно там ни было, Вы тут, Г. В., не оригинальны. Нам иногда издали, заочно чья-нибудь жизнь представляется уж такой благополучной, счастливой, полной, а — на самом-то деле — и нет ее такой. И не может быть у человека, прикосновенного искусству, этого благополучия и даже минимального блага (особенно в некотором уже возрасте) — покоя.

Тут уж ничего не поделаешь.

Хотелось мне Вас как-то приободрить, а, видимо, не вышло, простите.

Стихи возвращаю.

Жму Вашу руку.

А. Твардовский.

### Г. В. РОЧКО — А. Т. ТВАРДОВСКОМУ

[Без даты.]

Дорогой Александр Трифонович!

Все, что Вы написали о тех стихах, совершенно верно. Я и сам знал это. Кроме того, как раз когда я собирался посылать их Вам, ко мне зашел мой институтский приятель, многократно упоминаемый в «Воспоминаниях», которые ждут своей печальной судьбы у Эм<мануила> Генрих<овича>. Я ему (приятелю) показал эти стихи. А он вообще мои последние стихи ценит. Он прочел и сказал: «Тут ты только на 20%. Остальное Блок и то время». Я ему ответил: «Знаю. Мне хочется знать, сердится ли на меня Ал<ександр> Триф<онович>?» Ну, раз не сердитесь, очень хорошо. А я на Вас? Ну, что поделаешь, когда ничего не поделаешь?..

Моя беда в искусстве, что я не настолько силен и самобытен, чтобы пробиться сквозь свое время, захватив его окраску, и не настолько услужлив, чтобы просто служить ему в любых случаях. Это я тоже знаю. Но вот Вы, вероятно, не помните, что в первой же сказке «Жака Баттертона» Аллах жестоко наказал одного принца за то, что тот оказался неудачником и превратил его в горбуна. Неудачники — это ужасные фигуры в жизни. А я — Вы это только отчасти знаете, — я неудачник во всех отношениях, как гоголевские дамы умели быть приятными во всех отношениях. И этот горб неудач очень тяжел.

Если Пушкин писал:

И, может быть, на мой закат печальный  
Блеснет любовь улыбкою прощальной, —

то у меня чувство несколько другое. На своем закате я так же хотел бы увидеть удачу, как, сидя когда-то в одиночке, я пытался сквозь решетку и щит поймать кусочек голубого неба. И как я ни изворачивал шею, мне это не удавалось.

Но Аллах всемогущ и не пересматривает своих решений, и поэтому будем считать, что все это написано во славу Аллаха.

Всего хорошего! Не забывайте.

Ваш Г. Рочко.

## А. Т. ТВАРДОВСКИЙ — Г. В. РОЧКО

### ТЕЛЕГРАММА

[Почт. штемп. на обороте: 27.4.57.]

ВРУЧИТЬ 1 МАЯ МОСКВА

ПРИМИТЕ МОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ ПОЖЕЛАНИЯ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ СВЕТЛЫХ ДУМ БОДРОСТИ РАДОСТИ —  
ТВАРДОВСКИЙ —

## А. Т. ТВАРДОВСКИЙ — Г. В. РОЧКО

Ялта, 23.I.58.

Дорогой Григорий Викторович!

Стихи не хуже прежних Ваших стихов, в них есть нечто человеческое, невыдуманное, но облеченное, как и прежде, в форму, с которой уже мирятся только люди, очень любящие стихи — как стихи, люди искушенные. Это делает их непригодными для использования в текущей печати, но, на мой взгляд, вполне приемлемыми для включения в книгу, если бы таковую удалось протолкнуть в план изд-ва (времена для этого не ахти как благоприятные) К этому еще можно будет вернуться.

Я здесь нахожусь с 15.XII и пробуду еще до 15.II; здесь со мной жена и дочь, которая по болезни имеет отпуск на год (по школе).

Всего, всего Вам доброго на 72 и в последующих годах жизни.

Ваш А. Твардовский.

*На этом переписка окончилась (сужу по нашему архиву). Отец тяжело заболел, слег и больше не встал. Однажды, подняв трубку в коридоре нашей коммуналки, я услышала голос Твардовского. Я запомнила этот звонок, потому что он совпал с днем рождения отца. А. Т., поздравив Г. В., справился о здоровье и пожелал скорейшего выздоровления. На этом можно было бы поставить точку. Но, в который раз перечитывая письма, я пытаюсь понять: что это, совпадение, случай, соединивший двух столь разных людей — В. В. Розанова и А. Т. Твардовского (через сорок лет)? Один и другой протянули руку помощи и дружбы совершенно чуждому «автору письма», возможно почувствовав в нем одинаковое для обоих «что-то». Возможно, это «что-то» было сродни киплингговскому: «Мы с тобой одной крови», только лежало в интеллектуальной плоскости. И, возможно, «интеллектуальное единокровие» с евреем не могло не возбуждать интерес у Розанова, который первый помог Рочко попробовать себя в творчестве.*

*Что заставляло Твардовского прочитывать сотни страниц рукописей Рочко, сердиться, критиковать, спорить, но при этом незамедлительно отвечать, звонить по телефону, присылать телеграммы, всячески пытаться помочь продвинуть (это в 50-е годы!) творчество старого поэта-символиста в печать? Ответ может быть столь же гадательным, как и в случае с Розановым.*

**СПАСИБО ИМ ОБОИМ.**



## ПРИЛОЖЕНИЕ

Ю. И. АЙХЕНВАЛЬД — Г. В. РОЧКО

1 IV 920.

Многоуважаемый Григорий Викторович!

Ближайшие дни так у меня заняты, что я не мог бы побеседовать с Вами, до Вашего отъезда, лично. Оттого позвольте мне набросать о Ваших стихах несколько слов на бумаге.

Вы знаете, Пушкин говорил: «Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата». Недостаток Вашей поэзии именно в том, что она не глуповата... Ваши стихи умны и слишком явственно об этом свидетельствуют. «Мой ум становится и жестким и сухим», — пишете Вы сами. У Вас мысль преобладает над непосредственной, интуитивной живостью слова и образа. Но с этой оговоркой должен сказать, что Ваши стихотворения мне нравятся. Они звучат сильно, энергично; Вы движетесь в них уверенной и твердой поступью. Иногда эта твердость желанно уступает место грациозности (напр., «От злых проказ незлого Арлекина»). Есть острота, неожиданные повороты и изгибы тонкой, порою — скептической, мысли. Как принимаешь, напр., этот штрих: «Тут одного человечка одолевает тоска» — или почти гейневское курение папиросы, вплетенное в любовную лиричность!.. Я Вас упрекаю в уме, в «умности», но не согласен назвать этот ум «жестким». Напротив, чувствуется гибкость. Но есть и та холодность, которая вообще свойственна уму как уму. Искорки иронии. Подчас — общая окраска меланхолии. Как-то выделились для меня, в положительную сторону, «Когда тебя покрое тучей» или «Был поздний час, блестела зала» и другие стихотворения — из цикла «Любовь». Своеобразен цикл «Железная дорога», в нем сочетание философичности и реальных впечатлений. Есть интересное и в «гортанных звуках» «Города».

В общем, у Вас несомненно — своя физиономия, и физиономия интересная, интеллигентная, — м. б., слишком интеллигентная, без наивности, без *sancta simplicitas*. Думаю, что, когда придет время для поэзии в России, был бы нелишним сборник Ваших стихотворений — не всех, а избранных. И тогда я пошел бы Вам навстречу, если бы Вы спросили моего совета.

Пока жму Вашу руку и желаю всяких благ (не только «пайков», но и того, что для души нужно...).

Уважающий Вас

Ю. Айхенвальд.

К. И. ЧУКОВСКИЙ — Л. М. КЛЯЧКО

[На обратной стороне записки крупными буквами: Рочко]

Дорогой Лев Моисеевич!

Автор стихов, которые Вы дали мне на прочтение, не просто талантлив, — он талантлив исключительно — сверх нормы. Я прочитал его стихи вслух — и полюбил его большое дарование. Он не только архитектор, но и музыкант, не только музыкант, но и архитектор. Конечно, много незрелого, но есть такие выдержанные стихи, как Город («Когда тебя покрое тучей»), где строчки нельзя выбросить, где каждый эпитет и скромн, и силен, и прочувствован. Если автору лет 20 — 22, он пойдет далеко. У него есть одна, простительная в юности, черта, — он в плену у Блока — и интонации и жесты у него Блокopodobны. Но когда он освободится от этого плена, он останется хорошим поэтом, потому что и Блоку он подражает умно, тонко, талантливо.

Ваш Чуковский.

---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. СЕРДЮЧЕНКО



## МОГИКАНЕ

*Заметки о прозе «отцов» в постсоветской литературной ситуации*

...И они — стареющие, усталые, умолкшие, борющиеся с немощью новыми, не по душе их темами, остаются все равно совестью и мерой, и коли спросить ту часть нашего рассеянного мира, которая вопреки всему еще остается народом, что и кого они считают литературой, они назовут все эту редкую шеренгу. И любви этой надо по-прежнему соответствовать.

*В. Курбатов, «Последний (?) парад». — «Москва», 1995, № 2.*

**Г**оворить о каких-либо закономерностях в нынешнем литературном хаосе весьма затруднительно, но вот факт, заслуживающий внимания: после долгого перерыва вновь возникла на печатной поверхности старая литературная гвардия. Пережив египетские напасти, утрату известности, почета, писательского достатка, всего на свете, на пределе своих возрастных и издательских возможностей она вновь заявляет о своем месте под солнцем, и несправедливо ей в этом праве отказывать. С небольшими интервалами опубликованы или продолжают публиковаться «Московская сага» В. Аксенова, «Тавро Кассандры» Ч. Айтматова, «Прокляты и убиты» В. Астафьева, «И тогда приходят мародеры» Г. Бакланова, «Генерал и его армия» Г. Владимова, «Пирамида» Л. Леонова. Почти все — это писатели, чей звездный час пришелся на шестидесятые годы. Вместе с В. Беловым, В. Быковым, Ю. Трифоновым, В. Распутиным, В. Шукшиным они первыми преодолели эстетику социалистического реализма и тем заслужили единодушное признание своего читательского поколения. Но затем — затем вслед за соцреализмом начала рушиться сама социалистическая действительность, с которой они (впрочем, и их читатели тоже) оказались связаны гораздо теснее, чем сами о том полагали. И каждый из них был поставлен перед необходимостью либо радикально менять свою писательскую ментальность, либо вообще уходить из литературы в политику или журналистику.

Но, призывавшие штурмовать советские небеса и с изумлением обнаружившие, что эти небеса на них же обрушились, они теперь возвращаются на круги своя, к своим Пегасам. Другое дело, насколько это возвращение состоялось.

Одним из таких, устоявших в «крепкой качке», представляется Чингиз Айтматов. Он не отмечен ни в каких политических безумствах; так сказать, не был, не состоял, не участвовал. И даже некоторая конъюнктурность его «Плахи» — конъюнктура литературно-философского, а не политического времени; первое художественному произведению порой и не противопоказано. Однако же, уйдя на время из литературы, возглавив уютное зарубежное посольство, Айтматов не забыл за высокими дипломатическими заботами своего писательского предназначения, чему свидетельством его роман «Тавро Кассандры».

Судя по нему, Айтматов остался верен традиционным гуманистическим богам своей писательской молодости (что в современных литературных кругах способно вызвать ироническую усмешку: о каких богах он толкует?).

Впрочем, «новый» Айтматов резко укрупнил оптику писательского видения, написав роман ни много ни мало о судьбах человечества. Грандиозный

замысел, но и великая ответственность. Это все равно что взяться дописывать Библию, стать автором ее сорок первой книги. Но почему бы нет? Если писатель уязвлен высокой гуманистической заботой и проблема собственного «я» беспрерывно перерастает для него в проблему «мы», если он проводит дни и ночи в тревоге за будущее человечества — пусть выскажется, «а мы послушаем его», если, конечно, его прогнозы и диагнозы не покажутся нам дилетантскими или просто неинтересными.

Но нет, по крайней мере, пишущему эти строки последний роман Айтматова не показался ни дилетантским, ни доморощенным. Сей уроженец киргиз-кайсацкиа орды расположился в пространстве европейской культуры так же уверенно, как в этнической ойкумене своих земляков и предков. Под «Тавром Кассандры» вполне мог бы подписаться какой-нибудь ныне здравствующий шпенглерианец, избрав подзаголовком к роману вместо «Заката Европы» нечто вроде «Заката человечества».

Потому что взгляд автора на это человечество вполне безнадежен. В своем скудоумном упрямстве оно так далеко зашло стезею зла, что начинают бунтовать уже его физические гены, клеточная материя. Образы романа чрезвычайны и поражают воображение: космические невозвращенцы, бунт эмбрионов, иксроды, зечки-инкубы, киты-самоубийцы — из всего этого выстроена оригинальная художественно-философская конструкция, призванная разбудить в читателе эсхатологическое видение действительности.

Увы, всего лишь конструкция. Потому что ей недостает — не умеем иначе выразиться — биения живого художнического сердца. Ведь знак Кассандры мог — обязан был бы! — появиться у кого-нибудь из близких, любимых главными персонажами женщин, и как бы тогда заколебалось их высоколобое гуманистическое единомыслие, но зато какой психологической напряженностью наполнился бы сразу сюжет. Именно подобные ситуации провоцирует имманентная воля художника, перепроверяя его же собственные интеллектуальные твердыни внелогической правдой искусства.

В своем последнем произведении Айтматов не разрешил себе этого. «Тавро Кассандры», собственно, не роман, а некое натурфилософское помышление о человеке и его мире, исключаящее избирательный интерес к приватным людским существованиям. Мудрец и футуролог Борк наблюдает землю из иллюминатора трансатлантического воздушного лайнера. Другая авторская ипостась, «космический монах» Филофей (Крыльцов) установил свой наблюдательный пост еще выше, на борту орбитальной станции. Оба они гибнут — один под ногами разъяренной толпы, другой — выбрасываясь в открытый космос на глазах у пораженного человечества. Но таков удел каждого, дерзавшего наследовать Кассандре. Чтобы внушить истины, открывшиеся одиноким героям Айтматова, человека следовало бы поставить одной ногой на безымянном утесе во мраке вечной ночи среди бушующего океана, тогда, может, и открылось бы у него третье око высшей мудрости — иные способы и средства с Христовых времен оказываются бесплодными. В этом — высшем смысле — бесплоден и визионерский роман Айтматова.

Но писательский дух реет где хочет. Если возраст, внутренняя потребность, уникальный восточно-западный менталитет внушили Айтматову написать «Тавро Кассандры» так, как оно написано, мы отнюдь не намерены иронизировать по этому поводу, косвенно присоединяясь тем самым к буйствующему на страницах романа русско-американско-китайскому охлосу. Или литературно-критическому охлосу, возобладавшему на страницах родимой словесности.

Но вот еще один «возвращенец», столь не похожий на основательных реалистов, таких, как, скажем, В. Астафьев, или мифофилософов, каким все более заявлял о себе Айтматов. Рок-прозаик, вольнодумец, романтик, иронический парафраз Юрия Трифонова, В. Аксенов стал одним из символов городской молодежной культуры, блестяще запечатлев ее в художественном слове.

Но затем в его писательском организме начало что-то сдвигаться. Оказавшийся в эмигрантском самоизгнании, переделавшийся в какого-то международного литературного плейбоя и утративший на этом пути отечественного читателя, отнюдь не приобретя заокеанского, Аксенов, почти классически воспроизведя притчу о блудном сыне, вновь появился в родных литературных пенатах автором объемнейшей исторической «Московской саги».

Достать этот роман по причине его трехтомности, малого тиража и дороговизны настолько затруднительно, что неизвестно, стал ли он состоявшимся литературным фактом. Но не таков ли сегодня удел многих прочих литературных произведений? Продолжим поэтому наш критический монолог. Обращаясь к невидимому, а может, и отсутствующему читателю «Саги», констатируем, что в своем третьем воплощении Аксенов сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал, представ вполне добротным бытописателем характеров и нравов сталинской эпохи.

Он использовал в «Саге» одну из наиболее надежных конструкций реализма: история страны через историю семьи, точнее, семейного клана Градовых, в полной мере познавших блеск и позор, ласку и кнут сталинской эпохи. Особых симпатий герои Аксенова не вызывают. Никакие они не жертвы режима и не его порождение. Они были такими всегда, эти московские римляне, грешные, сластолюбивые, тщеславные, проклинающие цареву власть и одновременно чающие от нее личных милостей. Никита Градов временами скрипит зубами от ненависти к Сталину, но не гражданская сознательность тому причиной, а то, что он остается лишь пешкой в могучих коловращениях кремлевской власти. В романе нет абсолютно праведных и абсолютно виноватых. Капитулировав перед логикой истории, Аксенов оказался в писательском выигрыше.

Капитулировал он в последнем романе и как модернист. Вдоволь натешившись литературными эмигрантскими свободами вроде матерной лексики, генитальных откровений и прочих мовизмов из постмиллеровского набора, он вернулся к простому, как мычание, реалистическому письму, «и лучше выдумать не мог». Вечный диссидент, получивший от воспитавшего его времени больше шишек, чем пышек, сумел разглядеть в нем полноценное человеческое содержание и не стал пинать мертвого льва<sup>1</sup>. Хотя, отнесясь с искренней приязнью к его литературной «реэмиграции», не назову все-таки его последние произведения творческой удачей.

Житейски и писательски вернулся в Россию и Владимир Войнович, завоевав себе перед тем «Приключениями Чонкина» общеевропейскую известность, славу советского Гашека и стойкую неприязнь армейских кругов, которую мы не разделяем.

Вольный сын московской инфракультуры, Войнович написал сатиру на военную действительность, но он никогда и не притязал на лавры национального писателя, которому, по определению, воспрещена бесцеремонность с патриотическими святынями. Его родина там, где его издают, печатают и экранизируют. В отличие от подавляющего большинства литературных сверстников, он отлично вписался в новое время, в особое, «клубное», пространство сегодняшней литературы, новый русский салон, где обязывают ирония, чистые ногти и антисовковые манеры.

Можно было бы предположить, что последняя книга Войновича станет попыткой преодолеть этот клубный барьер, высказаться о времени и о себе по более крупному, итоговому счету. К этому располагает и ее название — «Замысел», и философское вступление об осуществленности (или неосуществленности) этого божественного замысла в судьбе каждого отдельного человека. Но нет, буквально со второй страницы писатель возвращается к излюбленному живописанию своих борений с дураками из КГБ, Союза писателей и прочей совковой братией. В этот главный сюжет всего «позднего» Войновича вплетены: сексуальные (довольно противные) откровения некой Элизы Барской, генеалогические штудии сербских корней автора, наброски новых глав о Чонкине, воспоминания о детстве, размышления о смысле супружеской верности, о нелепости запрета на нецензурную лексику и вообще обо всем, что приходило автору в голову во время написания книги.

---

<sup>1</sup> Уже после написания статьи наткнулся на серию клип-рассказов Аксенова («Корабль мира „Василий Чапаев”», «Титан революции», «Глоб-футурум»), опубликованных в № 1 журнала «Знамя» за 1995 год. Увы, из них явствует, что на склоне лет Аксенов вновь принялся за старое. Блажен, кто смолodu был молод, блажен, кто вовремя созрел — да осенит Аксенова наконец невозможность дважды войти в одну и ту же реку. «Экая гоголиана, — устало подумал наш Миша Белосельский-Белозерский, — экое утомительное кафкианство, экая мамлеевщина, экий сорокинизм» («Титан революции»). Вот именно.

Итак, собрание глав, полусмешных-полупечальных, «взгляд и нечто», пассаж на неозначенные темы. С подкупающим хладнокровием Войнович даже не пытается придать всему этому какого-то подобия жанрового единства. Так сказать, хочешь — читай, а писать не мешай.

Жизненный опыт Войновича огромен. Пастух, разнорабочий, солдат, авиамеханик, газетный поденщик, многолетний обитатель рабочих общежитий и коммуналок, скиталец по специальным и географическим окраинам бывшего Союза... мать честная, прожить такую горьковскую биографию, пройти через огонь, воду и медные трубы — и посчитать исполнением «замысла» только ту ее часть, которая прошла в литературных сварках, кулисах и кулуарах! Познать десятки колоритнейших характеров низовой, «шукшинской» России — и поменять их на выдуманную историю какой-то околотитературной курвы Элизы Барской. Мы переходим на личности, но Войнович сам провоцирует на это. Автобиографическая проза (а «Замысел» бесхитростно автобиографичен, автор лишь изредка полуукрывается — неизвестно зачем — под прозрачным псевдонимом В. В.) — рискованное мероприятие, потому что она обнажает реальный потенциал духовной личности писателя. По крайней мере, в «Замысле» этот потенциал невелик. В своих книгах и интервью Войнович не устает повторять, что он писатель, прежде всего и исключительно писатель. Гм. Писательское мастерство заключается (в довершение к перечисленному) в умении сделать неинтересное интересным, а интересное вдвойне интересным. Да не обидится Войнович, в «Замысле» у него получилось едва ли не наоборот. Автобиография оказалась менее драматичной и значительной, чем биография.

Молодой дебютант написал прекрасную повесть «Хочу быть честным», за которой выстраивались очереди в библиотеках, и «Гимн космонавтов», который распевала вся страна. Седовласый семьянин, маститый литератор описывает способы траханья втроем. Это ужасно, и это факт. Приходится еще раз повторить, что отмена запрета на писательские свободы обернулась не ожидаемыми художественными открытиями, но во многих случаях ослаблением творческой и культурной самодисциплины, превращением художественного слова в скабрёзный треп. Прискорбно, когда этим занимаются молодые. Но когда вслед за ними пускаются во все тяжкие пенсионные ветераны пера, это еще прискорбнее, еще оскорбительнее.

Не каждому Господь дарует картезианскую ясность рассудка в его закатный час, но когда речь идет об общепризнанных талантах, Божья воля выглядит особенно безжалостной. Высшая мудрость человеческой старости заключается в том, чтобы вовремя и добровольно покинуть шумную ярмарку тщеславия. Кто с этим медлит, неизбежно подвергнет свои седины осмеянию. Только что ты горел патриотическими идеями, угрызался служебной карьерой, заграничными командировками, ученым титулом, успехом у женщин, был джазменом, выпивохой, диссидентом, бизнесменом, делегатом, депутатом — оставь это однажды, возьми себя в руки, встань и покинь. Ибо настала смена смыслов. Как говорил Достоевский, «есть главное, а есть самое главное». Поднимаясь к самому главному, человек неизбежно отдаляется от человечества. Оно начинает казаться ему тем, что оно, быть может, есть на самом деле: стадом вздорных глупцов, одержимых разнообразными коллективными невротами и бессмысленно мятущихся там, внизу, в своих резервациях. Оставь их, мудрый человек, и, положив руку на голову ребенка, напиши великий роман под названием «Старость». Или «Зрелость» — что в некотором роде одно и то же.

С некоторой робостью мы переходим к «Пирамиде» Л. Леонова. Перед нами некий «параллельный» Апокалипсис, архикнига, роман-наваждение — именно так обозначил автор жанр своего произведения. Леонов, по слухам, работал над ним сорок лет, закончив его в девяностопятилетнем возрасте. А между тем он на десятилетия исчез из литературы, что само по себе есть тема для романа: осыпанный всеми возможными наградами и милостями художник, живой классик, как бы священная корова советского искусства, внезапно покидает литературный Олимп, чтобы предаться многолетнему, почти катакомбному молчанию.

Мы бы назвали Леонова философом советской эпохи, или даже советским философом эпохи. Начиная с «Барсуков» и кончая «Русским лесом», он создавал интеллектуальное обеспечение Октябрьской революции, но делал это в таком изошренном художественно-философском режиме, что морщились

даже его кремлевские литпокровители: им столь тонких обоснований своей правоты не требовалось. Леонов был советским, но не придворным философом. Одной из причин «ухода» Леонова было, как нам кажется, глубочайшее, онтологическое разочарование в постсталинской социалистической действительности. Обещанное продвижение к социетарным вершинам сменилось бюрократической прагматикой, дорога на Океан обернулась недостроенным и заброшенным БАМом, русский лес как был, так и остался предметом валютной распродажи. Этого не мог перенести Леонов, воспринявший в свое время социальный большевистский эксперимент едва ли не как земную волю Бога. Перечитаем футурологические главы из «Дороги на Океан», и мы почувствуем, в каком интеллектуальном возбуждении написаны эти страницы, повествующие, в сущности, о переделке человечества по новому штату.

Промолчав сорок лет и уже ступив одной ногой в ладью Харона, Леонов рискнул еще раз высказаться о сталинском времени. Было бы наивным полагать, что он, укреплявший морально-философские истоки доктрины русского коммунизма, бросится посыпать голову пеплом под влиянием разоблачительных статей в «Огоньке» или лекций ведущего философа Би-би-си Анатолия Максимовича Гольдберга. Выходец из старообрядческой московской семьи, Леонов всегда оставался крепким орешком в русской литературе. Единственно, что можно заключить (перечитав «Пирамиду» несколько раз), — это то, что утвердительный знак сменился в ней на знак вопросительный. Если коммунизм — заблуждение, то это, во всяком случае, великое заблуждение из числа тех, что вечно будут преследовать коллективный разум человечества, — так приблизительно можно изложить не сформулированный самим автором тезис романа. Он не случайно заключается полемическим парафразом «Великого инквизитора». «Я обрек себя на труд и проклятье ближайшего поколения (разрядка наша. — В. С.)», — начинает Сталин свое объяснение с Дымковым, посланцем небес. Его дальнейшие размышления повторяют передоверенную Достоевским инквизитору мысль о слабости человеческой природы, взыскующей непременно чуда, тайны и авторитета. Но в отличие от своего бескомпромиссного предшественника, усатый властелин полувселенной сомневается в достижении безрелигиозного рая на земле. Теологические науки в своей тифлисской семинарии он проходил не формально; так вот, не согласится ли его конфидент передать туда, в небесные инстанции, что необходима некоторая коррекция божественного замысла в сторону насильственного приведения человечества к гармоническому абсолюту, без чего оно до конца дней своих будет гваздаться в грехе и бессмысленной анархической скверне?

Вполне допускаем, что в результате подобных сцен и размышлений автору «Пирамиды» грозит посмертная репутация выжившего из ума обскурантиста, взявшегося реанимировать то, что давно предано единодушному осмеянию и разоблачению духовными вождями из «Пресс-клуба». Но признаем по крайней мере, что историософская напряженность, провоцируемая сталинской эпохой, не идет ни в какое сравнение с нынешним историческим безвременьем, а Леонов едва ли не первым из мыслящей части нынешней интеллигенции взялся оценить ту эпоху в координатах Большого Исторического Времени. И получается у него вот что.

В малом историческом времени сталинская власть ужасна и безжалостна. В большом историческом времени имманентно жестока любая власть, потому что иною она быть не может. В малом историческом времени Сталин есть изверг и мучитель народа. В большом историческом времени он — кесарь, который неизбежен и, может быть, даже необходим. Малое время — это микрокосм частных человеческих существований, большое — их *summa summagum*, людской космос. Обитатели Большого Исторического Времени — стойки, фаталисты и, следовательно, мудрецы; обитатели малого — его психологические жертвы, следовательно, несчастны, глупы и близоруки.

Так вот, все без исключения персонажи «Пирамиды» являются обитателями исторического макрокосмоса, Хроноса. Для себя им ничего не нужно, «главное — мысль разрешить». Власть жестока, конечно, но насколько вынуждена эта жестокость, есть ли в ней некая гуманистическая педагогика, или Творец изначально использовал глину не того замеса и человеческий род генетически поражен вирусом идиотизма, излечить от которого можно только социальной хирургией, — так приблизительно размышляют старофедосеевский

батюшка, комиссар Скуднов, хозяин Кремля, и, что самое поразительное и дерзкое в «Пирамиде», в том же сомневается сам Творец, делегировавший на землю ангела Дымкова для внятного отчета о том, что же в конце концов затеяли там эти большевики.

В ответ на это персонаж по имени Сталин, отнюдь, кстати, не юродствуя, просит передать туда, «наверх», что Октябрьская революция началась задолго до первых веков христианства и не Христос, но фракийский раб первым преодолел, так сказать, недоброкачественность замеса. Однако в массе своей люди остались пролами, бессмысленными бунтовщиками, поэтому нужны санкции, точнее, индульгенция на приведение первоначального замысла к окончательному и бесповоротному результату.

Подобной гиперфилософией заполнены почти все 1432 страницы романа. Изнемогший от нее автор в предисловии к первому изданию приглашает читателя «Пирамиды» увидеть главный ее интерес в другом — в образах, фабуле, языковом совершенстве. Согласно, писательское мастерство мэтра не покинуло его с годами. А все-таки «Пирамиду» нужно читать как философский трактат; либо не читать ее вовсе. Роман до сих пор достойно не отрецензирован, для этого пришлось бы ввести в критический оборот всю мировую литературу, начиная от Ветхого Завета и кончая Оруэллом. Увы, в силу чрезвычайного интеллектуального переизбытка «Пирамида» обречена остаться «вещью в себе», но кто знает, насколько беспокоило это автора и беспокоило ли это его вообще. Он сам в предисловии к книге сочувственно упоминает прочитанный лишь через тысячелетия апокриф Еноха...

Редкий случай — странная книга и почти мефистофельская литературная ситуация, с трудом поддающаяся критическому осмыслению. Сойдем поэтому с метафизических высот «Пирамиды» к последнему герою наших заметок Василию Быкову, этому белорусскому Камю, вот уже полвека с поразительным упрямством движущемуся в сторону, прямо противоположную устремлениям литературного света с его цеховыми заботами и манифестами, — с романтических высот «Альпийской баллады» в дебрь партизанского леса, еще глубже, в бедность и наготу белорусского хутора, в карьер, добиваясь отнюдь не ратно-героических правд о существе по имени человек. О Быкове вообще невозможно говорить в категориях преходящего литературного времени, оно никогда не оказывало на его писательскую орбиту ни малейшего влияния. Он — сам по себе, сей великий мастер извлекать из бесконечно малых величин величины бесконечно большие. Даже внутри военной прозы Быков оказался принадлежащим к направлению, единственным представителем которого является он сам. Не будем задаваться вопросом, кто виноват в этом постоянном пребывании Быкова вне литературного контекста: Быков или сам контекст.

В столицах шум, гремят витии,  
Кипит словесная война, —

куда до всего этого быковским персонажам, молчунам-белорусам с их корявой мужицкой «бядой» полувековой давности.

Прозе Быкова свойственна некоторая сухость. Ей недостает той языковой образности, метафоричности, которая превращает литературу в искусство слова и сама по себе излюблена читателем. Поэтика у Быкова решительно потеснена этикой, и до определенного момента непритязательность формы ослабляла собственно художественную действенность его произведений. Восполнить этот изъян специальными усилиями по части красоты слога было бы занятием бесплодным и скорее скомпрометировало бы, нежели помогло репутации Быкова-писателя. К счастью, Быков и не пытался переделать себя в «художника слова». Вместо этого он, если можно так выразиться, истово совершенствовал правду содержания и «Сотниковым» окончательно завоевал право на свое, «быковское», видение войны. Мы не уполномочены предполагать, в каких отношениях оказался писатель с автором «Восхождения», но фильм, став самостоятельным событием в нашем искусстве, не мог оставить Быкова равнодушным к той мощной прозелитической трактовке, которую Лариса Шепитько придала его повести. Стилистика фильма Шепитько преобразовала аскетизм быковской прозы в принципиальную эстетическую установку. Ужесточив и без того жестокую действительность «Сотникова», Шепитько

неожиданно ассоциировала ее с одним из древнейших гуманистических сюжетов, за что и получила от Быкова, по ее словам, прозвище «Достоевского в юбке». Действительно, до экранизации «Сотникова» Быков вряд ли притянул на столь грандиозные этико-философские интерпретации. Его предыдущие повести были укоренены в почве партизанского быта, но чем упорнее он взрыхлял этот участок нашего военного прошлого, тем чаще под ним обнажались родовые знаменатели человеческого существования. Рано или поздно Быков должен был найти такого читателя, как Шепитько, — и определенным образом на него отреагировать.

Быков отреагировал в присущей ему манере. Воздав должное культурно-философским реминисценциям Шепитько, он еще решительнее отгородился от увлечений литературной надстройки и окончательно погрузился в оккупационный быт белорусского села.

Но «опыт Шепитько» в поздних произведениях Быкова все-таки дал себя знать. Нет, Быков не намерен комментировать свои сюжеты цитатами из Нагорной проповеди — он для этого слишком сдержан и самостоятелен, — но то, что в его предыдущих повестях прочитывалось как возможная аналогия, параллель, ассоциация и проч., перестало быть случайностью. Действительность «Знака беды», «Карьера», «Облавы», «Стужи» буквально прострочена моральными абсолютами, в них ничего не происходит «просто так».

Вместе с тем они скрупулезно реалистичны. Томас Манн говорил, что его «Волшебную гору» нужно читать дважды. Что касается упомянутых повестей, то их нужно читать, по крайней мере, очень медленно, потому что помимо прочего перед нами классическая проза «из народной жизни» со своим особым, «крестьянским», течением времени и таким же крестьянским пространством. Автор буквально изнуряет читателя обилием топографических деталей белорусского хутора, усадьбы, лесной заимки, едва ли не выигрывая в этнографической точности у самого В. Белова. Вот корова Бобовка, вот подсвинок, куры (девять штук), пес Рудька. Вот пунька, засторонок, дровоколья, истопка, варовня, хлев, сад, огород. Читатель обречен бесконечно перемещаться вслед за обитателями усадьбы по этим пунькам и засторонкам, как бы экзаменуясь на упорство и некое согласие, либо полностью переселиться вместе с автором на этот Богом забытый крестьянский хутор, либо закрыть книгу. И лишь тот, кто выдержит испытание этим этнографическим переизбытком и перестанет воспринимать его как таковой, значительно приблизится к «внутреннему» содержанию быковской прозы, а может, и станет ее духовным соучастником.

В сверхплотной художественной материи неизбежно возникают процессы мировоззренческой кристаллизации. Если воспользоваться философской терминологией, то в прозе позднего Быкова непрерывно синтезируется категорический императив. Он носится над каждым ее персонажем, и его императивность воистину беспощадна. Петрок и Степанида из «Знака беды», герой «Карьера», Хведор Ровба из «Облавы», Егор Азевич из «Стужи» — обычные и в большинстве своем безусловно порядочные люди. Но каждый из них совершил однажды, поддавшись минутной слабости, напору обстоятельств, иногда сам того не сознавая, неблагоприятный поступок.

Как вдруг начинают рушиться миры. В действие вступают загадочные силы, выжигая вокруг героя его жизненное пространство, посылая на муку и смерть близких ему людей, аннигилируя и обращая в свою противоположность самый смысл его существования. Эти стреляющие в финале ружья, эти нравственные бумеранги, поражающие всех и каждого, — так ли уж они действительны в реальной жизни и не есть ли они порождение этического максимализма автора? Вот именно, кто наказывает его героев, автор или сама жизнь?

Если бы писатель не добивался такой физической осязаемости происходящего, вопрос решился бы не в его пользу. Но, прочитав его последнюю повесть «Стужа», перечитав ее дважды и трижды, можно убедиться лишь в том, что на ее страницах происходит только то, что должно произойти. Действительность «Стужи» можно было бы определить как символический или даже феноменологический реализм, потому что некая «знаковость» заключена в каждом персонаже, образе, детали, складывающей повествование. Размеры журнальной статьи не позволяют проиллюстрировать это утверждение соответ-



ствующими примерами, остается возложить объяснение тотальной жизненной катастрофы Егора Азевича на самого читателя.

Алгебраизируя оккупационный быт белорусского села, Быков неожиданно смыкается с антифашистскими концепциями крупнейших европейских мыслителей, отыскивавших опоры для личности, чьи индивидуальные возможности для борьбы с тоталитарным молохом оказались равными практическому нулю.

«Риэ помрачнел.

— Знаю, так всегда будет. Но это еще не довод, чтобы бросать борьбу.

— Верно, не довод. Но представляю себе, что же в таком случае для вас эта чума.

— Да, — сказал Риэ. — Нескончаемое поражение».

Так же как доктор Риэ, зная, что победить чуму невозможно, все-таки борется с ней, так и Степанида из «Знака беды» безо всяких досужих философствований (которых, кстати, и в «Чуме» не много) не уступает без боя ни единой пяди своего жизненного пространства. Она ослабляет боеспособность немецкой армии (выбрасывает в колодец винтовку), лишает ее запасов продовольствия (выдаивает на землю молоко у Бобовки). Не читавший этой повести, возможно, усмехнется. Но прочитавший ее воздаст должное вкладу Степаниды в дело победы над врагом, а может, и признает, что без этого вклада война не была бы выиграна. Такова, во всяком случае, скрытая, иносказательная логика повести, где, повторяем, бесконечно большие величины находятся в абсолютной зависимости от величин бесконечно малых. Пожилая белорусская крестьянка и изощренный французский интеллигент бьются над одним и тем же вопросом: следует ли бороться со злом в обстоятельствах, когда оно непобедимо? Итог борьбы предрешен; средств нападения нет; средств защиты тоже; о том, что произошло, никто никогда не узнает. Если учить по Быкову, то фашизм, нацизм, большевизм и множество иных скверн подобного рода извечно дремлют в межклеточных мембранах людской природы. Когда эта иммунная мембрана истощается, человек, народ, человечество само призывает своими поводырями и праведниками Гитлера, Сталина, Пол Пота или какого-нибудь другого беса из ордена сатаны.

Завершая на Быкове наш неполный обзор «последнего парада» старой литературной гвардии, констатируем, что творчески сохранить себя сумели лишь те из нее, кто не подчинился злобе исторической минуты. В любом случае их писательское время кончилось, завершено; другие юноши поют другие песни. Да сохраняют они свое нравственное достоинство и не уподобятся персонажам сюжета «Сусанна и старцы». Мужайся, редееющее племя! Именно ты располагаешь до сих пор доверием разночинного читательского множества. И любви этой надо по-прежнему соответствовать.

Львов.



---

---

# ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ



## КЛАССИКА ШКОЛЬНОГО РЯДА

**С**амое милое дело — весело доказывать, что литературной классики не существует; что это фантом, порожденный элитой для ее собственных нужд; что не Белинского и Гоголя, а милорда глупого нес русский народ с базара — и несет — и будет нести вовеки. Еще милее мрачно утверждать: классика есть наше все; где она, там мы; не отдадим ни пяди культурной почвы. Неплохо к этому добавить толику суждений о посягательстве на родные святыни и о смерти иерархического сознания — после чего дискуссию можно сворачивать.

Но лучше поступим иначе. Спокойно признаем: классика есть человеческое установление, результат культурного договора образованной части нации; в метафоре «золотой полки» сгущено представление о национальной традиции, об идеальной норме и непреходящем образце — и ни в коем случае не явлена норма как таковая. Больше того: не только расположение книг на этой полке, не только их подбор, но и место самой полки (в центре, в дальнем ли углу) от эпохи к эпохе меняется.

Признав, добавим: ну и что?

Как бы ни была подвижна «номенклатура классики», как бы ни зависела от вкусов и причуд эпохи, она поддается нашему произволению лишь в заданных ею пределах. Чтобы чье-то сочинение попало в разряд классических, то есть — «школьных», то есть — нормативных, в нем самом, помимо силы авторского дарования, должна быть изначально проявлена воля к совершенству, инерция нормы и тяга к национальной специфичности. В последние годы «элита» сумела «внедрить» в школьный список русской классики и Гумилева, и Пастернака, и Набокова — но сколько ни пыталась пополнить его Розановым, Хармсом, Платоновым, ничего не вышло; сработало сопротивление материала. Зато постулат о равно-ценности, равно-бесценности всех уровней человеческого бытия, образ культуры как броуновского движения полярных, противоположных знаков (верх — низ, право — лево, прекрасное — безобразное) — беспрепятственно произволен. Чтобы все уравнять и поделить, чтобы смешать конгломерат стилистик в коллаж культурного Вавилона, достаточно всего лишь иметь богатое воображение.

Подвижно-неподвижная, зависимо-независимая, предустановленно-непроизвольная — что же такое русская классика сегодня, когда Россия уже начала выбираться из-под обломков ложноклассической идеологии и еще не поняла, что входит в двоящиеся пределы компьютерной цивилизации, столь же виртуальной, сколь и виртуозной по части жонглирования «видеомами»? Каковы ее место и роль на крутом переломе отечественной истории, после испытания мертвенной иерархичностью советского образца и перед испытанием «виртуальной реальностью», в которой все мнимо, кроме нее самой (при том, что и сама она — мнимость)? Да-да, именно так, меркантильно-практически: место и роль. Как заметил в одной из лекций по структуральной поэтике Ю. М. Лотман, человечество стремится выжить; ничего лишнего философия выживания не допускает, — и если «высокая» культура, при всей ее непрактичности, сопровождает человека на протяжении тысячелетий, стало быть, в ней заложен жизнеобразующий смысл.

Что же выносит и что могла бы выносить современная российская жизнь из диалога с классическим наследием?

Тут начинаются сложности. Сколько писали о том, что классика в советские времена замещала собою область религиозных переживаний; была литературным

инобытием парламента; давала иллюзию свободомыслия. Или — не была, не замещала, не давала. Зато служила легальным знаком отсутствующих институций и паролем для интеллигентов. Но вот и Церковь действует самостоятельно, и какой-никакой парламент имеется, и свободомыслить не запрещено. Неужто и впрямь классика стала знаком, не имеющим значения? Пустой скорлупкой погибшего смысла? Ничего подобного. Потому что и прежде, помимо всех временных, вынужденных замен, классическая русская литература несла свой крест, выполняла самостоятельное задание отечественной Истории и теперь может посвятить себя этой задаче без остатка. С нашей, разумеется, помощью.

Какая же это задача? В русской классике свернуты представления нации о себе самой; о нашем «способе» переживать и мыслить, смеяться и рыдать, геройствовать и безобразничать; о том, что делает русского человека русским независимо от года и века рождения, места обитания, «состава крови»; что сохраняется в подсознании даже тогда, когда сознание разрывает с традицией; о том вечном остатке, который невозможно вычесть, пока «славянов род вселенна будет чтить». Классика «школьного ряда» — это действительно русская «роза Иерихона»; эмигранты (классики!) первой волны не солгали. Она заново расцветает там, где есть живая культурная почва, — и не умирает там, где ее нет. Она выполняла и продолжает выполнять в нашей жизни то же предназначение, какое в жизни «дописьменной» выполнял фольклор, а в жизни «досоветской» — отчасти — бытовая традиция. Я слишком плохо знаю другие народы, чтобы понять, в каких формах переживают они свое надысторическое единство; но догадываюсь, что явление, именуемое коммунистас, — не случайно. Прошу прощения за рискованную параллель, но когда немецкий профессор, взяв под руку немецкого портного и немецкого пастора, крепко зажав в руке пивную кружку, раз в год распевает какую-то глупость, он переживает приблизительно то же чувство, какое хотя бы раз в жизни посещает россиянина, читающего Пушкина, — чувство принадлежности к единому народу; единому — поверх сегментов, прослоек, имущественно-образовательных цензов, взглядов, привычек, устоев. Лучше или хуже — наедине с Пушкиным, чем — с кружкой в пивной; или на коммунальной сходке в швейцарском кантоне; или у Стены Плача? Не мое это дело; каждый выбирает для себя. Мое дело — понять коммунистас русской классики; поняв — поступать соответственно.

Например, настаивать на том, чтобы в такой разнородной стране, как наша, при всех преимуществах плюрализма неуклонно соблюдалось требование неизымаемости отечественных классиков (и определенного списка их сочинений) из школьных программ<sup>1</sup>. В особенности это касается школ конфессиональных и национально-культурных, где, как мы знаем, область светской и «несобственно-национальной» словесности все чаще усекают до предела. Иначе выпускники православного лицея будут в лучшем случае знать лишь оду Державина «Бог», отрывки из позднего Пушкина, позднего Гоголя, позднего Достоевского, раннего Толстого и Всеволода Крестовского «в комплекте»; а выпускники лицея, скажем, еврейского запомнят ломоносовско-державинские переложения Псалмов да «Плач плененных иудеев» Федора Глинки; и те и другие изучат антисемитские сцены «Тараса Бульбы» — в разных целях, — этим и ограничатся.

Шутки шутками, но в нашем разнородном и заново складывающемся государстве, столь же центростремительном, сколь и центробежном, без единого общенационального культурного языка не обойтись. Курянин и москвич, красноярец и екатеринбуржец, шахтер и химик, фермер и врач, русский и чуваш, украинец и поляк, православный и буддист, живя в России, должны понимать друг друга не только в лингвистическом смысле. Понимать хотя бы по минимуму. А для этого память их должна хранить определенный (пусть небольшой, но обязательно совпадающий) набор культурных «кодов», владеть которым — во многом и значит быть россиянином, не чуждым «стране проживания».

Собственно, в этом нуждается любая самостоятельная государственность, особенно в эпоху ее пре-образования; бывшая империя нуждается в этом — вдвойне. И потому помимо школьных программ важно вернуться к одному из последних «завоеваний социализма» (точнее — отвоеваний у него) 70 — 80-х годов — недорогим, но качественным сериям вроде «Классиков и современников», выходящим в

<sup>1</sup> Во избежание недоразумений: речь именно о включении ряда имен и текстов в программы; сами программы должны остаться свободными от контроля золотозубых методических дам.

погубленном ныне «Худлите». (Впрочем, это взаимосвязано: попробуйте настаивать на обязательном изучении Гоголя при недоступности его произведений.) Никто, кроме государства, с этим сейчас не справится — сеть единой книготорговли умерла неестественной смертью; бумага дорога необычайно; акция должна быть не разовой, а системной...

Если же этого не сделать, последствия будут весьма серьезными. Самое очевидное из них — и еще не самое страшное! — окончательная, непреодолимая пропасть между «обычным» читателем и современной — принципиально неклассической! — словесностью, которая вся, как и положено, строится на параллелях с традицией; даже когда с ней демонстративно разрывают — остается линия разрыва, по «зубчикам» которой и считывается авангардный смысл. Следствие гораздо более далекое — все большая изоляция различных «сегментов» нации, все большее взаимное непонимание при невозможности спокойно объясниться на общем языке нашей общей культуры. Склонность к этому взаимонепониманию, взаимопротивопоставлению, даже какая-то смутная тяга к нему в русской душе живет всегда. Не дай Бог дать ему волю — ибо жажда раскультирования сродни стремлению к безответственности; сорвать зло на том, с кем у тебя нет ничего общего, легче, чем на том, кто включен в одну культурную традицию с тобою.

Не знаю, быть может, я зря тревожусь и все преувеличиваю, а дело — в неприятном фоне нынешней реальности? Что правда, то правда: наша издерганная, наша единственно любимая и родная, наша непредсказуемая страна вновь стоит у опасной черты.

Конечно, никакая классика не заменит гражданского мужества и личной ответственности; нужно быть глупцом, чтобы уповать на это. Да и шанс проскочить опасный поворот 1996 года — куда выше, чем шанс в него не вписаться. Но — повторю еще и еще раз! — если классика не может и не должна быть противоядием от настоящего, из этого не следует, что она — ее образы, ее сюжеты, ее пафос — не может стать одной из скреп будущего. Тем более что о главном я так до сих пор не сказал: о свежести воздуха русской культуры, о радости вхождения в нее, об упоительном чувстве простора, ею даруемом, об удовольствии и диалога с нею.

...Слава Богу, русский ум памятлив на цитаты из родной словесности, а русский язык охоч до них. Вот подмосковная сценка «образца» лета 1995 года. Участвуют двое — пенсионерка и ее дачный сосед, сапожник. Она гладит черного кота; он через забор интересуется: «Какой котяра! Настоящий бегемот. Не водите ли вы его гулять на Патриаршие пруды?» — «Что вы! Для этого он маловат». Не знаю, входит ли Булгаков в неизымаемый состав русской классики «школьного ряда», — но по крайней мере в обменный фонд русского бытового языка он, несомненно, вошел. Не стоит разрушать этот фонд — иначе нам скоро вообще нечего будет обменивать.



ФИЛОСОФ В ПОЛИТИКЕ

Е. Н. Трубецкой. *Мирозерцание В. С. Соловьева*. М. Московский философский фонд, «Меднум». 1995. Т. 1. — 604 стр.; т. 2. — 622 стр.

**В** серии «Из истории отечественной философской мысли» (приложение к журналу «Вопросы философии») вышла еще одна книга — переиздание «путевского» двухтомника князя Е. Н. Трубецкого. За шесть лет существования серии мы — философы, филологи, русисты, да и просто любители самобытной русской мысли — настолько привыкли к ней, что принимаем книжки как должное. Часто, не успев перелистать (так и хочется по старинке сказать — не разрезав), ностальгически улыбнувшись привету из «тех еще» лет, когда переизданная ныне книжка с тщанием, от корки до корки прочитывалась в залах Ленинки или в ее спецхране, ставим ее на полку. Или же заносим название в дезидератум своего чтения, расчетливо рассудив, что в наше суетное время как-то даже неловко приниматься за тома, в заглавие которых вынесено архаичное слово «мирозерцание». Не лишним будет вспомнить, что начало серии было положено постановлением ЦК КПСС, за ее материальное и полиграфическое обеспечение взялось могущественное издательство «Правда», и это отнюдь не худшим образом сказалось на качестве издания первых ее томов. Курьезом кажется теперь, что после выхода первого тома серии — «Сочинений» Н. А. Бердяева — в заставке «Философских бесед» академика Фролова на первом канале телевидения в триаде классиков-основоположников произошли перестановки: на месте одного из них, кажется Энгельса, оказался Бердяев. Но когда переиздание русской философской классики перестало быть политическим козырем, появление каждой новой книги серии — плод героического энтузиазма нескольких человек. Отсутствие государственной программы поддержки подобных изданий (не отсутствие таковых программ в принципе, но странный механизм их распределения, благодаря которому их пользователями прежде всего становятся бывшие партийные издательства, имеющие мощные связи) приводит серию, украшающую стеллажи ведущих университетских библиотек и славистских центров мира, на грань гибели. Это и заставляет прежде всего воздать хвалу тем подвижникам, благодаря которым список персоналий серии пополнен одним из самых ярких имен на русском философском небосклоне.

Князь Е. Н. Трубецкой не был обойден вниманием за последние годы, но несогласованность издательской практики привела к тому, что мы имеем три переиздания «Смысла жизни» (книги безусловно значительной, да и привлекающей своим названием неопита, в душе которого, говоря языком Соловьева, еще живет «метафизическая потребность») и ни одного переиздания историко-философских диссертаций об Августине и Григории VII, ни «Метафизических предположений познания», ни, наконец, как воздух необходимых современной бездушной культуре воспоминаний Е. Н. Трубецкого, изданных посмертно в Софии и Вене. Но то, что составители данных томов (под ними, помимо А. А. Носова, видимо, следует подразумевать и «принимавших участие в подготовке» И. В. Борисову, Н. К. Гаврюшину, Т. Н. Панченко и Т. А. Уманскую) не допустили досадного повторения, выбрав для представления Е. Н. Трубецкого-философа «Мирозерцание В. С. Соловьева» — труд, которому было отдано четыре года его жизни (1909 — 1913) и в котором философ соловьевской формации и личный друг Соловьева четко размежевался с ним по ряду положений, — представляет несомненную заслугу участников этого предприятия. Кроме небольшого круга републикаций Е. Н. Трубецкого заметно выделяется предпринятая А. А. Носовым публикация, пока что первая и единственная («Новый мир», 1993, № 9, 10), значительной части переписки Е. Н. Трубецкого и М. К. Морозовой — меценатки, вдохновлявшей и финансировавшей деятельность издательства «Путь» и Религиозно-Философского общества памяти Вл. Соловьева, а также возлюбленной Е. Н. Трубецкого. Эта публикация не только проливает свет на внутренний мир философа, но и, открывая нам уди-

вительный роман, который не в последнюю очередь был инспирирован соловьевской тематикой (ведь, как писал недавно ушедший от нас Ю. М. Лотман, любовь облекает себя в язык и представления своей культурной эпохи), позволяет понять внутреннюю мотивацию, подвигшую автора к работе над «Миросозерцанием...». Е. Н. Трубецкой не докторскую диссертацию сочинял, не плановый ученый труд (помнится, Розанов писал о Соловьеве, что он не будет читаться иначе как для того, чтобы написать диссертацию о Соловьеве!), наконец, книгу нельзя рассматривать только как дань умершему другу. О Соловьеве было немало написано и до выхода в свет книги Е. Н. Трубецкого. Сразу после кончины Соловьева нашлось столько друзей и приятелей, охочих поведать о нем что-нибудь забавное, что этот факт можно без тени иронии сравнить с обнаружившимся в минувшем десятилетии феноменом Высоцкого.

Трубецкой искал у Соловьева и через Соловьева ответа на конкретные вопросы «христианской политики». Критический разбор соловьевской теократии не упрекнешь в недостатке пафоса, с которым философ отстаивает идею гражданской свободы христианина. Написанию книги предшествует «хождение» кн. Е. Н. Трубецкого в политику: он становится членом Государственного совета, едва не попадает в кабинет министров С. Ю. Витте, издает политический журнал «Московский еженедельник», создает из отколовшихся кадетов-аристократов небольшую политическую партию. Не случайно в это время он пишет М. К. Морозовой: «Знаете ли Вы, в чем слабость Соловьева? Несомненно в Обломовщине... Курьезно, что за изображение практического идеального христианства взялся самый непрактический человек, какой только существовал в нашей непрактической России».

Поэтому вполне понятно, почему двухтомник открывается статьей А. А. Носова «Политик в философии». В статье очерчена в основном внешняя канва политической деятельности кн. Е. Трубецкого периода написания «Миросозерцания...» и ближайших к нему лет. Изложения политических взглядов Трубецкого А. А. Носов не дает — за этим читателя следовало бы отослать к «Смыслу жизни», вышедшему в 1994 году в издательстве «Республика», книге, куда вошли избранные статьи из «Московского еженедельника» и публицистика времени Первой мировой войны. Вообще из статьи А. А. Носова выносится отчетливое впечатление, что, хотя интеллектуальная и общественная деятельность Трубецкого была всецело подчинена идее общественного служения (даже Когена с Риккертом, преодолевая скуку, критиковал «в виде послушания и служения своему отечеству»), Е. Н. Трубецкой все-таки скорее остается «философом в политике»: область кабинетной рефлексии была ему гораздо ближе, чем политическая деятельность. Исследователь добросовестно просматривает журналы калужских земских собраний, из которых явствует, что в 1913 году Е. Н. Трубецкой участвует в губернских комиссиях по народному хозяйству, ветеринарному и страховому делу, работает над «Миросозерцанием...» в промежутках между посевами овса и борьбой с проволочным червем. «Солдат, коннозаводчик, поэт и переводчик», — вспоминает А. А. Носов в связи с этим автохарактеристику А. А. Фета. Но это отнюдь не выдвигает в творческой биографии кн. Е. Н. Трубецкого на первое место практика, отводя философию на второй план, а скорее свидетельствует о некой душевной органике, утраченной подавляющим большинством его сподвижников по «Пути». Когда Н. А. Бердяев пишет в 1912 году книгу о А. С. Хомякове, то сколь настойчиво твердит он об Алексее Степановиче — «добрый русский барин», с какою ностальгией вспоминает о поэзии барских усадеб, из которой рождалась славянофильская философия «цельного разума», с каким упоением перечисляет личностные ипостаси Хомякова: страстный охотник, специалист по густопсовым, изобретатель сеялки и лекарства от холеры, врач-гомеопат и только после этого — историк, философ, богослов. Под ногами у Хомякова есть почва, а под ногами Бердяева — кормящегося исключительно литературным трудом и грезящего о «новой религиозности» — ее нет. Когда в 1909 году К. С. Станиславский ставит в Художественном театре «Месяц в деревне» И. С. Тургенева, он делает ставку в концепции спектакля на сентиментальную поэзию ушедшего дворянского быта, и спектакль становится этапным в истории театра. Братья Трубецкие на фоне начала века кажутся по личному складу словно пришедшими из эпохи славянофилов (хотя по мысли они весьма от них отличались). Чтобы убедиться в этом, достаточно перечесть воспоминания Е. Н. Трубецкого «Из про-

шлого», написанные в дни весенней революции 1917 года, когда в сознании его представился светлый образ проданной отцом Ахтырки — дедовского имения.

Мы неспроста вспомнили об этом, потому что нашли в сопроводительных статьях А. А. Носова сходные с бердяевскими тематические акценты (не скажу — тональность, потому что она другая — не лишенная весьма характерной для современного гуманистара, впрочем, весьма симпатичной нам иронии). Так, в материалах, обрамляющих основной текст, подчеркнут интерес к личности философа, его общественной деятельности, творческой биографии, интимной стороне его жизни и на второй план отнесена характеристика его мысли, философской работы. Отсюда и неточность некоторых второпях сделанных замечаний: именование «Смысла жизни» «первой оригинальной работой» Е. Н. Трубецкого (а «Метафизические предположения познания», да и другое?), догадка о том, что если бы Трубецкой не умер преждевременно от тифа в осажденном большевиками Новороссийске в 1920 году, то «в историю русской философии он вошел бы на равных со своим братом Сергеем». Позволив себе не согласиться с такими оценками, отметим все же в подходе этого рода некий симптом нашего времени: в Соловьеве нам гораздо интереснее то, что он «пререкался с чертом» и видел Подругу вечную в Фиваидской пустыне, чем его метафизические размышления о втором Абсолютном, в Трубецком — то, как он мыслил свой духовный союз с любимой сквозь призму страданий Зигмунда и Зиглинды в «Валькирии» Вагнера, чем то, что он думал, скажем, о «творческой причинности» Л. М. Лопатина. Поэтому не случайно внимание А. А. Носова устремлено на личную сторону биографии его героя. Представим себе, что из тесной двухкомнатной квартиры типовой многоэтажки мы попадаем в обжитую дворянскую усадьбу, ходим по ее гостиным, заглядываем в спальни, чуланы, погреба, приоткрываем шторы, находим массу странных и непонятных вещей. Голова идет кругом. Примерно в таком же положении ощущает себя современный исследователь, работая с архивными документами и оживляя тени милых и в чем-то безнадежно наивных людей.

Большое преимущество А. А. Носова, выстраивающего «научный аппарат» двухтомника, как уже говорилось, в том, что он является пока единственным поверенным (разумеется, самовольным) в любовных делах Е. Н. Трубецкого и благодаря их переписке с М. К. Морозовой способен реконструировать историю создания текста «Миросозерцания...», что он и проделывает в приложенной ко второму тому статье «История и судьба „Миросозерцания Вл. С. Соловьева”». История эта начинается письмом Евгения Николаевича брату Сергею, написанным в 1886 году, когда Сергей работал над сочинением о Софии, и повествующем о знакомстве с Соловьевым. Письмо проливает свет на многие расхождения, прежде всего по церковным вопросам, которые станут позже предметом рефлексии в «Миросозерцании...». Крайне интересно и критическое переосмысление Трубецким философии любви Вл. Соловьева, неоправданно распространившего половую любовь на самые высокие ступени любовной «лестницы», — переосмысление, происшедшее под влиянием романа с Морозовой, находившегося в ту пору на пике своего развития. Ценный материал собрал А. А. Носов о наметившемся расхождении Е. Н. Трубецкого с другими сотрудниками «Пути», прежде всего с С. Н. Булгаковым и Н. А. Бердяевым. Здесь были существенны и чисто философские мотивы, например разность в трактовке Софии: Булгаков принимал соловьевскую идею грехопадения мировой души и превращал Софию во «вселенскую хозяйку»<sup>1</sup>, Трубецкой же видел во всем этом проявление пантеизма, признаваясь в предисловии к «Миросозерцанию...», что его всегда отталкивала «пантеистическая гностика Соловьева, перешедшая к нему от Шеллинга и Шопенгауэра», и помещал Софию в трансцендентной, божественной реальности. Подобными расхождениями объясняется и тот факт, что книга, вышедшая в «Пути», содержала указание: «Издание автора».

Что же касается ситуации вокруг книги Е. Н. Трубецкого, то составители поступили разумно, дополнив текст «Миросозерцания...» полемикой двух близких друзей Соловьева — Е. Н. Трубецкого и Л. М. Лопатина, соперничающих в наиболее аутентичном толковании соловьевского наследия, как выразился А. А. Носов, за «право на ношение «крылатки» по праву духовного родства». (Он наметил интереснейшую тему мифологизации образа Соловьева в русском Ренессансе: «Зано-

<sup>1</sup> «...не могу переварить превращение «Софии» во вселенскую хозяйку» (из письма Трубецкого М. К. Морозовой от 10 февраля 1913 года — т. 2, стр. 608).

шенная крылатка становилась культурным символом, подобным пушкинскому перстню».) Poleмика занимает во втором томе более ста шестидесяти страниц. Помимо того что Лопатин — друг Соловьева с семилетнего возраста — сообщает в ней несколько ценных штрихов к портрету философа, включение полемики полезно и тем, что она восполняет практическое отсутствие в двухтомнике философского комментария и представляет исследователям-философам обширную почву для сличения позиций двух рассорившихся в результате этой полемики приятелей. Составители тома буквально спасли этот спор из реки забвения, представив тексты, разбросанные на страницах старых номеров «Вопросов философии и психологии»; нынешние издания редко могут позволить себе такую роскошь. Кстати, любопытствующему представляется возможность уяснить, каков был канон философской полемики того времени. Но мы погрешим против истины, если предложим современникам взять эту полемику за образец. Оппоненты слишком придиричивы друг к другу, демонстрируя уязвленное самолюбие, и спор о том, был ли Вл. Соловьев пантеистом, сводится в конечном счете к сведению личных философских счетов. Мы не видим смысла в том, чтобы восемьдесят лет спустя расставлять в этом споре точки над «і», но не ошибемся, предложив читателю поискать в формулировках спора любопытные психологические черты спорщиков. И детская обидчивость Лопатина, раз и навсегда «от юности своя» сформулировавшего для себя философские принципы, и донкихотство Е. Н. Трубецкого вкупе с тяжеловесной неповоротливостью его мысли (недаром А. Белый сравнил философствующего Евгения Николаевича с медведем, ходящим по канату) демонстрируют неохоту обоих спорщиков хоть на мгновение примерить к себе позицию оппонента, без чего диалогу состояться трудно. Когда полемика идет по второму кругу, читать ее становится скучновато. Но именно в этом споре мы встречаем — едва ли не впервые в русской философской культуре — серьезные аргументы pro et contra соловьевского понимания Софии. Учитывая сложное отношение софиологии к православной догматике, мы можем увидеть в этом столкновении прообраз «спора о Софии» в 1935 году, в период активной богословской работы в парижской эмиграции о. Сергия Булгакова, когда ему оппонировала Московская Патриархия в лице митрополита Сергия и богослова Владимира Лосского.

На наш взгляд, в русской богословской и философской мысли опыт софиологии имеет преимущественно историческое значение и сегодня вряд ли может быть творчески возобновлен. Именно поэтому нам видится актуальным выявление рифов и подводных камней в соловьевской софиологии, с блеском проделанное Е. Н. Трубецким в «Миросозерцании...». Критика софиологии Трубецким вырастает не из отвлеченного представления о субстанции Бога и твари (хотя этому вопросу и посвящена изрядная часть полемики с Лопатиным), а из реального жизненного мироощущения. В одном из писем к М. К. Морозовой из Берлина он рассказывает о своем посещении синематографа, где показывали в течение четверти часа, как личинка водяного жука пожирала прочих водных обитателей. Ощувив весь ужас «бессмыслицы естественного существования», он отписал своей возлюбленной: «Ты не можешь себе представить, как сильно я в эту минуту ненавидел пантеизм и хотел убежать из этого мира. Редко так сильно ощущал «афонское» настроение. Может ли быть клевета на Бога гнуснее той, которая утверждает, что это божественно!»

Наконец, добавим ложку дегтя в бочку меда. Подготовка книги — дело многолетнее и кропотливое, но в теперешней ситуации на это накладываются еще и разнообразные внешние обстоятельства. А. А. Носову удалось сделать многое, чтобы книга была интересной не только аутентичным текстом кн. Е. Н. Трубецкого. Но на двухтомник, увы, легла печать некоторой спешки и мелких недоработок. Носов справедливо отвергает принятую ныне многими комментаторами практику «пояснения понятного». Поэтому мы не упрекаем его в отсутствии, скажем, референций на библейские цитаты. Но если бы редакция пригласила к участию в томе еще одного комментатора, сделавшего бы акценты на философских аспектах работы Е. Н. Трубецкого, то это только раскрепостило бы А. А. Носова для основной части взятой им на себя работы. Изрядное число погрешностей, а также слишком большое для книги, вышедшей в столь хорошо зарекомендовавшей себя серии, количество опечаток и редакторских оплошностей (например, отсутствие специальных колонтитулов для приложения, разночтения в названиях и т. д.) лежат на совести редактора тома. Конечно, опечатки в типографских изданиях есть непременно атрибут и показатель социальных потрясений. Но пунктуальность и пе-



дантизм редактора — не являются ли они первым положительным шагом (пусть весьма еще слабым и несовершенным, — как выразился бы Владимир Соловьев) к восстановлению общественной стабильности?

Алексей КОЗЫРЕВ.



## МЫСЛЬ НА ПУТЯХ ЖИЗНИ

Мераб Мамардашвили. Лекции о Прусте. М. «Ad Marginem». 1995. 547 стр.

**П**оклонники покойного философа ждали эту книгу: в ней соединились любимый жанр Мамардашвили — лекции, любимая тема — опыт сознания, любимый писатель — Пруст. Разговоры о прустовском цикле лекций шли давно, но путь к изданию был проложен долгим, тяжелым, перерастающим в подвижничество трудом редакторов Е. В. Ознобкиной, И. К. Мамардашвили, Ю. П. Сенокосова. Книга — перед нами. Она не обманула ожиданий: это действительно событие.

Философские медитации о художественном тексте или образе стали в последние десятилетия привычным жанром для мыслителей разных школ и направлений. Отвлеченным идеям нужна наглядная реальность для самоутверждения и самооправдания, различные эпохи лишь подсказывают выбор этой реальности: сегодня башмаки Ван Гога или ангелы Рильке представляются таким же естественным предметом приложения философского метода, как в XVII веке — морские приливы и шишковидная железа. В XX веке произошел великий поворот от Мышления к Языку, от науки к мифу, и философы вновь реабилитировали Образ. Однако лекции Мамардашвили не вполне вписываются в эту традицию. Для него роман Пруста — не полигон философских испытаний, а книга-жизнь, книга-судьба. И в лекциях он осуществляет попытку сопоставить и сблизить опыт философского сознания и художественного сознания, жизнь Мысли и жизнь Образа.

Показателен подзаголовок книги — «Психологическая топология пути». Мамардашвили находит некое общее измерение для труда писателя и философа, это — путь душевного опыта, который нельзя преодолеть прыжком или «срезать» движением напрямик. Его нужно пройти шаг за шагом и пережить непредсказуемую разнородность его «топосов», его этапов. Свое предисловие автор заканчивает парафразом высказывания Пруста: «Философия должна реконструировать то, что есть, и оправдать это». Путь — это и есть реконструкция, которая приводит к оправданию, искуплению и обретению утраченного времени. Но Пруст ведь имел в виду (и Мамардашвили специально разбирает это в одиннадцатой лекции) «философию» как свою эстетическую установку, как свое понимание творчества. Значит, «восстановить и оправдать» — это то общее, что делает возможной встречу образа и мысли.

Однако путь, который пройдет вместе с Мамардашвили читатель книги (путь, по-дантовски расчисленный на тридцать три лекции), не приводит ни к «предустановленной гармонии», ни — тем более — к «слиянию» мысли и образа. Недаром один из сквозных мотивов книги — потерянный рай. Дороги философии и литературы проложены рядом, но они — параллельны, им никак не сойтись. Мошь идеи куплена ценой отказа от единичности переживания и непосредственности представления. Мошь образа куплена ценой отказа от дистанции между явлением и смыслом, от преимуществ отвлеченности. Нерв книги Мамардашвили, как представляется, — как раз в этом вопросе: что делать, если встреча образа и мысли необходима, но невозможна? А то, что он делает в своих не дидактических, не поучающих, но посвящающих лекциях, — попытка ответа.

Пруст выступает здесь в роли проводника-Вергилия, конечно же, не только потому, что таковы вкусы автора. Французская литература, начиная с Монтеня, находится в особых отношениях с философией. На заре Нового времени она берет на себя труд философии. Она не «выражает» и не «отражает» идеи, но прodelывает их работу, создавая духовно значимые переживания (в чем она родственна и русской литературе). Стоит заметить, что ей в этом, как ни странно, помогла и сама философия. Нигде в Европе начала Нового времени разочарова-

ние в рациональности не доходило до такого предела, дб такого крайнего отчаяния, как во Франции Декарта и Паскаля. Зато и выход из кризиса породил столь гибкий и многоликий тип рационализма, что его хватило и на искусство, и на литературу, и на этику.

Об утраченном времени литературная Франция стала горевать задолго до Пруста. «Время» здесь надо понимать как естественную способность жизни удерживать в себе смысл, получать человеческую меру. Но кто здесь поможет — сама ли природа или дух? Явно или неявно этот спор всегда присутствует во французской литературе, и мы можем выстроить цепочку ответов от Рабле до постмодернизма. Пруст, может быть, поставил самый чистый литературный эксперимент, поставил буквально на себе самом в своей пробковой лаборатории. Для Мамардашвили опыт Пруста оказался ценнее профессиональных трактатов, поскольку он подсказывал, как могут встретиться навсегда, казалось бы, разлученные образ и понятие. В романе Пруста рассказчик спасает время и себя творческим переживанием, обходясь без обобщающих схем: единичное смогло стать общим, но при одном жизненно важном условии — единственным и за все ответственным звеном связи смысла и образа становится сам рассказчик.

Дело, конечно, не в том, что философия и литература герметически закупорены в своих мирах. Философ и писатель всегда могут рассказать друг другу что-нибудь интересное за чашкой чая с пирожным мадлен. В конце концов, нередко сочетание двух даров в одном человеке. Проблема в другом: без единства образа и смысла нельзя «спасти время», но они ничем не могут помочь друг другу без третьего — опосредующего — звена. То, что этим звеном оказывается личность, — не слишком новое открытие (хотя и не случайно, что история заставляет его постоянно повторять). Новизна опыта Мамардашвили в том, что он на деле, в «пути», показывает, как вести себя личности, подъявшей груз посредничества.

Говоря о способе, каким писатель порождает мудрые мысли, Мамардашвили замечает: у литератора, «да и у всякого нормального размышляющего человека... сила мысли всякий раз состоит из способности переплавлять частные впечатления во что-то общее, оставаясь внутри этих частных впечатлений». Это «оставаясь внутри» особенно волнует Мамардашвили, и многие страницы книги посвящены попыткам разгадать, как это получается у писателя и чему у него можно научиться. Философ проделывает в своих лекциях опыт, параллельный прустовскому. Он строит тип сознания, которое умеет «оставаться внутри», не изменяя долгу мышления.

Один из ключевых приемов Мамардашвили — это акт освобождения от привычных ассоциаций. Ассоциативная масса окружает и образ, и понятие. Она уводит от «пути» в «колею». Поэтому нужно демонтировать автоматические сцепления, освободить представление. И тогда оно может стать сообщением, вестью, а не просто частью непроященного целого. Еще один важный для автора урок Пруста — умение сохранить в составе идеи память о переживании, из которого она родилась. Глубина поэтической тайны, говорит Мамардашвили, которая окружает истину или произведение, «измеряется глубиной того темного пространства, которое пришлось пересечь, чтобы дойти до истины». Вторя Прусту, философ убеждает нас: отсутствие «остаточного следа сумерек» в истине говорит, что ее получили из вторых рук. Сознание, которое научится воссоздавать наличное, будет другим, нетривиальным типом сознания, в поле которого могут по-настоящему встретиться образ и мысль. Не удивительно, что в лекциях то и дело присутствуют еще два великих собеседника автора: Данте и Декарт. Оба гения, каждый по-своему, воплотили в своих трудах принцип «познать — значит сотворить». Данте, возможно, впервые в европейской традиции сделал собственную индивидуальность обязательным звеном в цепи, соединяющей земную и небесную историю. Декарт показал совпадение личного акта самосознания с действительным бытием. Мамардашвили находит в этом глубинное родство с тем, как Пруст восстанавливает «утраченное время», и видит урок такого отношения к реальности, которое возвращает от абстракции к жизни. Более того — к жизни вечно длящейся. Новое переживание бессмертия Мамардашвили считает ключевым и для Пруста, и для себя — мыслителя, идущего за Прустом.

«Нотой бессмертия» автор и заканчивает свой полный интеллектуальными приключениями путь по дороге, проложенной Прустом. «У Пруста совпадают два глубоких и существенных вопроса... Первый вопрос — о реальности произведения

искусства, и второй — о реальности бессмертия души. Ответ на оба вопроса один: стремление показать, что есть реальность бесконечной длительности нашей сознательной жизни, то есть нашей души. Той души, которая очерчена магическим кругом и которую мы и знать не знаем, и отдать на растерзание не желаем никому».

А. ДОБРОХОТОВ.



## УРОКИ ЭРНСТА ТРЁЛЬЧА

Эрнст Трёльч. Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии истории. М. «Юрист». 1994. 719 стр. («Лики культуры»).

**Н**азвание настоящего отклика на труд Трёльча подражательно, притом — осознанно подражательно. Сходным образом — «Уроки Люсьена Февра» — замечательный отечественный медиевист А. Я. Гуревич назвал свое послесловие к сборнику работ французского ученого «Бои за историю» (1991). А. Я. Гуревич настаивает на том, что труды Февра не есть лишь достояние истории исторической науки, но пригодны для историка и сегодня. То же самое я хочу сказать о творении Трёльча.

Я не собираюсь следовать здесь рецензионным стандартам. Книга Трёльча вышла в свет в 1922 году, успела войти в некий набор, обязательный для каждого, кто в той или иной мере интересуется философией истории, и уже по одному этому вряд ли подлежит оценкам, приличествующим новинке. Точно так же я не собираюсь исследовать сочинение немецкого мыслителя — это тема научной студии, она не для журнальных страниц. Но я хотел бы обдумать, какие уроки можно извлечь из чтения «Историзма...», какие проблемы, волновавшие Трёльча, волнуют нас (во всяком случае, меня) и сейчас.

Книга Трёльча — и это придает ей особую остроту для нас сегодня — писалась в 1916 — 1922 годах, когда в пламени Первой мировой войны, в отблесках революций рушился привычный, удобный, стабильный мир европейцев, окружавший автора — профессора Гейдельбергского, потом Боннского, потом Берлинского университетов. История катилась по судьбам людей, и потому резко вставал вопрос: что есть история? как ее познать? Присутствует ли в ней какая-либо логика, или это бессистемное сплетение событий? История в очередной раз предстала данностью, которую необходимо осмыслить.

И тут нам дается первый урок, урок, я бы сказал, научной вежливости. Трёльч никак не первым задумался о сути истории. И, верный старой доброй немецкой, чуточку (или даже не чуточку) тяжеловесной профессорской традиции, он педантично разбирает труды своих предшественников и современников, пересказывает их, иногда, может быть, излишне подробно (это дало повод критикам Трёльча заявить, что он написал не философию истории, а историю философии), спорит с ними, соглашается. Мы уже отвыкли от такой скрупулезности, мы стремимся выкрикнуть свое, настоять на своей неповторимости. А ведь не замечать других — своих коллег, братьев по цеху, просто по разуму — невежливо. Трёльч учит нас: чтобы высказать собственную мысль, надо сначала чутко прислушаться к мысли другого, и только тогда ты не повторишь чужое — хотя бы и невольно.

Но это как бы подготовительный урок. Главное в вопросе: что нужно изучать в истории? Трёльч утверждает, что к окружающей реальности можно подойти двояко: исторически и натуралистически. Можно счесть историю — и историю как процесс, и историю как науку — царством индивидуального, неповторимого. Тогда изучение истории превращается в познание частных, которые принципиально не обращаются в целое, история — в любом смысле — становится пестрым набором феноменов, лишенным стержня.

Сам Трёльч видел опасность такого рода в философии позитивизма, в позитивистски ориентированной исторической науке. Сегодня, казалось бы, позитивизм давно развенчан, заклеен и отвергнут (при этом зачастую отброшены и его положительные стороны — внимание к конкретному факту, нелюбовь к скороспелым обобщениям, тщательное изучение явлений). Но — гони его в дверь, а он в окно,

хоть и в других одеяниях. Потому урок-предостережение против «дурного историзма», как называет его Трёлч, не теряет значения и для нас.

Уже к началу XX века логика исторического исследования привела к тому, что некогда единая историческая наука стала дробиться на многие истории: политическую, экономическую, социальную. А потом появляются урбанистическая история, женская история, история сексуальных меньшинств и т. д. и т. п.

Дробится не только объект изучения. Дробится и позиция исследователя. Автору этих строк случилось побывать в 1995 году на очередном Международном конгрессе исторических наук. Специалисты иногда ставят под сомнение ценность подобных собраний, в которых участвуют добрых две тысячи человек и где зачитываются сотни докладов; но общее впечатление о современном состоянии исторической науки такие конгрессы дают. Главным врагом позитивизма выступил постмодернизм, одержал победу — и что же? В чем принцип постмодернизма в исторической науке? В верной, в общем-то, но доведенной до предела идее: историк связан собственным временем. Крайнее выражение такой идеи: историк вообще не способен писать ни о чем, кроме себя самого. Все позиции равноправны, более того, как напишешь историю, такой она и будет. Никакой единой истории нет, сколько историков, столько и историй.

Второй опасностью Трёлч считает натурализм. «История есть наука, не менее, но и не более» — вот кредо английского историка начала XX века Дж. П. Бьюри, причем под словом «наука» понимается то, что тогда только и считалось наукой в собственном смысле: наука естественно-математического цикла. То есть существуют некие законы истории, столь же всеобщие и незыблемые, как законы физики, и мы можем их познать. Упомянувшийся А. Я. Гуревич рассказывал, что у них в школе, еще перед войной, был учитель, который объяснял абсолютно все массовые движения следующим образом: он начинал фразу — «Правящие классы усиливали эксплуатацию...», и дети должны были ее хором закончить — «народные массы отвечали восстанием». Получается некая социальная физика — действие равно противодействию, угол падения равен углу отражения всегда, везде и при любых условиях. Живая ткань истории просто исчезает. А поскольку в истории на деле все-таки все неповторимо, то многие факты не укладываются в выстроенную по естественнонаучным принципам схему — ну что ж, тем хуже для фактов. И вот на место груды фактов, которые демонстрировал историзм «историзирующий», историзм «натуралистический» воздвигает остроумные, яркие, блестящие, но ни на чем не основанные, чисто умозрительные конструкции.

Все это — и в том необходимость урока-предупреждения Трёлча — не забыто и поныне. Мы вроде бы отказались от жесткой марксистской схемы, более или менее (скорее даже более, чем менее) удачно описывающей экономическую историю XVIII — XIX веков, эпоху классического капитализма, — но схемы, совершенно безосновательно распространенной на историю всего человечества. Однако, откинув одну схему, мы со страстью стали увлекаться иными, не менее, если не более, бездоказательными — не социально-экономическими, так цивилизационными или этническими. Назову лишь действительно крупных ученых (с компиляторами или шарлатанами неинтересно спорить): А. Дж. Тойнби выстраивает некий общий закон развития цивилизаций, Л. Н. Гумилев — тоже общий тоже закон тоже развития, но только этносов. По Тойнби, творческое развитие цивилизации заключается в культурной деятельности, а внешнее расширение, завоевания есть признак либо неразвитости, либо старения цивилизации. Гумилев видит «пассионарность» (качество, с его точки зрения, безусловно положительное), наоборот, в расширении, в освоении пространства, а развитие наук и искусств знаменует симптом снижения этой пассионарности, начало упадка. Все это может быть с равным успехом верно или неверно, хотя бы потому, что отсутствует какой-либо общезначимый критерий. Просто одному война противна — и он видит в ней «надлом» цивилизации. Другой восхищается подвигами — и упадком объявляется снижение героизма.

Выход из положения Трёлч видит в создании, как он ее называет, «материальной философии истории», то есть сочетания идей цельности исторического процесса и опоры на историческую конкретику. Однако, к глубочайшему сожалению, полной разработки этой материальной философии не произошло: перед нами лишь первый том задуманного труда, второй же не вышел, ибо автор умер в 1923 году (наброски будущего сочинения были опубликованы уже посмертно). Поэтому мы можем видеть лишь заявку на указанную философию, некие опорные пункты будущего размышления.

Этими опорными пунктами являются взаимосвязанные понятия культурного синтеза, масштаба исторического исследования и европеизма. Перед нами еще один урок Трельча — урок выбора и оценки области исследования. Вместо множества историй — государств, древних надписей, экономики, быта и многого другого (дробление, как я говорил, не прекращается и поныне: автору настоящих строк довелось держать в руках великолепно иллюстрированную книгу «История кошек» и довольно бедно оформленный сборник «История отхожих мест») — Трельч предлагает положить в центр исследования культуру, которую он понимает как целостную совокупность ценностей — религиозных, моральных, государственных, художественных. Этот урок — помещение культуры в центр исторического познания — пошел впрок (другое дело, что термин «культура» сегодня может пониматься не так, как во времена Трельча): ведь и упомянутые мною научные труды повествуют не о кошках или отхожих местах самих по себе, но о включенности их в человеческую культуру.

Но — задается вопросом Трельч — можем ли мы говорить о человеческой культуре вообще? И отвечает: в сущности, нет. Существуют два масштаба исторического исследования: изучение всего человечества и познание собственной истории. Первое мы можем лишь внешне рассмотреть, вторую — понять изнутри. Не существует — пока — никакой общечеловеческой культуры, есть лишь локальные культуры, и только одна из них наша — новоевропейская.

Вот тут-то и появляется понятие «европеизм», то есть совокупность элементов, эту культуру образующих: христианство, гуманизм, национальные государства, рационализм. Полностью поддающаяся понимающему изучению история — это история Новой Европы, и начинать с ней работать можно в крайнем случае с XV века (появление ренессансного гуманизма), лучше — с XVI века (Реформация, которую Трельч — сам протестантский теолог — считает явлением, создавшим наиболее соответствующую Новой Европе форму христианства), еще лучше — с XVII века (сложение государств современного типа, причем важнейшим событием в этом процессе Трельч считает Английскую революцию), а уж в полной мере — с XVIII века (Просвещение). Предшествующие периоды в истории Европы (остальной мир остается, за одним-единственным исключением, вне рассмотрения) должны быть в поле зрения историка лишь постольку, поскольку они суть этапы на пути сложения европеизма. Первый этап, и единственный неевропейский, — Трельч настаивает на том, что это исключение из общего правила, — еврейские пророки и еврейская Библия, то есть предпосылки христианства. Второй — классическая Греция, о значении культуры которой для Новой Европы много говорить не надо. Третий — мир античного, как выразился Трельч, империализма, то есть эллинистически-римский мир, давший римское право, Империю и христианскую Церковь. И последний, четвертый, этап — западное средневековье (кстати сказать, что отметил и Трельч, — мало изученное в то время), когда не на поверхности, но подспудно сплавлялись, переплавлялись достижения предыдущих этапов и готовился современный европеизм. Исследования XX века показали, что Трельч был прав, что средневековье — не провал между античностью и Возрождением, но необходимый этап в сложении европейской цивилизации. Из сказанного видно, что Трельч не разделял мнения своего современника Шпенглера и не согласился бы с писавшим позднее Тойнби, что никакой единой европейской цивилизации никогда не было, что была полностью завершившаяся античная культура и начавшаяся с раннего средневековья западноевропейская, переживающая ныне упадок (Шпенглер) или сохраняющая еще жизненные силы (Тойнби). Таковы, по Трельчу, хронологические рамки европеизма.

Что же касается географических рамок, то в Европу Трельч включает и Америку, долго бывшую провинцией Европы, но ко времени написания «Историзма...» стремительно вырвавшуюся вперед, и Россию, причем последнюю не без колебания, но все же с верой в ее европейское будущее: «Русские... настолько связаны с Западом христианством и, наконец, своей политикой и экономикой, что их можно рассматривать как одну из его великих сил будущего. Впрочем, это вряд ли произойдет таким образом, как полагают сторонники бурно расцветающей в России большей частью весьма легковесной философии истории панславянского мессианства. Это мессианство со всеми его великими писателями и фантастическими социальными экспериментами, вероятно, — лишь следствие внутреннего противоречия между насильственной европеизацией, проводимой царизмом, и подлинными, пробуждающимися специфическими духовными силами русского славянства. Здесь

едва ли не все еще в движении, но это свидетельствует и о том, как далек еще конец Запада».

Все сказанное выше может вызвать активное возражение. Неужели автор не видит, что мир един? Может быть, правда, в его время это было и не совсем так, но сегодня? Подождем с осуждением трельчевского «культурного империализма» и вдумаемся. Мир действительно становится единым, но что это значит? А то, что, во всяком случае в наши дни, мир един лишь в той мере, в какой те или иные его части в той или иной степени восприняли западную цивилизацию (повторю — в наши дни; в будущем, хочется верить, наступит всеобщий культурный синтез). Намеренно заостряя ситуацию, скажу: джинсы стали достоянием всего общества в Японии, японская поэзия на Западе — достояние немногих.

На обвинения в «культурном империализме» Трельч отвечает уроком собственной европейской идентичности. «Предмет истории существует лишь постольку, поскольку он замкнут в познаваемом смысловом и культурном единстве, а историческое развитие — лишь постольку, поскольку в его основе лежит общий смысл и дух культуры либо поскольку оно образуется в слиянии событий таким образом, чтобы к общему результату культуры вела действительно неповторимая в становлении индивидуальная и конкретная связь». В Европе эта связь одна, в других регионах — другая. И весьма опасно, когда, «используя в действительности только западное, европейско-американское развитие, выдают живущих в этих границах людей за человечество, а само это развитие — за всемирную историю и развитие мира. ...Говорят, что речь идет не о биологическом понятии человечества, а об его идее и идеале, а они развиты в своем определении именно на Западе или — проще — лишь там действительно осуществлены. Но все это не более чем наивное или утонченное высокомерие европейца... В европейском мышлении всегда присутствует завоеватель, колонизатор и миссионер».

То есть европеизм есть точка отсчета, позиция наблюдателя, а не обоснование собственного превосходства. Европеизм нужен нам, чтобы решить собственные проблемы. Европа, европейско-американско-российский мир лежал во времена Трельча в развалинах, и будущее выглядело мрачным (весьма беспросветным представляют его многие и сейчас). «Культура поглощает в конце концов физическую и нервную силу; и, несомненно, приходится считаться с тем, что благоприятный для существования климат будет меняться, а Земля перестанет быть пригодной для обитания. Изображение последнего человека, который печет на последнем угле последнюю картошку... не следует полностью отвергать, и оно, во всяком случае, гораздо более вероятно, чем заверченный социализм, второе пришествие Христа или воспитание сверхчеловека». Но «надо принимать все, как оно есть, и извлекать из данной исторической ситуации высшие силу и прорыв, который она способна дать».

«Мы зависим только от нашего знания и должны... вновь обрести мужество, чтобы с помощью философии овладеть им». Таков последний урок Трельча, урок мужества.

Дмитрий ХАРИТОНОВИЧ.



## ЧИСТЫЕ И НЕЧИСТЫЕ

Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М. «Эллис Лак». 1995. 416 стр.

Русский демонологический словарь. Автор-составитель Т. А. Новичкова. СПб. «Петербургский писатель». 1995. 640 стр.

М. Власова. Новая абевега русских суеверий. Иллюстрированный словарь. СПб. «Северо-Запад». 1995. 383 стр.

**Ж**ивучесть мифологизированных представлений об окружающем мире сама по себе является одним из феноменов общественного сознания. Явная или хотя бы подсознательная вера современного человека в существование «потустороннего» питается как бы из двух основных источников. С одной стороны, этой «полувере» способствует генетическая память предков, заложенная в нас самой принадлежностью к длинной череде поколений: универсум представлялся им наполненным существами и явлениями «иноного мира». С другой — как ни странно —

помогает личный опыт, замешанный на детских страхах, слухах, быличках, свидетельствах «очевидцев» таинственных явлений. Почти каждый может припомнить «подлинный случай», бывший с ним самим, ближайшим родственником, хорошим знакомым.

«Особенно устойчивы представления, связанные с покойниками, домовыми, колдунами, колдуньями, знахарями, повествования о которых широким потоком хлынули сейчас даже на страницы газет. Это не удивительно, потому что всплеск «суеверного сознания» обычно характеризует кризисные эпохи в жизни общества, свидетельствует об известном неблагополучии, шаткости человека в мире, где он ощущает себя окруженным невидимыми, неведомыми, зачастую представляющимися враждебными силами и существами», — пишет М. Власова («Новая абевега русских суеверий»). Бесспорно, что одну из подобных «кризисных эпох» мы сегодня и переживаем. Как бесспорно и то, что, в отличие от современного «суеверного сознания», для «мировоззрения крестьян характерна целостность, синкретичность восприятия мира во всех его частях и проявлениях, постоянное ощущение взаимозависимости людей и природного универсума, включенности человека в космоприродный ритм» (М. Власова). И если «целостность» и «синкретичность» за последние семьдесят — восемьдесят лет были порядком нарушены, то сами суеверные представления не только сохранились, но и приобрели новые, парадоксальные черты: «Так, официальное наделение В. И. Ленина (как и прочих руководителей высокого ранга) почти сверхъестественными способностями привело к тому, что на Русском Севере (*Мурм.*, 1982) к Ленину (как, впрочем, и к А. С. Пушкину) стали обращаться во время гаданий с просьбой „показаться и открыть будущее“. Одна из крестьянок Смоленской области рассказывала, что перед началом Отечественной войны наблюдала пророческое видение на небе: „Открылось все... И явились Хрущев, Маленков... и кто-то третий“» (М. Власова).

Но одно дело — естественное бытование «ненаучных» представлений в народном сознании, другое — их научное (без кавычек) изучение. «Научному» (в кавычках) объяснению разного рода духовных феноменов уделялось специфическое внимание атеистически-разоблачительных изданий вроде тогдашней «Науки и религии». Историко-культурный аспект народных верований имел право хоть на какую-то актуальность лишь в работах по фольклору, истории Древней Руси и — чуть позже — в научных трудах, связанных со «знаковыми системами», где под прикрытием усложненной лексики можно было говорить об очень многом.

Реальным же воссоединением подспудно накопленных знаний и общественного интереса к теме стал выход в 1980 году знаменитого двухтомника «Мифы народов мира», где немало словарных статей было посвящено именно славянской мифологии. Но лишь спустя несколько лет появилось второе издание, а вслед за ним в 1991 году в свет вышел и «Мифологический словарь». Примерно в это же время начался бум переизданий дореволюционной литературы: Забылина, Максимова, Сахарова, Буслаева, Даля, Афанасьева.

И вот наконец пришло время обобщающе-справочных изданий. За последние год-полтора их вышло великое множество. Мы остановимся лишь на трех, очень разных по своему подходу к теме.

Энциклопедический словарь «Славянская мифология» подготовлен сотрудниками Института славяноведения и балканистики Российской академии наук при участии Международного фонда «Культурная инициатива». И является первой серьезной попыткой представить всю «совокупность мифологических представлений древних славян (праславян) времен их единства (до конца I тыс. н. э.)». То есть в данном случае перед нами попытка реконструкции общеславянских дохристианских верований, сделанная на «базе вторичных письменных, фольклорных и вещественных источников»: средневековых хроник, археологических и этнографических материалов, сравнительно-исторических сопоставлений с другими индоевропейскими мифологическими системами. Две вступительные статьи — «Славянская мифология» (В. В. Иванов, В. Н. Топоров) и «Славянские верования» (Н. И. Толстой) — не только вводят в курс научных методов, коими следует руководствоваться при изучении столь отдаленной эпохи, но и дают представление об истории вопроса, о сходствах и различиях бытования мифологических представлений в тех или иных культурно-географических ареалах, об основных культах, обрядах, в главных чертах выстраивают иерархию высших и низших божеств славянского пантеона.

Естественное смешение дохристианских и христианских верований, переход высших славянских божеств в разряд отрицательных или отождествляемых с христианскими святыми (Перун — пророк Илья, Велес — святой Власий, Ярила — святой Юрий, он же — Георгий), а низших — в разряд мелкой нечисти существенно расширили мифологические представления наших предков, что — опосредованно — отражено и в словаре. В словарных статьях достаточно четко прослеживаются сложные и, по всей видимости, драматические взаимоотношения «старого» и «нового», представлен основной ряд богов и святых, сказочных и былинных персонажей, низших мифологических существ и «абстрактных» понятий (богатство, болезнь, ветер, вода, гость, имя, перекресток, могила, порог и т. д.), животных, растений, стихий, народные праздники, обычаи, — словник занимает четыре страницы. Наличествует и указатель имен, мифологических и фольклорных персонажей. Списки литературы даны в конце каждой статьи. Изложение по-научному щепетильно и скучновато. Но последнее, конечно, не есть недостаток такого рода издания. Недостаток, собственно, один, но вполне существенный. Во всяком случае, для обычного читателя, у которого на книжной полке давно стоят и «Мифы народов мира», и «Мифологический словарь» (издания хотя и уникальные по-своему, но не являющиеся библиографической редкостью). Мало того что некоторые словарные статьи в этих двух изданиях повторены слово в слово, они же, эти статьи, оказались столь же пунктуально перенесены в новый энциклопедический словарь. А вступительная статья В. В. Иванова и В. Н. Топорова взята из «Мифов народов мира» (см. том второй — М. «Советская энциклопедия». 1992, стр. 450 — 456). Едва ли можно отрицать научный авторитет авторов фундаментальной статьи, не рискну говорить и о том, что о каждом понятии необходимо было писать заново, если уже существует «классический» текст. Но издательская добросовестность требует хотя бы вкратце упомянуть о фактах заимствований, право на которые никто бы оспаривать не стал. Необходимо, правда, оговориться, что основной корпус «Славянской мифологии» представлен все же оригинальными текстами.

Автор-составитель «Русского демонологического словаря» Т. А. Новичкова, как то и следует из названия, ограничилась описанием существ и понятий традиционной русской демонологии основываясь на работах русских фольклористов XVIII — XX веков, архивных материалах, а также публикациях в периодике, причем использованы не только научно-обобщающие статьи, но и «прямые свидетельства» очевидцев, имевших «сношения» с нечистой силой, то есть былички и бывальщины. Ибо отношение к общезначимой важности предмета автор-составитель исследования уверенно определяет в предисловии: «Вера в демонов едва ли не в большей степени, чем в силы небесные, способствовала душевному равновесию и покою в семье. Приноравливаясь к нечистым духам, человек меньше грешил, боялся проклясть ребенка, поднять руку на родителя, выбраться. У каждого смертного над правым плечом витает ангел-хранитель, который лишь порадует, глядя на добрые дела, и поплачет, видя худые поступки; над левым плечом находится бес — воплощенная активность, он замечает каждый неосторожный шаг и пользуется им, чтобы погубить человека».

Статьи в словаре пространны и содержат множество цитат и комментариев к ним. Тем не менее «Русский демонологический словарь» можно отнести к тому редкому типу справочных изданий, которые можно читать не выборочно, а от начала до конца — почти как знаменитый «демонологический роман» Александра Кондратьева «На берегах Ярыни» (Кондратьев А. А. Сны. Романы, повесть, рассказы. СПб. «Северо-Запад». 1993). Издание иллюстрировано «русскими народными картинками» из собрания Ровинского и лубочных книг, список литературы и указатель имеют место быть.

Название словаря М. Власовой сознательно повторяет в несколько видоизмененном виде заглавие книги М. Д. Чулкова «Абевега русских суеверий» (1786). Причем автор оговаривается, что словарь «содержит пока лишь самый общий абрис доступного автору материала». Однако если даже не учитывать, что перед нами — авторская книга, то и тогда «Новая абевега...» выглядит достаточно фундаментально. Привлечено множество источников, для каждого существа и понятия даны основные варианты их названий, бытовавшие (и бытующие) в различных географических ареалах, к тому же «список» существ по сравнению с любым иным изданием подобного рода более чем значительно расширен. Вступительная статья «О неизвестном» представляет собою широкий очерк быта и нравов русского человека (и не только крестьянина) в части, касающейся в первую очередь его, человека,



взаимоотношений с «иным миром», который в сознании — в некоторой степени и в реальности — вполне благополучно сосуществует с миром «нашим». Обитатели «иного мира» то видимы, то невидимы для людей, попасть в него можно, например, «перевернувшись», «перекинувшись» через условную границу — пень с воткнутым ножом, ножи, коромысло, ветку, веревку. При жизни эту границу могут преодолевать лишь колдуны, остальные же — за редким и порой не самым приятным исключением — оказываются там после смерти. «Иной мир» и враждебен, и добр к человеку в разных своих проявлениях, для потусторонних существ есть места более и менее притягательные; к первым относятся перекрестки дорог, церкви (колокольни), кладбища, заброшенные постройки, из более новых реалий — присутственные места и даже трактор! Несмотря на разрушение всех и всяческих укладов, «многие верования, связанные с областью низшей демонологии, все же бытуют в деревне и сейчас, сохраняя свой самый общий абрис, но постепенно теряя связь с традиционным укладом, бытом. Некоторые из них перешли в городскую среду, продолжают бытовать и в ней» (см. газету «Аномалия», выходные данные которой даны в списке литературы). Для упрощения понимания цитируемых текстов в конце помещен словарь устаревших и диалектных слов. В качестве иллюстраций использованы двенадцать литографий петербургского художника Б. Забирохина (да и вообще нельзя не отметить высокое качество полиграфического исполнения). Вопросы о «реальности» сверхъестественных сил и существ автором сознательно вынесены за рамки книги, посвященной «старшему поколению крестьян России». Этими вопросами положено заниматься другим, оккультным наукам. Но как бы то ни было, силы чистые и нечистые нас по-прежнему в каком-то смысле окружают. Будучи названными и описанными, они становятся как бы более «прирученными». Ценность рецензируемых словарей не в последнюю очередь и в том, что они оказываются своеобразными путеводителями-пособиями: научают отличать чистых от нечистых. По поводу последних можно извлечь немало полезных сведений — в смысле, как с ними бороться, буде встретятся на пути (кстати, хороший повод поговорить о современной политике и политиках — но это уже другая тема).

Напоследок — из личного и самого свежего опыта. Когда я писал эту рецензию, дважды вырубалось электричество, и мой компьютер с явным удовольствием «сжирал» целые абзацы, которые, видимо, оказались не «по душе» тем, о ком там шла речь. Причем полностью свет гас только в моей квартире, у соседей лишь отключались телевизоры. То ли телевизоры и тексты о нечистой силе как-то между собою связаны, то ли... Нет ответа.

Игорь КУЗНЕЦОВ.



# ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

## НА КАМЕННОМ ВЕТРУ

«**Ч**итайте в следующем номере новые стихи Алексея Цветкова» — этот анонс журнала «Арион» (1994, № 3) застал меня врасплох: я как раз решила дать свой ответ на вопрос, почему этот столь одаренный и когда-то весьма плодовитый стихотворец не пишет стихов уже лет десять. Более того: почему новых стихов скорее всего и не последует. Вопрос этот не праздный, ответ на него, думаю, поможет найти того «зверя», который — как на известных картинках-загадках — прячется среди цветковских строк и без которого этих строк правильно не прочесть.

Разумеется, в следующем номере «Ариона» я прочла стихи Цветкова, знакомые мне все до единого, все из четырех его сборников<sup>1</sup>. Но случись для меня невероятное и опубликуй Алексей Цветков новые стихи, это будут стихи другого поэта, не того, кто прошел свою дорогу в поэзии до конца, кто прожил в стихах настоящую жизнь с рождением и смертью (той смертью, за которой следуют начинания на ином поприще), кто последнее стихотворение последней своей книги «Эдем» закончил, будто дверь за собой затворил:

пора в гербарий мое маленькое тело  
добрый вечен говорит луг  
спокойного всегда

милые божьи коровки и лошадки  
резвые лугом адамовичи впереди их отчий  
адам  
идем домой  
эдем

«Вечен» вместо «вечер», «спокойного всегда» вместо «спокойной ночи», «отчий адам» вместо «отчий дом»... «идем домой» — дорога жизни в самом конце закручивается петлей. Застывающие уста пытаются, видимо (так мне, вернее, слышится), повторить «идем домой» — получается... «эдем». Смерть совмещена с рождением.

Земная жизнь по Цветкову — «вечные возвращения», до которых он не большой охотник — как и Заратустра; только Заратустра, услышав о них от карлика, «духа земной тяжести», упал на землю в ужасе и впервые не говорил, а Цветков говорил об этом много, говорил в каждой из трех своих книг. То, о чем не говорил Заратустра, стало в поэзии Алексея Цветкова мощным подводным течением, временами выходящим на поверхность реки — той, что каждый поэт роет параллельно Лете, — бурлением, коловращением слова все о том же. «Но с неводом гнева до звездной поры / Торчу над летейской водой». Гневается он на свойство вечности забывать о «вечных возвращениях» каждого единственного «я» с его «памятью напрасной». Попытаться противостоят такой вечности искусством? Юношеское кипение в истоках цветковской реки антизабвения:

Трудись, душа, в утробе красной,  
Как упряжной чукотский пес,  
Чтоб молот памяти напрасной  
Полвека в щепки не разнес, —

в ее устье сменяется гладью, под которой глубина вечности:

<sup>1</sup> Цветков Алексей. Сборник пьес для жизни соло. Ann Arbor (Mich.). 1978. Цветков Алексей. Состояние сна. Ann Arbor (Mich.). Ardis. 1981. Цветков Алексей. Эдем. Ardis. 1985. Цветков Алексей. Трое. (Совместно с К. Кузьминским и Э. Лимоновым. Предисловие Саши Соколова). Los Angeles. «ALMANAC-Press». 1981.

я видимо вечный который  
не помнит что я это он

Его прикованность с молодых ногтей к парадоксам мироустройства, плоти и духа разрешалась сильными, тяжеловатыми оборотами: «но жгутом пролегает космос / от зубов до прямой кишки». В переплетенности «космоса» и «кишок» — львиная доля нелегкого цветковского обаяния, все это останется с ним до конца, только сместится к порогу почти невыносимой резкости звука.

Цветков приехал в Москву из Запорожья. Его рассказ о своем появлении на свет: «Непочатая кровь бушевала в младенце капризном, / И когда акушер деловитое слово сказал, / Я приветствовал день неказистым своим организмом, / Как чугуевский житель приветствует Курский вокзал», — это одновременно и портрет художника в юности. Я имею в виду столь свойственный ему вначале пафос плотно упакованного свежими образами стиха. Яркий и не источенный столичной иронией, он удачно вписался в неофициальную группу «Московское время» — небольшой круг поэтов, равнодушных и к авангарду для авангарда, и к традиции для традиции, просто безоглядно влюбленных в красоту русской поэзии и стремившихся держаться этого единственного ориентира. Вскоре стремительно мужавший — эстетически — Цветков стал негласным лидером группы.

Традиция, с которой в начале своего пути связывал себя Цветков, явно была не из самых замшелых — молодой Пастернак. О «выборе предка» он объявляет в своей «Генеалогической балладе»: «Но в ритме дыханья, в отливе строки / Таился знакомый до трепета почерк, / Тончайший прицел предвоенной руки. / Там был перебой в направленьях и модах, / Гостиная-память, где в темных комодах / Невиданно хрупок старинный фаянс. / Там путалась с дерзостью робость оленья / И долгие ночи я ждал вдохновенья, / Чтоб росчерком сердца скрепить мезальянс». Зрелый, поздний, Цветков бесконечно далек от пастернаковской поэзии любого периода. И все же близок — стремительностью и воображения, и «росчерка сердца»:

от самого райского штата  
в любом околотке жиллом  
душа как кандальная шахта  
в сибире выходит жерлом

Это из стихотворения, написанного уже в Америке, в эмиграции, где, по счастью, ему удалось сохранить свою органику, свой «неказистый организм». А ирония, неизбежно пришедшая на смену энтузиазму «чукотского пса», у него периодически пробивается разрядами совершенно особого чувства — по ту сторону иронии и пафоса:

протяни онемевшему небу  
тишины неуместную весть  
святой боже которого нету  
страшный вечный которого есть  
одеи моисеевой кашей  
посвети в неживые глаза  
пуст ковчег зоологии нашей  
начинать тебе отче с аза

В стихах, написанных в Америке, Америки нет, узнаваемых черт Америки нет. Как бы ни была хороша Америка, ей не подружиться с Музой этого поэта. С самим Алексеем Цветковым — пожалуйста. Стоит заметить, что повседневная жизнь Алексея Цветкова в Америке сложилась вполне благополучно. Конечно, первые годы были не слишком устроенные, но потом он поступил в аспирантуру Мичиганского университета и защитил диссертацию на тему «Язык Платонова», а затем работал преподавателем русского языка и литературы в одном из американских колледжей. В своих интервью Цветков говорит об Америке с уважением и теплотой отнюдь не из дипломатических соображений. Но при всем том самые трагические стихи были написаны именно в эти благословенные годы, в «райском штате» — надо думать, «у нас в Мичигане», где университет в Анн-Арборе стал пристанищем «американских» звезд русской литературы: Набокова, Бродского, Льва Лосева, Алексея Цветкова, Юрия Милославского.

Стихотворение «на пыльных равнинах невады...» фиксирует изменившиеся отношения с Музой: «мы тщетное небо просили / ознобом костей не ленить / но не было в сердце россии / которую проще винить». Стихи, писавшиеся на родине,

осознаются теперь «почетными речами в петле». Ничего подобного Америка предоставить не может. Не может даже дать ему засушенного хлеба поэтов — воспоминаний о себе. И вот возникают такие американские пейзажи: «урочище адских огней», «тифозные провалы небраски». Бедная Небраска виновна лишь в том, что не имеет ничего общего с содержимым памяти поэта — вызывает ощущение провала в беспмятство, как при тифе. В памяти нового эмигранта его новая страна не задействована, что может казаться совершенно нормальным не-поэту, но поэту без памяти делать нечего. Можно, конечно, воспеть Бруклинский мост или передать экзотику «страны зубных врачей» (Бродский); экзотике новой земли обитания поэты обычно отдают дань, но именно дань («две недели без перемен / я любил тебя мэри энн»), а затем поэт, как рыба, ищет, где глубже — где память глубже. Из нее он извлекает свою любимую — терпкую — музыку, с легчайшей нотой безумия, без которой нет поэзии:

Одного не возьму я в толк:  
У кого занимал я в долг  
Этот хлеб с опресневшей солью,  
Женщин, траченных снежной молью,  
Тишину моего труда,  
Этой водки скупые граммы  
И погост, на котором ямы  
Мне не выроют никогда?

А в стихотворении «уже и год и город под вопросом...», одном из первых представленных графически по-новому для него, это наверно «забвения взбесившийся везувий» — чудо-образ! — разрушает пунктуацию, сметает условности письменной речи:

вперед гармонь дави на все бемоли  
на празднике татарской кабалы  
отбывших срок вывозят из неволи  
на память оставляя кандалы  
вперед колумбово слепое судно  
в туман что обнимает обоюдно  
похмелье понедельников и сред  
очаковские черные субботы  
стакан в парадной статуе свободы  
и женщину мой участковый свет

Здесь «кандалы» — не столько аксессуар советской власти, сколько сама память о родине, конечно. И если от всех прочих пережитков «неволи» вполне можно освободиться, то от пережитков любви — задача безнадежная, он это знал, еще не покинув родины: «Сотрутся детали рисунка / Побегам рек в январе, / Но сердце, как щенная сука, / Вернется к родной конуре. / Обрушатся кровли в Содоме, / Праща просвистит у щеки, / Но будут возиться в соломе / Любви золотые щенки». И участковый врач (как водится, женского пола) теперь видится светящейся статуей, прямо через океан от статуи Свободы...

Изменение стилистики стиха у Цветкова — и минималистская пунктуация, и чокнутый синтаксис — оправданно: таким языком говорит с ним сама жизнь («невадские в перьях красотки / жуки под тарусской корой / и нет объясненья в рассудке / ни первой судьбе ни второй»), и он отвечает ей тем же — не в отместку, а для взаимопонимания. И — густая прошитость текстов цитатами. Цветков тут не постмодернист; просто в «америке стране реминисценций» — а для Цветкова-поэта только такая Америка реальна — воспоминания о родине и ее литературе перемешаны, населяют память на равных правах. И когда у него «как бы из Тютчева цитата / грохочет в небе голубом», то именно такова гроза в начале мая в «америке», смею вас уверить.

Не менее резко, чем техника, изменилось эмоциональное начало его поэзии: именно теперь его стихами завладела ирония. Вобрав в себя страсть (куда же ей деться?), ирония будет уже царить, уступая позиции только смеху разных оттенков — от добродушного, даже любовного (например, в стихотворении о Пушкине «сарафан на девке вышит...»), до самого издевательского, ернического, неконтролируемого, разрушающего речь. И все же ткань стиха при всматривании — при вслушивании! — мерцает тончайшими оттенками душевных состояний, болевыми точками, болевыми нитями. И еще на этой ткани играют, я бы сказала, плато-

новские блики — косноязычная близость слов сокровенных, живых, родных и слов холодных, чужих, слов мира технологии разного рода. (Переплавка платоновской прозаической фразы в поэтическую у Цветкова могла бы стать темой отдельной штудии.)

У Цветкова плотность воображения на «душу слов» — величина, может быть, превышающая возможности слова. Для стихов, как известно, постыднее всего содержать «воду». Мы, правда, обычно прощаем ее автору, если в ней заплещется-таки яркий, весомый образ, как мы спокойно и не без удовольствия наблюдаем за конькобежцем-фигуристом, чертящим круг за кругом перед эффектным прыжком, но вот Цветкова хочется сравнить с фигуристом, делающим прыжки один за другим, без предварительного разбега. В этом движении к языку формул, в выпаривании воды стиха до одних кристаллов соли, Цветков дошел до предела, когда встает вопрос: что же дальше? разрушение кристалла?

Мое знакомство с поэзией Цветкова началось именно с таких «кристаллов» — с незабываемого впечатления от стихов, прочитанных мною в газете «Новый американец». Они были не об эмиграции, но для меня они прозвучали более «эмигрантски», чем заслуженно прославленные стихи Бродского («Ниоткуда с любовью», «В Озерном краю», «Осенний вечер в скромном городке...» и многие другие). Они не описывали эмиграцию, как стихи Бродского, они сами были эмиграцией:

отверни гидрант и вода тверда  
ни умыть лица ни набрать ведра  
и насос перегрыз ремни  
затупился лом не берет кирка  
потому что как смерть вода крепка  
хоть совсем ее отмени

все события в ней отразились врозь  
хоть рояль на соседа с балкона сбрось  
он как новенький невредим  
и язык во рту нестерпимо бел  
видно пили мы разведенный мел  
а теперь его так едим

беспольный звук из воды возник  
не проходит воздух в глухой тростник  
захлебнулась твоя свирель  
прозвенит гранит по краям ведра  
но в замерзшем времени нет вреда  
для растений звезд и зверей

потому что слеп известковый мозг  
потому что мир это горный воск  
застывающий без труда  
и в колодезном круге верней чем ты  
навсегда отразила его черты  
эта каменная вода

Здесь весь образный строй передает такое изменение логики, такое новое зрение, какое приходит только в результате колоссального жизненного потрясения. Да и образы окаменения, замерзания, застывания звучали вариациями на эмигрантскую тему: невозможность прижиться на чужой почве.

Но это прочтение лежит на поверхности, а в глубине «каменной воды» — основной мотив цветковской поэзии: человеческое «я» в западне бесконечного возвращения жизни на круги своя, равносильного ее окаменению. Такое бессмертие ближе вечной смерти, чем вечной жизни. «Каменная вода» — это дурная вечность. Можно не разделять этого мироощущения, но нельзя не признать жуткой красоты его образного воплощения. Что и требуется от художника.

Поэтическое творчество Цветкова — путь избавления от страшных истин мира известным методом: прожить эти истины как свои, проработать их до дна, отдать им существенную часть своей силы — свой талант и тем самым рассчитаться с ними.

Многие другие стихи Цветкова, подпитываемые этой «каменной водой», — на поверхности не столь философские, а, напротив, предельно заниженные, бытовые. Якобы этакая «прозаическая поэзия», якобы этакие «физиологические очерки»!

Это они — рисунки-загадки, где всегда прячется среди быта тот самый его «страшный вечный которого есть» — как, например, в нижеследующем «физиологическом очерке» из прошлого:

в ноябрьский озноб с козырька мавзолея  
совместные луны горят мозолея  
подножье кишит небольшими людьми  
идет сизигия гражданской любви!

чуть схватит чуть станет в бессмертии грустно  
привычные ставни в былое толкни  
огромного мяса оручее русло  
с утробным гранитом по кромке толпы

крепки в голове духовые ансамбли  
медальных не тлеет кольчуг шевиот  
доньне в тромбозных ступнях не ослабли  
вживленные лезвия маршевых нот

мичуринский убран в желудки картофель  
пророческий реет над шествием профиль  
пиджачная пара с воздетой рукой  
и нужды в бессмертии нет никакой

Усладив себя до того самого набоковского холодка в спине невыносимой живостью этой картинки из прошлого (не пропустите смыслообразующую рифму «мавзолея — мозолея!»), где каждое прикосновение кисти воскрешает до боли знакомые черты нашего группового портрета, прислушаемся к запеву второй строфы: «чуть схватит чуть станет в бессмертии грустно». Это, конечно, на мгновение высушились уши цветковской темы вечности.

Любое событие жизни Цветков воспринимает отраженным в «каменной воде», в бессмертии-смерти. Поэтому так сильны в особенности его ностальгические стихи — резонансное явление, по сути дела: смерть помножается на смерть, ведь эмиграция, как известно, уже смерть, то есть репетиция смерти, *petite morte* (малая смерть): «Был я голосом высок / В дружеском совете, / Но рассыпался в песок — / Нет меня на свете».

И благодаря этой репетиции смерти так «круты» его стихи о смерти как таковой. О ней он говорит почти во всех своих поздних стихах (напомню, что имеются в виду стихи человека до сорока лет), но он не из тех, кто прикован к процессу смерти, к фактуре смерти, как, например, Юрий Мамлеев. Смерть у него бесплотна, беструпна. Проблема не в смерти, а в вечности. Это слово в его словаре по частоте использования может соперничать только со словом «смерть». Жизнь человека, по Цветкову, заканчивается не столько смертью, сколько вечностью. Только лучше ли она смерти? Ведь речь идет не о вечной жизни души, а о бесконечности существований отдельных, этак «на полвека», не связанных между собой, не помнящих себя в каждой новой жизни «я»: «я видимо вечный который / не помнит что я это он». Цветков — поэт вечности в том смысле, в каком Бродского можно считать поэтом времени. Как Бродский дал пощупать материал, непостижимую фактуру времени, обтачивающего на своем бесперебойном токарном станке человека, человеческую жизнь, так Цветкову дается ощущение нашего зависания в вечности. Или вот такое сравнение: Бродский как бы пишет в глагольном времени типа английского Present Continuous, а Цветков — в Present Indefinite.

Вечность, по Цветкову, для человека нехороша тем, что от нее человеку достается только «предбанник», читай — земная жизнь: «в промозглом тамбуре пристройся и доспи / на совесть выстроили вечности предбанник». Вечное возвращение «предбанников» — вот что такое вечность в том случае, если из нее не найден выход в иное измерение. Для жизни Цветков находил метафоры и много светлее и много мрачнее, нежели предбанник или тамбур, но и в периоды восторга, и в миги отвращения к жизни его как бы не оставляет некое недоумение, непонимание, некое ощущение нелепости просто быть живущим: «еще всюю живешь и куришь / наносишь времени визит / но в головах дамоклов кукиш / для пущей вечности висит».

Голыми — то есть не потусторонними! — руками нигилизм Цветкова не возьмешь ни причастностью человека к истории: для него это «крошиться поздним

ужином / у клио на клыках», — ни научным познанием мира: «сегодня смерть его невеста / змеи родительской лютей / но смерть науке неизвестна / она лишь опиум людей». Ни ощущением себя частью вечной природы: «так канет бук уже ростки ранимы / страх жизни вхож в зеленое нутро / так лес велик так робок бог рябины / он дым едва а больше бог никто» (есть, правда, у него пронзительное стихотворение «Я мечтал подружиться с совой, но увы...» — о трагедии разлученности с живой природой). Ни, разумеется, земной славой: «еще барбос поднимет ногу / у постамента на тверской», — этим его не утешить: что ему земная слава, если в земной жизни «вечный не помнит что я это он»...

Есть, правда, у него удивительные строки, в которых отражение любви в его «каменной воде» излучает красоту, тепло, а не холод, но ведь для любви никакая философия не писана:

очевидно есть причина  
вечность прочная одна  
что любовь неизлечима  
до финального одра  
лишь бы поступью обратной  
проступала на траве  
в сланце рыбой аккуратной  
четкой мухой в янтаре

Всякому внятен ужас небытия, а вот Цветков — в глубине своей поэт ужаса, точнее, жути бытия. Быть — это так странно, так нелепо:

когда вечерами в семейном кругу  
восстав на полвека из бездны  
я свет зажигаю и трубку курю  
мне мысли мои неизвестны

Как это так — «неизвестны»? Да потому что не «мои»: курит трубку кто-то, кого мне как-то странно считать собою. Но и не собою — невозможно. Или вот такое придуривание: «а я в своей майке и чистых носках / напрасен устройству природы» (очередной платоновский блик?). Цветков никогда не поймет Василия Розанова в его желании прийти на тот свет со своим носовым платком и в своих протертых сапогах. Цветков охотно бы отказался от всего материального еще и на этом свете, включая само телесное «я», «эго»: «иго это эго со всей его едой». Самому убийственному сарказму вплоть до непристойной брани подвергается именно плоть, телесность нашего мира. В ненависти к плоти мира нового ничего нет, за ней многовековая традиция (одна из христианских ересей), у Цветкова ее художественное воплощение принимает раблезианский размах, только с обратным знаком, — не восторг, а отвращение: «везут с полей на всех довольно каши / кипят в борще несметные стада». Его юношеская потрясенность переплетенностью «космоса» и «кишок» уступает место отчаянию, неприятию земного мира. Для него он — «сапожный отпечаток бога».

Более подходящего языка, чем смех, в этой ситуации, конечно, не найти. «Смех уничтожает страх и пиетет... перед миром, делает его предметом фамиллярного контакта и этим подготавливает абсолютно свободное исследование его» (Бахтин).

Цветков своим кощунственным смехом многих шокирует, что-то в нем есть от *enfant terrible*, резвящегося в «мире высокого и прекрасного». Но он не *enfant terrible*, а просто *enfant* в своей профессии поэта — вечного ребенка. Все эти вопросы — что такое мое «я», чужое «я», начало и конец жизни, вечность, то есть вопросы, порожденные противоречием между непрерывностью мира и дискретностью сознания, — детские, то есть поселяющиеся в человеке с момента появления самосознания. В юности Цветков говорил о них взросло и красиво, а в зрелости, овладев многими секретами словесного мастерства, мог уже позволить себе высказаться по поводу «вечных вопросов» так, как они действительно забавляли и мучили его всю жизнь.

Созданный им мир одновременно притягивает и отталкивает; притягивает — потому что его ландшафты кажутся просто высверленными из твоей собственной черепной коробки («я видимо вечный который не помнит что я это он» — этой формулой он точно заслужит благодарность потомков в вечности, да и, надеюсь,

современников); отталкивает — за счет того же: мир его невыносимо герметичен, черепная эта коробка ощущается тюрьмой осязательно; пульсирование крови, нервов внутри «эго» передается через однообразные бубнящие ритмы. «Эго» действительно становится «игом», но не потому, что «иго это эго со всей его едой». Беда — не в плотской природе человека, беда — в заточенности в «эго». А здесь мы ему хозяева. (Что и продемонстрирует сам Цветков — перестав писать стихи.)

Обвинить поэта-лирика в эгоцентризме — значит заслужить упрек в тавтологизме; так что я не обвиняю, а просто констатирую факт доведения до совершенства жанровой особенности — у нее несколько синонимов: лиризм, персонализм, монологизм. Но время не стоит на месте; меняется, расширяется понятие личности, по-новому сознается само сознание. Наш век, с одной стороны, осветивший подвалы сознания (индивидуальное и коллективное подсознательное), а с другой стороны, высветивший его верхние этажи — диалогическое мироощущение с его неевклидовой концепцией «другого», «чужого», «ты», — наш век переосмысливает, то есть расширяет, и жанр лирической поэзии. Равнозначно ли освобождение от «ига эго» сдаче лирического поэта?

Для Цветкова, кажется, да. Он может вспомнить, что «я это он» — «вечный» — только за пределами времени. А та память, которую он обретает там, где «времени больше не будет», не говорит языком жизни, языком поэзии — стало быть, стихов больше не будет.

Поэзию Цветкова пронизывает с головы до пят стремление индивидуального сознания выйти на следующий уровень. Подобное стремление, разумеется, всегда было и есть, оно равносильно эволюции, но не всякое искусство эволюцию человеческого духа фиксирует. С этой точки зрения Алексей Цветков — один из самых «передовых» художников. *«Ищу какой-то третьей стороны у плоскости, дарованной сознанию»*, — писал он еще в начале своего пути. «Третью сторону» он нашел в христианстве. Эту сторону он в своих стихах нам не показывает. У него, строго говоря, нет религиозных стихов, хотя там и сям он роняет прощальные слова, говорит, куда он уходит. Есть у него в «Эдеме» и отдельное замечательное стихотворение на евангельский сюжет: «в полдневную темень на страшном ветру...». В подтексте финала стихотворения и исповедь, и пророчество — мол, вера приходит трудно, но неизбежно: «еще не гасила Мария огня / вперясь в непроглядную стену / еще в обещание третьего дня / не верилось крестному тлену».

В этом стихотворении у Цветкова другой голос — не барочный, так сказать, а классический: строгий, ясный, чистый. Безличный. «Просто голос». Так назовет он поэму в прозе, которую пишет последние десять лет и опубликованные в периодике отрывки из которой дают представление о начале действительно нового пути, нового художника, судить о котором время еще не пришло.

Но я не духовные гимны —  
Военные песни пою.  
И строки мои анонимны,  
Как воины в смертном бою.

Пока Цветков вел свой смертный бой с вечными вопросами — «на каменном ветру», — он писал стихи. Но когда он свой бой счел выигранным, военные песни он петь перестал. Воином поэт Алексей Цветков покинул поле брани.

Лиля ПАНН.

Нью-Йорк.





---

---

# ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ



**I. ERIDANO BAZZARELLI. Scritti scelti. Milano, 1994. 525 p.  
ЭРИДАНО БАЦЦАРЕЛЛИ. Избранные сочинения\***

Профессор Эридано Баццарелли — виднейший итальянский русист: исследователь и переводчик. Итоговая, по существу, книга избранного — как бы зеркало всей его творческой жизни, в которой главным была любовь к русской литературе. Любовь эта родилась, как вспоминает в предисловии автор, в «одном из самых мрачных, дьявольских мест нашего ужасного двадцатого века, а именно в нацистском концлагере». Заключенный в Маутхаузен антифашист Баццарелли подружился с несколькими русскими военнопленными, один из которых отдал ему телогрейку и тем спас ему жизнь...

Преимущественная привязанность Баццарелли — русская поэзия. Причем свой рабочий метод автор определяет как «передачу волнения», вызванного произведением, в сочетании с «экзистенциальным на него ответом», в чем и состоит подлинное понимание художественного факта.

Книга (изданная Миланским университетом) открывается филологическим и историко-литературным анализом «Слова о полку Игореве». За этой работой следуют «Заметки о Пушкине» — о «Кавказском пленнике», «Гавриилиаде», «Бахчисарайском фонтане», «Цыганах», «Медном всаднике», «Моцарте и Сальери», «Каменном госте». Вопреки скромному наименованию это более чем «заметки»: это углубленные размышления, сочетающие проницательность аналитика с энтузиастической влюбленностью в поэта. К циклу «Заметок...» примыкают отдельные пушкинианские штудии, среди которых выделяется по широкому сопоставительному горизонту статья «Пушкин и Бедный рыцарь» (предыстория знаменитого стихотворения, его родословная: неорыцарская романтическая поэзия, «Дон Кихот» Сервантеса; его «потомство»: «Идиот» Достоевского, культ Прекрасной Дамы в поэзии русского символизма). Чрезвычайно широк историко-литературный охват и в «Заметках об антологическо-элегийной линии и об анакреонтических отголосках в лирике Пушкина». Наряду с Пушкиным и в сходном ракурсе рассматривается поэма Лермонтова «Демон».

Но особые избранники Баццарелли среди русских поэтов — Тютчев и Блок. Он их не только интерпретировал в качестве филолога, он их перевел прекрасными итальянскими стихами. Именно Тютчев был «первой любовью» Баццарелли, чьи «Заметки о поэтическом языке Федора Ивановича Тютчева» (1959) оказались первым в Италии исследованием на эту тему. А к 1993 году относится статья «Поэзия Тютчева» — о стихах поэта, прочитанных «как единое глубокое целое». Что касается несколько более позднего обращения итальянского ученого к А. Блоку, то помимо статей, вошедших в сборник («Заметки о поэтическом синтаксисе Блока» и «Замечания об анжамбемане у Блока»), Баццарелли принадлежит монография о поэте, и опять-таки переводы многих его стихов; Баццарелли — вдохновитель работы над «Словарем Блока», начатой учениками профессора.

Следует, однако, заметить, что внимание исследователя не обходило и русскую прозу (Достоевского, Толстого, Тургенева). Среди этих работ наиболее примечательны статьи, посвященные писателям, связанным родственностью поэтической: Гоголю и Михаилу Булгакову (о «Мертвых душах», «Шинели», о «Мастере и Маргарите»).

---

\* Эта и следующая монографии, помеченные 1994 годом, поступили в книжные магазины Италии отнюдь не в первые месяцы года 1995-го. Случай привычный.

В книге представлены и образцы сравнительного литературоведения. Это исследования о рецепции Анакреона в России и о реминисценциях из древних классических литератур — греческой и латинской — в творчестве Тургенева. Интересны статьи, раскрывающие присутствие в русской литературе «вечных» мотивов или, вернее, вечных типов: Федра в поэме Марины Цветаевой, образ Дон Жуана в русской литературе, прошедший путь с конца XVIII века через творчество Пушкина, А. К. Толстого вплоть до начала века XX — у символистов и акмеистов.

В приложении — библиография трудов Э. Баццарелли.

**II. SCRITTORI RUSSI A BERLINO, a cura de Rossane Platone. Napoli. 1994. 389 p.**

**РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В БЕРЛИНЕ.**

Книга, вышедшая под редакцией профессора Миланского университета Россаны Платоне, знакомит итальянского читателя со столь значительным аспектом русской литературы в изгнании, как литературная жизнь в Берлине в начале 20-х годов (1921 — 1923). Антология (каковой по преимуществу и является это издание) состоит из двух частей. В первую включены статьи, печатавшиеся тогда в русских берлинских журналах, таких, как «Беседа», «Грани», «Медный всадник», «Русская книга», «Новая русская книга», «Новости литературы», «Сполохи», «Струги», «Веретено» и др. Среди проживавших в те годы в Берлине авторов (уже избравших путь эмиграции или еще не порвавших связей с советской Россией) — имена, представительные для русской литературы: Андрей Белый, Владислав Ходасевич, Алексей Ремизов, Борис Зайцев, Илья Эренбург, Виктор Шкловский, Алексей Толстой, Владимир Сирин (Набоков), Марина Цветаева.

Во вступительной статье Р. Платоне дает общую оценку места «русского Берлина» в эмигрантской литературе, излагает историю формирования этого русского литературного центра и убедительно характеризует его «тупиковую» ситуацию (в большей степени тупиковую, нежели в случае русского писательского Парижа): замкнутость, неконтактность с европейскими литературными направлениями тех лет, с разными течениями авангарда, в первую очередь — немецкого. Автор предисловия также останавливается на «берлинской» судьбе ведущих русских писателей — Андрея Белого, А. Ремизова, Б. Зайцева, Алексея Толстого. Это литературные «микропортреты», написанные живо и с несомненным критическим талантом.

Вторая часть книги (составленная Клаудией Скандурой) более специфична — посвящена приложениям к газете «Накануне» («Литературное приложение» и «Литературная неделя»). Если в первой части помимо статей представлены стихи Марины Цветаевой, Владимира Сирина, И. А. Бунина, рассказы М. Зощенко, Тэффи, Б. Пильняка, то здесь почти все страницы отданы литературной критике и публицистике. Нужно отметить включение таких текстов, как статьи «Валерий Брюсов — мастер стиха» Романа Гуля, «Андрей Белый как мыслитель» Э. Голлербаха, «О новой литературе» Ал. Толстого, «В театре у Мейерхольда» С. Боброва. Вступительная статья составителя второй части посвящена истории газеты «Накануне» и двух ее литературных приложений, судьбам видных сотрудников этих изданий (К. Чуковский, Не-Буква, Ал. Толстой).

Антология выгодно отличается тем, что тексты в ней даются полностью, а не в отрывках, и притом в очень хороших переводах. Она открывает возможность знакомства с важным этапом в бытии русского литературного зарубежья, и более того — с некоторыми острыми полемическими конфронтациями в берлинском его «центре» (менее изученном, заметим, чем парижский).

В приложении — указатель полного содержания (по номерам) журналов, материалы которых использованы в книге.

**III. M. BULGAKOV. L'ispettore generale. Milano, Mondadori, 1995. A cura di Giovanna Spindel. 108 p.**

**М. БУЛГАКОВ. Ревизор.**

Не будет преувеличением сказать, что в Италии из русских писателей больше и лучше всего знают М. Булгакова. Главные его произведения давно и по несколько раз переводились и печатались; роман «Мастер и Маргарита» стал предметом инсценировок и постановок. Но вот известная русистка профессор Туринского

университета Джованна Спендель расширила знакомство итальянского читателя (да и не только итальянского) с русским писателем. Она осуществила новую публикацию киносценария, написанного Михаилом Булгаковым по «Ревизору» Гоголя. Сам факт существования этого текста (под заглавием «Ревизор — кинокомедия по Н. В. Гоголю — вариант с кукольным театром») знаменателен для литературных занятий Булгакова в середине 30-х годов, когда он вплотную обращается к Гоголю (инсценировка «Мертвых душ» и киносценарий по тому же произведению). И шире — для его литературной преемственности по отношению к Гоголю.

В предисловии Дж. Спендель изложена история работы Булгакова над текстом гоголевской комедии, чему дало толчок предложение, в августе 1934 года сделанное писателю «Украинфильмом». Исследовательнице удастся отграничить текст, созданный Булгаковым в феврале 1935 года для звукового кино (к нему писатель добавляет затем вариант для кукольного театра), от последующих текстов, в которых появляется соавтор — режиссер М. С. Коростин — и в которых участие Булгакова уменьшается. По этому последнему варианту, подписанному Булгаковым и Коростиным, будет сниматься фильм, а текст его будет опубликован в 1983 году. Публикация же в итальянском переводе, предложенная Дж. Спендель, воспроизводит первоначальный булгаковский текст, еще не печатавшийся по-русски. Сценарий, созданный Булгаковым, при некотором естественном для возможностей кино расширении (пейзаж Петербурга, присутствие самого Гоголя, гротескный образ Николая I), сохраняет в общих чертах известное содержание «Ревизора». В качестве дополнений к публикации в книгу включены письма М. А. Булгакова (1931 — 1937), в которых отражаются его творческие заботы и поиски, выдержки из дневника Е. С. Булгаковой за 1934 — 1935 годы, касающиеся переработки «Ревизора» для кино, и письмо Е. С. Булгаковой к Сталину о литературном наследстве Булгакова.

**Татьяна НИКОЛЕСКУ.**

Милан.



---

---

## КНИЖНАЯ ПОЛКА



**Белла Ахмадулина.** Стихотворения. М. «Слово». 1995. 104 стр. 1000 экз.

**Н. Берберова.** Курсив мой. Автобиография. Вступительная статья Е. В. Витковского. Комментарии В. П. Кочетова, Г. И. Мосешвили. М. «Согласие». 1996. 736 стр.

Первое полное книжное издание самой известной книги Нины Николаевны Берберовой (1901 — 1993). Печаталось по второму, дополненному и исправленному автором нью-йоркскому изданию 1983 года. В текст составленного Берберовой обширного «Биографического справочника» введены пояснения и примечания комментаторов настоящего издания. В Приложении — записи бесед и интервью с Берберовой, сделанные Феликсом Медведевым накануне и во время поездки писательницы в Россию. Издание снабжено именным указателем.

**Роберт Бернс.** Стихи. В переводе С. Маршака. М. «Художественная литература». 1995. 256 стр. 10 000 экз. На английском и русском языках. Формат 68 × 95 мм.

**Б. Брейз.** Бретонские народные баллады. Составление, перевод, послесловие Е. Баевской, М. Яснова. СПб. «Искусство-СПБ». 1995. 223 стр. 5000 экз. 70 × 96 мм.

**Максимилан Волошин.** «Жизнь — бесконечное познание». Стихотворения и поэмы. Проза. Воспоминания современников. Посвящения. Составление, подготовка текстов, вступительная статья, краткая биохроника, комментарии В. П. Купченко. М. «Педагогика-Пресс». 1995. 576 стр. 10 000 экз.

Книга иллюстрирована фотографиями поэта и его окружения, а также коктейльными акварелями Волошина. Треть ее занимают воспоминания о поэте Михаила Дьяконова, Евгении Герцык, Марины Цветаевой, Александра Бенуа, Георгия Шенгели, Э. Миндлина и других.

**Герман Гессе.** Кастальский ключ. Избранные стихотворения. Перевод, составление А. И. Немировской. М. «Версты». 1995. 254 стр. 1000 экз.

**Э. Т. А. Гофман.** Избранные произведения. В 3-х томах. Том I. Кавалер Глюк. Дон-Жуан. Золотой горшок. Щелкунчик и мышинный король. Майорат. Мастер Мартин-бочар и его подмастерья. Выбор невесты. Перевод с немецкого Н. Касаткиной и других. М. Совет ветеранов книгоиздания. Агентство «Роспечать». 1995. 400 стр. 21 000 экз.

**Осип Мандельштам.** Полное собрание стихотворений. Составление, подготовка текста, примечания А. Г. Меца. СПб. Гуманитарное агентство «Академический проспект». 1995. 718. 5000 экз.

**Морис Метерлинк.** Разум цветов. Составление и примечания В. С. Кулагиной-Ярцевой. М. «Московский рабочий». 1995. 493 стр. 11 000 экз.

Натурфилософские эссе «Двойной сад», «Разум цветов», «Жизнь пчел», «Мудрость и судьба»; стихотворный цикл «Двенадцать песен» в переводе Георгия Чулкова. В качестве предисловия — биографический очерк Николая Минского (Виленкина), написанный в 1914 году.

**Генри Миллер.** Дьявол в раю. Перевод И. Куберского. Тропик Рака. Перевод Г. Егорова. СПб. Гуманитарное агентство «Академический проспект». 1995. 352 стр. 10 000 экз.

Образчик поздней прозы Генри Миллера «Дьявол в раю» (1957) — последняя книга трилогии «Большой Сур и апельсины Иеронима Босха».

**Генри Миллер.** Избранное. Романы, повести, эссе, рассказы. Автобиография. В переводах А. Зверева, З. Артемовой, А. Куприна, Н. Пальцева и др. Составитель Н. Пальцев. Вильнюс. «Полина». 1995. 749 стр. 20 000 экз.

Вошли: романы «Тропик Козерога», «Черная весна»; повести «Тихие дни в Клиши», «Мара из Мариньяка»; автобиография «Моя жизнь и моя эпоха»; рассказы, эссе «Размышления о писательстве».

**«Мы жили тогда на планете другой...».** Антология поэзии русского зарубежья. 1920 — 1990. (Первая и вторая волна). В 4-х книгах. Книга I. Составление Е. В. Витковского. Биографические справки, комментарии Г. И. Мосешвили. М. «Московский рабочий». 1995. 494 стр. 11 000 экз.

**Мария Петровых.** Стихи. Составители Н. Н. Глен, А. В. Головачева. М. «ЯникО». 1995. 126 стр. 250 экз. Формат 40 × 50 мм.

**Игорь Северянин.** Ноктюрн. Составление Е. А. Власова. М. «Яуза». 1995. 192 стр. 20 000 экз.

**Леонид Филатов.** Про Федота-стрельца, удалого молодца. Сказка для театра по мотивам русского фольклора. М. «ЯникО». 1995. 186 стр. Формат 45 × 72 мм.



**Архимандрит Августин (Никитин).** Православный Петербург в записках иностранцев. СПб. ТОО «Журнал НЕВА». 1995. 224 стр. 10 000 экз.

Автор, доцент Санкт-Петербургской духовной академии, магистр богословия, собрал и обработал разного рода свидетельства о религиозной жизни Петербурга, истории его храмов, о типах петербургского духовенства, принадлежащие иностранцам и сохранившиеся в европейских газетах и журналах последних трех веков, в дневниках, частной и дипломатической переписке.

**С. Асенин.** Уолт Дисней. Тайны рисованного киномира. М. «Искусство». 1995. 348 стр. 5000 экз.

**Л. М. Баткин.** Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М. Издательский центр РГГУ. 1995. 446 стр. 2800 экз.

**Петр Вайль, Александр Генис.** Русская кухня в изгнании. Сборник эссе. Вступительная статья Л. Лосева. М. «Независимая газета». 1995. 174 стр. 10 000 экз.

Переиздание одной из самых остроумных кулинарных, а также культуроведческих и «страноведческих» книг.

**М. Л. Гаспаров.** Занимательная Греция. Рассказы о древнегреческой культуре. М. Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина. «Новое литературное обозрение». 1995. 382 стр. 10 000 экз.

**Дневник Марины Мнишек.** Составление, перевод, вступительная статья В. Н. Козлякова. Комментарии В. Н. Козлякова и А. А. Севостьянова. СПб. Издательство Дмитрия Булавина. 1995. 201 стр. 2500 экз.

Впервые на русском языке полный комментированный перевод так называемого «Дневника Марины Мнишек» — записок безымянного поляка, находившегося в свите Марины Мнишек и оставившего описание событий 1604 — 1609 годов.

**И. Дункан, А. Р. Макдугалл.** Русские дни Айседоры Дункан и ее последние годы во Франции. Перевод с английского, вступительная статья, комментарий Г. Г. Лахути. М. «Московский рабочий». 1995. 272 стр. 11 000 экз.

**Записки Михаила Васильевича Сабашникова.** Подготовка текста А. Л. Паниной и Т. Г. Переслегиной. Предисловие, примечания, указатель имен А. Л. Паниной. М. Издательство имени Сабашниковых. 1995. 588 стр. 15 000 экз.

Впервые полный, без купюр, текст мемуаров М. В. Сабашникова. Это издание — попытка возобновить мемуарную серию «Записки прошлого», выпускавшуюся издательством М. и С. Сабашниковых в 1925 — 1934 годах.

**Ю. Ильин, С. Михеев.** Великий Карузо. К столетию начала творческой деятельности. СПб. «Глаголь». 1995. 262 стр. 3000 экз.

**Мих. Лифшиц.** Очерки русской культуры. Из неизданного. Составители В. М. Герман, А. М. Пичикян, В. Г. Арсланов. М. Издательство «Наследие», ТОО «Фабула». 1995. 246 стр. 1000 экз.

В новый сборник Михаила Александровича Лифшица (1905 — 1983) вошла стенограмма курса лекций «О русской культуре и ее мировом значении», прочитанных в 1943 году; работы «Карамзин», «„Горе от ума“ Грибоедова», «Пушкин и его время. Главы незавершенной работы». В Приложении помещены заметки об «Одном дне Ивана Денисовича» А. Солженицына и наброски воспоминаний о Твардовском. Отсутствие комментариев составители объясняют крайне жесткими временными рамками, в которые были поставлены издательством.

Составитель С. Костырко.

---

---

## ПЕРИОДИКА



*«Вопросы литературы», «Грани», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Москва», «Московские новости», «Наш современник», «Нева», «Независимая газета», «Новая Европа», «Октябрь», «Русская мысль»*

**Владимир Амфитеатров-Кадашев.** «Колоритные фигуры нашей дурацкой эпохи». Из записок контрреволюционера. Публикация Сергея Шумихина. — «Независимая газета», 1995, № 110, 31 октября.

Дневники и записные книжки В. А. Амфитеатрова-Кадашева (1888 — 1942) — старшего сына писателя А. В. Амфитеатрова. Хранятся в РГАЛИ. Публикуемые записи относятся к 1918 — началу 1919 года. См. также еще одну подготовленную С. Шумихиным публикацию из тех же дневников в «Общей газете» (1995, № 45, 9 — 15 ноября).

**Алексей Антонов.** Внуяз. — «Грани», № 177 (1995).

«Внуяз» — термин, навеянный оруэлловским «новоязом». Анализируется «внутренний язык» в некоторых произведениях В. Пелевина и А. Кима.

**Александр Бородыня.** Гонщик. Роман. — «Октябрь», 1995, № 10.

Зона. Охрана. Зеки. Гонщик — не тот, кто гоняет(ся), а тот, кто «красиво гонит» — рассказывает, врет. В то же время, как это часто бывает у Бородыни, зона — не совсем зона, Россия — не вполне Россия и Земля — не Земля.

**С. Бочаров.** Холод, стыд и свобода. История литературы sub specie Священной истории. — «Вопросы литературы», 1995, выпуск V.

Гоголь, Достоевский («Бедные люди») — шаг за шагом выявление смыслов.

**Марина Бувайло.** Stille Nacht. Повесть. — «Звезда», 1995, № 10.

Повесть о любви. Автор — Марина Бувайло (Хэммонд) — живет и работает в Лондоне. См. в № 12 «Нового мира» за 1995 год ее рассказ «Календарь».

**Георгий Владимов.** Кому память, кому слава, кому темная вода... — «Русская мысль» (Париж), 1995, с № 4100 по № 4108.

Глава из романа «Генерал и его армия», не вошедшая в журнальный вариант («Знамя», 1994, № 4, 5).

**Нина Габриэлян.** «Я эти песни выдумал всем телом...». — «Вопросы литературы», 1995, выпуск V.

О поэзии — уже полузабытого — Евгения Винокурова.

**Рената Гальцева.** Пушкин и свобода человека. — «Новая Европа». Международное обозрение культуры и религии. № 6 (1995).

Доклад на конференции «А. С. Пушкин и современная культура» (Москва, январь 1995 года). Тут же печатается доклад М. А. Новиковой (г. Симферополь) «Нужен ли Пушкин западноевропейской культуре?».

**Майя Ганина.** Оправдание жизни. Субъективная эпопея. — «Москва», 1995, № 10, 11, 12.

По замыслу автора, «четыре главных героя... суть четыре ипостаси одного и того же характера» русского интеллигента. В книге есть отравления, похищения, шантаж и раздумья о судьбе России.

**Герман Гессе.** Петер Каменцинд. Повесть. Перевел с немецкого Роман Эйвадис. — «Нева», 1995, № 10, 11.

Повесть, написанная в 1902 — 1903 годах и впервые опубликованная в 1904 году, сделала молодого автора знаменитым. История крестьянского юноши.

**Дневники Л. Ю. Бердяевой.** Публикация и введение Владимира Безносова. Предисловие и комментарии Е. В. Бронниковой. — «Звезда», 1995, № 10, 11, 12.

Дневники Лидии Юдифовны Бердяевой (1874 — 1945), жены знаменитого философа, относятся к 1934 — 1945 годам. Хранятся в РГАЛИ.

**Ежи Журек.** Казанова. Роман. Перевела с польского К. Старосельская. — «Дружба народов», № 10, 11, 12.

Ежи Журек (род. в 1946) — филолог, журналист, автор двух романов, нескольких пьес. В предлагаемом романе (сокращенный вариант) описывается недолгое пребывание Казановы в Польше на обратном пути из Петербурга.

**Павел Зайцев.** Записки пойменного жителя. Вступительное слово Юрия Кублановского. — «Наш современник», 1995, № 11, 12.

Полный текст воспоминаний потомственного мологского крестьянина П. И. Зайцева (1919 — 1992). Фрагмент его записок печатался в «Новом мире» (1994, № 11). Превосходным русским языком рассказывается о том, что было раньше в Молого-Шекснинской пойме, затопленной весной 1941 года Рыбинским водохранилищем.

**Наталья Иванова.** Квартирный вопрос. — «Знамя», 1995, № 10.

Пастернак, Мандельштам. Быт, безбытность. Квартира, трамвай.

**Владимир Крупин.** Вася, отбрось костыли. Правдивейшая история... — «Москва», 1995, № 10.

«...о том, как Вася Заремба, коммунист и зять генерала, при социализме чуть не попал в тюрьму, но был спасен демократами, о том, как те же демократы Васю погубили, как Вася попал в лапы к протестантам, а потом прозрел...» Это подлинный авторский подзаголовок.

**Б. С. Кузин.** Воспоминания. Вступительная статья, публикация и подготовка текста М. А. Давыдова. — «Дружба народов», 1995, № 11.

Главы из воспоминаний биолога Бориса Сергеевича Кузина (1903 — 1973) о Московском университете 20-х годов. Мемуаристу, близкому знакомому Мандельштама, посвящено его стихотворение «К немецкой речи».

**Вячеслав Курицын.** Три песни о Родине. — «Октябрь», 1995, № 10.

«Советское не отпускает...» Эссе о советском: детство, очереди, метро.

**Мария Левина-Паркер.** Смерть героя. — «Вопросы литературы», 1995, выпуск V. О прозе В. Маканина (вплоть до «Квази»).

**Семен Липкин.** Карьера Затычкина. — «Знамя», 1995, № 10.

Воспоминания о 20-х годах.

**Дмитрий Лихачев.** Мысли о Российском флоте в канун его 300-летия. — «Московские новости», 1995, № 77, 5 — 12 ноября.

Поводом к этим размышлениям послужила дискуссия вокруг спорного проекта парка Славы российского флота в Петербурге (в Александровском саду у Адмиралтейства).

**Валерий Мильдон.** Русская идея в конце XX века. Заметки о романе Евгения Федорова «Одиссея». — «Независимая газета», 1995, № 102, 19 октября.

Как известно, «Одиссея» («Новый мир», 1994, № 5) вошла в букеровский шорт-лист. Критик пишет о вкладе Е. Федорова «в русскую классику конца XX века»: «После его эпоса нельзя думать по-старому...»

**Вл. Новиков.** Заскок. — «Знамя», 1995, № 10.

Часть первая статьи называется «Четыре возраста русского модернизма»; вторая — «Русская литература в 2017 году».

**Борис Парамонов.** Моцарт в роли Сальери. — «Звезда», 1995, № 10.

Парамонов о В. Шкловском.

**Г. Померанц.** Анатолий Бахтырев в серии зеркал (деконструкция и реконструкция одного характера). — «Вопросы литературы», 1995, выпуск V.

Анатолий Бахтырев умер в 1968 году сорока лет от роду. Позже стал прототипом героев сразу двух книг: Бахтарев в книге Б. Хазанова «Нагльфар в океане времен» и Антон в романе З. Миркиной «Озеро Сариклен».

**Нина Садур.** Слепые песни. Повесть. — «Знамя», 1995, № 10.

Третья часть романа «Сад». А первую и вторую где искать? Не указано.

**Сергей Страшнов.** Письма в два адреса. (Советское литературное просветительство. Вариант А. Твардовского.). — «Вопросы литературы», 1995, выпуск V.

А. Твардовский как «летописец и реформатор».

**Василь Стус.** Страсти по Отчизне. Стихи. Перевод с украинского и предисловие Александра Закуренько. — «Грани», № 177 (1995).

К 10-летию трагической гибели в лагере украинского поэта В. Стуса (1938 — 1985). Тут же печатается статья Дмитрия Бака «Слово в лирике Василя Стуса».

**Марек Хласко.** И все отвернулись. Роман. Вступительная заметка и перевод с польского Д. Г. Гадаскиной. — «Звезда», 1995, № 10.

Повесть польского писателя М. Хласко (1934 — 1969) относится к эмигрантскому периоду его творчества. Написана в 1963 году — об Израиле.

Составитель А. Василевский.

ГАЗЕТА ДЛЯ ПРОСВЕЩЕННЫХ

# Учительская газета

Подписные индексы: 50137 и 32168

Человек ежедневно тратит в среднем час на чтение газет, и этот час должен стать для него и приятным, и полезным. Что можно прочитать в «Учительской газете» за это время? С какими интересными рубриками познакомиться?

### «Методическая кухня»

Новые подходы к школьному обучению. Лучшие педагоги. Интереснейшие разработки.

### «Учительские истории»

Забавные и грустные рассказы складываются в роман по письмам наших читателей.

### «Кабинет психолога»

Увлекательное и познавательное путешествие по внутреннему миру ребенка.

### «Площадь Искусств»

Струна, палитра, глина, грим...  
Разговор о Прекрасном.

### «Из первых рук»

Приказы и нормативные акты Министерства образования России. Комментарии специалистов. Юридическая консультация.

### «Зеркало в учительской»

Для женщин и не только для них: наука о том, как выглядеть по-настоящему хорошо.

### «А Вы читали?»

Надежный компас среди переполненных полок книжных магазинов.

Телефоны: (095) 928-8253 (справки), (095) 298-8995 (реклама)

## ВЕСТНИК

### РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ПАРИЖ — НЬЮ-ЙОРК — МОСКВА

Старейший журнал русского зарубежья

Основан в 1925 году

Главный редактор Н. А. Струве

Подписка оформляется почтовым переводом по адресу:

129626, Москва, проспект Мира, д. 110/2, кв. 291, Александру Николаевичу Богословскому. Телефон: 287-20-02.

Подписная цена за три выпуска 1996 года — 10 000 руб.



# SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Aleksandr Kushner, Yuri Kublanovsky and Vera Pavlova.

We are beginning to publish the family chronicle «Medea and Her Children» (to be ended in No. 4), as well as the short stories «Mimosa in the North» by Fazil Iskander and «The Dolt» by Pavel Meilakhs.

We continue publishing of the novel «Heaven Is My Destination» by American novelist Thornton Wilder, translated by A. Gobuzov (beginning in No. 2, to be ended in No. 4).

The section «Publicistics» presents the memoirs «My Chernobyl» by A. Borovoy with a preward by Sergei Zalygin.

In the section «Writer's Diary» we are publishing an essay by young prosaist Vladimir Berezin, «About Tvardovsky».

The section «Publications and Reports» is occupied by literary man G. Rochko's correspondence with V. Rozanov and A. Tvardovsky.

The section «Literary Criticism» presents the article «The Mohicans» by V. Serdyuchenko on new prose works by Leonid Leonov, Vasil Bykov, Vasily Aksenov, Vladimir Voinovich.

Reflections by Aleksandr Arkhangelsky, «The Classics of a School Rank», can be found in the section «By the Way».

In the section «Book Review» Aleksey Kozyrev reviews a new edition by Russian philosopher Yevgeny Trubetskoy; Aleksandr Dobrokhotov reviews the book «Proust» by philosopher Merab Mamardashvili; Dmitry Kharitonovich reviews collected works by philosopher Ernst Troeltsch; Igor Kuznetsov reviews an essay on Slavonic mythology.

In the section «Editor's Mail» Lilia Pann (USA) writes about the poetry by Aleksey Tsvetkov.

The issue also presents our traditional sections «Foreign Books About Russia», «Bookshelf» and «Periodics».

---

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**

**Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.**

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

**С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин, А. А. Ким, С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)**

Коммерческий директор **В. Д. Васковский**

---

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР

---

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

---

Сдано в набор 20.11.95 г. Подписано к печати 15.01.96 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать.  
Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 22,58 усл. кр.-отт., 28,02 уч.-изд. л.

---

Тираж 30.850 экз. Зак. 269. Цена договорная.

---

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.  
Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».  
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

**В 1996 ГОДУ «НОВЫЙ МИР»  
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

**СТЕЛЛА АБРАМОВИЧ.** Пушкин и традиция нонконформизма в русской литературе;

**С. С. АВЕРИНЦЕВ.** О слове в Откровении и слове в поэзии;

**АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ.** Клетка (повесть);

**ВИКТОР АСТАФЬЕВ.** Прокляты и убиты (роман, часть третья);

**В. БОГОМОЛОВ.** Алина (повесть);

**МИХАИЛ БУТОВ.** Повесть;

**РАВИЛЬ БУХАРАЕВ.** Дорога Бог знает куда;

**ЛАРИСА ВАНЕЕВА.** Рассказы;

**СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО.** Роман;

**ИГОРЬ ДЕДКОВ.** Дневники (из наследия);

**БОРИС ЕКИМОВ.** Очерки и рассказы;

**СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН.** Свобода выбора (повесть);

**ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИЙ.** Путешествие к Набокову;

**ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ.** Перевороты, холера, а напоследок — Чечня (стихи);

**АЛЕКСАНДР КУШНЕР.** Заметки на полях;

**ОЛЕГ ЛАРИН.** С Егорычем в магазин. Туда и обратно (повесть);

**ВЛАДИМИР МАКАНИН.** Роман;

**ВАЛЕНТИН НЕПОМНЯЩИЙ.** Феномен Пушкина и исторический жребий России;

**МАРИНА НОВИКОВА.** Соблазны; Ужасы (продолжение статей «Маргиналы» и «Символы»);

**ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ.** Рассказы и сказки;

**ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ.** До полной гибели всерьез;

**В. П. ПОПОВ.** Паспортная система советского крепостничества;

**ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ.** Ночные бдения с Иоганном Вольфгангом Гёте (рассказ);

**ИРИНА РОДНЯНСКАЯ.** Маканин нового времени;

**ГЕНРИХ САПГИР.** Жар-Птица (стихи);

**АЛЕКСАНДР ЧУДАКОВ.** Чехов между верой и неверием;

**ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ.** Яшка Кошелек и Владимир Ленин (из лубянского архива);

**АСАР ЭППЕЛЬ.** Рассказы;

**СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ.** Ловушка (повесть);

а также новые произведения **АНДРЕЯ БИТОВА**, **РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ**, **ГЕННАДИЯ ГОЛОВИНА**, **ВАЛЕРИЯ ЗАЛОТУХИ**, **АНАТОЛИЯ КИМА**, **МАРКА КОСТРОВА**, **МИХАИЛА КУРАЕВА**, **СЕМЕНА ЛИПКИНА**, **ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ**, **ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА**, **АЛЕКСАНДРА МЕЛИХОВА**, **ОЛЕГА ПАВЛОВА**, **ИРИНЫ ПОЛЯНСКОЙ** и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ  
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**